

ДАВИД БЕРГЕЛЬСОН

*Избранные
произведения*

О 2 ИЗ
РшШр&т twe Издастьетж „ДА
Моста 1917

БЕРГЕЛЬСОН

СИ)

О Г И З

*Государственное издательство „Дерзкое“
Москва—194.7*

ДАВИД БЕРГЕЛЬСОН

Советский еврейский писатель Давид Бергельсон родился в 1884 г. в местечке Сарны, Уманского района на Украине. Свои детские годы он провел в набожно-патриархальной семье, учился в старо-еврейском «хедере», питаясь культурой из талмудических и гебраистских источников.

В юношеские годы Бергельсон знакомится с русской литературой и с большим увлечением прочитывает произведения Тургенева, Толстого, позднее — Чехова и Горького, — произведения, которые вместе с еврейской классической литературой оказали огромное влияние на формирование художественного мировоззрения Бергельсона.

Надо отметить также влияние европейских классиков, французских писателей, особенно — Бальзака, Флобера и Мопассана. О всех этих влияниях следует говорить потому, что в первых же произведениях Бергельсона проявляется его связь с великими произведениями писателей, творчество которых отмечено глубоким интересом к изображению общественных процессов, характерных для их эпохи.

Бергельсон пришел в литературу как подлинно проблемный писатель. Метод широкого, обобщающего, реалистического изображения действительности стал излюбленным методом Бергельсона, идейность — его путеводным знаком. Уже в первых своих значительных рассказах — «Глухой» и «У вокзала», написанных в 1907 и 1908 гг., Бергельсон выступил как писатель, понимающий и чувствующий единство судеб своих героев с судьбами общества, связь человека с обществом, с исторической закономерностью.

Вступив на этот путь, совершенствуя свое художественное мастерство, свой, ему присущий, стиль, все больше и больше углубляя собственное общественное сознание, Бергельсон один за другим создавал большие романы, повести и рассказы, с полным правом причисляемые к классическим произведениям еврейской литературы.

Основной темой еврейской классической литературы была тема народной нищеты и народных мечтаний. Это была тема безрадостного настоящего и исполненного надежд будущего, связанная у еврейских классиков с проблемой переустройства мира, переделки -его, как выражается шолом-алейхемовский Тэвье-молочник.

Любовь к человеку из народа и критика господствовавшего в то время собственнического порядка — таковы основные черты еврейской классической литературы.

В первом своем рассказе «Глухой» Бергельсон, по-своему, продолжает эту линию еврейской классики. Любовное отношение к бедняку, к забитому человеку из народа, вопрос о грядущем дне, разоблачение бесчеловечного буржуазного общества — все эти мотивы воспринял Бергельсон, передвинув, однако, в своих произведениях основной акцент на общечеловеческие, социально-психологические, индивидуальные особенности изображаемого героя.

Национальный вопрос, обособленное своеобразие еврейской национально-бытовой среды, занимавшие так много места в творчестве еврейских классиков, уже в рассказе «Глухой» сменяются другими проблемами. Молодого Бергельсона интересует соотношение общественных сил в еврейской среде, он раскрывает общечеловеческий характер страданий глухого.

Главное действующее лицо первого рассказа Бергельсона — глухой рабочий, тема рассказа — страшная хищническая эксплуатация: богач, владелец мельницы, теми или иными способами отнимает у глухого рабочего его жизнь и жизнь его обманутой дочери. Этот рассказ ярко и остро выражает накопившееся чувство протеста того класса, который позже, в 1905 г., широко и мощно выявил свои революционные возможности.

Последующие произведения Бергельсона определили его место в литературе, место писателя, раннее творчество которого характерно для периода между двумя революциями. Во всех тогдашних произведениях Бергельсона, его романах и рассказах — и в изображении общественных взаимоотношений, и в общем настроении, и в картинах быта чувствуется дыхание времени, которому предшествовала революция 1905 г.

После нее, после этой потопленной царским правительством в крови революции, восторжествовала реакция и усилилось владычество представителей капиталистического мира, в том числе: Тарабаев, Дрелей, Зайденовских, Элишей, которых Бергельсон в своих произведениях показывает во весь их

рост. По земле, управляемой ими, ходят хорошие люди, мечтательные одиночки, которые ищут счастья и не могут его найти. Эти люди растревожены, они не в силах мириться с этим зажившим собственническим миром, окружающим их со всех сторон.

* * *

В своих дооктябрьских произведениях Бергельсон с большой художественной силой и остротой показал и подчеркнул процессы капитализации, изменившие облик городского и местечкового еврейского мещанского и буржуазного общества.

Бергельсон показал крушение надежд и веры в себя у той части еврейской интеллигенции, которая не последовала за революцией 1905 г. или отошла от нее и осталась лицом к лицу с господствующей буржуазной классовой идеологией, осталась с глазу на глаз с ее искаженной моралью и тогдашним уничтожением всего человеческого в человеке. В одном из последних произведений этого периода, в романе «Отход», один из персонажей обращается к врачу, представителю буржуазных слоев, со следующими словами: «Вы можете наказать человека, сломавшего мне ребро или кость, но накажете ли вы его, если он искалечит мне мысль или чувство».

Это и есть основная проблема всех произведений Бергельсона межреволюционного периода. Униженные, поруганные человеческие мысли и чувства, несбывшаяся мечта, недостигнутое счастье, — вот один из лейтмотивов творчества Бергельсона в те годы. В его произведениях «У вокзала», «Мирелэ», «Городок Дубрович» и «Отход», как и в его других работах того времени, Бергельсон дал историю тех, которые после первой революции так или иначе подверглись разрушительному действию силы нарастающей буржуазной реакции. Эта сила порой влияла на самого писателя, придавая некоторым его произведениям оттенок пессимизма.

В романе «Мирелэ» Бергельсон рисует героиню Мирл в её тяжелой одинокой духовной борьбе с буржуазными носителями того, что Горький назвал «разрушением личности». С момента, когда Мирл расстроила навязанное ей сватовство, с того дня, как она вернула акт обручения своему жениху, новоявленному богачу Вове Бурнесу, и начинается охота за этой прекрасной, одухотворенной девушкой, бьющейся за свою независимость со всем буржуазным миром, начиная от богачей Тарабаев и Зайденовских и кончая своими родителями и всей темной местечковой мещанской средой, выполняющей волю господствующего эгоистического общества.

Если даже Мирл отвергла первого жениха, Вову Бурнеса, — говорит это общество, — то все равно она должна оставить все

свои мечты о любви, о личном счастье, все равно она должна подчиниться и сделаться членом одной из богатых семей. Окружающая среда давит на девушку всей своей тяжестью. Люди этой среды могут даже купить Мирл, внушив ей, что выгодная богатая партия спасет положение ее знатного отца, находящегося накануне банкротства и потери последних остатков уважения и чести.

* * *

по не только Е этой разоблачительной линии, пронизывающей сюжет и фабулу, главная суть написанного в 1910—1911 гг. романа Бергельсона о тоскующей Мирл. Драматизм положения Мирл состоит не только в том, что ее хотят заставить взять от жизни то, чего она не хочет, драматизм заключен также в сознании, что сама по себе жизнь, которую ей предлагают, вообще никуда не годится. Такая жизнь умерщвляет прежде всего все человеческое, все нравственное и эстетическое, все то, что Мирл хранит в душе, в сердце и в сознании.

Драма человеческого сознания — вот то новое и важное, что внес Бергельсон в свой первый большой роман, в котором он по-новому продолжил линию критики общества. В образе глухого Бергельсон показал униженную и оскорбленную человеческую бунтарскую совесть. Мелкие людишки, снующие у вокзала, давно уже позволили растоптать свою совесть вместе со своим недовольством. Но в романе «Мирелэ» писатель впервые со всей протестующей силой поднял вопрос о человеческом сознании, вопрос о человеке, глубокое и острое нравственное самосознание которого приводит его к трагическому конфликту с инертным, мертвящим окружающим.

В границах своего самосознания Мирл — страстно протестующая натура. Она обладает характером, который не позволяет ей идти на компромиссы в жизни. Жизнь может ее сломать, но не покорить. Мирл ищет выхода, не зная, где его найти.

Широкая струя гуманизма в дооктябрьских произведениях Бергельсона обусловила социально-психологические поиски автора, его проникновение в тончайшие переживания излюбленных им страждущих героев. Настоящее гуманистическое сочувствие писателя оказалось на стороне тех, которые получили «искаленные мысли и чувства». Желание показать тех, кто предопределил этот процесс искалечения, водило пером Бергельсона и поставило его произведения в один ряд с лучшими творениями художников-гуманистов.

В 1921—23 гг. Бергельсон написал ряд рассказов, вошедших в сборник «Бурные дни» и посвященных темам революции и гражданской войны. Во всех этих рассказах чувствуется горячее стремление писателя отразить в своем творчестве новую эпоху.

Писателю стала ясна возможность революционного переустройства мира. Он увидел, что его любимые герои обрели в революционное время новые пути, которые он тщетно искал для них на протяжении долгих лет своего творчества. Наряду с интересными и содержательными образами, для новых произведений Бергельсона характерны пронизывающий их революционный и оптимистический дух, вера автора в огромное этическое значение Октябрьской Социалистической революции, пришедшей изменить жизнь, освободить человека, дать ему новые нормы морали вместе с новой хозяйственной и общественной системой.

В своих биробиджанских рассказах Бергельсон показал влияние строящейся еврейской области на быт и поведение еврейских переселенцев. По-новому изображено в этих рассказах единение человека с природой. Человек и природа составляют у писателя одно гармоническое действенное и созидательное целое. Изображение таежных просторов строится у Бергельсона на преодолении старого традиционного отношения к дикой природе, как к неприкосновенной хранительнице вечного покоя и красот застывшего первозданного мира.

«На кого походит он со своими писаниями, — рассказывает Бергельсон в большом двухтомном историческом романе «У Днепра» о первых шагах своего героя Пенека, — он похож на человека, который описывает каждое колесико разобранного механизма, а смысла всего механизма не понимает». Достигнутое понимание «смысла всего механизма» определило одну из характерных особенностей пореволюционного творчества Бергельсона. Писатель нашёл полнокровные социальные краски, которыми он наделяет каждый мельчайший и тончайший психологически углубленный штрих. Это — новая и своеобразная манера живописания, вытекающая из полного понимания Бергельсоном стиля социалистического реализма.

В годы Отечественной войны Бергельсон создал ряд новых повестей и рассказов, в которых он на свой лирико-драматический лад показывает, как патриотическая идея вошла в плоть и кровь, вошла в быт и ход мыслей советского человека.

В произведениях, написанных за годы войны, Бергельсон еще больше углубил свою гуманистическую жизненную фило-

софию, еще острее проник в драматические тайники социальных сражений, еще резче показал свое участие в этих сражениях на стороне самых передовых борцов человечества, которые очищают землю от зла — от всех его носителей и вдохновителей. Перед глазами художника стоит также великая трагедия еврейского народа, героизм этого народа и органическая связь судеб его с освободительными идеями социалистической революции.

-Послевоенный советский человек и его выкованное в боях сознание — таковы тема и содержание последних рассказов Бергельсона. В этих рассказах писатель еще больше усилил ту лирическую, поэтическую струю, которая всегда составляла одну из основных особенностей его творчества. В еврейскую литературу Бергельсон пришел как лирик, с языком и стилем писателя-поэта. Чем ближе подходит он к переживаниям своих положительных героев, тем сильнее лирическая краска в его рисунке, тем ярче средства поэтизации. Лучшие романы Бергельсона написаны им как своеобразные поэмы.

Лирика служит Бергельсону средством выдвижения на первый план человека. Этого человека писатель изображает со всеми его мыслями и чувствами, сочетая приемы лирического письма с необходимыми изобразительными компонентами прозы: композицией, действием, диалогом, пейзажем.

Такова своеобразная поэтика Бергельсона, с помощью которой раскрываются гуманистические, а впоследствии и социалистические идеи писателя. Человек, изображаемый Бергельсоном, непрерывно растет и развивается, это признак того, что растет и человек изображающий—писатель и творец подлинного человеческого образа,

И. Добрушин.

1907-1917 гг.

Глухой

Мирелэ

Обломки

Городок Дубровин

Хися- строптивая

ГЛУХОЙ

Не иначе, как что-то было между молодой Эстер, дочерью глухого, и Менделем, красивым сыном мельника, у которого она работала служанкой. Об этом немало судачили и в рядах на базаре, и на вальцовой мельнице. Глухой настораживал уши, заискивающе глядел на всякого, у кого замечал на лице усмешку, но ни слова не мог уловить.

Судя по тому, как держал себя Мендель, между ними ровно ничего не было. Он попрежнему перебрасывался шутками с молодыми помольщиками, привозившими зерно; ткнет кого-нибудь локтем в бок, отпустит остроту и захохочет.

Недавно он вернулся из уездного города в новеньких сапогах с лакированными голенищами и щеголял в них на мельничном дворе. Останавливая механика Шульца, он подмигивал ему и говорил:

— Хороши сапоги, а?

И солидному немцу не надоедало каждый раз нагибаться и проводить рукой по блестящим голенищам. Сапоги до того нравились ему, что в душе рождалась грызущая зависть. Ему не лень было тут же на дворе стянуть с Менделя сапог и натянуть его на свою ногу.

Всг это глухой видел из окошка на четвертом, самом верхнем, этаже мельницы, где он работал у подъемника. Он поглядывал во двор украдкой, часто озираясь, не следит ли кто из рабочих.

Эстер ежедневно носила Менделю из города обед. А когда она уходила с мельничного двора, хозяйский сын и механик долго провожали ее взглядом. Мендель молча и задумчиво усмехался, а Шульц подмигивал ему, показывая на плечи девушки, потом тыкал его пальцем в живот. Если это случалось на глазах у молодых рабочих, они прилипали носами к окошкам и толкали друг друга.

— Пусти-ка... дай поглядер!

Глухому, с напряженным, словно всегда испуганным лицом, было от этого очень больно, и мучительно хотелось знать, отчего кругом смеются. Но он был безнадежно глух и, стыдясь людей, даже самого себя, никому не смотрел прямо в глаза. Он не переставал думать о гнусности, которую Мендель и Шульц вместе проделали над беременной крестьянской девушкой из села Рыбницы.

В конце концов им удалось спровадить ее с мельницы.

Однажды, встретившись с глухим в укромном месте, мельничный приказчик Иосель Бабцис стал что-то кричать ему в ухо. Глухой, улавливая одно слово из десяти, ничего не понял, но все же усердно кивал:

— Да, да, понял, конечно понял!

Уж такая была у него робкая натура. Когда с ним заговаривали, он постоянно кивал, уверяя:

— Слышу, слышу... Да что я, не слышу?

Две недели вынашивал он в своей глухой голове обрывки сказанных Иоселем фраз и только потом начал кое-что соображать.

Речь шла о двух уволенных с мельницы рабочих, задумавших пересчитать Менделю ребра. Они шныряли темными ночами возле дома Вове-мельника. И, должно быть, они кое-что подметили... Что именно — глухой все еще не догадывался и как-то раз спросил Иоселя:

— Скажи, пожалуйста, не про мою ли Эстер болтают?

Сердце его отчаянно колотилось, он прерывисто и тяжело дышал, так ему было стыдно.

— Она втюрилась в него,—закричал ему прямо в ухо Иосель. — Эстер полюбила хозяйского молодчика!

— Она его полюбила?—тихо переспросил глухой.

Он подумал, что этот ехидный человек зло шутит, и загоготал:

— Хо-хо-хо!

И как-то странно смотрели при этом его оловянные глаза. Сообразив, наконец, что это не шутка, он страстно заговорил, бестолково размахивая согнутой в локте рукой:

— Пусть бы она сперва спросила у меня, у глухого отца... Я-то их насквозь знаю — и мельника, и его отродье! "Двадцать лет на них работаю — во! Пусть Иосель сам скажет — разве это не так, а?"

Иосель поддакивал и с обычным ехидством отвечал:

• — Конечно, так... Ну, еще бы не так!

А глухому хотелось знать, что думают обо всем этом люди — здоровые, не глухие, как он. Шагая по дороге в

город, он размахивал руками и разговаривал сам с собою...

Вот если бы у него были здоровые уши, а не бесполезные лоскутья, он мог бы уловить словечко тут, словечко там.

Мелькнула мысль зайти как-нибудь к дочери, туда, на кухню Вове-мельника, и поговорить с ней. Но как раз в это время с глухим стряслась большая беда — видно, так уж ему на роду было написано.

Стояли короткие дождливые октябрьские дни.

Плаксивое небо, затянутое хмурыми тучами, глядело на черную, насквозь промокшую землю и словно оплакивало ее.

На мельничном дворе круглые сутки горели электрические фонари и сквозь густой туман, окутывавший долину, будто подмигивали желтыми усталыми глазами погруженному в мрак городу. А постанова ровно выступивали:

«Муку мелем!.. Муку мелем!..»

Тихо, будто задумавшись, бормотала мельница и вся дрожала, — а с нею дрожали и работавшие на ней сорок человек. Среди гула и шума эти люди двигались, как автоматы, работали с безмолвной сосредоточенностью, мало чем отличаясь от вращавшихся возле них вальцов, словно их головы были забиты зерном, заглушавшим всякую мысль.

«В амбарах полно зерна... Ничего не поделаешь — нужно молот!»

Босиком, с покрытым мучной пылью лицом, глухой сидел в перегруженной подъемной клетки и спускался с четвертого этажа. Один из рабочих, пробегая мимо, заметил что-то неладное и отчаянно завопил, указывая на подъемник:

— Остановите!.. Остановите!..

Глухой уловил выражение ужаса на его лице, и у него блеснула страшная мысль:

«Канат!.. Лопнул канат!.. Неужели я упаду с такой высоты?..»

Он чувствовал, что падает; ему казалось, что кто-то соблазнительно шепчет:

«Поздно!.. Поздно!..»

Но едва он подумал об этом, как его с чудовищной силой отбросило к стенке. Его охватил ужас. Он закрыл глаза.

Когда он снова открыл их немного спустя, над ним

склонялись люди, покрытые мучной пылью, и кричали ему в глухие уши:

— Где у тебя болит?

С бескровным, как у мертвеца, лицом он лежал на полу: не было сил шевельнуть рукой и показать нашибленное бедро.

Его понесли в домишко, стоявший в глухом переулке, близ молельни,—там жил с женою портняжка, умевший только чинить и латать, — и положили на старую койку в кухне, где он снимал угол.

И

В голове ехидного Иоселя Бабциса зародилась угодливая мысль.

Почесывая затылок, он доказывал Мельникову сыну, что случай с глухим — сущий пустяк:

— Подумаешь, беда какая! Ни черта ему, глухому, не сделается!

А потом он приходил навестить глухого и кричал ему:

— А ты что думал?.. Рассчитывал целым из лап Вове-мельника вырваться?

Бог его знает, зачем только ему нужно было лукавить! Ведь однажды его самого Вове-мельник, заподозрив в краже, с такой яростью спихнул с каменных ступеней мельницы, что тщедушный Иосель едва жив остался. Схватившись за острый нос, из которого лилась кровь, он по-бабьи голосил:

— Ой, он меня убил!..

Перед уходом он нашел нужным утешить глухого:

— Ничего, жив будешь! Надо тебе хорошенько отлежаться, пока, не заживет бедро.

И глухой, кое-что расслышавший, угрюмо закивал головой:

— Да, да, жив буду!

Но, казалось, он перестал думать и о жизни и о смерти и лежал на койке с окаменелым лицом.

Можно было подумать, что ему безразлично, встанет ли он когда-нибудь с постели.

Эстер приходила его проводить. Стройная, свежая, в теплой черной кофточке, она стояла возле него подперев рукой подбородок, задумчивая и подавленная. Ее черные серьезные глаза как бы соболезнующе говорили:

«Ну и шлепнулся же ты!»

Однажды она наклонилась к нему, хотела, повиди-

тому, что-то крикнуть в его глухие уши, но не удержалась и зарыдала. Зарывшись головой в тряпье, которым он был накрыт, она долго-долго всхлипывала. И трудно было сказать, чье горе она оплакивает: злосчастного глухого отца, или свое собственное, глубокое, затаенное. Не было ли связи между ее плачем и тем, что подметили уволенные с мельницы рабочие, когда они шныряли возле дома Вове-мельника?

Глухой смотрел на нее большими оловянными глазами, и ему хотелось многое сказать ей. Слова роились, бесформенные, в его затуманенном мозгу. «Самое главное — пусть она запомнит — не заноситься чересчур, во!»

Он уже открыл было рот и поднял согнутую в локте руку, готовясь заговорить, *-но* Эстер быстро встала с койки и оправила кофточку. Тихо и печально покачала она головой, тяжело вздохнула и даже грустно причмокнула...

Дождь зарядил на несколько дней. Он лил ровно и упрямо, как будто его просили перестать, а он продолжал, как назло, твердя-

«А вот буду!.. Буду!.. Нарочно буду!»

Грязные струйки лениво змеились по мутным стеклам. Все кругом казалось хмурым, злым,—даже облезлая печь, день и ночь развевавшая перед глухим черную пасть.

Такая стояла кругом тишина, что глухой с удивлением думал-

«Странно! Прежде я все же мог расслышать, как строчит у портного швейная машина».

Часами просиживал он на койке с поникшей головой, молчаливый, угрюмый, и бросал умоляющие взгляды на хозяйку, которая возилась с мокрыми дровами у печи.

Ему хотелось попросить у нее сущий пустяк, и все-таки его исхудалое землистое лицо кривилось, как у нищего, просящего подаяние:

«Что ей стоит крикнуть ему на ухо несколько слов,— он мог бы тогда удостовериться, на много ли он стал хуже слышать?»

Но женщина была злющая. Часто шмыгая мимо койки, на которой сидел глухой, слегка задевая иногда его свисавшие ноги, она даже не смотрела на него. Такая злющая была эта высохшая жена портняжки, что даже полными мольбы глазами нищего глухой ни на' секунду не мог привлечь ее внимание.

А если бы ему вздумалось вытянуть ногу и загородить ей дорогу, она наверное вздрогнула бы от испуга и с удивлением воскликнула бы;

«Смотрите — он еще жив, этот глухой!»

Ему было бесконечно обидно, и он уже злобно смотрел на жену портного, что-то бормоча. Так он поглядывал когда-то на жену — покойницу Лею и тоже ворчал без конца. Она в таких случаях, назло мужу, ложилась в постель одетая. Тогда он хватал со стола суповую миску и швырял о пол.

Пришла Эстер и долго ссорилась из-за него с хозяйкой, а он лежал на койке, ничего не слыша, и снова думал о тех важных и серьезных словах, которые нужно сказать дочери. Они долго вертелись в голове и, наконец, вырвались наружу — беспомощные, совсем не те, которые были у него готовы:

— Видишь ли... вот если бы мать была жива...

С трудом дались ему и эти слова, а едва он их произнес, ему стало стыдно и за себя самого, и за эту стройную девушку, которая не помнила даже умершей матери.

«Мама давно на старом кладбище — что пользы думать о ней?» — говорили ее удивленные глаза.

Вынув из кармана сдобную булку, она дала ее отцу. Глухой попробовал, ему понравилось, и он принялся разглядывать лакомый кусок со всех сторон:

— О, Вове-мельник знает, что вкусно!

И вдруг приняла четкие формы и вылилась в нужные слова мысль, с которой он давно носился.

— Это нехорошо... то самое... что рабочие тогда подметили... И вот еще, да!.. Я им не верю — ни Вове-мельнику, ни его щенку! Ни слову не верю!..

III

К зиме бедро стало болеть меньше. Окна в кухне запорошило, а в печи, у которой возилась жена портняжки, шипели сырые дрова. Глухой озяб. Он надел сапоги, ватник, туго затянул красный кушак и надвинул на уши облезлую баранью шапку. Хозяйка даже рот разинула от удивления.

— Куда это ты? Куда собрался, глухой? — крикнула она ему на ухо.

— В молельню, — тихо и угрюмо ответил он. — Пойду отогреюсь.

В молельне, у жаркой печи, его разыскал Иосель и тотчас принялся кричать ему в ухо:

— Вове-мельник!.. Вове-мельник!..

До чего дожил! Хозяин, мол, и его, Иоселя, прогнал с мельницы...

— Да, да, глухой, — изо всех сил кричал он ему, — подай на него в суд!

— Подать на него в суд? — удивился глухой.

Он даже не мог этого толком осмыслить. Подняв руку высоко над головой, он затем опустил ее 'совсем низко, почти до пола.

Этим он хотел показать, что Вове-мельник такой большой-большой, а он, глухой, такой маленький-маленький... И, конечно, большой всегда сумеет обидеть маленького...

Иосель насупился, задумался и даже стал бороду теревить, и глухой решил, что сказал ему что-то важное и глубокомысленное. Он тоже задумался и погода добавил:

— Пусть хоть Вове-мельник меня оставит в покое!

Он подразумевал не самого мельника и себя, а свою дочь Эстер и Мельникова рослого и красивого сына. Ему очень хотелось поговорить об этом с Иоселем, но он не знал, с чего начать.

А потом, в снежный морозный вечер, глухой отправился к Эстер. На протяжении всего пути голову сверлила одна и та же мысль. Он даже затвердил ее начало. —

«Надо же знать... Надо же, чтоб человек о себе подумал...».

Но, войдя со двора на кухню, он застал там высокого и проворного Мельникова сына, который при виде его поспешил уйти. Глухой заволновался и снова растерял все нужные слова. Какое-то подозрение закралось в его душу:

«Мендель гадкий человек... Его надо остерегаться!..»

Но Эстер быстро под села к отцу и, сунув ему в руку печеную картофелину, прокричала:

— Приходил ко мне Ноте-сват...

Лицо глухого сразу смягчилось, глаза чуть усмехнулись, как бы спрашивая:

«Это правда?.. Ты меня не обманываешь? Кого тебе сватают?»

Она опять прокричала:

— Цирюльникова сына, Юлика.

Глухой откусил кусочек горячей картофелины и держал его во рту. На его скуластом лице появилась жалобная гримаса.

— Никудышный жених!

Эстер крикнула снова:

— Да, он жулик!.. Одесский жулик!
Глухой жевал картофелину и кивал, подтверждая её
слоя.-
— Да, да, жулик... Конечно, жулик.

IV

Глухому снилось, что он стоит на самом верху мельницы и оттуда наблюдает, как Мендель гоняется по двору за крестьянской девушкой-уборщицей. Девушка в испуге мечется, ноги ее скользят, она вся дрожит — вот-вот Мендель ее настигнет! А в сторонке механик Шульц хохочет, держась за бока и кричит:

«Лови ее!.. Лови, лови!..»

Но вдруг глухой видит, что Мендель гоняется вовсе не за крестьянской девушкой, а за его дочерью Эстер. Она от него убегает, протягивает руки к отцу, кричит от страха. Не будь он так глух, он наверное услышал бы ее крики.

На другой день тощая злая жена портняжки целое утро пилила глухого:

— Холера бы его забрала!.. Ну, что вы скажете, как он рычит во сне!

Она потянула его за рукав.

— Отчего ты ночью орал?

Глухой с удивлением посмотрел на нее и пожал плечами: он скорее догадался, чем расслышал ее вопрос.

— Кто орал? Я?.. Да нет же, я не орал...

Он уже ничего не помнил из своего сна. Натягивая старые сапоги, он разглядывал их со всех сторон и думал, что хорошо бы салом смазать. Потом он ушел в" молельню. Сидя у жарко натопленной печи, он размышлял о том, что он, глухой, любит, чтобы было тепло, и еще он любит голову фаршированной щуки и свежую халу и, пожалуй, также жирную говядину — вроде той, что при нем ел однажды Вове-мельник.

«О, Вове-мельник знает, что вкусно!»

Молельня постепенно наполнялась. Люди почему-то переходили с места на место и возбужденно разговаривали.

«Странно, — думал глухой, — почему не начинают молиться?» Народ все прибывал, люди как-то странно вбегали с улицы и смешивались с толпой, которая быстро проглатывала их и разбухала.- У всех вбегавших з молельню были испуганные лица. Вновь пришедшие, казалось, спрашивали у тех, кто пришел до них;

«Это верно?.. Правду говорят?..»

А те в ответ только кивали с пришибленным в'идом, горестно причмокивая, как бы говоря:

«Ай-ай!.. Какая жалость!»

Глухой замечал, что все на него поглядывают. Люди сбивались в кучки, перешептывались и как-то странно косились на него, теснее обступали, указывали пальцем.

Наконец его окружили плотным кольцом. Ему кричали в уши: пусть он идет туда, к Вове-мельнику. А глухой изумленно озибался и не мог понять: зачем им надо, чтобы он шел к Вове-мельнику? Он тыкал себя пальцем в грудь и переспрашивал:

— • Мне итти к Вове-мельнику? Мне?

В полном недоумении он пожимал плечами. Но все же пошел.

Возле дома Вове-мельника улица была запружена. Люди лезли прямо во двор Вове-мельника, потом на кухню, вместе с ними протискался туда и глухой. У него не было никакой охоты лезть в" дом; он не мог понять, зачем он это делает, и все же лез вслед за другими. На кухне было полно, тьма народу, у глухого даже в глазах зарябило — будто он стоял возле подпрыгивающих сиг на мельнице. Трясая, казалось, даже топчан, к которому, наконец, с трудом пробрался глухой,—топчан с лежащим на нем посинелым телом. Глухой тотчас узнал:

«Это Эстер, его дочь Эстер!»

Он не был особенно удивлен. Ему казалось почему-то, что он уже стоял однажды возле этого топчана, на котором лежало то же мертвое тело. Это было дав'но, очень давно, но только наверное было. И те же люди стояли кругом, и было такое же холодное пасмурное утро.

Кто-то потянул его за рукав и показал на потолок. Глухой поднял голову — на крюке болталась веревка. Он догадался. Ему хотелось спросить, почему Эстер это сделала, но он ничего не спросил. Он не сводил глаз со сгорбленной старушки, стоявшей у изголовья топчана,—лицо ее было сведено гримасой, глаза были закрыты. Она рыдала, но глухой ничего не слышал. Его лицо тоже сводила гримаса, он хотел заплакать, но не мог. В комнате вдруг поднялся шум, всех стали выталкивать, старый служка погребального братства кричал в дверях:

— Ну, довольно, евреи, хватит! Идите себе подобра-поздорову!

Кухня опустела. Глухого тоже гнали, но он не уходил. Его брали за плечи, но он бросал вокруг себя свирепые взгляды и хватался обеими руками за топчан, на

котором лежала покойница. Его оставили, наконец, в покое. Но вдруг он кого-то заметил в дверях, и тогда ему пришел на память недавний сон — мельничный двор, Мендель, крестьянская девушка и Эстер.

Глухой кинулся вон из дома. И хотя он вскоре забыл, куда собирался бежать, все же он мчался по улице, что было мочи. Сапоги его увязали в рыхлом снегу. Он тяжело дышал. Он чувствовал, что силы его иссякают, и все-таки бежал дальше.

V

То, что случилось через некоторое время, было дико, необъяснимо.

У Вове-мельника забыли загнать корову в хлев, а утром ее нашли у ворот с отрезанным начисто хвостом. Все выбежали из дома во главе с самим хозяином. Корову впустили во двор, ее окружили.

«Что бы это значило?»

Хвост был отрублен почти у самого комла, из которого и сейчас еще капала кровь. Корова стояла грустная, несчастная, с поникшей мордой, и ее печальные на выкате глаза часто моргали.

Несколько дней кряду в доме Вове-мельника не переставали ломать себе голову:

«Кто бы мог это сделать?»

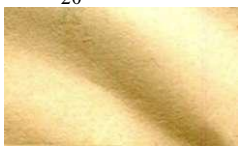
Бросали косые взгляды на уволенного с мельницы Иоселя, заподозрили двух рабочих, собиравшихся набить морду Менделю, их даже таскали к уряднику. Лишь несколько недель спустя кого-то вдруг осенило:

«Уж не глухого ли это работа?»

Человек сказал это так, наобум, но все сразу ухватились за его догадку. Это было невероятно; людей охватывал страх при мысли, что этот ширококостный человек с угрюмым лицом, опоясанный красным кушаком, с надвинутой на глаза бараньей шапкой, ночью гоняется с топором за коровой, и все-таки этому верили — недоумевали и верили.

А кто его знает, этого глухого? У него вот тут не все в порядке!

Ведь было уже однажды: когда жена портняжки его вконец допекла, он запустил ей в голову сапогом, а потом, разъярясь, принялся выбрасывать на улицу кровати, столы и скамейки. Весь город сбежался тогда к дому портного. Люди стояли на почтительном расстоянии и со страхом смотрели, не смея подойти ближе. Из уст передавалось:



— Крозь ударила глухому в голов'у!
Жена портного металась взад и вперед, била себя кулаками в голов'у и вопила визгливо и хрипло:

— Смотрите!.. Он мне погром устроил, настоящий погром!

Люди стояли и смотрели. Нашлось, конечно, несколько здоровых молодцов, которые могли бы наброситься на глухого и унять его, но у жены портного были враги, они удерживали их и говорили, злобно сверкая глазами:

— Ничего, ничего, она достаточно изводила его, этого глухого!

А в дверях то и дело показывался глухой и снова что-нибудь выбрасывал на улицу. Из груди его вырывался сдавленный хрип.

Вспомнив про этот случай, глухого повели, в* конце концов*, к уряднику, туда же погнали несчастное животное. Показывая глухому на корову, стали допытываться, крича ему в уши:

— Ты корову мельника знаешь?

Он сразу ухватился за слово «мельник», и оно целиком завладело его сознанием:

— Да, да, Вове-мельник!.. Ну да, Вове-мельник!..

Уряднику это скоро надоело; он хотел поскорее избавиться от этого высоченного ширококостного детины, который таращил на него оловянные глаза и твердил одно и то же. Но глухой не унимался, он наседавал на урядника, размахивая руками:

— Да, да, Вове-мельник, да, да!..

Ему хотелось рассказать про мельницу, которая вся ходуном ходит, про топчан, на котором лежало посинелое тело, про веревку, свисавшую с потолка, — хотелось рассказать обо всем, но он не мог. Словно в тенетах, запутался он в первой же мысли о Вове-мельнике, и уже не было у него сил высвободиться.

Урядник вытолкнул его на улицу и запер за ним дверь. Глухой постоял у крыльца, а потом, неизвестно почему, вдруг принялся поправлять штаны. В это время мимо проходил какой-то человек. Тогда глухой, забыв про штаны, направился к нему и, протянув руку, начал повествовать о том, чем не удалось ему поделиться с урядником:

— Да, да, Вове-мельник...

Прохожий перепугался и с замирающим сердцем кинулся наутек в ближайший переулок. А глухой шел, протянув вперед руку, и пытался останавливать всех, кто

попадался на пути. Вид его вызывал страх, ему уступали дорогу, а он все шел, протянув руку и ворочая в голове недодуманную мысль:

«Да, да, Вове-мельник...».

Он, видимо, все ждал, все надеялся, что вот появится, наконец, человек, который выслушает его, и тогда ему удастся перескочить через эти первые слова и открыть выход мысли, давившей на мозг.

Тихо добрел он до молельни, открыл дверь и просунул в нее глухую голову. Там не было ни души, и он уселся у жаркой печи. Кругом было тихо. Окна заиндевели, пюпитры для молитвенников стояли, как надгробные плиты, повернутые лицом к востоку.

За печью спал нищий, пешком добравшийся сюда издалека. Он храпел и видел сладкий сон — будто без конца сыплются в его карманы новенькие копейки.

А глухой сидел грустный и даже не подозревал, что по другую сторону печи лежит человек/ В его сжатом тисками мозгу смутно, как в тумане, носились обрывки воспоминаний: о печальном случае с бедром, о топчане, на котором лежала покойница, о крюке, на котором болталась веревка. И среди всего этого металась одна неотвязная мысль, которую никак не удавалось довести до конца-

«Да, да, Вове-мельник, да, да...»

В молельню вошел Иосель, снял облезлый тулуп и сел рядом с глухим. Медленно и задумчиво поглаживал он свою острую бородку. Видно было, что и он занят тревожными мыслями — мыслями многодетного отца, оставшегося без заработка. Но Иосель не мог не вмешиваться в дела, которые его совсем не касались. Нагнувшись к глухому, он стал что-то кричать. Глухой склонил к нему голову, кивал в такт его словам и говорил:

— Умерла?.. Как же иначе?.. Ну да, умерла Эстер...

Он хотел что-то добавить, но Иосель вдруг захихикал. Его рот скривился, губа с подстриженными усами поднялась, обнажив желтые прокуренные зубы. Он снова начал что-то кричать глухому, а тот пристально смотрел на него выпученными бесцветными глазами и, казалось, именно глазами улавливал он кое-что из слов Иоселя:

— Вове-мельник — свинья!.. Жирная, облезшая свинья, уж пов'ерь мне!

Ему померещилось, что Иосель его дразнит, а это очень огорчило его. Но он тут же забыл и о своем огорчении, и о причине его, — он помнил только высокий,

тщательно выбеленный дом, густо разросшиеся акации перед окнами и заново покрашенный синий забор.

Темнели расцветенные морозом окна. В молельне собирався народ. Тогда глухой потихоньку выбрался на улицу и, пряча руки в рукава, двинулся неизвестно куда. Он брел медленно, низко опустив голову. Он уже успел забыть, куда намеревался итти. Он не чувствовал даже, что движется, не знал, — зима на дворе или лето. Ребятишки, забыв про салазки, бежали за ним. Они что-то кричали ему вслед, но он не слышал. Он шел, не оглядываясь, между рядами лавчонок. Люди уступали ему дорогу, а он их и не замечал.

Сзади наезжали сани. Возница озяб, ему лень было высвободить руки и взять вожжи, чтобы немного свернуть. Он только крикнул: «Берегись!» Глухой не слышал. Когда его сзади ударило дышлом, он только схватился за ушибленный бок и, не оглянувшись, продолжал шагать.

Он остановился, очутившись в темной прихожей Вове-мельника, и не знал, куда итти. Дверь справа, которая вела в столовую, была закрыта, — видимо, заперта изнутри. Дверь слева, что вела в кухню, осталась чуть приоткрытой. Узкий неподвижный сноп лучей падал оттуда на пол прихожей. Глухой, тоже неподвижный, стоял в углу, против двери. Кто-то вошел с лампой и на-смерть перепугался, заметив широкие носы его сапог. Поднялся крик, и глухого окружили выбежавшие из комнат люди. Сам Вове-мельник что-то орал ему в ухо, но он ничего не слышал и только вспоминал слова Иоселя:

- \

«Вове-мельник—свинья! Жирная, обьевающаяся свинья!»

Глухой не перестает думать об этих словах и тогда, когда возвращается к себе домой и становится у печи, возле которой уже греется портняжка.

Теперь он вспоминает, что был у Вове-мельника, что видел его совсем близко.

И еще помнит он, что прежде зарабатывал на хлеб, перетаскивая тяжелые кули с зерном и с мукою, что когда-то у него были жена Лея и дочь Эстер.

Его лицо кривится, он тычет себя пальцем в грудь и говорит портному:

— Есть охота... сосет вот здесь, под ложечкой...

Но портной спокойно сидит возле него. На коленях у него замурзанный ребенок, которого он гладит по головке. Голос у портного нудный и скрипучий, как у ста-

рой нищенки. Борода у него не растет. Редкие Волоски торчат лишь на подбородке и на верхней губе; они подрагивают, когда он говорит. Он вкусно зевает, встает и кричит глухому в ухо:

— Он может тебе заплатить, Вове-мельник, его от этого не убудет!

Ребенок открывает беззубый рот и заходится плачем, но портняжка не слышит и продолжает кричать глухому:

— Чтоб ему, этому мельнику, сквозь землю провалиться!

Прибегает хозяйка, выхватывает ребенка, укачивает его на исхудалых озябших руках и тоненьким голоском вторит портному:

— Он мог бы заплатить, Вове-мельник, за такую историю!.. Но он знает, с кем имеет дело!

Она вцепляется свободной рукой в глухого и визжит:

— Глухой чурбан!.. Почему ты молчишь?

Мысли глухого уже опять беспорядочно блуждают. Он глядит в упор на женщину и не шевелится.

В дом входит сосед-портной. У него выющаяся светлая борода. Он долго разглядывает глухого, легонько берет его за рукав и спрашивает:

— Какой сегодня день, а, глухой?

Он очень добрый и отзывчивый, этот молодой человек с окладистой светлой бородой. Ему хочется проверить, насколько глухой успел тронуться умом. У него самого сердце начинает учащенно биться при этом, его тонкое лицо краснеет, в глазах стыд — они смущенно мигают: может быть, глупо, нехорошо, что он задал, такой вопрос?

Но глухой даже не сознает, кто тянет его за рукав, не знает, чего от него хотят, не знает, что сегодня — суббота или будний день. Ссутулившись, спрятав свои большие руки в рукава, выходит он из дома, бредет, сам не зная куда, сперва слоняется возле молельни, затем по базару и вдруг видит, что снова стоит в сенях у Вове-мельника. И сам мельник кричит ему в ухо:

— Что тебе надо?

Дверь широко распахивается, и ему показывают, чтобы он убирался. Тогда он снова прячет руки глубоко в рукава и покорно, безмолвно уходит.

Зимнее туманное утро перешло в короткий морозный день, — даже не в день, а в сплошные густые сумерки.

Без конца падал снег.

Рано поутру портняжка надел огромный тулуп, на-
вернул поверх него женин платок и побежал на рынок.
Скоро он примчался весь посиневший. Растирая закаче-
невшими пальцами озябшие уши, он рассказал жене,
что на краю местечка нашли замерзшего.

— И вот еще я слышал: поехали тут какие-то
на ярмарку и еле живые обратно дотащились...

Он был очень доволен, что сумел запастись дровами,
и так хорошо настроен, что, усевшись у печки с рабо-
той, заговорил даже с глухим:

— Сиди сегодня дома, глухой, никуда не ходи!..
Слышишь, что тебе говорят!

Но глухой и не думал слушать его: он надел* свой
коротенький ватник, туго подпоясался и надвинул на
уши шапку. Потом потянул жену портного за рукав:

— Ну, вот, я иду... к Вове-мельнику на мельницу!..

Но та только метнула на него злобный взгляд и про-
ворчала:

— Иди, иди ко всем чертям!.. Чтоб тебе живым не
вернуться!

А глухой без конца кивал и повторял:

— • Да, да, на мельницу к Вове-мельнику...

Неторопливо прошел он через городок, взял влево и
ускорил шаг, спускаясь в уединенный лог, где метель
крутила, вздымала снег и мчалась в дикой пляске во-
круг мельницы.

Сторож, закутанный в тулуп, стал в воротах и не
хотел впускать глухого. Тот вступил с ним в драку, из-
бил его, но и ему досталось изрядно. Наконец, явился
урядник и передал глухого двум сотским.

Однажды выдалась тихая морозная ночь под вызвез-
дившимся небом.

Рано на заре на розвальнях ехали евреи. Они ехали
на ярмарку в близлежащий город. Кругом было тихо.
Справа спал невозмутимым сном христианский погост.
В чистом утреннем небе гасли звезды. Евреи роняли
сонные головы на грудь, и все их мысли были сосре-
дочены на одном:

«Пошли бог удачную ярмарку!»

И вдруг, недалеко от белого дома Вове-мельника,
захрапела одна из лошадей, рванулась в сторону, и тот-
час послышалось отчаянное:

— Тпру!

;

Седоки, страшно испуганные, очнулись от дремоты.
Закричали.

— Что случилось?!

Возница стоял возле дрожавшей лошади и сонно ругался.

— Ах, чтоб тебе! — без конца повторял он. — Чуть человека не задавили!

Люди окружили распростертое на снегу тело и, наклонившись над ним, узнали глухого.

Он лежал, подняв сутулые плечи, перепоясанный поверх ватника, с надвинутой на уши шапкой, в руке у него был топор.

Он еще дышал. Положив¹ на сани, его повезли домой — что еще оставалось делать?

Евреи, огорченные, глядели на слабо алевший восток и сетовали.

— Опоздали на ярмарку. Опоздали, чтоб нам так жить на свете!

Весь городок узнал о случившемся, только об этом и было речи.

— Что же тут удивительного? Не иначе, как глухой задумал убить Вове-мельника.

Нашелся даже очевидец, который своими рассказами нагнал на мельника еще больше страха.

— Дайте вспомнить, когда это было... Я проходил поздним вечером мимо дома Вове-мельника и вдруг вижу — человек лезет через забор. Я перепугался и убежал.

И это еще не все: жена портняжки жаловалась, что по утрам находит входную дверь открытой.

Вове-мельник нанял в сторожа здоровенного мужика, и тот целыми ночами колотил палкой по забору.

Глухой две недели провалялся на своей койке в сырой кухне. Кто-то сжалился над ним и позвал к нему врача — сытого, добродушного молодого доктора с маленькими усиками и умными черными глазами. Он долго сидел возле глухого, этот любезный сытый доктор, долго смотрел на равнодушное лицо глухого и терпеливо слушал визгливую и хриплую хозяйку.

Все, что он увидел и услышал, сильно заинтересовало его. Он сидел в глубокой задумчивости, весь какой-то собранный...

Он пришел снова дня через два, этот молодой и сытый доктор с маленькими усиками и умными черными глазами, и опять долго сидел возле глухого.

Он пристально смотрел на глухого и думал.

Глухой пристально смотрел на него и тоже думал.

Но они не понимали один другого. Далеки и чужды

были друг другу эти два человека, которые молчали и обменивались упорными взглядами...

В конце-концов, глухой выздоровел без малейшей помощи с чьей-либо стороны. И — что удивительнее всего — он, пожалуй, сделался еще сильнее и здоровее, чем до болезни. Но у него появилась новая странность: он перестал спать по ночам и, угрюмый, ко всему равнодушный, бродил по кухне, такой же безмолвный, как зимняя ночь.

Долгие и темные были ночи. В их непроглядном мраке утопал сонный мир. Они усыпляли всех, кто жил и мыслил. Не усыпляли они только человека, который не знал покоя, который не мог даже помышлять о покое.

Взад и вперед ходил глухой по кухне, напоминая собой беспокойный маятник, неся на своих плечах все невзгоды, всю печаль спящих. Если бы кто-нибудь вздумал взять его за руку и остановить, он, не оглядываясь, вырвал бы руку и возобновил бы свое бесконечное шагание.

Бывало, проснется ночью ребенок, несколько раз всхлипнет, расплачется. Вздрагивала тогда заспанная жена портного, открывала глаза, с трудом поднимала с подушки налитую свинцом голову и убаюкивала ребенка:

— Ну, спи же, спи!

Она говорила заглушённым голосом и, услышав, что за стенкой шагает глухой, злобно ворчала:

— Болячка бы его задавила!.. Смерть его не берет!

Но глухой ничего не слышал. Он продолжал ходить по кухне. Ночь была тиха и непроглядна, — она проглатывала его твердую и быструю поступь. И снова и снова звучали в домишке эти шаги, отдаваясь в ушах спящих ударами молота. Казалось, глухой вечно будет шагать, и вечно будет длиться ночь. Эта мысль приводила в ужас злую жену портного. Она натягивала на голову одеяло и снова засыпала, испытывая в душе знакомый с далекого детства страх. Когда она уже погружалась в сон, ее гаснущее сознание все еще подыскивало бранные слова: «Хвороба бы его заела!.. Холера бы его унесла!..»

В тихий, белёсый предрассветный час проснулся портной и, не услышав шагов глухого, подумал:

«Может быть, помер, наконец?»

А тот лежал на своей деревянной койке и время от времени постукивал по ней ногой. Ему не спалось. Он не

мог бы сказать, предшествовал ли этой ночи день, и придет ли день на смену ночи.

Кто-то, показалось ему, глядит на него с улицы. Глухой приподнялся и уставился в окошко. На улице стояла корова, печальная, одинокая. Глухой мигом признал ее:

«Мельникова корова!»

Схватив топор, он выбежал на улицу. Под окном стояла коров'а; она выдергивала из-под застрехи клочья соломы и медленно жевала ровными тупыми зубами. Увидев человека, она повернулась и стала удаляться. Но глухой, не торопясь, пошел следом. Кругом было тихо. Озорной ветер носился в предрассветной влажной мгле— то сметет снег с крыши, то ринется на деревья и расшалится в вершинах. Где-то упрямо стучался в свой крепко спящий дом запоздалый хозяин. В одном месте собрались стаей собаки, добродушно обнюхивавшие друг дружку и любезно повиливавшие хвостами. Одна из них вдруг отделилась от стаи и с лаем бросилась на корову. Та пустилась наутек, и глухой с занесенным топором побежал за ней. Следом кинулись и собаки. Ветер тоже помчался за ними, забыв про свои шалости в верхушках деревьев. Скоро собаки растаяли в призрачной полутьме, разбежавшись по ямам, овражкам и навозным кучам...

На заре прохожие нашли зарубленную корову Песимолочницы. Рядом лежал глухой — он был мертв.

Песя страшно убивалась:

— Люди добрые, скажите вы мне, чем я провинилась?..

Она не в силах была продолжать, — слезы спирали ей дыхание. Люди задумчиво глядели на нее и молчали.

1907 г.

М И Р Е Л Э

Часть первая

I

Свадьба так и не состоялась. Почти накануне ее Мирелэ, дочь Гедалье Гурвица, отослала жениху своему все подарки и акт обручения и опять возобновила знакомство с хромым студентом Липкисом.

Отец жениха, недавно разбогатевший простолюдин, тянулся теперь за почтенными благочестивыми евреями и каждый день ходил в синагогу к вечерней молитве. Но известие о расстроенном браке сына Велвеля он переживал до того тяжело, что даже перестал ходить в синагогу. Высокий, плотный, с черной бородой, которая со дня ка день становилась все благообразней, он шагал теперь по кабинету, морщил туповатый лоб, курил и думал о том, что не подобает ему, пожалуй, напоминать сыну о постигшем его несчастье, да и имя Гурвица произносить вслух, пожалуй, не подобает ему отныне.

Зато мать, очень тучная, краснощекая женщина, только что вернувшаяся с целебных вод, громко кляла бывшую невесту сына вместе с целебными водами, которые не принесли ей никакого облегчения. Потирая ноющую ногу и слегка раскачиваясь, она хрипела своим астмическим баском:

— О, не приведет господь повести сына под венец! Не доживу!

Однажды вечером, когда дом был переполнен гостями, она увидела в открытое окно Мирелэ, проходившую мимо вместе с Липкисом. Не владея собой, старуха Бурнее высунулась из окна.

— Отец твой уже нищий, слава тебе господи, — закричала она, — а ты все носишься, как собака, сорвавшаяся с цепи!

Велвелю стало стыдно.

— Ну, ну! — прикрикнул он. — Вот разошлась, да еще при людях! Уймись, пожалуйста!

Двадцатисемилетний Велвель, рослый, красивый, был по натуре своей спокойным и молчаливым; он с большим почтением относился к отцу и хотел, чтобы в их доме все было так же пристойно и солидно, как в домах польских помещиков-соседей, с которыми отец вел дела. Ему было неприятно оставаться теперь в городке и часто видеть Мирл, да еще с Липкисом. И отец, точно угадав его мысли, арендовал ему небольшой участок земли в двенадцати верстах от городка, где Велвель и поселился. Жил он на самом краю села в уединенном белом домике — по соседству с попом. Крестьяне звали его паничем и ломали перед ним шапки.

Обе его незамужние сестры' во главе с матерью часто навещали его и привозили разные домашние печенья. Сестрам Велвель улыбался по-особенному, потому что они брали уроки у студента и" потому что они встречались с Мирелэ Гурвиц. Он нежно и почтительно пожимал им руки и робко спрашивал:

— Что поделываете? С кем встречаетесь?

С матерью он вел себя почтительно, думая, что именно так делают соседние молодые помещики; он не говорил матери ни «ты», ни «вы», а" всегда обращался к ней в третьем лице:

— Не желает ли мамаша прилечь?

— Не выпьет ли мамаша чаю?

И только в тех случаях, когда мать снова принималась кистить свои болезни и бывшую его невесту, он недовольно морщился и сдержанно прикрикивал:

— Ну, ну! Опять разошлась! Уймись, пожалуйста.

Домой ездил редко, а если ездил, то только по делам. В родительском доме держал себя отчужденно, как гость. От нечего делать или от смущения брал иногда на руки маленького братишку, ставил его на стол и, потрепав по щеке, спрашивал:

— А ты, малец, чем занят? Все бегаешь?

Он почти не выходил да прокуренного отцовского кабинета, обсуждая с отцом разные дела, и все думал о приданом — его шести тысячах и трех тысячах невесты, которые до сих пор хранятся у старого кашперовского графа. Он ждал, что отец, вот-вот, заговорит об этих бесполезно хранящихся деньгах.

И без того запутанные дела реб Гедалье Гурвица, этого родовитого, умного еврея, проведенного большую часть

жизни за чтением религиозных книг, теперь расстроились совсем. Обеспокоенные кредиторы исподтишка подсчитывали его капиталы, и Велвель не понимал, почему реб Гедалье держит эти три тысячи, вероятно, очень пригрозившие бы ему, у кашперовского графа. Велвелю хотелось, чтобы отец, не переставая, ходил бы вот так — взад и вперед по кабинету, курил бы и думал заодно с ним, Велвелем, о реб Гедалье: «Знает реб Гедалье свою дочку!.. Ничего... Она еще, может статься, изменит свое решение!»

Однажды в воскресный вечер Велвель дольше, обыкновенного задержался в кабинете отца. Было совсем темно, когда звякнула входная дверь и сестры, оживленно разговаривая, прошли в соседнюю комнату. Велвель слышал, как одна из них громко сказала:

— Как тебе нравится Мирелэ? Ничего не понимаю!

Ясно — сестры только что встретили Мирл. У Велвеля тяжело заколотилось сердце. Он сразу позабыл о чем разговаривал с отцом, и бессмысленно повторяя одни и те же слова, все думал, как бы это зайти к сестрам и хорошенько расспросить их обо всем. Но, сделав над собой усилие, он остался сидеть в своем темном углу.

Возвращаясь утром к себе на хутор, он думал все об одном и том же — о Мирелэ. Она ведь могла остановить сестер и без стеснения спросить их: «Ну, как он поживает, Велвель? Почему совсем не видать его?» От нее всего можно ожидать. Зашла же она недавно в москательную лавку, хотя видела его*экипаж у дверей. Смущенный, он хотел поскорее уйти, но она остановила его. «Напрасно ты отпускаешь бороду.—«Это совсем тебе не к лицу», сказала она. А он, сильный и большой, стоял перед нею, мучительно краснея; наконец, собрав последние силы, он сказал ей:

— Кому что нравится! На всех не угодишь!

Он остался доволен своим ответом. Во всяком случае, он дал ей почувствовать, что может еще за себя постоять.

Свободно раскинувшись в экипаже, он смотрел на поля: всходы уже поднялись, урожай обещает быть обильным, значит — и деньги потекут в карман. Но придет зима, широкие- снега оденут землю. И тихо, и сытно будет на его хуторе. Он купит себе нарядные ковровые сани, оденется в дорогую шубу и, наезжая в город, будет встречать там Мирл все с тем же убогим Липкисом. Мирл долго будет смотреть ему вслед, — но он и не подумает оглянуться на нее.

II

Наступила страдная пора. Работы на хуторе было по горло, и о поездке в город нечего было и думать. В полях стало пестро от разноцветных крестьянских сарафанов и платков; возы, скрипя и покачиваясь, тянулись к амбарам; на гумне весело пыхтела молотилка, недовольно посвистывая каждый раз, как вода иссякала в ее котле. Велвель поспевал всюду: носился по полям на своей сытой лошади, наблюдая за жницами; следил за тем, как батраки ссыпают обмолотое зерно, заглядывал в полутемные, пахнущие мучной пылью и мышами амбары; неожиданно появлялся у молотилки, подгоняя смешливых девчат. Вставал вместе с первыми петухами, рано заваливался и, усталый, пыльный, засыпал, радостно думая о крепко устоявшемся вёдре. Сны его были хороши. В эту пору: то он видел мешки, доверху наполненные пшеницей, то жнивье, по которому несет его конь, то скупщиков зерна, которые наполняют его дом до отказа. Их принимает почему-то Мирелэ, хлопочущая у стола. Приветливая, она улыбается и ласково приглашает гостей к чаю.

Все кругом—высокие ометы соломы, горы обмолотого зерна, созревающая на полях свекла, вся эта деятельная жизнь, длинные жаркие дни которой казались короче скупых на отдых ночей—все, все крепко связывалось у него с Мирл, и все должно было привести к тому, чтобы в доме Гедалье Гурвица пожалели о расторгнутом обручении дочери.

И, когда кончилась горячая пора уборки, обмолотое зерно наполнило закрома, опустели поля, короткие дни стали длинными от безделья, Велвель как бы очнулся от какого-то блаженного забытья и увидел: в воздухе прохладно; отошли самые жаркие летние месяцы. Утомленный, он спал целыми днями не раздеваясь, просыпался от мелкого, тихо переступающего по железной крыше дождя и опять дремал и в дреме думал: «А моя свекла все тучнеет, наливается, растет...»

Был воскресный день. Велвель проснулся только в сумерки. Свежий ветер колыхал занавеску окна, и было в этом что-то еще более грустное, чем напоминание об отошедшем дне. Темное небо до краев наполнилось тишиной, и возникли первые, робкие огни на селе.

Выспавшийся и спокойный Велвель умылся, надел туго накрахмаленную рубашку, не спеша выпил чаю и залел запрягать.

Сидя в экипаже, он лениво думал о том, что следовало бы велеть кучеру гнать лошадей, чтобы приехать в город засветло; тогда, может быть, Мирл, гуляя со своим студентом, заметила бы его. Но кучеру он не сказал ни слова, и тот ехал не торопясь; напротив, когда кучер попробовал хлестнуть пристяжную, Велвель рассердился и даже прикрикнул:

— Что зря лупишь? Куда торопишься?

Он был спокоен, немножко сердит и не переставал думать о Мирл. Но, по мере приближения к городу, спокойствие его исчезало. Волнуясь, он разыскивал в толпа гуляющей молодежи Мирл, хотя узнать кого-нибудь было уже трудно, так как стало совсем темно. Он досадовал на себя за то, что непрестанно оглядывался назад — на медленно движущиеся парочки, и все-таки продолжал это делать. «Ее там нет, — думал он. — Да какое мне, собственно, до этого дело!.. Ее там, наверное, нет!»

Светлые окна домов отчужденно смотрели на его экипаж, напоминая о том, как давно он здесь не был, а усиливали тоску по Мирл, тревожили память о ней. «Вот, — думал он, — сидит, верно, Мирл сейчас в одном из этих домов и молчит. А вокруг идет разговор о нем — молодом Бурнесе: «Немало в этом году заработает этот парень». — «Вы это о ком? — спросит Мирл. — О Велвеле?» Опять замолкнет, и никто не поймет — жалеет она о расторгнутом обручении или нет».

Вдруг кто-то остановил лошадей, громко крича:

— Их нету дома! И отец, и мать еще вчера уехали в уезд.

Велвель высунулся из экипажа и увидел отцовского приказчика. Почему-то Велвелю показалось обидным и то, что этот простоватый парень в высоких сапогах задержал его, и то, что родители без его ведома уехали в город. Может быть, кто-нибудь из прохожих подсмеивается сейчас над ним? И он, еле сдерживая гнев, сказал сердито приказчику:

— Что ж такого, что уехали? Из-за этого надо было останавливать лошадей?

И тут же, толкнув кучера в спину, велел ехать поскорее. Весь остальной путь он не мог успокоиться, мысленно ругая приказчика: «Вот дурак! Настоящая скотина!»

Подкатив к крыльцу, он увидел окна большой гостиной ярко освещенными. «Неужели гости? — удивился он. — Стариков нет дома. Значит, у сестер кто-нибудь». И тотчас в его памяти возникла Мирл. Он посмотрел на

окна ее дома — в них было темно. Это его взволновало: «Все может быть. Вдруг взяла да пришла к сестрам в гости!»

Он вошел в дом, не торопясь снял пальто и даже приветливо улыбнулся пожилой кухарке, прошмыгнувшей мимо. Он был доволен своей медлительностью: «Спокойствие прежде всего. А главное — не выказывать радости, если она там».

Он прошел в столовую. Из гостиной доносился разноголосый говор. Там о чем-то громко спорили. Велвель сразу узнал голос хромого Липкиса, который больше всех кричал:

• — Но позвольте! Это ведь чистая метафизика!

Внезапно в столовую вбежал маленький братишка. Мгновение он смотрел на Велвеля удивленно-радостными глазами, потом широко расставил руки и, ринувшись к нему, крепко обхватил его колени. Велвель поднял его на воздух и, как всегда, поставив на стол, спросил:

— А ты, малец, чем занят? Все бегаешь?

Дверь из гостиной осталась открытой, и Велвель время от времени украдкой заглядывал туда. Там, кроме Липкиса, был студент — репетитор сестер, которого отец привез из большого города, младшая сестра и еще какая-то незнакомая девушка. Девушки сидели на мягком диване, а студенты, стоя друг перед другом, красные от возбуждения, продолжали спорить.

Немного погодя Велвель вошел в гостиную, расспросил сестру о внезапном отъезде родителей и учтиво обратился к молодому репетитору:

— Ну, как дела? Как живем?

Но репетитор, захваченный спором, ничего не ответил и продолжал возражать Липкису:

— Ну, а любовь, или, скажем, мысль, переходящая в ощущение? Неужели и в этом вы усматриваете материализм?

Студенты не замечали Велвеля здесь, в доме его отца. Они спорили о чем-то непонятном и не собирались вступать с Велвелем в разговор.

На следующее утро, возвращаясь к себе, Велвель увидел Мирл. Веселая, она стояла возле наемного экипажа и приветливо смотрела на Липкиса, который поспешно ковылял к ней. Следом за ним бежала его мать, умоляя захватить с собой пальто.

— Да возьми же, возьми! Ну, что — оно тебя утешит, что ли? — жалобно причитала она.

Велвель вернулся на хутор взбудораженный и решил отныне ездить в городок редко — только по самой крайней необходимости.

III

И действительно, он почти перестал ездить туда. Маклерам, которые предлагали ему продать остаток урожая, он сказал:

— Не велика беда! Купцы могут и сами ко мне пожаловать. Они не много от этого потеряют. Я приму их как следует!

Говоря это, он слабо надеялся, что маклера как-нибудь занесут его слоза в дом Гедалье Гурвица и что к Велвелю начнут тогда приезжать из города купцы, и все это будет выглядеть так же солидно и важно, как у соседних богатых помещиков.

Спокойно, в тихом ожидании, он ежедневно осматривал амбары, уходил в июле, где крестьянки торопились с уборкой свеклы, а по вечерам, один в светлом домике, подолгу пересчитывал свои заработки и думал о Мирл, которая теперь бродит, наверное, в осеннем пальто по прохладным и темным улицам. Еще думал о шести тысячах рублей, хранящихся вместе с деньгами Мирл у старого кашлеровского графа, и радовался новой мебели, которую недавно украсил свой барский домик.

Все было мертво кругом. Звездное, широкое небо стояло над спящим селом, и только на поповском дворе залиристо лаяли собаки. Обычно часам к восьми они лаяли особенно неистово: это возвращался из города кучер; Тогда Велвель приподымал голову, напряженно вслушивался в шаги и кричал в полуоткрытую дверь: «Алексей, почту привез?» Он знал, что, кроме газеты «Биржевые ведомости», он ничего не получит, и все-таки каждый раз повторял одни и те же слова, полагая, что именно так поступают в помещичьих усадьбах.

Подолгу потом сидел он под синим абажуром, всматриваясь в газетные столбцы. Непонятные места перечитывал по нескольку раз и особенно внимательно просматривал отдел биржи, следя за курсом процентных бумаг. Он мог бы теперь приобрести (как приобретают помещики) эти бумаги: наличных денег у него вполне для этого достаточно. Такие процентные бумаги всегда есть у деловито-веселого Нохэма Тарабая, того самого, который живет в восемнадцати верстах отсюда, на сахарном за-

Боду. Живет он на широкую ногу, содержит большой богатый дом и детей своих учит где-то далеко в губернском городе. Встретившись как-то с Нохэмом Тарабаем, Велвель воспользовался* случаем, показал ему, что он, Велвель, не такой уж невежда.

— Пан Тарабай, как котируются сейчас четырехпроцентные бумаги? — уверенно спросил он. — На прошлой неделе они, говорят, здорово скатились вниз, а?

Тарабай вытаращил глаза и раскрыл от изумления рот.

— Э-э, куда тянет! Уже в таких делах разбирается!

Спустя некоторое время маклер сказал Велвелю, что Тарабай очень хвалил его при людях и отзывался о нем, как о будущем дельце. «У Авром-Мойше Бурнеса, — сказал он, — растет паренек на славу. Это барский характер, говорю я вам».

Однажды Нохэм Тарабай даже заехал к Велвелю; он весело по-польски опросил кучера Алексея:

— Чи паи Бурнее в дому?

Увидев выпрыгнувшего из коляски Тарабая, взволнованный Велвель бросился открывать ему парадные двери и почтительно ввел гостя в дом. Гость похвалил молодого хозяина за хорошее устройство. Он все оглядел, попробовал добротную мебель, потрогал стены, даже никелевую дощечку на дверях — и ту заметил.

— Так, так! — сказал он, похлопывая Велвеля по плечу. — Очень хорошо. А как же иначе? Для чего живут люди на белом свете?

Тарабай без умолку тараторил о себе, о своих крупных делах, о богатом доме. При этом беспокойные его пальцы то и дело притрагивались к туго накрахмаленному воротнику, точно он был ему тесноват, и постукивали по ослепительным манжетам, вылезавшим из коротких рукавов сюртука. Заехал он, собственно, затем, чтобы скупить у Бурнеса оставшуюся солому для своих волов при сахарном заводе. Но об этом успеется при расставанья, а пока... И он болтал без умолку о своих удачливых детях: старший служит в солидном банке и делает карьеру, младший учится в Политехническом институте. А вот двадцатитрехлетняя дочь — та домоседка, не любит выезжать из деревни — скромница.

• — Думал я, что она у меня в ученьи слаба будет. Ан, нет! Прошлой весной вдруг заявляет: «Знаешь, отец, решила я в город съездить». Ладно, говорю я, езжай в город. Пробыла она там недолго, всего только три меся-

ца, а вернулась — привезла аттестат. Сдала, оказывается, экзамен за шесть классов. Каково?

Долго после отъезда Тапябзя в тугих мозгах Велвеля путались мысли о дочери Тарабая и о Мирл. Рассказ Тарабая об успехах дочери, казалось, имел какое-то отношение и к нему, и к разрыву его с Мирл. Может быть, Мирл не захотела быть его женой из-за его невежественности? И вот он стал заглядывать к сельскому учителю и тайком от всех брать у него уроки. Однажды он сказал: «Ну и мудреная наука эти дробы! Не легко она дается». А учитель всюду растрезвонил об этом. Поглядывая на него издали, поповны давились от смеха. Узнали об этом и в городке. Мирл, встретив сестер Бурнее, язвительно спросила: «Он что, не в университет ли собирается?»

IV,

Велвель ещё раз встретился с Тарабаем. Было это на сахарном заводе, куда он поехал, чтобы получить деньги за проданную свеклу. Стоял перед Тарабаем почтительно, смотрел ему в глаза с обожанием самого преданного ученика и восхищенно слушал его веселую болтовню о том, как он встретился недавно с Мирл:

— Я даже обнял ее. И, как полагается у помещиков, шепнул: «Ясновельможна панна! Есть у меня для вас жених. Партия, доложу вам, отменная!»

При этих словах он хитро подмигнул Велвелю и фамильярно положил ему руку на плечо: пусть он, мол, не беспокоится. На Тарабая можно положиться. Уж *ои-тй* устроит это дело. Не жена, а клад будет для него Мирл.

Велвелю очень нравился этот веселый человек. Весь обратный путь он думал о нем с умилением: «В самом деле — какая светлая голова! Л обращение? Так может держать себя только светский человек!»

Недели две подряд после этого разговора он прожил в приподнято-веселом настроении. Он усиленное прежнего угощал маклеров, приезжавших из города, чаще прежнего забегал в конюшню осматривать лошадей, и даже кучеру Алексею обещал купить новую шапку. Приятно было валяться по вечерам на диване и думать о том, что •когда-нибудь в этой передней будет висеть осеннее пальто Мирелэ. Он представлял себе, как скажет ей однажды: «Ты хочешь в город, Мирелэ? Так в чем же дело — вели запрягать и поезжай!»

Он нетерпеливо ждал чего-то и все думал о Тарабае".

«Как Тарабай справится с этим делом? Очень вероятно, что он скоро будет в городе и уж обязательно заедет к реб Гедалье Гурвицу».

Но время шло, а Тарабай не появлялся; дружба у Мирл с хромым студентом все крепла. Она стала к нему как-то очень внимательна и даже говорила знакомым:

— Разве это дело, что он тут прозябает? Не я буду, если к осени он не вернется в университет.

Между тем в городке шли тревожные слухи о старом кашперовском графе. Недаром он собирается к своему зятю в Париж. Чует, видно, что банкротство на носу: кредиторов у него хоть отбавляй, а имение переходит в банк за долги.

Мать часто писала об этом Велвелю, проклиная Мирл и ее отца: «По графским векселям никто тебе ломаного гроша не заплатит. Да и векселя-то эти на имя Гурвица. Шутка ли — шесть тысяч рублей в наши времена!»

Не весело было Велвелю в эти короткие сентябрьские дни. Деньги его пошли прахом, а вместе с ними ускользала и последняя нить, связывающая его с Мирл. Сам того не замечая, он все чаще стал засыпать днем, и в одиночном, уютном его домике то и дело раздавался теперь тяжелый, густой храп хозяина. Просыпался неохотно, заранее зная, что к нему вернется гнетущая мысль о пропавших деньгах и о том, что Мирл никогда, никогда не будет его женой. И зачем он столько лишних денег истратил на новую мебель, на лошадей!..

Из этого оцепенения вывел его приказчик, который примчался как-то вечером и привез письмо от отца. Отец, посылая ему графские векселя, сообщал, что граф вернулся в Кашперовку и что Гурвиц, очевидно, уже поехал к нему.

Была вторая половина воскресного дня. Осеннее 'солнце растекалось по соломенным крышам домов и золотило увядшую листву деревьев. В его неярком тепле грелись крестьяне; они собрались в кучку у запертой лавки и беседовали о близкой зиме, о том, что надо к ней приготовиться, утеплить хаты, заготовить дров.

Велвель помчался в Кашперовку. Он застал графа одного в большом, наполовину опустошенном доме: мебель была уже упакована. Очевидно, граф принял Велвеля за приказчика Гурвица, потому что полностью выдал ему по векселям все шесть тысяч рублей.

• — Передайте Гурвипу, — сказал он, — что остальные

три тысячи я пришлю из-за границы. Сейчас у меня денег больше нет.

Не было сомнения: реб Гедалье своих трех тысяч уже никогда не получит. Велвель знал, что, взяв себе всё деньги, он поступает подло по отношению к Гурвицу. Но, отступая к дверям и подобострастно кланяясь, он говорил:

— Слушаю-с, передам в точности!

К вечеру, возвращаясь из Кашперовки на горячих своих лошадях, он издали увидел старые обшарпанные дрожки Гурвица, медленно ползущие за худоребрыми клячами. У Велвеля сразу пересохло в горле. Он приказал свернуть на узкую проселочную дорогу: «Значит, он только теперь едет к графу? Где же он пропадал целый день?»

Выжидая, пока реб Гедалье проедет, Велвель искоса поглядывал на дорогу. Длинные, тощие клячи Гурвица были запряжены неумелой, небрежной рукой. Постромки правой были слишком подтянуты, и она подпрыгивала, смешно мотая головой; левая тянула не грудью, а передней частью спины, потому что шлея была слишком широка. Малолетний возница, причмокивая, беспрестанно размахивал кнутом, а за его спиной, откинувшись назад, со скрещенными на груди руками сидел сам реб Гедалье — рассеянный, с чуть приподнятым кверху заострившимся носом, в золотых очках и с темной, расчесанной надвое, летящей по ветру бородой.

Провожая дрожки глазами, Велвель думал: «Конечно! Теперь уж никогда Мирл не будет моей женой».

На следующий день он встал рано и, наскоро собравшись, поехал к отцу. Было пасмурно и свежо. Сентябрьский серенький дождик начинал моросить, переставал и моросил снова. Хмурый, насупившийся, Велвель трясся по неровной дороге и почему-то думал о дочке Тарабая, которую видел однажды случайно. «Надменная, неразговорчивая. Да и не пойдет за меня».

Вчера, вернувшись домой, он твердо решил заехать к Гурвицу и вернуть ему его долю. Он был доволен этим решением и очень хотел знать, как оценит его поступок Нохэм Тарабай. Но, войдя в отцовский дом, он еще из передней услышал громкие голоса, доносящиеся из кабинета. Это горячился присланный от Гурвица поверенный, требуя возвращения причитающейся его хозяину доли. Но в его возбужденную речь вплетался бесстрастный голос Авром-Мойше, который тупо твердил:

• — Л как бы поступил Гурвкц, если бы деньги попали к нему? Пострадал бы тогда не он, а я...

Постояв немного за дверьми, Велвель опять подумал: «Кончено! Теперь уж никогда Мирл не будет моей женой».

Почему-то он зашел не в кабинет, а в столовую, где магь во весь голос бранила Мирл. Лицо Велвеля сразу приняло строгое, недовольное выражение:

— Опять за свое! Уймись, наконец, мамаша!

Часть вторая

I

Дела реб Гедалье Гурвица запутывались все больше и больше, и скрытая тревога начинала томить его, тяжело нависая над всем тихим, родовитым, благоустроенным домом. Целые ночи проводил реб Гедалье без сна, удивившись в кабинете со своим двоюродным братом, служившим у него кассиром и поверенным в делах, очень преданным человеком. Долго просиживали они за счетами и бумагами и, когда открывали, наконец, ставни, то с удивлением видели зарождение нового, медленно надвигавшегося дня. Его печальный пепельно-розовый свет, устало разгораясь, прогонял последние мгновения длинной, застоявшейся ночи. Все становилось праздничным вокруг. Вот уныло замычали коровы, тоскуя по своим запертым телятам и по луговой траве. Уже третью зорю поют петухи, их голоса раздаются то где-то совсем близко, то далеко — там, на краю местечка. И кажется, будто они оспаривают друг у друга торжественную песню начала нового дня.

Кассир не двигался — сидел молча, а реб Гедалье без устали излагал перед ним все новые, широкие планы. Нагибаясь через стол и окидывая собеседника пытливым-проницательным взглядом, реб Гедалье спрашивал тревожно:

— Разве это не так? Ну, скажи, разве я не прав?

Все в доме стали настороженнее, точно боялись какой-то беды, готовой вот-вот разразиться. Так длилось до поздней зимы, когда дела стали еще запутаннее и по всей округе пошли о реб Гедалье тревожные толки. Рассказывали о том, что Давнишний друг Гурвица оговорил его в банке уездного города, сделав все, чтобы дела реб Гедалье пошатнулись еще больше, и еще о том, что старик — директор этого банка — отдал приказ о закрытии

кредита Гурвицу, как человеку, не внушающему доверия.

Реб Гедалье зачастил теперь в уезд; он уезжал туда по большей части в воскресенье, а возвращался только в пятницу, к самому заходу солнца. Впопыхах вбегал он в дом и видел: за столом, накрытым белой скатертью, перед серебряными подсвечниками сидит Гитэлэ, его жена, в кружевной наколке, в черном шелковом платье и бриллиантовых серьгах. Она рассматривает свои розовые ногти и время от времени подымает глаза на окна дома раввина Авремеля, выжидая, когда там вспыхнут субботние свечи, чтобы не опоздать зажечь свои. Реб Гедалье, занятый своими мыслями, наскоро выпивал чай и между одним глотком и другим рассказывал Гитэлэ о делах:

— Побывал я у того члена правления, от которого все, говорят, зависит. Потом побежал к директору — я его согласиём заручился. Но вот третий, старый генерал, и четвертый, польский магнат, — с этими хуже. Но я непременно добьюсь и у них приема. У меня есть протек-^{ция}.

В общем, он духом не падал, не терял надежд и, несмотря на то, что был рассеян по природе и завален делами, не забывал привозить подарки домой. Однажды он привез себе новый шелковый картуз. Гитэлэ посмотрела на обновку и сказала:

— Покупаешь картуз и не видишь, что он сползает на уши. Не примерял ты его, что ли?

Реб Гедалье улыбнулся:

— Как же я мог его примерить? Голова-то ведь осталась дома, с тобою!

И тотчас же, схватив пальто, помчался к вечерней молитве в старую синагогу.

После молитвы соседи его (справа и слева) остались сидеть на местах, с почтительной благодарностью поглядывая на реб Гедалье; они готовы были благословить его за своевременно возвращенные долги. Они дружески относились к нему, но еще более «дружески» относились к своим деньгам. И все-таки им было неловко перед Гурвицем, которому они не ссужали больше денег. И, возвращаясь домой, эти молодые купцы нет-нет да и роняли задумчиво:

— Все же честный человек реб Гедалье. Очень порядочный!

В городе жадно ждали, чем все это кончится: выпутается реб Гедалье из беды или нет. Об этом говорили

все. И только Мирл, единственная дочь реб Гедалье, красивая, тонкая девушка, избалованная и упрямая, не хотела ни говорить, ни думать об этом. Не то жалея отца, не то себя самое, уходила она из дому на целые дни. Капризная, она даже к студенту Липкису, оставшемуся ради нее в городке и забросившему университет, была чрезмерно требовательна и строга. Она умудрялась совершенно забывать о нем, хотя он почти все время был рядом; порою, взглянув на него, она делала удивленное лицо, точно не понимая, откуда он взялся. Разговаривала с ним резко, и в словах ее почти всегда сквозила какая-то озлобленность:

— Слушайте, почему у вас так странно растут усы? Ни у кого на свете они не растут так странно!

— Лицо у вас, как лицо — все на месте, да только лучше уж глядеть на него издали.

Липкие чувствовал себя в такие моменты очень плохо. Он терялся и мучительно думал о том, чтобы ей сказать участливое слово об ее отце и об их мрачном доме. Однажды, собравшись с духом, он сказал, путаясь и спотыкаясь на каждом слове:

— Понятно, не в деньгах счастье. Но всякий раз, когда я вижу вашего отца, мне кажется, что с ним что-то происходит... трагическое... и вокруг него — тоже.

Мирл даже не оглянулась. Она молча смотрела на заходящее солнце; потом холодно произнесла:

— Ну, что ж, одолжите отцу двенадцать тысяч, вот и трагедии конец.

Удивительное дело: это изнеженное и никак не причастное к делам существо совершенно точно знало, сколько требуется денег отцу для того, чтобы избежать банкротства. Мирл знала, что, не расторгни она обручение с Велвелем Бурнесом, отец жениха, по всей вероятности, помог бы им. И не потому ли она так легко и просто сказала: «Ну, что ж, одолжите отцу двенадцать тысяч, вот и трагедии конец».

А Липкие, услышав эти слова, вдруг вспомнил свою старую мать, которую он содержал, и еще более старое, потрепанное пальто, которое вынесла она ему, когда он торопился к экипажу Мирл. Мирл тогда улыбалась, глядя в другую сторону. Почему она глядела в другую сторону? Потому ли, что в это время выезжал из дому ее оывший жених, или потому, что н-з хотела видеть его пальто, которым магь прикрывает иногда квашню?

Неподтижно стыл над нищим городком скованный

легким морозцем воздух, и первый снежок запорошил кривые улицы и переулки, площади и пустыри и просторные, тихие поля. Мирл не сиделось дома. Все короткие дни бродила она с Липкисом по окраинам и полям, и всюду на снегу оставались глубокие следы ее и Липкиса ног. Станными казались эти наполненные синеватыми тенями следы двух существ, молча блуждающих по полю. Все безмолвно вокруг: и одинокий крестьянский домик, засыпанный снегом, и надолго умолкший ручей долины, и дубовая роща там — на пригорке.

В эти дни Мирл перешла с Липкисом на «ты» и стала звать его просто по имени. «Знаешь, — говорила она ему, — я и не думаю о любви к тебе. Но мне иногда хорошо, что ты возле меня. Понял?»

Он начинал глупо ухмыляться, а она, забыв о только что сказанном, снова уходила в себя, и взгляд ее синих глаз становился все печальнее, и говорила она тогда о чем-то совсем непонятном:

— Прислушайся: слушай, как молчит мир. Слышишь?

Липкие чувствовал, что он должен что-то сказать о молчании мира; он ежился, вытягивал шею и, наконец говорил:

— Да, хорошо было бы вот так вдвоем с тобой блуждать по полям и никогда не возвращаться туда...

И он безнадежно кивал в сторону городка. А она не слушала его, все смотрела куда-то в даль и твердила:

— Мне теперь все чуждо и безразлично. Даже если бы вместе со мной провалился в тартарары весь этот за-, мерзший мир!..

Но иногда на нее нападала какая-то мрачная веселость. Ни за что не хотела она возвращаться тогда домой и без умолку рассказывала о шумных кредиторах отца:

— Они такие противные: курят, кричат, стучат кулаками по столу. Отец, конечно, виноват: он не вернул им so-время долгов. Но разве это повод для того, чтобы торчать у нас без конца и галдеть с утра до ночи?..

Пока кредиторы спорили, банк успел наложить арест на все движимое и недвижимое имущество должника. Тогда кредиторы кинулись в уездный город тягаться с банком, и в доме реб Гедалье наступило временное затишье. В комнатах водворился прежний порядок. Старательно навоощили полы, вставили зимние рамы, топили печи, правда, очень экономно. Выпавший однажды ночью настоящий надежный снег привалился к забору, облепил

наружные ставни, лег толстым слоем на крышу. Дом стал покорным, застывшим, тихим. Тишину эту нарушил запоздалый кредитор, однажды в полуденный час приехавший из дальнего городка. Худой, с густой черной бородой, сильно оттенявшей желтизну его лица, он молча сидел в передней и терпеливо ждал. К нему неоднократно выходил родственник Гурвицев—кассир, и, наклоняясь над самым его ухом, кричал громко, как глухому:

— Реб Гедалье надолго уехали... за границу!.. У своей сестры-помещицы гостят.

— То есть как?..

Гость морщил свое желтое лицо и переспрашивал хриплым, дрожащим голосом:

— Значит, так и пропали все мои деньги? С чем же я домой вернусь?

Мирл страшилась встречи с этим жалким, испуганным существом. Голодная, она блуждала целый день по городу и не отпускала Липкиса от себя:

— Ох, как я лопать хочу, ты и представить себе не можешь, а домой итти боюсь!

Она то и дело посылала Липкиса узнать, не уехал ли этот злосчастный кредитор, и нетерпеливо поджидая его возвращения, кричала ему еще издали:

— Ну, что? Все еще сидит?

Наступил вечер. Всюду засветились огни. Окоченевшая Мирл вернулась, наконец, в дом. Кредитор все еще сидел в передней, грустно шевеля пальцами рук, положенных на колени. Не раздеваясь, Мирл бросилась к нему и стала его утешать:

— Вы не волнуйтесь, прошу вас. Вам вернут ваш долг, поверьте мне. Уж я постараюсь, чтобы вам его вернули.

И, усаживая его потом в сани, она заботливо кутала ему ноги полостью, приговаривая:

— ,И тот конец подоткните. Да воротник-то не забудьте поднять. Вот так...

Скрипнули полозья, сани рванулись и исчезли, а она все еще стояла, шепча:

— Вот несчастный! Ах, какой несчастный!

Липкие досадовал на Мирл, из-за которой он потерял целый день, не попав ни на один из своих уроков. «Войдет она, наконец, в дом?» — сердито думал он.

— Вот несчастный! — все еще шептала Мирл. — Никто его, наверно, не любил и не любит, а теперь он и без денег остался, бедняга!

II

От реб Гедалье, между тем, приходили частые письма из-за границы. У сестры ему не сиделось: хотел он поскорее вернуться домой.

— Живьем, что ли, меня схоронить задумали! — жаловался он.

Гитэлэ и кассир писали ему успокоительные письма: «Все, слава всевышнему, улаживается: с кредиторами по-немногу сталкиваемся. Установился санный путь, и лес из Кашперовки вывозится куда лучше, чем раньше. Три тысячи, которые хранились у кашперовского графа, перечислены банком на новый взнос. Мирелэ, благословие ее господь, здорова. Зимний запас пшеницы все еще на терновской мельнице, а мука дорожает с каждым днем. Недалеко то время, когда ты, реб Гедалье, сможешь вернуться домой. Книги, которые ты просил, в том числе «Кузри» и первую часть «Абарбанеля», высылаем первой почтой».

В доме было спокойно: в кабинете поскрипывал пером кассир; в столовой стучал маятник стенных часов. К Гурвицам никто не ходил, разве что заглянет какой-нибудь запоздалый кредитор или придет жена раввина — Либке, мужеподобная, рыжая, всегда ехидно улыбающаяся. Она считала себя и своего мужа самыми близкими друзьями Гурвицев и часами просиживала рядом с молчаливой Гитэлэ; быстро шевеля спицами, она длинно и нудно рассказывала о делах своего мужа:

— И говорю я своему Авремелю: что тебе до всего этого? Пусть назначают в резники кого хотят!

Каждый раз, когда Липкие, останавливаясь в дверях, спрашивал — дома ли Мирл, раввинша, искоса поглядывая на Гитэлэ, улыбалась еще ехиднее, почесывая тупой спицей в парике, с трудом удерживаясь от того, чтобы не сказать:

— И как вы, милая, терпите в своем доме этого, голодранца? Ума не приложу!

Рядом с нетопленной гостиной, в сумеречной своей комнате лежала Мирл, не спала, все думала о чем-то, уставясь в одну точку. На полу валялась раскрытая книга. На шаги Липкиса Мирл даже не оборачивалась, но однажды спросила его:

— Как ты думаешь, полюблю я кого-нибудь?

Он вспыхнул, отвернулся к окну и, жалея, что пришел, вдруг почувствовал прилив настоящей злости. Он раскрыл было рот, чтобы сказать ей что-нибудь язвитель-

ное, как вдруг Мирл быстро соскочила с дивана и, ерша его волосы и смеясь, крикнула звонко и весело:

— Глупый, глупый! Ну, и глуп же ты!

Натягивая пальто, она ворчала капризно:

— Чего сидит тут эта рыжая кикимора? Если она тотчас не уберется, я выдавлю раму, и мы выскочим с тобой в окно!

Так тянулись короткие, скучные дни, вгоняя городок все глубже в зиму. Мирл перестала волноваться. Ничто теперь не заншмало ее: ни дом, ни семья, ни она сама.

Все хранилища ветров замкнулись в слепой серой мгле. Мгла эта все ниже и ниже нависала над грязной снежно-мерзлой землей. Закутаны небеса, зачеркнут горизонт— их не видно людям...

Дома под отяжелевшими от снега крышами задремали, как неуклюжие животные. И кажется, будто вслушиваются они в тишину скрытым, напряженным слухом. Вот из одной трубы показался дымок. Он тянется не к небу, а падает вниз, к земле, и, покругившись в воздухе, растилается по рыхлому снегу.

Базарная площадь полна пустоты. И только перед домом Авром-Мойше Бурнеса стоит несколько барских саней. Неуклюжие кучера поругивают засидевшихся господ и от нечего делать осматривают друг у друга лошадей: «Вот эта скоро ослепнет на левый глаз, а та уже тянет заднюю ногу». Лошади время от времени вздрагивают, стряхивая стынущие капли пота. Позванивают тонко бубенцы, хрустит под копытами ледок... А в доме богатые помещики заключают с хозяином крупные сделки: они скупают хлеб будущего урожая. Уютная, полутемная грихожая битком набита приказчиками и экономами, которые готовы каждую минуту исполнять приказания своих господ.

Неважно чувствовал себя Липкие, когда ему приходилось вместе с Мирл проходить мимо этого дома. Из всех сил старался он его не замечать и, чтобы отвлечь внимание Мирл, словно невзначай бросал в ее сторону:

— Года через два окончу университет и стану врачом...

Но Мирл, не слушая, все поворачивала голову к дому Бурнесов и не давала спутнику своему покоя:

— Ну, зачем они выкрасили ставни в этот отвратительный синий цвет? Прямо глаза режет!

А однажды еще добавила:

— Впрочем, вся семья Бурнесов очень мила. Я не прочь иногда повидаться кое с кем из этой семьи.

Липкие вышел из себя:

— Отказываюсь тебя понимать. О ком ты говоришь с такой теплотой? Имей в виду: человечество делится на две категории — на людей и на скотов. Если эти свиньи — люди, что же тогда я?

Мирл, окинув спутника долгим, пронизательным взглядом, ничего не ответила. Липкие не решился продолжать разговор. Ведь все равно, что бы он ни сказал, она повернет по-своему и очень невыгодно для него.

Молча они миновали длинную улицу и вышли на занесенную снегом пустую площадь. Глядя на дорогу, ведущую к хутору Велвеля Бурнеса, Мирл сказала:

— Сколько в тебе ненависти, Липкие! Будь я на твоём месте, я задушила бы себя собственными руками.

Она долго стояла, не двигаясь и не сводя глаз с дороги. Ждала ли она саней, показавшихся вдалеке, чтобы полюбопытствовать, кто в них сидит, или ей до того все было безразлично, что не хотелось двигаться с места?

Местечковые кумушки еще до сих пор судачили о том, что Мирл никак не может забыть прежнего своего жениха — красивого Велвеля Бурнеса. А он — молодец, не лезет: сидит у себя на хуторе, а сюда и носу не кажет.

Иногда молодые люди уходили далеко в снежные поля. Городок исчезал за ними в туманной мгле. Липкие радовался уединению, тишине, тому, что здесь нет молчаливой Гитэлэ и что рыжая Либке не почесывает тупой спицей в парике. Ему хотелось говорить о чем-нибудь значительном, но он не решался. Мирл была особенно раздражительна в эти дни. «Лучше не разговаривать совсем», думал он и молча плелся за ней.

Обогнув лесистый пригорок, молодые люди выходили на ветхий мостик; минуя его, поднимались на покатым холм и попадали на ровное, уставленное телеграфными столбами полотно железной дороги; полотно делало широкий, медленный поворот, черным кольцом замыкая бескрайний простор. Три пассажирских поезда ежедневно пронесли здесь свой гулкий грохот и исчезали в туманном закате. Эхо долго потом раскатывалось по далекому лесу. Тишина тогда становилась еще глуше, настороженнее, пока в туманной дали снова не появлялся черный дымок, и новый поезд, извиваясь, не пронёсся мимо.

Мирл волновалась, поджидая приближения поезда. Оживленное лицо ее принимало какое-то шаловливое, детское выражение. Сорвав с Липкиса студенческую фуражку, она надевала ее себе на голову и становилась у самого железнодорожного полотна:

— Среди пассажиров всегда найдется неудачник. Всю дорогу стоит он у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. Давай будем его приветствовать!

Если случалось, что кто-нибудь действительно так стоял, Мирл долго махала ему фуражкой, кивала головой и с горестной усмешкой приговаривала:

— Мы тоже несчастны, мы тоже, тоже...

Возвращаясь однажды с такой прогулки, Мирл издали узнала сани своего бывшего жениха и замедлила шаги.

Липкие посмотрел на нее таким взглядом, точно она собиралась его ограбить. А она, пунцово-красная, грубо закричала на него:

— Чего глаза выпучил?

И, пробуя скрыть внезапно охватившую её радость, добавила:

— Господи, до чего же ты, Липкие, глуп!

Она стала хохотать, прыгать, закидала его снежками и довела до того, что он, беспомощно закрывая ладонями лицо и ежась, убежал от нее далеко вперед.

Тем временем сани подкатили совсем близко. Мирл присмирела. Спрятав за спину руки с зажатыми в них снежками, она, еле улыбаясь, во все глаза глядела на Велвеля. В барской дохе, с ногами, укутанными медвежьей полостью, он глубоко сидел в черных лакированных санях. Промчавшись мимо, он ни разу не оглянулся ни на Липкиса, ни на Мирл. Она долго смотрела ему вслед, пока сани не скрылись за первыми домами окраины. «Барином стал», пробормотала она и долго потом молчала.

Только входя в город, она словно очнулась.

— А бородку он все-таки сбрил, — сказала она и засмеялась.

Липкие злился: «Вот о какой ерунде думает! Очень важно — сбрил этот буйвол бороду или нет».

Внезапно Мирл остановилась. Не поднимая головы, она сказала:

— А знаешь, люди, пожалуй, слишком стары и мудры, чтобы дольше жить. Не мешало бы им убраться поскорее и дать место другим — новым людям.

Она постояла с минуту, сощулив глаза и чуть-чуть кривя губы.-

— Куда же нам теперь деваться, а?

Ей не хотелось идти домой; там ждал ее томительно-длинный, одинокий вечер.

— Пойдем к Шац, — сказала она. — Выпьем ч^то, поговорим.

Они пересекли пустырь, и вскоре достигли беспорядочно раскиданных домиков села. Вечерело. От белизны снега рябило в глазах. Где-то на краю села брехали собаки: словно путаясь наступающей темноты, они с хриплым лаем набрасывались на нее, пытались отогнать от подслеповатых окон домов. Вот и покосившаяся, обнесенная низким плетнем хата, в левой половине которой уже два года живет акушерка Шаш Красный огонек ее окна виден далеко, далеко. В поздние ночные часы он приветливо и грустно мигает запоздалым путникам, последний раз напоминая о том, сколько несчастных, забытых и недовольных живет на земле. Но пройти по жизни можно и стороною — вот так, как делает это двадцатисемилетняя девушка Шац, живущая там, за Окошком, наполненным красноватым, грустно мигающим светом.

III

В шерстяном темносинем широком капоте с лентами, накрест перевязанными на груди, акушерка Шац лежала на кровати, курила и чему-то иронически улыбалась. У маленького стола, в красном отсвете абажура, сидел невзрачный, низкорослый провизор Сафьян и бесцветными, выпученными глазами смотрел на огонь лампы. Его колени нервно подергивались под столом. Он только что сказал, многозначительно взглянув на акушерку:

— Во всякой курящей женщине я вижу человека, нуждающегося в дурмане.

Акушерка Шац, приличия ради, должна бы хоть слово сказать в ответ на это замечание, но она молчала, словно Сафьян ничего и не говорил. Заслышав лай дворовой собаки, она привстала и, не вынимая папиросы изо рта, приветливо улыбнулась вошедшим Липкису и Мирл. Увидав гостей, Сафьян хотел распрощаться, но Мирл сказала с улыбкой:

— Куда же вы торопитесь? В аптеку? Успеете, успеете своими рецептами насладиться.

Тогда Сафьян остался и, смущенный, полный обиды

на акушерку, уселся на место. Глубоко затягиваясь, пуская кольца дыма под низкий потолок, акушерка посмеивалась и над собой, и над своей скудной обителью:

— Нравится вам у меня? Еще бы! Все в один голос твердят, что я устроилась на славу. Прямо не жизнь, а разлюли малина.

Улучив минуту, когда Мирл занялась разговором с Сафьяном, акушерка придвинулась к Липкису и, толкнув его локтем и мигая в сторону Мирл, сказала:

— Жаль мне вас, Липкие. Пропала ваша головушка!

— Голова моя, не ваша, — громко огрызнулся Липкис. — Не за советами к вам пришел.

Услышав это, Сафьян почувствовал, что колени его задрожали еще сильнее. Он встал и сказал, запинаясь:

— Ну, я все-таки пойду. Пора на дежурство.

И вышел на улицу. Шел медленно, выпучив глаза так, что казалось — вот-вот они вылезут из орбит.

— Да, — сказала акушерка, глядя на захлопнувшуюся за провизором дверь, — парень недалекий, но зато бескорыстный.

И, закуривая новую папиросу, стала рассказывать:

— Встретила я недавно в аптеке молодого врача Крашевского. «Доктор, говорю, я соглашусь за вас замуж пойти, если поедете со мною сейчас же к одной бедной роженице». Говорила я это при Сафьяне. Вот он сегодня и явился — нотацию читать. Неприлично, мол, девушке так разговаривать с мужчинами.

Весь вечер акушерка издевалась над всем и над всеми, не щадя между прочим и себя.

— Уж если в меня кто влюбится, то непременно окажется чем-то вроде Сафьяна. Предупреждал же меня дядюшка, когда я на акушерские пошла: «Сидеть тебе, милая, вековухой, помяни мое слово!»

— Почему же он так думал?

— Да так. Какой же порядочный еврей на акушерке женится?

Неподвижно сидя за столом, Мирл то рассеянно слушала болтовню акушерки, то забывалась, вспоминая пустынную дорогу, по которой промчались нарядные сани Велвеля.

Она задумчиво перебирала в памяти короткие и скучные события своей жизни: росла одна в доме отиа, боготворимая родителями, а выросла — ощутила какую-то душевную опустошенность. В семнадцать лет обручилась с Велвелем, сама не зная, зачем это делает; по примеру

сверстниц, пробовала учиться, уехала в большой город, но и там настигла ее та же сокрушительная тоска. Вернулась домой, и почудилось ей, что полюбила Носсена Геллера, но и в этом чувстве была какая-то трещина. Быть может, просто-напросто и чувства никакого не было. И она сказала Геллеру как раз тогда, когда он этого меньше всего ожидал: «Оставьте меня. Наши встречи бессмысленны. Можете уезжать, куда вам хочется». С Велвелем поступила так же. Ее всегда преследовало твердое убеждение, что жизнь должна быть другой, не похожей на эту — жалкую и безрадостную. Вот теперь она как будто бы свободна, а что толку? Такая же нелепая тоска! И, сидя здесь и слушая горькие шуточки этой увядающей девушки, шуточки, в которых сквозят жалоба и беспомощность, Мирл думает о своей и ее судьбе. Особых потрясений нет ни у той, ни у другой. Но и радостей мало. И не потому ли так обидно за себя и за эту одинокую, тщетно бодрящуюся девушку, чья молодость уже почти миновала? И Мирл сделалось страшно при мысли, что акушерка, прожив длинную, утомительную жизнь, пронесет через нее горькую свою усмешку и даже на смертном одре не расстанется с ней.

Акушерка встала и подошла к ящику с гильзами; руки проворно набивали гильзы, а лицо сделалось нахмуренным и усталым. Не собирается ли она заговорить о своем друге—поэте Герце? Герц проводит лето в далекой швейцарской деревушке, а зиму живет в своем родном литовском местечке. Не потому ли Шац уехала из этого местечка, оставив там всю родию, и вот уже два года ютится здесь, в селе? Мирл придвигает свой стул ближе к кровати, на которую опять уселась Шац. А Липкие, погруженный в грустные житейские заботы, думает о том, что уроков у него почти нет, и, как ни жмутся они с матерью, как ни перебиваются, денег нехватает. С такими доходами, пожалуй, и на будущий год не поедешь в университет. Очнувшись, он слышит, как Шац, смущаясь, отвечает Мирл:

— Нет, Герц мне не пишет. Станет он такими глупостями заниматься!

При этом она сильно затягивается, и огонек папиросы красным отсветом ложится вокруг ее искривленных губ.

— Да и к чему мне его письма? Ни к чему! И не нуждаюсь я в этом.

«Притворяется, — думает злобно Липкие. — Не нуждается в том, чего у нее нет и никогда не будет?!»

Поздно. В жарко натопленной комнате совсем тихо. Липкие прислонился головой к спинке кровати. Ему скучно. В ночном безмолвии слышно только ровное шипение лампы и медлительные слова акушерки:

— Герцу не так-то уж легко. При дневном свете он не пишет. Стыдно ему. Ведь он пишет на древнем библейском языке. Кто там его поймет? Ну, вот и пишет по ночам, хоронясь от людей. Вообще — он тяжелый, неразговорчивый. Только насмехается и молчит.

Мирл слушает, полузакрыв глаза. И ей кажется, что где-то здесь, в углу, стоит этот высокий, немного сутулящийся юноша. Светлые волосы его и усы коротко подстрижены. Весь он стремительный и беспокойный. А глаза, зеленоватые, глубоко сидящие, всегда спокойными во взгляде их есть что-то тревожное и насмешливое.

— Должно быть, и сейчас он там у себя, в Литве, — продолжает акушерка. — Бродит по округе один. Людей он избегает, сторонится. Не поймешь его... Он не то боится жизни, не то гнушается ею...

Она повернула голову к стене и, с трудом преодолевая смущение, вдруг начала читать стихи Герца:

«Я годами скитался по свету без имени и крова. И на пути своем все реже встречал человеческое жилье. И забыл я счет своим дням. И будни мои не сменялись больше праздниками.

Точно камень, брошенный в море, тонуло прошлое в памяти моей. И не торопился я — ходил по дороге, которая никуда не вела. Но однажды в сумерки дорога все же привела меня в город мертвых. И я туда вошел и нашел все двери открытыми. И ходил я из дома в дом без страха и желаний. С камнями, зажатыми в холодных руках, всюду валялись трупы. И не знал я, в кого они собирались эти камни бросать. Лишь в одном из домов меня встретила девственница мертвого города. Прижимая к груди восковую куклу, она смотрела на меня из-за угла глазами, полными безумия. «Как поздно ты г/ришел, — сказала она, — не тебя ли мы так долго ждали? Взгляни — все уже мертвы». И, выпустив куклу из рук, она упала мертвая. Тогда я покинул и этот дом, сел у ворот города и подумал: куда же мне дальше итти? И остался я вечным стражем мертвого города».

Акушерка умолкла. Мирл резко поднялась. Поздно. Пора домой.

Она немного еще постояла, думая об этих странных стихах о мертвом городе. Потом искоса посмотрела на

искаженное лицо акушерки. «Преобразилась вся. А еще притворяется, что все ей нипочем. Эх, горе-богатырь!» — подумала она.

— Ну, и чудак же ваш Герц! — тихо сказала Мирл. — Без толку живет и пишет будто для мертвых. Не сошел бы он с ума!

— Пустое, — встряхнулась Шац. — Все вынесет. Такому и черт не страшен!

Очутившись с Липкисом на улице, Мирл заглянула в окно к Шац. Закинув ногу на ногу, с дымящейся папирсой во рту, она неподвижно сидела на кровати и глядела бессмысленно-тяжелым взглядом на нищие стены своего жилья.

Было далеко за полночь. Городок спал. Перед глазами Мирл все еще стояло искаженное лицо Шац. В ушах звенели отдаленные строки стиха, вызывая мучительное, полное жуткого смысла видение мертвого города.

— И зачем ей понадобилось на ночь глядя читать о 'проклятых мертвецах? — сердито сказала Мирл. — Теперь они мне до утра будут сниться...

Но, проходя мимо дома Бурнесов, она вдруг остановилась и весело заговорила с ночным сторожем, дремавшим на скамеечке у крыльца:

— Здорово, Захар! Как живешь? Почему к нам никогда не приходишь? Совсем нас забыл, а?

Старик поднялся ей навстречу, снял шапку и, сияя улыбкой, сказал:

— О це ни... Да як же мени забыты? Скилько раз я барышне цидульки от панича носил. А теперь, сказывають, барышня, мабуть, не невеста билыее нашему паничу. Це правда, що кажуть?

И Мирл крикнула ему в самое ухо Г

• — Правда, Захар, правда.

Она долго еще разговаривала с ним, интересуясь ВСе^J ми обитателями дома. Липкие искренне обрадовался, когда она, распрощавшись, оставила, наконец, Захара «Не пойму, — думал он с возмущением, — и что за охота целый час с ночным сторожем лясы точить?»

Но Мирл снова остановилась.

— Вот забыла, — сказала она. — Захару ведь следовало бы на чай дать. Нет ли у тебя рубля?

Доставая деньги, Липкие сердито думал:

«Однако, не очень-то она церемонится! Берет у меня деньги, точно у мужа!»

IV

В доме реб Гедалье Гурвица ждали гостей. Комнаты были тщательно убраны, паркет натерт; парадные розовые портьеры вынуты из сундуков; плюшевые дорожки побежали из комнаты в комнату. Холодная гостиная теперь ежедневно протапливалась.

В городе заговорили о новых смотринах у Гурвицев. Все были уверены, что Мирл «станет-таки невестой Шмулика Зайденовского». Отца его Янкель-Иосифа знали очень хорошо: ведь он был родом из этих мест. Теперь живет он в предместье большого города; у него свой винокуренный завод и воловни.

К Липкису по десять раз на день приставали с одним к тем же вопросом: «Правда ли, что молодой Зайденовский сватается к Мирл?»

— Откуда я знаю? Что вы пристааете ко мне? — огрызнулся он.

Последнее время он почти не встречался с Мирл, не вылезал из-за стола, не отрывал глаз от книги, и все-таки одна мысль неотступно терзала его: «Правда ли, что Мирл встретилась где-то с молодым Зайденовским, и правда ли, что Зайденовский засылает теперь к ней сватов?»

Но дни шли за днями, а к Гурвицам никто не приезжал. Мирл бродила осунувшаяся и унылая. Она казалась безразличной ко всему, что говорили о ней в городе. Она стала равнодушной и к себе, и к беднеющим своим родителям. Но порой какое-то безрассудство одолевало ее.

— Что вы то и дело бегаєте к жене фотографа? Неужели я хуже ее? — накинулась она как-то на улице на сестер Бурнее.

Сестры переглянулись и ничего не ответили. Они долго потом смотрели вслед этой странной девушке, бесцельно бродящей вдоль пустынного переулка.

У аптеки Мирл остановилась и, оглянувшись по сторонам, увидела оборванного мальчишку. Она попросила его вызвать провизора Сафьяна, а сама стала терпеливо ждать.

Мимо на крестьянских санях проехали торговцы. Они изумленно оглядывались на нее и о чем-то шептались. Но сна, как бы не замечая их, серьезно посмотрела в лицо провизора, спускающегося с лесенки и поспешно одевающегося на ходу.

— Может быть, вы проводите меня к акушерке Шац? — смущенно спросила Мирл.

Заметив, однако, нервно подергивающиеся пальцы, которыми Сафьян тщетно пытался застегнуть пуговицы старенького пальто, она спохватилась:

— А впрочем, к ней рано еще... Пожалуй, не застанем, да и не стоит к ней итти. Давайте лучше побродим, а? Только, может быть, вы заняты?

— Пег, почему же? Могу побродить, — пожал плечами Сафьян. И, вытаращив бесцветные глаза, поплелся за ней — неуклюжий и тихий. Как нарочно, в голове было пусто, и ни одна мысль не возникала в ней. Он нервно теребил пуговицу, вытягивал шею из воротника и молчал. Молчание становилось все тягостнее. Наконец, Мирл спросила:

— Не потомок ли вы старинной фамилии, Сафьян?

И, не дожидаясь ответа, добавила:

— Я тоже!.. Отец мой выходец из Германии. Долго в роду Гурвицев не было притока свежей крови. Браки совершались исключительно между родственниками. Вероятно, отсюда и идет вырождение. И не потому ли я так непригодна к жизни? Не отсюда ли эта пустота?

Они постепенно уходили из городка. Голосом, вздрагивающим от волнения, Сафьян нерешительно заговорил:

— Конечно, мое дело сторона. Но почему бы вам, Мирл, не заняться чем-нибудь? На курсы поехали бы, что ли... Ведь вы еще так молоды!

Мирл опустила голову, остановилась и, разрыхляя носком ботинка снег у обочины дорожки, сказала:

— Вы не первый спрашиваете меня об этом.

В туманном воздухе было тихо. Ни души кругом. Даже воробьи попрятались куда-то в этот непогожий, мглистый час.

Вздохнув, Мирл проронила еле слышно:

— Не в этом дело, Сафьян. Вы меня не поняли. Пустота слишком могущественна. Она тут, во мне, глубоко. От нее не отделаешься ни книгами, ни работой — ничем.

Глаза Сафьяна выкатились еще больше. Он весь насторожился в предвкушении интересного спора. Ноздри его задрожали. Он замахал руками, засуетился:

— По-моему, вы ошибаетесь. Вы...

Но Мирл не слушала Сафьяна.

— Смотрите, — перебила она его, — здесь недавно ходила я с Липкисом. Вот наши следы, видите?

Хотела ли она сказать этим, что суждения его никак ей не интересны, или надеялась, что Сафьян передаст ее слова Липкису и тот опять затоскует по ней?

Они бродили еще долго — до вечера. Мирл то и дело заботливо спрашивала спутника — не продрог ли он, не рассердился ли на него хозяин за такое длительное отсутствие, не голоден ли. Прощаясь, она стала благодарить его: она бесконечно признательна, ей совестно, что она отняла у него целый день...

Выходившая из лавки родственница Бурнесов ехидно улыбнулась и, кивнув в сторону Мирл, сказала лавочнице:

— Гляньте-ка, еще один бычок на веревочке. Ну, нечего сказать, нашла на кого польститься!

Но Мирл, не моргнув, громко крикнула вслед удаляющемуся Сафьяну:

— Хорошо погуляли, правда? Давайте и завтра пойдем!

И, уже взбегая на крыльцо, она обернулась и крикнула еще громче:

— Завтра в это же время — у аптеки!

Весь вечер потом, сидя одна в своей комнате, Мирл досадовала на себя: вот прошел еще один день, бессмысленный и праздный. Встреча с сестрами Бурнее, глупая прогулка с Сафьяном, пытливые взгляды и перешептывания баб — все, все это вызывало в ней чувство отвращения и безысходности. И никуда от этого чувства не скроешься — никуда.

Из столовой доносилась спокойная, непрерывная болтовня молодой раввинши, засидевшейся у матери. А на окнах все еще висели нарядные портьеры, все еще разостланы дорожки, придающие дому такой нелепо праздничный вид; все еще топят гостиную... Стоит Мирл только показаться в столовой, как мать вскидывает на дочь укоризненные внимательные глаза и как будто говорит: «Все мудришь! Из-за тебя не приезжает тот, кого мы ждем вот уже две недели».

И после,-терпеливо слушая болтовню раввинши, мать сидит тихо, изредка поглядывая на розовые свои ногти, **И** молчит.

Хоть бы кто закричал в этом доме!

Остаться в комнате немоготу. Мирл одевается быстро, кое-как закутывается платком и, пробегая через столовую, сердито бросает:

— Зря топите гостиную! Да и вообще зря весь этот парад!

На лице Гитэлэ не вздрагивает ни один мускул. Она

остаётся неподвижной на своем диване и, спокойно глядя в дальний угол комнаты, бросает:

• — А кому помеха, что в доме праздник?

. Возмущенная бездушием матери, Мирл, громко хлопнув дверью, выскакивает на улицу. Возвращается она только в полночь.

Так длится несколько вечеров подряд.

В один из таких вечеров у крыльца дома Гурвицев остановились наемные сани, и средних лет человек с трудом вылез из них. Низкорослый, укутанный в енотовую шубу, человек этот вошел в освещенную переднюю и окоченевшими от холода пальцами отогнул воротник; при этом маленькие его глазки конфузливо улыбались:

— Я от Зайденовских... Заехал к вам по их просьбе.

Его встретили Гитэлэ и родственник-кассир. Они молча глядели, как гость не торопясь снимает тяжелую шубу и, чуть приподнявшись на носках, аккуратно вешает ее. Затем, сидя в столовой за чаем, оба прислушивались к его спокойной, неспешной, заранее обдуманной речи:

— Сватовством, смею вас уверить, я никогда не занимался, бог миловал...

Он только давнишний друг старика Зайденовского и приехал сюда по его просьбе.

— Не в службу, как говорится, а в дружбу, — застенчиво улыбается он.

Его седая, длинная борода покоится на груди; не* большие серые глаза все время улыбаются; орлиный.) усеянный сетью красно-синих жилок, нос уверенно сидит на лице — и весь он, свободно одетый в длинный, черный сюртук, выглядит солидным и благообразным.

Сидели долго — до полуночи. Гостю приготовили по^J стель в кабинете отсутствующего хозяина. Гитэлэ попрощалась с гостем и ушла к себе, а он достал из саквояжа толстую древнееврейскую книгу и извиняющимся тоном сказал кассиру, который тоже собрался уходить:'

— Был я, извольте видеть, книгоношей когда-то. Вот и осталась привычка почитать на сон грядущий.

Все в доме уже спали. Из кухни доносился храп служанки, а гость, сидя за столом, все еще читал при свете низко спущенной лампы.

Вдруг он отложил книгу в сторону и прислушался: в наружный ставень окна кто-то слабо стучал. Выждав немного, гость поднялся и пошел отворять: высунул нос за дверь, увидел Мирл и залепетал смущенно:

i— Гм... гм.. Очень приятно познакомиться.

Мирл вздрогнула, увидев чужого человека, и, схватившись судорожно за грудь, сказала:

— Ну, и напугали же вы меня!

Войдя в дом, она все еще сторонилась незнакомца, точно боялась, что он коснется ее. В черном ее утонченная красота была еще строже, и старику-еврею показалось, что в комнате распространилось благоухание. Гость, пытливо разглядывая девушку, не переставал кланяться и повторять то и дело:

— Гм... гм.. Чего ж тут пугаться? Приятно, очень приятно познакомиться.

Было что-то забавное в его смущенных движениях, з почти детской робости, которая не позволила ему подать Мирл руки. Но Мирл все еще не могла притти в себя. Она разбудила служанку и взволнованно стала расспрашивать ее:

— Кто это? Зачемпустили в дом?..

Ложась в постель, гость все еще слышал, как Мирл громко шептала: «Кто его знает, откуда он? Может, какой бродяга или вор?»

То ли от добродушия, то ли от удивления, гость тихо улыбался под одеялом:

— Вот тебе на, за бродягу меня приняла. А славное дитя! Уж очень хороша собой!

Гость прожил два дня. И каждое утро, просыпаясь, Мирл слышала, как он беседует с матерью и кассиром; разговор был один и тот же:

— Нравится ваша дочка Зайденовским. Очень нравится. И Янкель-Иосиф и его супруга были бы очень довольны, если бы я привез хорошие вести. А молодой Зайденовский — тот совсем голову потерял. Приданого им от вас никакого не надо, это в их расчеты не входит. Так и велели вам передать.

Мирл старалась заснуть надолго, чтобы, проснувшись, узнать, что гостя с его оскорбительными разговорами в доме уже нет. Но из столовой несся ровный, бесстрастный говор:

— Зайденовские, смею доложить, люди покладистые, славные. И жених, Шмулик Зайденовский, очень благовоспитанный молодой человек.

Наконец, гость уехал. Но не прошло и трех дней, как от него посыпались письма и телеграммы. Их с большим интересом по нескольку раз читали Гитэлэ и кассир. Они без конца шептались и советовались друг с другом. Гитэлэ косилась на дочку: «Хоть бы соизволила узнать, о

чем пишут, хоть бы поинтересовалась». Кассир хмурился и все собирался поговорить с Мирл, но не решался. Так было до тех пор, пока Мирл сама не сказала ему:

— Передайте мамаше, что все это бесполезно, ни к чему не приведет. Потрудитесь так и передать.

И все же, когда спустя несколько дней она от нечего делать поехала в уезд, кто-то распустил по городку слух о том, что она встречается с молодым Зайденовским. Ее видели там прогуливающейся с ним у тюрьмы, и в мало-российском театре видели их вместе. Никто не мог сказать, обусловлено было это их свидание, или они встретились случайно. Вернулась она также внезапно, как и уехала, побледневшая и грустная. Был полуденный час. Гитэлэ, сидя за столом, с которого еще не была убрана обеденная посуда, ковыряла спичкой в зубах и слушала деловые письма, которые читал ей кассир.

Мирл, пройдя мимо, даже не поздоровалась с ними. Она заперлась в своей комнате и долго не выходила. Гитэлэ все приставала к кассиру, чтобы тот пошел к Мирл и расспросил ее хорошенько — к какому же решению пришла она, наконец. Но осторожный кассир не спешил. Он морщил лоб, легонько потягивая носом.

Между тем Мирл оделась и вышла из комнаты. Кассир нерешительно последовал за ней, настиг ее в коридоре и, ослабившись, промямлил:

— Я вот о чем хотел спросить...

Но Мирл, не дослушав, сердито крикнула ему:

— Сказала же я вам раз и навсегда — бесполезно все это. Напрасно трудитесь!

Он постоял с минуту, не зная, что предпринять. А она спокойно сошла с крыльца и медленно зашагала куда-то вверх по улице.

Стояла оттепель. Был тусклый, еле скованный легким морозцем день. Под ногами скользил рыхлый, грязно-серый снег; такие же грязные вороха неубранной после ярмарки соломы, перемешанные с конским навозом, валялись на мостовой. В этих растрепанных кучах копались свиньи, коровы совали туда свои равнодушно-тупые морды.

У дверей лавок стояли торговки, закутанные поверх толстых ватников в теплые шали; они во все глаза глядели на Мирл.

— Опять, поди, ни с чем приехала! — фыркнула одна из них. — Вот беда, никак не засватают девуку!

Мирл круто "свернула в переулок и, очутившись перед

ломиком Липкиса, постучалась с таким чувством, точно это было единственное место, куда она могла в эту минуту укрыться. Липкиса не было дома. Его мать подобострастно кланялась, провожая Мирл, и приговаривала:

— Все трудится, мой кормилец. Как пошел на уроки с утра, так и не возвращался.

Постояв немного в нерешительности, Мирл отправилась к акушерке Шац, но и ту не застала дома. На дверях висел пузатый замок; из второй половины домика неслась ругань попеременно с плачем ребенка. Хозяйка, приоткрыв дверь, неприязненно оглядела Мирл.

— Нету дома, — сказала она грубо. — Еще вчера ночью уехала в Кашперовку.

Мирл медленно пошла обратно. У аптеки она задержалась на мгновение и пошла дальше. Около дома Бурнеса замедлила шаги: перед домом было пусто. С крыльца спускался рослый, одетый в рваный кожаный халат. Он только что просил у Авром-Мойше денег в счет будущей работы и получил отказ. Тяжко вздохнув, мужик нахлобучил шапку и, решив, что с пустыми руками домой торопиться нечего, побрел куда глаза глядят.

Почти у самого дома Мирл натолкнулась на одного из соседей, так же, как и она, бессмысленно блуждающего по городу. Это был худой, долговязый человек, заносчивый и болтливый; он давным-давно осточертел всем своими бесконечными рассказами о дочери, которая учится «не в захудалом каком-нибудь городишке, а в самом городе Париже — вот как!»

— Письмо вчера получил от нее, — обратился он к Мирл, как будто продолжал прерванный разговор. — На рождество не приедет — где там — все занята...

Он скрестил на груди руки и смотрел куда-то поверх головы Мирл.

— А к Нохэму Тарабаю уже съехались дети, —> вздохнул он. — Студент-политехник с товарищем и младший сынишка — реалист. Званный вечер, говорят, устраивают, гостей со всей округи приглашают.

Не зная, о чем можно еще поговорить с Мирл, он молча постоял около нее и побрел дальше. Мирл вспомнила, что Носсен Геллер дружил со студентом Тарабаем. После того как она перестала встречаться с Геллером, он провел у Тарабаев целое лето. От этого воспоминания ее всю передернуло: тогда ей кто-то передал, что Геллер непочтительно и даже грубо говорил о ней з семье Тарабая. «Что ж, — говорил он, — не я первый, s

кем Мирл крутит за плечами своего незадачливого же ниха». И чтобы как-нибудь досадить ревнивому Геллеру, Мирл, вместе с Велвелем ездившая тогда на сахарный завод, послала к Тарабаям кучера с просьбой одолжить теплый плащ для Велвеля, которого будто бы застигла в пути ненастная погода.

Все это было так унизительно и глупо! На мгновение ей показалась завидной жизнь молодых Тарабаев. Они учатся где-то в больших городах, в каникулы шумно наезжают домой, веселятся, опять уезжают. Кончат учение и пойдут работать куда-нибудь на захолустные заводы, будут на досуге заводить граммофон и играть с сослуживцами в карты — долго, азартно — до умопомрачения. Она вдруг представила себя женой одного из них, и ей сделалось страшно. Вот лежит она вечером одна и дожидается мужа. Придет он, наверное, только на рассвете, ничего нового не скажет, никаких радостей с собой не принесет. И так будет долго-долго, до скучного и неизбежного конца. Ее сразу охватило отвращение к дому Тарабая и его обитателям. И в то же время она отчетливее, чем когда-либо, почувствовала, что где-то живут люди, занятые чем-то настоящим. И не зная, кто они, где их искать, она ощутила острую тоску по этим людям. Как в тумане, тянутся ее дни. И, подобно слепому щенку, беспомощно тыкающемуся мордой во все углы, она повсюду наталкивается на глухие стены безысходного одиночества.

Неохотно вернулась она домой. В ее комнате на столике лежало два приглашения на вечер Тарабая: одно для нее, другое для акушерки Шац.

V

Старуха Бурнее все последние дни была в благодушном настроении. Она без конца принимала гостей и каждого в отдельности встречала одними и теми же словами:

— Ну, слава богу — сына женим!

И потом, усаживая гостя в мягкое кресло гостиной и сама усаживаясь поудобнее, она продолжала своим хрипловатым, астмическим баском:

— Невеста — ничего не скажешь: хороша! И образованная — гимназию кончила, и брюнетка, и богатая.

Все кругом только и говорили, что о предстоящей женитьбе Велвеля. А глядя на Мирл, нельзя было ска-

ЗЕТЬ: знает она обо всем этом или нет, или знает, да только делает вид, что ей ничего неизвестно.

На следующий день, закутанная с ног до головы, она уселась в обшарпанные отцовские сани и поехала на Е-занный вечер к Тарабаю. По дороге велела вознице свернуть к акушерке. Но Шац опять не было дома, и Мирл как-то растерялась от этого — настроение сразу упало. Она отдала хозяйке приглашение с припиской: «Во что бы то ни стало приезжай к Тарабаям. Сделай это ради меня».

Усаживаясь в сани, она подумала: «Глупо ехать к Тарабаям; не вернуться ли домой?» Но вознице сказала:

— Трогай, — и поехала дальше.

Через некоторое время ее нагнали двое нарядных саней. Справа и слева зазвенели колокольчики, и комья снега из-под копыт полетели на колени. Точно во сне промелькнуло мимо отчужденное лицо Велвея. Он сидел в санях, мчащихся слева, а сестры — в санях справа. Они весело крикнули что-то друг другу через голову Мирл, точно она была неодушевленным предметом, и очень скоро оставили ее далеко позади.

И только когда на горизонте замаячили едва приметные точки, Мирл очнулась и увидела: мальчишка-возница стоит в санях и изо всех сил погоняет тощих лошадей. Она порывисто вскочила и, схватив мальчишку за плечи, стала тянуть его книзу:

— Зачем ты гонишь лошадей? Зачем?..

Мальчик смутился, остановил замученных кляч, вылез и долго возился с лопнувшей постромкой. А она сидела в санях, подавленная, усталая и все приговаривала:

— Если б эти клячи сразу околели, я бы не пожалела о них. Но пока они еще двигают ногами — жалко их бить.

Приехали они только к вечеру — когда на селе зажигались огни. Дневной свет превозмогал надвигающиеся сумерки. Дорога пошла круто в гору. Лошади с трудом карабкались по ней, и Мирл смотрела на скучный ряд нищенских домов, который заканчивался высокой заводской трубой, похожей на перевернутый восклицательный знак.

Дом Нохэма Тарабая сиял огнями и был удивительно похож на хозяина. «Что ж, — безмолвно кричал он, — если дела хороши, почему не пожить на белом свете в свое удовольствие? Чем мы хуже помещиков?»

Лошади медленно добрались до ярко освещенного

кг-ытьпэ и остановились. Тщательно расчищенные дорожки перед фасадом, тяжелая резная дверь, никелевая дощечка на ней — все это выглядело нарядным, и во всем чувствовалась хозяйская рука. На робкий звонок Мирл выбежал сам Нохэм Тарабай; как всегда, веселый, в черном сюртуке, он галантно расшаркался перед нею:

— Ясновельможна панна опоздала ровно на два часа. — И, вытягивая манжеты из рукавов, он все пенял ей, пока она раздевалась в теплой прихожей: — В приглашении ясно сказано, что съезд гостей к четырем часам. А теперь, извольте видеть... — Он вытащил массивные золотые часы, стрелка которых показывала ровно шесть. — И хоть нехорошо со стороны ясновельможной панны опаздывать, — продолжал он, — но ясновельможна панна может быть уверена, что к ее венцу я не опоздаю ни на одну минуту.

Поправляя корсаж и прическу перед большим зеркалом, Мирл внимательно посмотрела на свое лицо и открытую шею и насильно усмехнулась:

— Поверьте, не я тому виной!

Уже в первой, залитой огнями комнате, куда взял ее Тарабай, она сразу почувствовала всю притягательность своей девичьей, туго затянутой в светлый шелк, фигуры и тут же решила: «Хорошо сделала, что приехала».

В низком кресле сидела она против хозяйки дома и ощущала на себе множество тянущихся к ней взоров и, улыбаясь, уверенно отвечала на вопросы:

— Да, мама давно уже не выезжала. Все больше дома сидит...-

— Да, папа за границей. Ничего, здоров...-

Время от времени она поглядывала в дальний угол комнаты, где двое мужчин, близко склонившись друг к другу, искоса и жадно смотрели в ее сторону:

— Кто?.. Мирл Гурвиц?.. Из какого местечка?

Рядом с ними на просторном диване сидели обе девушки Бурнее, лица их были напряженными, словно девушки боялись, что кто-нибудь скажет у них за спиной: «Отец-то совсем недавно разбогател. Ведь он был самым последним бедняком!»

Какой-то тучный поляк с грубым, обветренным и небритым лицом был уже сильно пьян и все не переставал сыпать льстивые речи по адресу хозяина дома, с чьей помощью он заключил очень выгодную сделку на сахарном заводе. Шатаясь, он останавливал всех подряд и пе-

редавал какую-то последнюю остроту Тарабая. При этом он весь расплывался от восхищения:

— От це шельма тен пан Тарабай!.. От шельма!

За зеленым столом дулись в винт, и один из игроков приподнялся и крикнул в соседнюю комнату:

— Г шампанским не торопитесь. Шампанское ровно в двенадцать.

Возле Мирл все ещё сидела, стараясь занять гостью, жена Тарабая. Она смотрела на молодую девушку своими лживыми темными глазами, от взгляда которых снижал смиренно даже сам веселый и болтливый Нохэм.

— Ума не приложу, — говорила она мягко, наклоняясь к Мирл, — чего вы сидите в этом вашем захолустье? Ну, наше дело таковское — живем на селе, потому что с заводом связаны. Ну, а вы-то, вам-то чего киснуть?

В глубине комнаты за столом, в тесном кругу других гостей сидел Велвель. Бурнее; он сидел спиной к Мирл, но все время помнил о ней, чувствовал ее присутствие и не знал, куда девать свои руки. Всякий раз, услышав ее голос, он поправлял галстук дрожащими пальцами и неестественно, в упор глядел на собеседника, который горячо что-то доказывал ему.

Немного поодаль от Велвеля, в глубоко вырезанных жилетках, стояли молодые служащие завода. Они знали все, что произошло прошлым летом между Мирл и Носсеном Геллером; неотрывно, осоловелыми глазами смотрели они на ее декольтированную шею и перебрасывались непристойностями: «Вот он какую бабенку хотел подцепить!»

Кто-то отозвал хозяйку дома, и Мирл осталась одна. Чувствуя на себе пристальные, нечистые взоры, она легко поднялась и прошла в соседнюю комнату. Вдруг кто-то окликнул ее. Она, вздрогнув, остановилась. Но это была бедная дальняя родственница Тарабаев, которая жила в одном с Мирл городке.

— Мирл, не возьмете ли вы меня с собой обратно? Я что-то чувствую себя здесь не в своей тарелке!

Мирл утвердительно кивнула головой.

Вдруг из дверей хлынула толпа молодежи и, громко хохоча и топая ногами, скрылась в соседней комнате. Мирл огляделась. За круглым, уставленным сластями, столом сидели мать и отец Бурнесы. Мать закатывала глаза и, колыхаясь всем своим жирным телом, жаловалась хозяйке дома на бесчисленные болезни.

— Прямо не жизнь, а мука, — басыла она.

По правую руку от жены сидел Авром-Мойше, Бурнее. Перед ним извивался Нохэм Тарабай, желая разве-селить своего чуть-чуть омраченного гостя:

— Чего горевать, реб Авром-Мойше? Дети, слава богу, обеспечены. Вот пристроите их и будете жить со своей старушкой припеваючи.

Мирл шагнула к открытой двери в столовую и остановилась там, прильнув щекой к притолоке. В столовой весело звенела посуда, накрывались столы, сверкали серебро и хрусталь. Гости — иные стояли кучками, иные ходили взад и вперед в ожидании ужина. Акушерка Шац тоже была здесь. Она только что приехала и, еще румяная от холода, стояла рядом с товарищем пана Тарабая и развязно прикуривала от его папиросы.

Мирл бросилась к ней, обняла ее за талию и по-детски всем телом прижалась к ней.

— Как я благодарна тебе, что ты приехала! — шепнула она.

Пили вино. Прежде чем открыть пробку, долго держали бутылку в руках и, улыбаясь, рассматривали этикетку. Пили все время — и за едой и после, когда слуги унесли пустые приборы.

Какой-то долговязый родственник Тарабая, уже совсем пьяный, красный и потный, ставил на стол все новые и новые бутылки и, через край наполняя бокалы, выкрикивал нараспев:

— А теперь выпьем за старшего сына Бориса. Его здесь нет с нами, так выпьем за его здоровье.

— А теперь выпьем за старшую дочку Таню...:

И так без конца.

Из-за густого табачного дыма венчик пламени в лампе казался багровым; нестройный говор, пьяные выкрики и смех, звон соприкасающихся бокалов — все это наполняло до краев прокуренную, душную столовую. Но этот шум перекрывал голос того долговязого, который все еще кричал (теперь уже фальцетом):

— А теперь выпьем...-

К Мирл подошел и уселся* рядом приезжий политехник. Он вульгарно кашлянул в кулак и вдруг сказал ей, гадко усмехаясь:

— А что, не дурен собою Носсен Геллер? Красивый папень! — Мирл сделала вид, что не расслышала его. Она продолжала смотреть равнодушно в другую сторо-

ну, как вдруг почувствовала, как этот пьяны"! пошляк приблизил ногу и слегка коснулся ее коленч. Мирл, почти теряя сознание от обиды и гнева, вскочила и, красная, широко открыв глаза, крикнула во весь голос:

— Ке сметь!

Чувствуя, как холодеет у нее все внутри, в каком-то! радостном самозабвении она добавила еще громче:

— Дурак!

И выбежала в гостиную.

Резко задвигались стулья. Все вскочили, зашептались, зашущукались. Но Мирл было уже все безразлично. Она стояла одна и, унимая тяжело бьющееся сердце, шептала:

Господи, господи! И зачем я приехала сюда?

Между тем из столовой все повалили в гостиную. Пьяные гости окружили Таню, дочку Тарабая, и толкали ее к роялю. Девушка подошла неохотно и, приподняв крышку, развернула ноты.

Шум постепенно умолкал, и скоро стало совсем тихо. Чистые, сильные звуки бетховекской сонаты наполнили дом. Высокие верхние ноты перекликались с мягкими басовыми, словно робко спрашивая у них: «Как вы чувствуете себя здесь? Не стыдно вам? Не отвратительно?»

Никто не осмеливался нарушить эту тишину. И только где-то в дальнем углу совсем уж охмелевший поляк все еще Е'З МОР успокоиться:

— От *us* шельма тен пак Тарабай!.. От шельма!

Мирл оставила гостиную и пошла по дому в *поисках* Шац. В одной из комнат она натолкнулась на Велвеля; Велвель стоял со своими родителями и с Нохэмом Тарабаем, Мирл отпрянула назад, схватилась за притолоку и, повернувшись на каблуках, быстро побежала обратно.

— Пан Тарабай, — услышала она уже издали голос старухи Бурнее, — храните деньги моих детей у себя, прошу вас. Не верю я больше этим графам и помещикам.

Мирл нашла акушерку в столовой. Шац была почти совсем пьяна, и Мирл с отвращением отшатнулась от ее отравленного дыхания.

— Что ж, — сказала Мирл, — пора бы домой. Или ты до утра собираешься здесь быть?

'Девушки незаметно пробрались' в переднюю, б делись; и поехали домой. Сидя в старых санях реб Гедалье, они медленно двигались в ночь. Маленький возница плакал от обиды.

— Даже погреться не пустили, изверги, — хныкал он. — Всех богатых кучеров булками кормили, а я, как, собака... Но-о!

Подвыпившая акушерка бессвязно болтала и смеялась. Мирл сидела рядом, тихая и подавленная. Она не сводила равнодушных глаз с фонарей сахарного завода, терпеливо охраняющих каменные амбары, туго набитые мешками сахару. И с особенной силой ощутила она пустоту миновавших и грядущих дней.

Когда Мирл, вернувшись домой, проскользнула в дверь и на цыпочках пошла через столовую, Гитэлэ сильно заспанным голосом крикнула ей:

— Там, на столе, телеграмма — от отца.

Мирл не торопясь подошла к столу, вывернула фитиль и прочла телеграмму. Завтра днем возвращается отец. И почему-то она не пошла к себе в комнату, а с телеграммой в руках присела здесь, на краю дивана, и впервые за все это время задумалась об отце. «Вот и его я уже не люблю. Даже отец мне не дорог, — думала она. — Ничего, кроме жалости к нему, больному, разва- рившемуся, у меня нет. Столько денег он растратил — и своих, и унаследованных! А я? Я так беспомощна. Ничего не умею. Чем я могу помочь?»

Уже наполнились неярким светом щели ставен, когда она разделась и легла. Где-то далеко прозвенели бубенцы. Это возвращались Бурнесы.

По комнатам мягко шлепала Гитэлэ. Пожилая, молчаливая, упрямая, эта женщина крепко любила своего мужа и тосковала по нем. И теперь она не могла спать от волнения и ходила из комнаты в комнату, чтобы хоть как-нибудь убить время и скоротать часы томительного ожидания, последние часы, разлучающие ее с мужем.

VI

Несмотря на все предстоящие ему неприятности, реб Гедалье Гурвиц был рад, что вернулся домой. Весь субботний день он чувствовал себя спокойным и даже веселым.

Вечером пришли гости. Он с улыбкой посматривал кругом поверх золотых своих очков, ничего не говорил о делах и даже пытался шутить:

— А за границей-то я за жениха сошел. Сватали меня, невесту подыскивали.

На самом же деле вернулся он сильно похудевшим.

Темное лицо его, даже когда он улыбался, было торжественным и печальным, как у мертвеца.

На подоконнике в кабинете вытянулся скучный ряд пузырьков с длинными хвостами рецептов и тускло поблескивала никелевая ингаляционная машинка. Гедалье привез с собою и анализ. Местный фельдшер где-то при случае сказал:

— Недолго протянет реб Гедалье, должно быть, рак у него! По рецептам видно!

Знакомые Гурвица неловко умолкали каждый раз, как только вслух произносилось страшное название его болезни, отплевывались исподтишка и удивлялись:

— Ведь реб Гедалье еще не старый! Молодой человек! И пятидесяти ему нет...

И сам Гедалье Гурвиц словно не замечал своей болезни. Он снова погрузился в свои запутанные дела, ночи напролет просиживая с кассиром за grossбухами.

В короткие перерывы Гедалье выходил в освещенную столовую, долго смотрел на огонь, часто мигая покрасневшими веками, покусывал костяшки пальцев и, перебивая свои мысли, шептал:

— Плохо! Ну, что ж, ничего, значит, не поделаешь — очень плохо!

Совсем на рассвете он, крупно шагая по спальне, тихо читал молитву на сон грядущий и почти не слушал жену. Изредка рассеянно останавливался перед ее постелью и переспрашивал:

— Что, ты что-то сказала?

Гитэлэ в сотый раз говорила о том, что хорошо бы ей съездить к дяде — заложить у него бриллиантовые сеоьгн. Ей сейчас драгоценности ни к чему, а деньги выручили бы их на время. Она вздыхала впотьмах и долго еще жаловалась на кассира:

— Сколько раз говорила я ему: неправильно он делает баланс!

Снова у Гурвицев воцарилась беспокойная суэта. И Мирл охватило отвращение к родному дому, где без конца толпились чужие люди. В ней зрело убеждение, что весь этот хаос и шум — ненадолго, что скоро всему конец. Во всем она видела предвестие несчастья, и ей казалось, что оно постигнет всех: служащих кашперовского леса и терновской мельницы, и кассира, и даже девушку-кухарку, которая живет в них вот уже восьмой год. Но что до всего этого ей — Мирл? В сущности, от этого не станет ей ни хуже, ни лучше.

Целыми часами лежала она в своей комнате, думая об этом. С этими мыслями она ходила к акушерке Шац, с ними она возвращалась домой и, не оглядываясь на толпы должников и поверенных, минуя прокуренную столовую, проходила в свою комнату, объятая одним и тем же:

— Скоро всему этому конец!

Одна за другой тянулись тревожные ночи. В доме никто, кроме Мирл, не раздевался, не думал о покое. Каждый раз, просыпаясь в своей темной комнате, Мирл слышала напряженную, приглушенную возню. Она знала, что, кроме кассира, в кабинете отца сидит адвокат, за советы которого отец хватается, как утопающий за соломинку,

Утомленная, она впадала в легкое забытие, но и во сне ее преследовали толпы, наполняющие дом. Она, вздрагивая, просыпалась, и тогда до слуха ее долетал глухой шопот матери:

— Гедалье! Иди спать, Гедалье! Нельзя тебе так поздно сидеть.

Но он не слушал ее. Он сидел до рассвета, весь пепельно серый, как этот тусклый весенний рассвет, и очки на его заостренном носу казались ненужными, как на лице мертвеца.

Однажды днем Гедалье, не постучавшись, вошел к Мирл, которая с утра лежала с головной болью и легким жаром во всем теле. Гедалье остановился у окна неподалеку от кровати дочери и стал рассеянно перебирать безделушки на ее затянута́м тюлем туалетном столе.

— Писал же я им все время,—робко начал он, — ради бога, не трогайте этих пяти тысяч, предназначенных для Мирл...^t

И как раз в ту минуту, когда Мирл открыла рот, готовая спросить о чем-то отца, назойливая Гитэлэ позвала из столовой:

— Иди-ка сюда, Гедалье! Я хотела тебе кое-что сказать! Гедалье!

Можно было с ума сойти от этого упрямого, настойчивого зева.

Гедалье, сморщившись, пошел к дверям, задержался на пороге и тихо пообещал:

— Я еще зайду, Мирелэ. Через полчаса я вернусь к тебе.

В этот день все в доме ожидали какого-то нового удара. Прислуга была отослана еще с утра. Из шкафа в гостиной наскоро-'в'ыташили старинное серебро и отнесли

куда-то. Гедалье, наконец, разрешил упрямой Гитэлэ съездить к дяде. Мирл слышала, как она докучала стцу, и, всегда тихий, он говорил громче обыкновенного:

— Ну перестань! Чего ты горячишься! Поедешь, успеешь!

Но все равно Мирл оставалась равнодушной ко всему, что происходило кругом.

Уже второй день ее лихорадило, и она то и дело впадала в забытие. Ей приснился вечер. В столовой студент Липкие рассказывает будто бы, как он болел тифом. И в то же время около ее кровати стоит Велвель Бурнее. Он стоит, грустно опустив голову, полный уважения к ней, и умоляет простить его за то, что женился на другой. '

В окнах было совсем темно, когда Мирл очнулась. Ока прислушалась. В доме не было ни души. На столе у Мирл горела одинокая лампа. И вдруг в передней кто-то хлопнул дверью, послышались торопливые шаги и голос: «Да где же этот платок?»

Снова прозвучали шаги, дверь с грохотом рванулась; венчик пламени под стеклом вздрогнул, заколебался и тихо выпрямился.

Это только теперь провожали Гитэлэ в дорогу.

Мирл знала: за этот день в доме что-то произошло. Но ей не хотелось думать о себе, о будущем. Ей помнится, утром кто-то рассказывал о суете в доме Велвеля Бурнеса. Там готовятся к свадьбе: весело стучат ножи, толкут корицу и миндаль и разговаривают о том, что молодые тотчас же после свадьбы уедут за границу.

«За границу?..»

Она лежала, широко раскрыв глаза, и видела перед собой густую черноту мартовской ночи, разорванную вдруг сверкающим поездом. Не плохо было бы сейчас вдвоем мчаться напролом в эту мартовскую темень. Впрочем, для нее все это теперь невозможно. Да и стоит ли об этом думать? Нехорошо ей, дурно — не до того. Лучше свернуться калачиком и спать, спать.

По столовой всю ночь взад и вперед ходил Гедалье. Он напился чаю из потухшего самовара, несколько раз заглядывал к Мирл, которая все еще спала, блуждая где-то в темной путанице снов.

Проснулась она только на рассвете. В узкие щели ставен пробивались холодные синие полосы зари. Мирл всмотрелась в этот призрачный свет и вздрогнула: на кровати у нее сидел отец. '

*— Разбудил я тебя, Мирелэ. Не мог удержаться, вот и разбудил!

Он опустил голову и опять стал жаловаться на кассира и на жену:

— Не следовало мне уезжать отсюда. Сколько раз говорил я им: не хочу я ехать за границу, не могу оставить дела. Нет, настояли-таки на своем.

Мирл придвинулась ближе:

— Сколько у тебя осталось денег?

Она видела, как отец втянул голову в плечи, сморщился, точно ребенок, которого хотят ударить, и протянул к ней руки:

— В том-то и дело, ничего — ни копейки.

— Ничего не осталось?

Она сама не знала, почему вырвался у нее этот вопрос, и почему сердце вдруг застучало и сжалось. Теперь она смотрела в лицо отца немигающими, удивленными глазами, и ей казалось странным, что он все еще здесь, возле нее. Ей больше не о чем спрашивать его — все понятно. Она боялась думать о чем-нибудь, ей хотелось опять уснуть и как можно скорее — сейчас же.

Отец поднялся.

— А от Зайденовских опять пришло письмо... Понимаешь...

Он сказал это задумчиво, не повернувшись к ней лицом, как бы рассуждая сам с собою.

— Жених очень богат... Это могло бы, конечно, отозваться и на моем положении: должники повременили бы тогда.

Мирл почувствовала себя так, точно ее оглушили; «Вот и он заодно с матерью», — подумала она. Она любила отца какой-то особой, до боли заостренной любовью. «Возможно ли, чтобы он уговаривал меня пойти за ненавистного мне Зайденовского лишь затем, чтобы этим спасти свои дела?»

Гедалье ушел, наконец, Мирл вздохнула, повернулась лицом к стене, прижала руки к груди и закрыла глаза:

«Вот так, так... скоро... сейчас усну...»

На другой день Мирл проснулась с каким-то неясным решением. Она все пыталась уяснить его себе, и лежала разбитая, усталая, с мутным потоком мыслей в голове. Когда-то, мнится ей, она словно могла покинуть этот дом¹. Но когда, как? — этого ей не удалось припомнить.

Реб Гедалье, с небрежно сложенным талесом¹ под-
' Молитвенное облачение.

мышкой, вернулся из синагоги. Он чувствовал себя очень" одиноким без жены в этом опустевшем доме. Он зашел к Мирл; она стояла у окна. Он опять начал перебирать безделушки на ее туалетном столике и робко сказал:

— Возможно, что судебный пристав сегодня придет. Это еще неизвестно, но на всякий случай... на всякий случай... ты того... не думай... это не очень страшно.

— Судебный пристав? Ну, что ж?!

Он не ответил. Прошло несколько томительных секунд. Отец провел рукой по лбу и спросил:

— Что же ответить Зайденовскому?.. Может ты все же образумишься, а?..

— Как?

Она быстро оделась, накинула черный шарф и вышла из дома.

Куда идти? Все равно, лишь бы не оставаться в этом доме, где дела важнее крушения жизни единственной дочери. Что если уйти к акушерке?

У акушерки Мирл пробыла несколько дней. Она никуда не выходила, молчала и, глядя синими грустными глазами в низкий потолок хаты, о чем-то напряженно думала.

Однажды, не отрывая глаз от закопченного карниза, она сказала:

— Я двадцать два года прожила в родном доме. Но мне не жалко ни дома, ни прожитых лет. Если бы все годы вернулись, я все равно не могла бы прожить их в этом доме иначе! А дом! Люди, воспитанные в таких домах, искалечены и никуда не годятся — вот как я. Подумайте, даже трудиться меня не научили. А ведь в труде люди находят утешение. Вот, к примеру, вы, не так ли?

Если акушерка надолго отлучалась из дому к роженнице, ее разбирало беспокойство за Мирл и она спешила домой. Заставала она Мирл все в том же состоянии: девушка лежала в постели с закинутыми за голову руками, глаза ее были устремлены вверх. Твердила она одно и то же:

— Вот и ушла я из дому. Не хочу той жизни... А что дальше делать, никто не подскажет.

Акушерке становилось не по себе от этих слов и она старалась по уши уйти в домашние заботы.

— Как ты посмотришь, Мирл, — сказала она, — если я своей собственной персоной возьму да вымою пол?.

Но Мирл не слушала ее.

Она вдруг резко пригнулась к земле. Вся кровь хлынула ей в голову, и, слегка поглаживая свои обнаженные руки и плечи, она сказала:

— А жить хочется...

Тогда акушерка вспомнила вдруг, что в доме нет никакой еды. Она бросила начатую работу и побежала в лавочку:

— Вот голова дурная! Ведь этак Мирл с голоду у меня помрет!

Как-то принесла она для Мирл новую книжку, взятую у провизора Сафьяна. Но Мирл прочла только несколько первых фраз, отложила книгу в сторону и, неподвижно глядя в окно, сказала:

— Все они любят начинать свои книги с разговоров о чьей-то грустной весне. От этого еще горше.

Помолчала и вздохнула:

— Когда легко на сердце, их прошают и читают. А когда горько, каждое слово, точно муха осенняя, жалит, дразнится: «А тебе худо, худо, худо».

Однажды вечером Шац вытащила маленькую древнюю книжку «*Dicta Sapientium*»¹, подаренную ей старой католичкой. Перелистывая пожелтевшие, точно хранящие следы чьих-то слез, страницы, акушерка читала книжку по подстрочнику.

Обе девушки сразу стали похожи на плакальщиц. И казалось, что они читают друг перед другом книгу Иова и утешаются ею: «Вот, мол, существуют на свете скорби побольше наших с тобою».

В комнате Шац сразу стало как-то уютно, точно давящая атмосфера последних дней немного рассеялась.

Шац набила гильзу табаком и, дымя, под села к Мирл и вспомнила об одном знакомом в своем литовском городке.

— "И сказал он мне как-то: «Счастливы в наше время бывают только коммивояжеры, но они заняты картежной игрой и не замечают этого».

— Это хорошо! — улыбнулась Мирл.

Но улыбка не удалась ей. Акушерка рассказала еще кое-что об этом знакомом. Он руководил кружками в ее городке лет 5—6 тому назад, когда многие верили, что жизнь наступает совсем, совсем новая.

¹ Речи мудрецов.

— Был он еще молод... Живой, горячий, незаурядный. Да и годы были такие незаурядные, бурные, — добавила она.

— Да, да, — задумчиво подтвердила Мирл.

Она смутно, точно во сне, помнила это время. Она была тогда еще совсем девочкой. Жизнь всколыхнулась было даже и здесь, в ее маленьком убогом местечке, и иные говорили: «Все станет иначе». Ощущение о том времени у Мирл осталось такое, будто она в детские свои годы присутствовала при зареве какого-то всеобъемлющего пожара, но уснула и не может даже вспомнить, когда этот пожар погас. Рассказ акушерки о своем знакомом потревожил в Мирл это смутное воспоминание.

— Где он теперь? — заинтересовалась она.

Акушерка ответила нехотя, равнодушно:

— Где ему быть? Верно в тюрьме... Впрочем, не знаю.

— Так, так, — сказала Мирл и опять погрузилась в свои мрачные мысли.

VII

Между тем в городке ходили бесконечные кривотолки о Мирл, поселившейся у акушерки.

В доме Бурнесов особенно радовались этому. Стоило появиться новому человеку, как его буквально засыпали вопросами:

— Что слышно? Что вы еще узнали?

Реб Гедалье очень страдал; досадовал на дочь и часто жаловался кассиру:

— Уж скорее бы возвращалась Гитэлэ. Она — женщина, она бы что-нибудь придумала. Что, разве не так?

Растерянный, он метался по комнатам, то и дело трогая дрожащей рукой очки на носу:

— Не вызвать ли ее? Может, послать телеграмму?

Стояли последние дни зимы. Все кругом было солнечно и тихо. Слабый мороз еле бродил над полями, рассыпая всюду мелкую мерцающую пыль. В воздухе уже чувствовалось дуновение весны.

В один из таких дней у домика акушерки Шац остановилась подвода. Возница передал акушерке письмо от местной помещицы с просьбой приехать.

Акушерка хотела отправить подводу обратно, но Мирл) строго посмотрела на Шац:

— Ты обязательно туда поедешь.

Шац замахала руками, заупрямилась:.

— Ни за что!

Мирл стала бледной и суровой. Ни с того, ни с сего она принялась за мытье посуды; звеня стаканами, она, сердито бросила:

— Если так, я моментально уйду отсюда.

Шац посмотрела на нее. Как странно видеть эту де-; вушку за такой работой!

Через полчаса акушерка уже тряслась по ухабам неверной весенней дороги. А Мирл, успокоенная, лежала на Сбоей кровати. Она тихо предложила стул провизору Сафьяну, забежавшему к Шац на минутку, и также тихо объяснила ему:

— Уехала. До вечера вряд ли вернется.

Сафьян смотрел мимо нее — куда-то в дальний угол, комнаты. Его бесцветные, выпуклые глаза ничего не выражали, но видно было, что он досадовал на аку^терку.

— Кто у вас дома болен? — спросил он вдруг.

— А что? — встрепелась Мирл.

— За лекарством от вас приходили. Кому-то дурно стало, что ли...

— Дурно?..

Он ушел. И Мирл осталась в огромной, тяжелой пустой тишине. Слышно было только, как под окнами дзе деревенские девушки, обутые в сапоги, гоняются друг за дружкой и хохочут.

Мирл приподнялась на локтях и долго глядела на квадратное пятно солнечного света, медленно двигающе-ся по полу.

Дома заболел отец. Он поступил жестоко, да: как и мать, он готов принести ее в жертву, лишь бы не опозорить свою купеческую спесь. Но теперь он одинок... болен... . ».

Вдруг она оделась, заперла за собой дверь и ушла. Было около четырех часов дня. Слабый мороз зсе еще кружился над землей; девушки в сапогах все еще гонялись друг за дружкой и смеялись. Мирл пошла под гору, шла медленно и время от времени смотрела по сторо-нам.

Был пост — канун праздника пурим. У синагоги в ожидании вечерней молитвы стояли кучки евреев. Моло-

дые и старые, они с интересом смотрели на мальчишек, играющих в снежки. Увидев Мирл, они забыли про мальчишек и с любопытством уставились на нее.

Она замедлила шаги у дома Велвея Бурнеса. Из полуоткрытой двери кухни доносился сладкий, пряный запах печенья, а равномерный звон пестиков и ступок напоминал о близкой свадьбе. Жених — почтительно-стыдливый, а невеста — достойна его. И казалось, точно пестики выстукивают: «Достойна, достойна, достойна...»

Ни сожаления, ни зависти, ни страха перед будущим не вызывало все это в Мирл.

С холодной решимостью приближалась она к отцовскому дому и вошла в него.

В комнатах было сумрачно и пусто. Никто ее не встретил. Тонкая, горестная, она остановилась в дверях. Ей показалось, что она живет не так, как все, что она бредет стороною и путается в каком-то полусне, не имеющем ни начала, ни конца.

Но ведь теперь она пришла как будто бы к какому-то решению. А может быть, она опять ничего не сделает? Неужели попрежнему будет она блуждать и путаться и никуда не придет?

Мирл медленно ходила из комнаты в комнату. Как все заброшено и уныло! Двери открыты настежь. Там, где некогда стояла мягкая мебель, — пустые углы. А когда-то здесь жили люди. Где они? Никто не встретил ее, никто не обрадовался ее приходу. Неужели впрямь все пропало... Поздно... Конец...

Вдруг в полутемном кабинете она увидела отца. Он сидел спиной к ней, слегка откинув голову, какой-то весь маленький и жалкий, и тяжело дышал. Перед ним на столе стояла никелевая ингаляционная машинка. И, сразу забыв о своем туманном решении, Мирл вся потянулась к нему.

В сумеречном свете машинка горела сине-зеленым колеблющимся пламенем и еле-еле освещала его лицо — влажное, покрытое множеством крошечных капелек пота.

Он потушил машинку и стал вытирать платком лицо, все еще не замечая присутствия дочери. Она медленно пошла к нему, сломленная жалостью и скорбью. Она шла, полная сострадания к нему, и слезы душили ее. Она подошла вплотную и стала вытирать его потное лицо и целовать его в лоб и в глаза. Он слабо отворачивался к окну, мелко дрожал и сдержанно всхлипывал, будто старался удержать слюну во рту:

~ Ф-п, ф-п, ф-п! За что, за что? Ф-п, ф-п... За что, на старости лет!..

Он немного успокоился, когда прислуга внесла в кабинет горящую лампу.

Мирл вышла в столовую; там сидел кассир. Она посмотрела ему прямо в лицо:

— Как вы думаете, если дать сегодня телеграмму Зайденовским, успеем ли с помолвкой в эту субботу? Да? Так прошу вас, дайте скорей телеграмму. Что-то еще я хотела сказать? Забыла... Ах да, вспомнила. Вы можете дать телеграмму. Я вспомнила — ключ от двери акушерки у меня! Я должна его отнести.

Когда Мирл вернулась домой, все комнаты были освещены. Реб Гедалье еще был в синагоге за чтением «мегилы».

В столовой, у празднично накрытого стола, спиной к дверям, стояла только что вернувшаяся Гитэлэ. Лицо ее ярко пылало. Она рассеянно слушала слова «мегилы», которые нараспев произносил благочестиво подпоясанный старый еврей.

— И сидел Мордехай у врат царя... — доносилось до слуха Гитэлэ. По рассеянному лицу ее видно было, что думает она о чем-то другом: может быть, о результатах поездки к дяде; может быть, о муже, о Мирл...

Она кивком головы остановила Мирл, хотела ее о чем-то спросить, но не посмела прервать молитвы. Движением глаз она показала Мирл на клочок исписанной бумаги, лежавший около нее, и пробормотала:

— Адрес... Проверь адрес...

Мирл прочла адрес Зайденовских и ничего не ответила матери. Она ушла к себе и долго сидела в темноте на кровати.

Это невероятно, но многие все же утверждали, будто в этот самый вечер акушерка вернулась домой и увидела чьи-то сани; во дворе, в лунном луче, без шапки, стоял Велвель Бурнее.

Он думал застать здесь Мирл. Но раз ее нет, так ничего не поделаешь. Акушерка, он полагает, извинит его.

Через два дня к крыльцу дома реб Гедалье подкатили сани. Из саней вышел человек лет тридцати пяти, уса-тый и добродушный. Он спросил у выходящего из дверей раввина Авремеля:

— Здесь живет Мирл Гурвиц — дочь реб Гедалье?

Раввин Авремель удивленно посмотрел на гостя и,

решив, что он, должно быть, от Зайденовских, проводил его до передней.

Гость снял шубу, вытер усы и, подув на руки, вошел в дом.

Он служил где-то на сахарном заводе и оказался дядей Носсена Геллера. Он долго сидел в зале рядом с Мирл и до самых сумерек вел с ней нудные разговоры на городской манер. Он шепелявил, говорил по-русски, как дантист. Гость рассказывал о своем племяннике, о том, как он в каждом письме спрашивает о Мирл, в каждом письме просит узнать, как ей живется.

Мирл досадовала и на болтовню дядюшки Носсена, и на Гитэлэ, беспрестанно заглядывавшую в дверь. Она куталась в платок и все ждала: «Когда же он уйдет?» И когда гость, наконец, раскланялся, ей сделалось все противно: и дом, и предстоящая помолвка, и расспросы Гитэлэ:

— Чего он хотел, этот гость?

— Снаряди гонца, пошли за ним следом, может узнаешь! — отрезала Мирл.

Она ушла к себе, разделась и, несмотря на ранний вечер, легла. До помолвки еще несколько дней — авось еще что-нибудь произойдет! Пока она вовсе не обязана думать об этом Шмулике Зайденовском и о браке с ним.

Но в доме деятельно готовились к помолвке. В соседних комнатах двигали столы, и кто-то спрашивал беспокойно:

— Если от Зайденовских придет больше трех человек, не хватит столового серебра. Что же делать?

VIII

Приехали они в пятницу днем: старики Зайденовские со старшим сыном — женихом. Они привезли с собой маленькую семилетнюю сестренку Шмулика и теплую улыбку плохо скрываемого внутреннего довольства.

Эта улыбка витала на лицах всех присутствующих гостей, придавая им выражение приятной дружелюбности. Получилось, что Гедалье Гурвиц и старик Зайденовский любят и уважают друг друга больше, чем помолвленные, и что они больше радуются предстоящему браку, чем жених и невеста. Ведь старики¹ подружились еще давно, когда бывали вместе у цадика¹ в Садагоре..

¹ Святой; религиозный наставник.

Семилетняя сестренка жениха, как взрослая, то и дело меняла платья; она влезала на колени к матери каждый раз, как та начинала что-нибудь рассказывать.

— Старшая моя, — говорила мать жениха, — кончает гимназию — некогда ей. А маленькую мы уж взяли с собой. Пускай погуляет.

И, вглядываясь в лицо дочери, она помигивала маленькими черными глазами, как близорукая ночная птица, и хрипловатым голосом спрашивала:

— Ну, как нравится тебе невеста? Ты видела уже ее?

Гитэлэ сидела молчаливо-учтивая. Она разглядывала высокую сухую фигуру Зайденовской, ее большие руки и ноги и чуть утомленное, матово-бледное, туповатое лицо. В рыжих волосах ее парика сверкала большая бриллиантовая булавка. «Вероятно, дорогая», думала Гитэлэ. Зайденовской, видно, не о чем было говорить, по несколько раз она повторяла одно и то же:

— Мы получили телеграмму как раз в пурим, к вечерней трапезе. У нас было пятнадцать гостей за столом, как всегда. И мой Янкель-Иосиф сейчас же велел вырыть вино! Он зарыл это вино в тот год, когда Шмулик родился. Ну, так можете себе представить!..

В глубине комнаты, у этажерки, с раскрытой книгой в руках стоял молодой Зайденовский. Он разговаривал с кассиром, от которого получил два письма, написанных библейским языком в торжественно-напыщенном стиле. Эти письма вызвали в нем уважение к кассиру, к чужому человеку очень просвещенному, и сейчас он громко ему объяснял — кто такой Ахад-Гаом Ч

— Вы понимаете, он может? молчать целый год, этот Ахад-Гаом!..

Этот высокий двадцатичетырехлетний юноша носил тщательно подстриженную рыжеватую бородку, строго охватывающую лицо, точно узким ремешком рцуо*. Бородка, минуя уши, сливалась с темнокаштановыми, слегка вьющимися волосами. Несмотря на внешнее различие, сын очень походил на отца — плотного, низкорослого брюнета, очень подвижного, с блестящими, точно лакированными глазами.

Отец Зайденовский сидел рядом с реб Гедалье, как бы полуобнимая его. Сочным грудным голосом он крикнул Гитэлэ:

¹ Еврейский публицист прошлого века, основоположник духовного сионизма.

я Ремешок для подвязывания филактерии.

<— Мехутэнёстэ! ¹ Вы увидите, какие торты мы вам привезли!..

Возле обеих матерей сидела раввинша Либке со своей свекровью. Свекровь, простоватая еврейка с беззубым ртом, по-праздничному закутанная в шелковый цветастый платок, не знала, куда девать свои загубленные кухней руки. Она все время старалась спрятать толстый большой палец правой руки, над которым выдавался шестой, уродливый и страшный.

Рядом с Янкель-Иосифом сидел раввин Авремель и улыбался, накручивая на палец кудрявые пейсы. Ему нравилось, что Янкель-Иосиф до сих пор надевает по субботам шелковый сюртук (правда, немного укороченный) и что вообще не перевелись еще религиозные евреи. И поэтому он застенчиво промолвил:

— В синагоге, вероятно, молящиеся попросят, чтоб реб Янкель-Иосиф вознес молитву перед амвоном. Они, верно, не забыли ваших праздничных молитв у цадика в Садагоре.

Янкель-Иосиф, дымя последней пятничной папиросой, сказал с напускной строгостью:

— Я буду молиться перед амвоном? Боже сохрани!

Ему очень хотелось, чтобы его подольше просили.

Вдруг все встали. Янкель-Иосиф, забыв о раввине, поднялся с места и издали почтительно поклонился. В дверях стояла Мирл, одетая в длинное серое шелковое платье. Она одними глазами улыбалась гостям. Осунувшаяся и бледная, она казалась старше своих лет. Вчуже можно было подумать, что это не юная девушка, а женщина, одержимая страстью и нежностью к мужу, преданно и безрассудно отдающаяся ему, — так было истомлено это тонкое, строгое лицо.

Янкель-Иосиф не слышал, что она ему, улыбаясь посвежевшими синими глазами, говорила. Он повернулся в это время к реб Гедалье:

— Что, молиться итти? Я готов!

И, когда он снова взглянул на Мирл, она уже забыла о нем. Она стояла у окна против Шмулика и так же, ⁴ улыбаясь одними глазами, говорила ему:

— После того, как мы с вами встретились в городе, я еще раз там была. Когда это было, спрашиваете вы? Сейчас я вспомню, когда это было.

Но думала она уже о чем-то другом и никак не могла

¹ Сватья.

вспомнить, когда это было. Вдруг она побежала к себе а комнату, посидела там немного и вернулась оттуда, сильно побледневшая.

В столовой уже никого не было, кроме Шмулика; он не пошел в синагогу.

— Ну что же, — почти сердито сказала она, — может, пойдем, погуляем?

Многие видели, как молодые люди, свернув с глазной улицы, ушли в переулок — туда, где ярко светились синагоги и где в крохотных окошках убогих домов колебались язычки субботних свеч. Две девушки стояли у одного из таких окошек и толкали друг дружку, желая лучше разглядеть жениха. Мирл задержалась перед низенькой дверью дома Липкиса и сказала Шмулику:

— Вот здесь живет мой самый лучший друг. Он очень беден... И потом — он хромым.

В субботу утром все в городке узнали, что сват реб Гедалье будет молиться перед амвоном.

Большая синагога была переполнена до отказа. Сюда пришли прихожане других синагог, чтобы послушать Япкель-Иосифа Зайденовского.

Слушая, как Япкель-Иосиф медленно заканчивает одну молитву и так же медленно и торжественно переходит к другой, молящиеся в задних рядах приподымались на цыпочках, чтобы разглядеть его, но видели только золотую кайму его талеса и думали о нем — этом городском богаче: «Его сын-жених стоит у восточной стены рядом с реб Гедалье. А какой голос у реб Япкель-Иосифа! Он служит не хуже настоящего кантора!»

Над головами молящихся уже витало утомление; 'верхние плиты высоких каменных стен запотели, и с восточной стены торжественно и устало свешивались занавеси хранилища торы. На возвышении белело лицо служки, который стучал рукой по столу каждый раз перед началом новой молитвы.

Вышли из синагоги поздно — около часу дня. Все вдруг почувствовали голод и заторопились по домам.

В городке без конца перебирали события последних дней; вспоминали о знатных гостях в доме реб Гедалье, о женихе, о помолвке, которая должна состояться сегодня.

А где-то около базара стоял и грустно смотрел синими ставнями на площадь большой дом Авром-Мойше Бурпеса — прежнего мехутэна¹ Мирл. Каждый обрывок

¹ Сват.

веселой песни, долетавший до слуха его обитателей, болью отзывался в их сердцах. Никто не входил в этот дом и никто не выходил оттуда весь субботний день, точно дом был отвержен людьми.

По всей видимости, Велвеля Бурнеса не было дома: он безвыходно сидел на хуторе. В городке уже давно поговаривали, что он расходится со своей второй невестой. А то, что Велвель всем говорит, будто свадьба его отложена до осени,—ерунда. Это просто так — для вида.

Вечером дом реб Гедалье Гурвица сиял огнями и был переполнен множеством местных и приезжих гостей. У входа в парадные комнаты толпилось несколько обедневших поверенных Гурвица. Каждый раз, как приезжал новый гость, они перемигивались, провожали его глазами и говорили друг другу:

— Что ты скажешь про этого — тоже не бедняк! Дай-ка папироску!

У стола, вытянувшегося до самых дверей залы, было тесно и шумно. На почетном месте, рядом со сватьями, сидел свежий от холода, веселый Нохэм Тарабай. Он только что приехал в собственном выезде, и теперь развязно рассказывал Янкель-Иосифу о том, что, несмотря на дела, он приехал все-таки на помолвку дочери реб Гедалье Гурвица, которого он очень уважает. Он битых два часа блуждал в потемках, пока выбрался на дорогу к городку. Но это все пустяки — он очень, очень уважает реб Гедалье Гурвица. При этом он подпрыгивал, вертелся, размахивал руками и назойливо приставал к грустному и усталому хозяину:

— А как же иначе? Не могу же я не присутствовать на помолвке дочери реб Гедалье!

Реб Гедалье почти ничего не слышал. Он сидел по левую руку Янкель-Иосифа и молчал, грустно опустив голову: его одолевали тягостные мысли разорившегося человека. Он думал о том, что все приехали сюда не для него, а ради богатого свата, который на него, Гедалье, почти не смотрит. И еще думал он о том, что все гости прекрасно понимают это и только шадят его и поэтому оставляют в покое.

Он вздрогнул, когда к нему вдруг подошла Гитэлэ и потребовала какой-то ключ; сгорбленный, он встал и начал растерянно шарить по карманам. Мирл видела это — сердце ее дрогнуло от жалости; она подошла к нему.

— Да вот же он у тебя—в верхнем кармане,—сказала она.

Его растерянный вид убивал ее. В ее представлении он всегда был сильным и стойким, а теперь она видела перед собой жалкого, растерянного человека.

Тихая, Мирл сидела рядом с Гитэлэ и будущей свекровью и слушала, как та «не хотела говорить дурного про двоюродную сестру Мирл — Иду Шполянскую».

— Я собственными глазами видела Иду в театре с офицером и с политехником. Но,— спохватилась она,— ведь это же первая красавица! А муж ее Абрам и дома не бывает — все время в разъездах. Можете себе представить!..

Между тем гости омыли руки и теперь бесшумно рассаживались вокруг стола. После преломления хлеба все сразу повеселели.

Зазвенели бокалы, полилось вино, зазвучали речи, и пиршество пошло своим чередом. Неугомонный говор шестидесяти пьющих и жующих людей не мешал Мирл оставаться одинокой.

Пьяный шум нарастал. В его потоке тонули чьи-то робкие попытки развернуть песню. Реб Янкель-Иосиф ел много и еще больше пил. Он пил с таким упрямством, точно хотел залить навязчивую мысль о том, что породнился с нищим, с банкротом. Ежеминутно он стучал крепким кулаком по столу, бутылки падали, вино разливалось по скатерти, висячая лампа вздрагивала, а расходившийся Янкель-Иосиф, не глядя в сторону свата, кричал раввину Авремелю:

— Берите с меня пример, реб Авремель! Я велю вам пить!

Мирл молча сидела на своем месте. Иногда ей казалось, что весь этот шум происходит ради другой какой-то Мирл, и эта другая Мирл очень довольна помолвкой. Она же только наблюдает происходящее и не имеет к нему никакого отношения. И, когда она очнулась от этих мыслей, ей вдруг стало ясно, что она не выйдет замуж за этого Шмулика, важно восседающего на почетном месте мужской половины стола. Глупо, что все радуются, что все чокаются с женихом, глупо, что она сидит здесь, точно кукла, затянута в тесные шелка!

Она вспомнила вдруг свои обнаженные руки и узкое тело в корсете. И ей захотелось, чтобы рядом с ней был Носсен Геллер, которому она сказала когда-то: «Ну, хорошо, я выйду за тебя. А дальше что?»

«Ведь вот взрослый я как будто человек и больно мне по-настоящему,—думала она,— откуда же эти бредовые мысли?»

Она совсем очнулась от того, что, перекрывая пьяные крики и песни, чей-то голос настойчиво повторял ее имя. Совсем пьяный Янкель-Иосиф стучал по столу стаканом и, глядя на Мирл мутными, нечистыми глазами, громко звал:

— Мирл, невеста, иди сюда! Я приказываю тебе, иди сюда!

Мирл почувствовала острое отвращение к своему будущему свекру. Она встала, повернулась к нему спиной и увидела Шмулика; он стоял посредине комнаты в кругу любопытствующих гостей и что-то пел на синагогальный мотив, размахивая рукой, как кантор; лицо его при этом было удивительно глупым. Ей очень захотелось, чтобы его вовсе не было в доме, чтоб она больше его никогда не видела. Она провела рукой по лбу, и ей стало опять все безразлично. Издали она смотрела на своего жениха и удивлялась: «Зачем он мне? Что я с ним буду делать всю жизнь?»

Вдруг она покинула гостей и ушла к себе — в свою девическую комнату, разделась, легла в постель и потушила лампу.

Гитэлэ несколько раз стучала к ней в дверь и ворвалась, наконец, расстроенная и злая:

— Позор, какой позор! В своем ли ты уме? Кто так делает?

И Мирл равнодушно ответила ей из темноты:

•— Я так делаю! Оставь меня.

Она хотела заснуть, но не могла. В доме все еще шумели; слышно было, как из залы вынесли столы и стулья и начали танцевать. Она вертелась с боку на бок и досадовала на себя: «Все равно свадьбы не будет. Я не обязана думать о нем—об этом Шмулике, который поет там в зале и размахивает руками, как кантор».

IX

Зайденовские провели в доме Гурвица еще одну бессонную ночь. В канун понедельника они вместе с родителями Мирл до рассвета просидели в низких мягких креслах, о чем-то взволнованно шепчась. Часа в четыре утра они вызвали к себе Мирл. Мирл вошла и остановилась перед стариками, которые все сразу внимательно, снизу вверх посмотрели на нее.

— Ну, Мирл,—спросила желтая от бессоницы Зайденовская,—как ты смотришь на то, что мы сыграем СЕадьбу в субботу после пятидесятницы!..

Мирл молчала — до пятидесятницы было далеко. За это время еще что-нибудь можно придумать и расстроить свадьбу. Она хотела, чтобы Зайденовские поскорее уехали.

— Ну, что ж, — сказала она, — пускай после пятидесятницы!..

Она проспала все туманное, грязно-теплое утро, спала все время, пока убирали дом после раннего отъезда Зайденовских, спала и тогда, когда в комнатах стало чисто и тихо, и тогда, когда Гедалье вместе с кассиром уехал в губернский город, куда его вызвал депешей зять кашперовского графа. Только один раз она открыла глаза, посмотрела в пустой и прохладный потолок и снова закрыла их, боясь и не желая перебирать в памяти последние события своей жизни. В полудремоте она думала: «Все равно... О чем же здесь говорить... Хорошо было бы вот так проспать все свои годы...»

Когда она проснулась, было далеко за полдень. Ока открыла глаза и опять увидела тот же пустой и прохладный потолок. Где-то далеко, около кухни, сладко зевала Еыспавшаяся Гитэлэ, и слышно было, как кто-то рассказывает раввинше Либке о Зайденовских — как они всем понравились; потом вдруг заговорили все разом о происшествии у акушерки Шац: у нее гостит ее знакомый поэт — вот уже второй день он у нее; учительница Поля, которая в прошлом году уехала отсюда на кондичию в другой городок, приезжает ради этого раньше обыкновенного на пасхальные каникулы, а местный учитель Шабад уже два раза заходил к акушерке — хогел познакомиться с поэтом, да все не заставлял его дома.

Все: помолвка, разговоры о свадьбе, ранний отъезд Зайденовских — казалось отодвинутым далеко, далеко. Не верилось, что все это было-только сегодня утром. Она представляла себе Шмулика с родителями в купе вагона: поезд мчится, мелькают полустанки и станции, и уже все кругом полно предчувствия большого города.

Ей казалось странным, что она теперь невеста Шмулика, что все об этом знают и говорят. В ближайшую субботу Зайденовские будут произносить кидэш¹, будут пить вино и произносить ее имя.

Она встала, оделась и решила написать Шмулику письмо — известить его, что из их помолвки ничего не выйдет. Она чувствовала себя спокойной, и ей было приятно сознание, что здесь, в этом доме, нет Шмулика Зай-

¹ Благословение.

деновского. Она лениво прохаживалась по комнате и думала о том, что самое неприятное уже миновало, а расторгнуть помолвку она еще успеет — зедь до пятидесятицы так далеко.

Вечером Гитэлэ вошла к ней в комнату. В руках у нее было письмо. Она протянула его Мирл и сказала:

— Вот письмо на твое имя. По почте сегодня пришло.

Письмо было от Носсена Геллера, а начиналось оно так же, как начиналось множество других писем:

«Значит, ты уже невеста, Мирл!» Ей стало скучно от этих слов. Она попробовала дочитать письмо до конца: «...про меня, я знаю, рассказывали тебе много дурного».— Не дочитав, она отложила письмо в сторону и больше не прикасалась к нему.

Письмо все время валялось на стуле возле кровати. Как-то войдя в свою комнату, Мирл застала там Гитэлэ, которая испуганно метнулась в сторону, а письмо лежало на полу — не на стуле. Любопытная Гитэлэ прочла письмо.

Когда Гедалье вернулся домой, Гитэлэ первым делом рассказала ему о письме Носсена.

— Да, да, — шептала Гитэлэ, — Он до сих пор пишет ей «ты», — я же сама читала^

Реб Гедалье рассердился:

— Что ты мне голову морочишь пустяками?!

Он был весь поглощен планом, который изложил ему зять кашперовского графа, выкупивший только что имение. Гурвиц вносит всего-навсего только восемь тысяч рублей, после чего делается компаньоном и пользуется правом вырубki и сбыта леса. Реб Гедалье по сути дела станет хозяином предприятия, и это может спасти его ST банкротства.

Но Гитэлэ не давала мужу покоя:

— Ты думаешь — все так хорошо с твоей дочкой? Она говорит: «Не поеду в город шить приданое, да и все тут». Что ты будешь с ней делать?

В предпоследнюю субботу перед пасхой дул теплый ветер. В уличной грязи лежали большие серые глыбы еще не растаявшего снега; было сыро и пасмурно, и неизвестно зачем, в честь какого праздника звонили на закате в церкви.

На крыльце отцовского дома стояла дочь Авром-Мойше Бурнеса, укутанная в черный материнский платок, и следила за крестьянами, которые шли в церковь к вечерне из ближнего села. Они шли гуськом, искали проторенных тропинок и жались, поэюму, ближе к до-

мам, вытянувшимся вдоль широкой и длинной улицы. В черной густоте этой грязи, Б унылом воздухе этих сумерек уже чувствовалось горячее и пыльное дыхание грядущего томительного лета.

Провизору Сафьяну скучно в пустой аптеке. Он бродит по городку, останавливается, раздумывая, не вернуться ли ему домой, и встречает, наконец, дочку Бурнеса. Они идут вместе по свежеутоптанной тропинке. Не оглядываясь на девушку, провизор Сафьян говорит язвительно:

— Липкие взялся за ум — уехал учиться. А Мирл Гурвиц вот уже вторую неделю как уехала из дому. Шьет себе, видите ли, приданое. Как это смешно!

Дочка Бурнеса ничего не отвечает. Она посмеивается только за спиной Сафьяна. Ведь в городке все поговаривают о его чувствах к акушерке Шац, а у Шац гостит столько времени ее друг—поэт.

Сафьян смотрит вперед своими выпуклыми глазами и, не дожидаясь ответа, говорит:

— Кого же, собственно, Мирл хочет обмануть—себя или других?

Вдруг они увидели молодого, рослого, широкоплечего человека; он быстро шагал им навстречу. У него вид молодого врача, только что кончившего университет, но еще не имеющего практики. Ясно: это гость акушерки. Куда он идет? Мирл Гурвиц нет дома, она уехала... Куда же он идет?

На окраине городка пусто. Несколько евреев стоят в ожидании вечерней молитвы. Молодой человек смотрит на них. Они встречают его молчаливыми взглядами и, когда он уже проходит, они, улыбаясь, переговариваются:

— Ты говоришь, он книжки сочиняет? Ну так пусть себе сочиняет!..

Х

Был сухой, немного прохладный день, когда Мирл вернулась из поездки. Она застала в доме предпасхальную толчею. Мебель была сдвинута с мест, навалена кучами и прикрыта простынями. Раскрасневшаяся Гитэлэ расплачивалась с малярами и с двумя бабами-поденшницами. Она велела им притти и завтра—работы хватит.

В доме были новости. Реб Гедалье удачно завершил предприятие с кашперовским лесом. Он несколько раз принимался рассказывать Гитэлэ об этой удаче, а теперь заперся с кассиром в кабинете. Кассир задумчиво сидел

за столом, а Гедалье ходил взад и вперед по комнате, мягко ступая меховыми домашними туфлями. Каждый раз задерживаясь у нетопленной печки, он хитро поглядывал на кассира:

— А ведь прибыльное дело, этот кашперовский лес! Чего стоит одна делянка в триста десятин. Ведь оттуда можно вывести столько леса, что на нем одном разбогатеешь!

Потому ли, что Гедалье немножко успокоился, кое-как приведя в порядок свои дела, или потому, что он по уши вплез в эти дела и не думал ни о чем другом, Мирл стало казаться, что ее обручение с Шмуликом никому больше не нужно: всем безразлично, что она страдает от этого. Поездка за приданым казалась ей теперь нелепой, и жалко было потраченного на это времени.

«И зачем я ездила? Надо было с самого начала сказать, что никакой свадьбы не будет».

Кассира уже не было в кабинете. Реб Гедалье сидел один в светлом кругу абажура и делал какие-то выкладки.

Мирл бродила по своей комнате и чувствовала себя отчужденной от родного дома после короткой разлуки с ним. Она ни к чему не могла прикоснуться — ни к столу, ни к кровати, все ходила и представляла себе, как она сейчас войдет к отцу и скажет: «Свадьбы, ведь, все равно не будет. Надо кончать всю эту канитель!»

Она подходила к дверям кабинета, опять возвращалась и снова медленно расхаживала по комнате. Наконец, она решилась и, неся на устах слова: «Я должна с тобой поговорить, отец», открыла дверь. Она вошла и остановилась. Отец не обернулся к ней, поглощенный работой. Неумело передвигая костяшки на счетах, он вслух произносил цифры, наконец, он почувствовал ее за своей спиной и обернулся; ей бросилось в глаза его успокоенное лицо. Она знала, что спокойствие это зависит теперь только от нее, и стоит ей произнести несколько слов, как отец будет снова беспомощным и жалким.

Г минуту она постояла перед ним, внимательно всматриваясь в это лицо, и вдруг быстро вышла из кабинета. Досадуя и утешая себя, она ходила по загроможденным мебелью комнатам и шептала упрямо:

— Все равно не пойду за него замуж. Не хочу, на должна! А с отцом поговорю позже, потом-

Вечером она пошла к акушерке Шац. Там, кроме

учительницы Поли, был учитель талмуд-торы¹ Айзик Шабат и приехавшая к родителям на праздники Эстер Финкель, стройная девушка с продолговатым, печальным лицом; она учится в Парижском университете и скоро его кончает.

Усталый после рабочего дня учитель, склонив свое смуглое цыганское лицо, тихо дремал в сторонке. Он в третий раз дожидался гостя акушерки, который должен был притти е минуты на минуту. Девушки не обращали на него внимания. Они сидели около Мирл на софе у холодной печки. Им не о чем было говорить с Мирл, хотя обидеть ее никто из них не хотел. Мирл чувствовала это, и впервые ей было одиноко и отчужденно у акушерки Шац.

Эстер рассказывала об университете и о своей будущей специальности:

— Как-нибудь выбьюсь на дорогу. А счастье?.. О счастье в Париже отвыкают думать.

Всем показалось, что последние слова Эстер как-то касаются Мирл. Никто этого не осознал, но все, глядя на ровный, теплый, немножко усталый свет лампы, вспомнили, как недавно в субботние сумерки в доме реб Гедалье сидели мехутоним⁸ с женихом, гости, как они шумели, пили вино и пели; и как вот эти две девушки шли по улице прямо к закату, охватившему тусклым пожаром половину неба, и как они говорили о Мирл. А что, в сущности, о ней говорить? Что можно говорить о девушке, выбравшей себе спутника жизни по сватовству?

Поэт Герц пришел только к девяти часам. В ловком темносинем костюме, он сидел на почетном месте, лениво помешивая ложечкой в стакане, и улыбался. При этом его зеленоватые, глубоко сидящие глаза как будто говорили:

— Я умный и почти **ЕЙ ВО ЧТО** не верю. Но как раз сейчас вы видите меня з глупом положении: заехал, вот, по пути за границу к девушке, самой заурядной.

Q его приходом тишина стала еще более невыносимой. Девушки молчали и казались от этого серьезней и умнее, чем на самом деле. Эстер Финкель встала и ушла домой. Ей вчера сказала Шац, что Герц не выносит курсисток. Эстер думала сердито: «Я знаю кое-кого из иа-

> Еврейская общинная религиозная школа для детей бедноты, о Сваты.

рижских поэтов, никто из них не вел себя так заносчиво, как этот долговязый сноб».

Первым заговорил учитель Шабад. Его удивляет, почему Герц так мало интересуется своими стихами. Ведь они печатаются даже в различных хрестоматиях!

Герц не слушал его. Учитель казался жалким, но, не замечая этого, он продолжал:

— Сушая правда. Я могу вам привести моих учеников. Они вам продекламируют ваши стихи.

Герц встал и начал шагать по комнате. Он больше не улыбался. Зеленые глаза его стали холодными и злыми. Он, очевидно, хотел заняться каким-то делом, но ему мешали гости. Он подошел к акушерке и прошептал ей на ухо:

— Когда он уйдет?

Мирл почувствовала себя неловко, встала и, обращаясь к Шабладу, громко сказала:

— Вы не пойдете со мной, Шаблад?

Но случилось так, что провожал Мирл не учитель Шаблад, а гость акушерки. Они шли молча, и в голове у Мирл все еще звенели последние слова учителя, сказанные Герцу: «Вот ее жених (он подчеркнул слово «жених»), я слышал, даже по-древнееврейски говорит!»

Было темно. Герц не видел тропинки под ногами и еле различал тонкий силуэт девушки, идущей впереди; затаенная в черный осенний жакет, эта девушка молчит, не оглядывается на него, точно оберегает какую-то тайну. Герц заговорил первым:

— Скоро у вас свадьба?—спросил он.

Мирл не ответила. Она вся как-то съежилась, и мысли одна печальней другой возникли в ее голове: «Свадьба? Это еще неизвестно». Она не сказала этого вслух и не оглянулась. Но он повторил свой вопрос. Тогда Мирл вспыхнула и, тяжело волнуясь, глухо сказала:

— Я прошу вас, пожалуйста, помолчите еще немного! Уже скоро местечко—вы проводите меня до первых домов. А дальше я пойду одна.

Ему вдруг стало интересно с ней. Он улыбнулся в темноте и молча довел ее до крыльца отцовского дома. Она исчезла в дверях, не обернувшись и не сказав ему «спокойной ночи».

На следующий день Мирл, возвращаясь с почты, опять встретила Герца. Лицо его показалось ей давно знакомым. Он стоял у обочины дороги и смотрел на бедный покосившийся домик. В домике в это время пек-

ли мацу, и из дверей и окон его несся резкий говор и шум. Герц увидел Мирл и улыбнулся одними глазами:

— Я думал о вас. Мне нравится, что вы вчера приказали мне молчать.

Она стояла перед ним, внимательно рассматривая его. Он, вероятно, знает о людях и жизни больше, чем другие. И об этом своем знании людей и жизни пишет книги. Но с ней он, конечно, не станет об этом говорить. Он считает это ниже своего достоинства.

Герц посмотрел в синие, тревожные девичьи глаза и вдруг заволновался:

— Я серьезно говорю, мне очень нравится, что вы вчера приказали мне молчать.

Шагая рядом с ним, она думала о том, что он — Герц — поэт; его стихи школьники учат наизусть. А она, Мирл, невеста Шмулика Зайденовского, о котором вчера Шабад сказал Герцу: «Вот ее жених говорит по-древнееврейски». Ей было неприятно напоминание о вчерашнем. Она молчала, слушая, как он оправдывается:

— Поверьте, я не хотел вас вчера обидеть.

Вдруг она перебила его:

— А Сафьян хорошо знает литературу. Он читал вас и, между прочим, в «Легенде о мертвом городе» ему не нравится эпизод с куклой. Он говорит, что этот эпизод поверхностен и груб и поэзии в нем никакой нет.

Когда она говорила это, они уже подходили к дому. Герц быстро повернул к ней покрасневшее вдруг лицо, и смущенная улыбка сморщила его губы.

— Послушайте...— начал было он. Но она уже протянула ему руку и быстро вбежала по ступенькам крыльца.

После обеда от акушерки Шац прибежал запыхавшийся мальчишка и принес Мирл записку. Записка была подписана Шац и Герцем; они просили Мирл зайти вечером к чаю. Мирл отослала мальчишку без ответа и целый день просидела дома. Под вечер, возвращаясь из галантерейной лавочки, она издали видела Герца и акушерку; они шли по дороге, залитые горячим светом вечернего заката. Ей не хотелось думать о них. Она пошла к себе, села у окна, думала и не могла придумать, как бы ей разделаться с этой злосчастной помолвкой.

Вдруг в дверь постучали. Вошла акушерка и, улыбаясь, сказала:

— Пойдем, погуляем с нами.

Мирл холодно отказалась. Акушерке стало неловко. Она заулыбалась еще больше и стала рассказывать

Мирл, как Герц не дает ей покоя, прося во что бы то ни стало привести Мирл.

— Он говорит,—болтала она,—что скучает без тебя. А знаешь, как он тебя прозвал? Он тебя прозвал «местечковой трагедией».

Мирл побледнела. Она взглянула на Шац и ничего не сказала. И потом, оставшись одна, она никак не могла отделаться от этих слов. «Местечковая трагедия»—звучало в ее ушах.

Она не понимала, что для нее в этом определении оскорбительно — то ли, что Герц не соблаговолил запомнить ее имени, или самый смысл этого опредзления. Наконец она рассердилась и решила, что ей нет дела ни до него, ни до его словечек.

Весь следующий день Герц шатался по городу, то и дело прохаживаясь мимо дома Гурвицев. Мирл видела как он смотрел на их окна и думала про себя: «Что ему нужно, этому поэту?»

Однако в сумерки она вышла на крыльцо. Зачем? Просто так, без всяких намерений. Он увидел ее и пошел.

— Мне нужно поговорить с вами,—серьезно сказал он,—пожалуйста, оденьтесь и пойдемте, походим немножко.

Чувствуя, что делает глупо, нехорошо, уступая ему, она все же вернулась домой, оделась и пошла рядом с ним — в потемки.

Она шла и досадовала на себя, зачем она пошла.

Они ходили, молчали и не смотрели друг на друга. Вдруг Мирл повернула к нему взволнованное лицо и сказала:

— «Местечковая трагедия»! Так, кажется, вы называли меня?

V

Герц смущенно улыбнулся:

— Не толкуйте дурно мои слова! Ведь и я тоже «местечковая трагедия». Неужели вы не поняли?

Она дрогнувшим голосом ответила:

— Я понимаю только одно: вам приятно издеваться над собой, и вы не можете отказать себе в удовольствии поиздеваться над другими.

Он молчал.

Она сказала, тронув его за рукав:

— Не хотите ли познакомиться с вашим критиком?— и окликнула провизора бафьяна, выходявшего из аптеки.

В день кануна пасхи Мирл надолго ушла из дому, спасаясь от сутолоки. Она долго бродила одна и вернулась только вечером.

Дома ей сказали, что был Герц. Он просидел долго в ее комнате, ожидая ее. На туалетном столике Мирл нашла записку:

«Уезжаю сегодня. Жаль, что не дождался вас. Если я когда-нибудь еще приеду сюда, то только ради вас».

Внизу была приписка с адресом.

Даже и в этой записке он не изменил себе — издевался двусмысленно: «Если я когда-нибудь еще приеду сюда, то только ради вас».

И шутка, мол, может обернуться серьезным делом.

Она оделась и, не осознавая того, что делает, пошла к Шац. Она долго стояла, рассматривая замок на ее двери, и думала: «Значит, уехал».

И потом, возвращаясь домой, особенно остро ощутила тяжесть надвигающихся на нее томительных, убийственно-однообразных дней.

«Значит, уехал», — думала она.

Предпасхальная ночь наваливалась на тускло освещенные окна окраины.

Как было бы хорошо, если бы она его сейчас встретила! Но он сидит теперь в поезде, он уехал. Легче бы с ним не стало, но все-таки с ним не так тоскливо. Все-таки он мог бы понять ее. Но он не захотел — он отделился шутками!

«Местечковая трагедия», опять вспомнила она.

Она долго лежала у себя в темноте. Потом встала, зажгла лампу и начала писать Герцу письмо:

„«Местечковая трагедия» не выносит людей, отшучивающихся от жизни. Оставьте шутки и послушайте меня серьезно. У меня должна быть свадьба через несколько недель».

В доме прохладно, потому что целый день стояли открытыми окна. Смежные, чисто прибранные, комнаты закрыты и темны, где-то на кухне стучит чугунная печная решетка, да слышно, как реб Гедалье переговаривается о чем-то с Гитэлэ.

Мирл задумалась, держа перо в руке, и все смотрела на спокойный, чуть потрескивающий пламень лампы.

«Может быть, у меня не хватит сил расстроить теперь эту свадьбу, — думала она. — Я не смогу этого сделать не потому, что мне нужна эта свадьба, и не потому, что она кому-то еще нужна, а потому что теперь мне все равно. Я испытываю отвращение каждый раз, как

мысль о расторжении этой второй помолвки приходит мне в голову».

Она встала и прошла по комнате.

«Какая тоска, боже мой! Вот я лежу здесь, в своей коре, а где-то живут люди. Я только издали наблюдаю за ними. Может быть, они знают, что—главное. Может быть, любовь — не самое главное. Но что же главное? Что настоящее? Где оно?»

Когда она кончила письмо, было уже десять часов вечера. Она встала и, помахивая непросохшими листками, прошла от стола к двери, потом перечитала написанное и, наморщив лоб, тщательно "разорвала" письмо на мелкие клочки.

«Глупое письмо,—думала она сердито,—и вообще, какое я имею основание писать ему?»

Она рассеянно посмотрела на туалетный столик и увидела целых четыре письма от Шмулика. Письма были толстые и показались ей противными. Она распечатала одно из них и увидела: первая страница написана по-древнееврейски и начиналась словами: «Возлюбленная моей души!» Вторая страница написана языком разговорным, а все письмо многозначительно заканчивалось двумя строками многоточий... К остальным письмам она не прикоснулась; она вышла в столовую, где сидел кассир с реб Гадалье и Гитэлэ, и громко сказала, обращаясь к кассиру:

— Будьте добры, ответьте Шмулику Зайденовскому на его письма. И еще: попросите его не заваливать меня пакетами.

XI

В конце пасхи неожиданно приехал Шмулик. Он чувствовал себя у Гурвицев на правах зятя, ходил с реб Гадалье в синагогу и даже не подозревал, что его приезде не очень рады.

В городке говорили о нем: '«Благовоспитанный молодой человек!»

Мирл смотрела на него равнодушно и полупрезрительно. В этот приезд он показался ей более привычным, аккуратная бородка его — более рыжей, усы — более длинными. Ее раздражали его расплывающиеся ноздри и вульгарная манера «шмыгать» носом. «G детства, верно, осталось», думала она уныло.

Оказалось, что он плохо говорит по-русски, хотя пытается разговаривать на этом языке с акушеркой, любит вздремнуть после обеда и любит рассказывать бесконеч-

ные нудные истории, от которых скулы сводит нервная судорога.

Однажды в гостиной он рассказывал одну из таких историй акушерке Шац и вдруг заметил, что та с трудом сдерживает зевоту. Шмулик запутался и никак не мог кончить рассказ. Мирл, сидя в сторонке, смотрела на него, и ей стало невыносимо все: и жених, и его глупая история, которую он рассказывает яри ней уже второй раз. Чтобы как-нибудь рассеять неловкость, она принялась разговаривать с акушеркой о Герце.

— Как ты думаешь, приедет он сюда когда-нибудь?—спросила она.

Но Шмулик, услышав имя Герца, с удовольствием вмешался в разговор:

— Как же! Я читал его книги. Я даже знаю его кузена.

Мирл вся вспыхнула. Ей хотелось крикнуть, что он лжет, что он ничего не понимает из прочитанного, но она сдержалась и, чтобы успокоиться, отошла к окну.

«Велвель Бурнее, — думала она, — менее обтесан, а все-таки не такой отталкивающий».

Через несколько дней, когда Мирл с Шмуликом гуляла по городку, Мирл увидела вдруг перед домом Бурнесов коляску Велвея. Мирл остановилась и, не глядя на жениха, сказала:

— Мой прежний жених, очевидно, заехал домой. Если бы не его родители, которых я не хочу видеть, я бы с удовольствием зашла к нему.

Ей было досадно, что Шмулик даже не обиделся. «Вот уж толстокожий!»—злобно подумала Мирл. А он опять дернул носом и стал говорить о том, как чудесно будут они жить. Они поселятся не в родительском доме, а во флигеле. Флигель в саду, и окна его выходят на спокойную улицу.

Разговорившись, он взял ее под руку, но она сердито высвободилась:

— бколько раз я говорила, что не люблю ходить под руку — терпеть этого не могу.

Весь остальной путь они прошли молча. Дома, оставшись одна, она вдруг вспомнила, что Шмулик скоро уедет, и ей от этого сразу стало легко. Да и отец наверное тоже надолго уедет в свой кашперовский лес, и она снова останется одна. Это все-таки лучше, чем с ними.

Стало совсем тепло. Горячее солнце растекалось по стеклам, играло на потолках и стенах, ложилось светлыми косяками на пол.

В доме реб Гедалье поднялись в этот день очень рано — провожали Шмулика. Все собрались в столовой к утреннему чаепитию, кроме Мирл; она все еще лежала в постели. Она слышала, как поднялись из-за стола, как Гитэлэ несколько раз переспросила Шмулика: «А куда мы уложим печенье?», и как раввин Авремель уговаривал его: «Да что вы, если вы из дому выедете в двенадцать, и то успеете к поезду!»

Во дворе наспех мыли бричку и кормили лошадей. Под навесом стоял наемный экипаж для реб Гедалье, который тотчас же после отъезда Шмулика должен был уехать в кашперовский лес.

Когда Мирл встала, половина дома была уже в тени. Теплый и свежий ветерок ходил по комнатам, слабо колебля длинные занавеси окон. Мирл вышла в столовую. Там сидели реб Гедалье, раввин Авремель; Шмулик с тфилин на голове тут же тихо молился. Он шептал молитвы и думал о Мирл: она все это время почти не разговаривала с ним и была сурова. Шмулик чувствовал себя оскорбленным и продолжал шептать молитвы, не понимая их смысла, тупо уставившись себе иод ноги. Один только раз он скосил в сторону Мирл глаза: она смотрела не на него, а на только что вошедшего механика-немца, о котором реб Гедалье говорил кассиру:

— Вот он утверждает, что лучше всего механическую пилу установить поближе к яру — на восемьдесят шестой десятине.

Шмулик кончил молитву, снял тфилин и пошел к Мирл. Он застал ее одну. Она стояла у открытого окна—спиной к нему, и волосы ее были наполнены светом. Он остановился. Лицо его сразу пожелтело, голова стала пустой и звонкой. Он все стоял за ее спиной и смотрел на нежные завитки волос на затылке. Вдруг она обернулась к нему и, опершись руками на подоконник, холодно заговорила:

— Последние два дня, которые мы провели с тобой вместе,— типичны для всей нашей будущей жизни. Имей в виду, что таких дней ты насчитаешь триста шестьдесят пять в году. Я не люблю тебя и не хочу итти за тебя

I Футлярчики, в которые вложены изречения из библии. Религиозные евреи надевают их — один на голову, другой на руку при утренней молитве.

замуж. Я не знаю — зачем я тебе нужна? Ты мог бы найти более подходящую партию. Взять хотя бы дочек Бурнеса — чем плохие невесты? С любой из них тебе было бы лучше, чем со мной.

Шмулик молчал. Мирл посмотрела в его мутноватые глаза. Там стояли слезы. Две прозрачные капли вылились и поползли, щекоча и раздражая нос. Шмулик жалостно всхлипнул и полез в карман за платком.

Мирл почувствовала странное облегчение. Его слезы она приняла за слезы примирения со случившимся и подумала: «Все хорошо. Он понял, что жить со мной ему будет действительно невозможно».

Она пошла к двери и в последний раз посмотрела на него:

— Значит, решено! Желаю тебе всего хорошего. Не говори только ничего нашим! Я сама им все расскажу, когда ты уедешь. Я знаю, ты честный человек и сделаешь это...

Она прошмыгнула через черный ход, ушла к Шац и долго сидела там, выжидая время отхода шмуликова поезда.

«Слава богу! Наконец-то я освободилась!» — думала она.

ХП

Мирл вернулась домой далеко за полдень. Коротенькие черные тени лежали перед домами, и скука разгоряченного дня казалась от них еще длиннее.

Вокруг дома все было спокойно. На задворках в полойной яме дремала свинья. Парадная дверь закрыта — точно в доме все спали.

Мирл вошла во двор и огляделась. Все пусто. Брички нет, нет и экипажа. Значит, все уехали, и никого, кроме Гитслэ, нет. Мирл потянуло туда — в этот пустынный и прохладный дом. Она войдет и втихомолку станет думать о том, что вот теперь она свободна и что в ее жизни может все измениться.

Но, войдя в столовую, она сразу забыла все, о чем думала две минуты назад. Она поняла свою ошибку. Дом был полон испуганной суеты, шорохов, шопотов и тайн. Ее позвали в закрытую залу, где все сидели вокруг рыдающего Шмулика, предлагая ему воды. С Мирл хотели поговорить при нем и для этого случая заранее приготовили разные вежливые слова.

Но Мирл заперлась в своей комнате. Она чувствовала себя совсем подавленной.

«Как я была наивна!—думала она.—Как я могла допустить, что все кончится так легко и спокойно?»

А в зале все еще советовались. Позвали раввина Авремеля; кассира совсем не выпускали из дому. Дешевой срочно вызвали и того друга Зайденовских, который, по их поручению, приезжал к Гурвицам в прошлом году.

Вечером к Мирл зашел реб Гедалье и спросил у нее:

— Чего ты хочешь? Ты можешь сказать — чего ты хочешь?

Лицо Мирл стало холодным и строгим.

— Я хочу, чтобы меня оставили в покое,—ответила она.

Реб Гедалье выглянул за дверь, точно боясь, что его кто-то подслушивает, и зашептал:

— Шмулик хочет вызвать родителей! Хоть бы ты людей постыдилась!

И добавил, повышая голос:

— Может быть, ты думаешь, что мои дела так хороши? Неужели ты думаешь, моих пятидесяти процентов, которые я получу с кашпероЕского леса, хватит на расплату с долгами и на остаток моих дней?

Он постоял немного:

— Я и мать снимаем с себя ответственность. Поступай, как знаешь.

Было ясно — отец и мать сделали для нее все, что могли, и теперь предоставляют ее самой себе: «Поступай, как знаешь!»

Отец ушел. Ей стало еще тяжелее. «Родители будут свидетелями моей длинной, одинокой жизни. Они не станут упрекать меня и говорить ничего не будут, но будут думать: «А чем мы можем помочь?»»

Ночью ей приснились сердитые лица родителей Шмулика. На рассвете она будто бы подошла к окну и видела их экипаж, в котором, к ее удивлению, сидели Авром-Мойше Бурнее с женой и Шмуликом. Шмулик согнулся и весь трясся от рыданий, а Бурнесы толкали маленького возницу в спину, торопя его.

Она проснулась и первым делом подумала, что родителей Шмулика в доме нет и что это очень хорошо. Она лежала, и разные мысли приходили ей в голову:

«Ничего не поделаешь. Придется все-таки итти за Шмулика, но ненадолго, не навсегда — на время!..»

Мирл помирилась с женихом. Срок свадьбы остался прежний. В городке толковали о том, что Мирл поета-

вкл'а жениху два условия: чтобы они не жили брачной жизнью и чтобы она могла уйти от него во всякое время, когда ей захочется. О чем же тут говорить? Шмулику Зайденовскому еще не поздно одуматься и подыскать другую невесту. А если он принял условия Мирл, так только потому, что она околдовала его, как и Велвеля Бурнеса. Но вся эта история прямо-таки любопытна! И можно ль, поэтому, отказать себе в удовольствии лишний раз посмотреть на эту медленно прогуливающуюся пару, которая не будет брачной в браке, а будет жить другой, какой-то непонятной жизнью, не такой, как живут и жили все молодожены на свете?

На Шмулика смотрели, как на подвижника. Он по-прежнему рассказывал свои длинные нудные истории, но лицо его при этом было грустное, голос еле звучал, и казалось, что он постится. Он вызывал сострадание к себе, и сердобольные еврейки сочувственно покачивали головами: «Вот попался, горемыка!»

Мирл была с ним строга и замкнута. На прогулках он не смел брать ее под руку, не смел заговаривать с ней. Однажды она долго разговаривала на перекрестке со своей кормилицей Брохой — женой сапожника. О Шмулике она совсем забыла.

— Да,— говорила Мирл деловито,— ваш домик совсем развалился. Его надо этим летом во что бы то ни стало поправить. И скажите мужу — пусть зайдет снять мерку. Шмулику не помешает лишняя пара сапог.— И уж отойдя, она громко добавила:— Ничего! Ваш муж хороший мастер. Он шьет обувь не хуже городских сапожников.

Из окон и с балконов во все глаза смотрели любопытные и диву давались:

— Видали? Разве так делают, когда идут гулять с женихом?

ХІІІ

Шмулик пробыл, у Гурвицев еще долго — целых восемь дней. Он чувствовал себя плохо, а вес не уезжал, откладывая свой отъезд со дня на день.

Когда он, наконец, уехал, начали сювиться к свадьбе.

На кухне день и ночь полыхал огонь в печи, и горяченные женщины, засучив рукава, чистили горы миндаля, толкли корицу, взбивали белки.

I Всей этой шумной армией командовала наемная повариха, специально вытребованная из другого городка.

Она носила синие очки, и лицо ее от этого казалось бледным и унылым; говорила мало, а когда говорила, голос ее звучал низко, и всем своим видом она почему-то напоминала вдову цадика. В ее проворных руках всякая работа казалась ладной и красивой, и поэтому, когда она работала, на нее приятно было глядеть.

В комнатах хозяйничала бедная родственница Гитэлэ, тоже вызванная из другого гвродка.

В столовой и зале расположились портные. Они привезли полусшитые платья для Мирл, чтобы их здесь закончить.

В городке не верили в замужество Мирл. Домочадцы же Авром-Мойше Бурнеса с особенным пристрастием обсуждали предстоящую свадьбу.

— Ну,—говорили они,— еще посмотрим, что из всего этого выйдет. Подождите, с божьей помощью, она и Зайденовскому отошлет акт о помолвке обратно. С нее все может случиться!

Акушерка Шац и провизор Сафьян совсем не заглядывали в дом Гурвицев. Они сторонились Мирл и не находили теперь никакого интереса в ее обществе.

Мирл как должное принимала отчуждение друзей и часто в своей заваленной бельем и материями комнате думала об этом.

А вокруг нее шла и быстро подвигалась вперед молчаливая, сосредоточенная работа. В прохладных комнатах шелестели ткани, сверкали иголки, и то и дело раздавался хриплый хруст больших портновских ножиц.

Иной раз кто-нибудь из молодых подмастерьев забудется и, сильно нажимая на педаль ножной машины, вдруг затянет песню:

Ах, моя любимая!
Я отправляюсь в дальний путь,
Я уезжаю навсегда...

. Но песня затихла, и слышится только частый, ровный, немножко сердитый стрекот машины. Вот она остановилась и замолкла, как бы уступая место другой, такой же стрекочущей и сердитой. В распахнутые окна влетает теплый апрельский ветер; он пузырит занавеси, взмывает их до самого потолка и вместе с собою вносит в комнату сладкие запахи первого цветения окраинных садов.

Мирл зовут в залу на примерку. Она стоит перед

большим зеркалом, и все пять подмастерьев, забыв иголки в поднятых руках, обалдело смотрят на ее обнаженные плечи. А она бросает полупрезрительный взгляд на свое изображение и вдруг беззвучно шепчет:

«Ты чего-то хотела, куда-то рвалась, бунтовала. Что же с тобою стало? Как же ты смеешь надевать на себя эти позорные тряпки?»

Она волнуется все больше и вдруг отталкивает портного:

— Что вы мне рассказываете! Это платье никуда не годится, — оно совершенно испорчено!

Однажды на террасе девушка-модистка гладила новое шелковое платье Мирл. Она то и дело пробовала, не слишком ли горяч утюг, и слушала, как машинки в доме вырывали друг у друга стрекотанье.

Вдали, за мостом, медленно, один за другим, замирали удары кузнечных молотов. Наконец они умолкли совсем.

Вдруг издали послышались бубенцы, и чей-то незнакомый фаэтон показался в дальнем конце улицы. Девушка встретила и проводила глазами широкоплечего молодого человека, который сидел в фаэтоне, жадно оглядываясь на окна дома Гурвица. «Это не к нам, — подумала девушка, — это какой-нибудь приезжий...»

Мирл стояла у зеркала, примеряя одно из бесчисленных своих платьев. Вдруг кто-то в соседней комнате равнодушно сказал:

— А к Шац опять приехал этот поэт.

У Мирл сразу похолодели пальцы и широко раскрылись глаза:

— Кто? Кто приехал?..

Не дожидаясь ответа, забыв о портном, который елозил перед ней на коленях, закалывая булавками подол, она сорвала с себя платье и торопливо стала натягивать свою будничную кофточку.

Портной вскипел. Он повернулся к подмастерьям и, отирая пот со лба, сердито сказал:

— Чго ты будешь делать! А я-то думал, что ко вторнику закончим работу и сможем уехать!

Губы у Мирл дрогнули и, нервно застегивая ворот кофточки, она спросила:

— Что вы ко мне пристали? Я никак этого не пойму!

Она быстро вышла и в большом нетерпении стала ходить по комнатам, ожидая кого-то. Кажлый раз, когда хлопзла входная дверь, она посылала служанку:

— Поди, посмотри, кто там пришел.

К вечеру она устала ждать. Побледневшее ее лицо казалось грустнее, чем всегда. Никто не пришел. Она сидела на крыльце, кутаясь в шаль, и смотрела на закатное красное солнце.

Мимо прошел человек с четвертью вина в руках. Вино раскачивалось в бутылки, булькало и казалось прозрачно-рубиновым. Мирл ясно представила себе, как это вино поставят на праздничный стол, как усядутся веселые гости за ужин, как разольют вино по бокалам и, высоко подымая их, станут чокаются.

Потом она представила себе низкую комнату Шац. Все соберутся: и Сафьян, и акушерка, и Герц будут сидеть допоздна, разговаривать о посторонних вещах, а думать о письме, которое она недавно послала Герцу, и говорить про себя:

«Какая глупая эта история с письмом Мирл!»

На следующий день рано утром акушерка достала где-то рыжую лошадь, запряженную в двуколку, села в эту двуколку и, размахивая над головой кнутом, помчалась через весь городок. Хозяйки, выгонявшие на восходе солнца коров, своими глазами видели все это.

Оказалось, что в домике Шац всю ночь пьянствовали. Ли пьянке принимали участие гость акушерки, она сама, сын квартирной хозяйки и еще какой-то сельский учитель, тихий тридцативосьмилетний неудачник.

Захмелевший Герц был недоволен, когда с ним заговаривали о его чувствах к Мирл:

— • Не понимаю, чего вы хотите? Она, правда, ничемная, от старого оторвалась и к новому никогда не пристанет, но она все же, черт подери, красивая девушка.

Днем о попойке говорили и в доме Гурвица. Кто-то рассказывал о том, какое было у акушерки лицо, когда она скакала нынче по городу, как расшалившийся подросток.

— Интересно, сколько этому подростку лет?— закончил рассказчик.

Мирл в это время рылась в сундуке. Она подняла удивленные глаза на рассказчика, но ничего не сказала.

Перед вечером Мирл встретила с акушеркой на улице. Обе девушки стояли некоторое время и молча смотрели друг другу в глаза, и в этом безмолвном обмене взглядами чувствовалась обоюдная ненависть.

Мирл сказала:

— Я слышала, Герц приехал?

Акушерка злорадно улыбнулась:

— Да. Еще в воскресенье вечером.

Пауза.

— Долго он здесь пробудет?

— Вероятно, несколько дней.

Опять пауза.

— Ты не знаешь, почему он не ответил на мое письмо?

Лицо акушерки сделалось колючим. Она неестественно рассмеялась, и смех ее был глупым и самодовольным, точно она чувствовала себя победительницей в какой-то борьбе:'

— Не понимаю, чего ты пристаешь к нему! Можешь быть уверена, что ему не до тебя и не до твоих писем.

Мирл постояла мгновение против подруги, пристально глядяваясь в это чужое, враждебное лицо.

Домой она шла очень быстро и не замечала этого. В передней ее остановил закройщик. Он что-то сказал ей. Но она не расслышала или не поняла и прошла в свою комнату. Но вдруг она быстро вышла оттуда, оделась и, не обращая внимания на приставания закройщика, пошла по направлению к селу — в домик акушерки Шац.

Домой сна вернулась поздно, около десяти часов вечера. @ пылающим лицом она посидела на краю стула в темной своей комнате, затем вдруг вскочила, разыскала девушку-модистку и стала допытывать ее, не помнит ли она, что нужно было ей, Мирл, сегодня делать. Не дожидаясь ответа, повернулась к ошеломленной девушке спиной и выбежала из комнаты. Она пошла в залу, где в тусклом свете притушенных ламп сидели портные. Усталые — они отдыхали. Мирл вошла, резко стуча каблучками, выкрутила все фитили, ярко осветив комнату, и потребовала у испуганного закройщика то самое платье, которое тогда она «не успела примерить». Подмастерья тарашили сонные глаза и ничего не понимали.

Она осталась недовольна, узнав, что закройщик завтра уезжает.

— Как! — говорила она, поправляя корсаж перед зеркалом. — На будущей неделе свадьба. Я не могу допустить, чтобы платья были уложены без вас, а вы из хотите их даже закончить.

Ей во что бы то ни стало хотелось поднять Еокруг себя тарарам.

®на притащила реб Гедалье: пусть он оставит закройщика до свадьбы.

— Ведь мы,— говорила она, и глаза ее блестели,—не постоим за деньгами. Мы хорошо заплатим вам за труды.

д'<

XIV

В пятницу все успокоилось, все пришло в порядок. Исчезли швейные машины, утюги и ножницы. На окнах появились парадные гардины; в последний-фаз наводили лоск на мебель, протирали спиртом зеркала, вощили полы. Это был канун девичника.

Около трех часов дня к дому подъехали две крестьянские подводы; их поспешно нагрузили швейными машинами, а сверху привязали два манекена, которые здесь на улице имели какой-то дурацкий вид. Как раз в это время из кашперовского леса вернулся реб Гедалье. Он вылез из экипажа, остановился на чисто вымытых ступеньках крыльца, вытащил пухлый бумажник, и весь его вид при этом выражал большое удовольствие. Вот, мол-де, смотрите, люди добрые! Я счастлив потому, что могу щедрой рукой оплатить свадебный гардероб единственной дочери. И когда он расплачивался с портными, лицо его сияло. Потом он снова уселся в экипаж и вместе с раввином Авремелем, за которым он, реб Гедалье, не забыл заехать, отправился в баню. Подводы, груженные машинами, манекенами и веселыми портными, прогромыхали мимо базарной площади. Евреи останавливались, глядели им вслед и добродушно улыбались:

— Не поспеть им до захода солнца! Зацепят они оглоблями субботу.

А потом все затихло — и в городке и в доме реб Гедалье.

Нарядные розовые гардины спускались до самого пола, по сверкающей поверхности которого бежали плюшевые дорожки, вызывая тоску по чужому счастью. Вот тянутся эти дорожки и завидуют другим, которые лежат в другом разукрашенном к свадьбе доме. «Невеста в этом другом доме счастлива», тускло шуршит плюш. И еле шелестит тугой шелк гардины: «Она любит жениха, она любит...»

Мирл стояла перед зеркалом в своей комнате и одевалась в самое обыкновенное платье. Вокруг висела тоскливая тишина. Тишина нарастала, тоска крепла, и было в ней сожаление об этой девической жизни, которой приходит конец.

Мирл не хотелось думать о Шмулике; наверное он тоже, как и она, готовится сейчас к свадьбе, — к их свадьбе.

«Все равно эта свадьба ненадолго, на время», думала она. И эта мысль сидела в ней так крепко, как никогда за все долгое время сватовства.

Равнодушная ко всему, она даже решила пойти в аптеку за какими-то мелочами. Подымаясь в гору, она думала о своем одиночестве, которое утвердила для себя бесповоротно. Никто, никто ей не нужен. Но теперь, как никогда, ей нехватало чего-то главного. А через мгновение она уже сомневалась в том, что это «главное» существует, и в том, что хоть кто-нибудь верит в него. Вдруг она вся вспыхнула от жгучего стыда: обо всем этом говорилось в письме к Герцу.

«И зачем она написала это дурацкое письмо?» — догадывалась она, быстро взбегая на крыльцо аптеки.

Когда она вышла оттуда, солнце висело на отуманенном горизонте, как большая огненно-золотая монета. И в багряном его свете она увидела Герца. Его зеленоватые, глубоко сидящие глаза, как всегда, улыбались. Он смотрел на евреев, уже возвратившихся из бани, которые стояли у раскрытых дверей своих домов и готовились идти в синагогу встречать субботу.

Лицо Герца казалось золотистым от солнца. Он увидел Мирл, шагнул по направлению к ней и, делая широкий жест рукою, сказал:

— Посмотрите, настоящее субботнее небо. Какое спокойствие кругом! И этот пригорок там, на западе, — все субботнее!

Мирл посмотрела и на пригорок, и на поля, но ничего не увидела там, кроме крестьянина, который торопился до потемок вспахать свой клочок земли.

Мирл не поняла, иронизирует Герц или нет. Она посмотрела на него слегка испуганными глазами. «Что это за человек?» — подумала она. — «Никак его не поймешь».

А он улыбнулся, и в его глазах опять засветился иронический огонек. И, может быть, для того, чтобы последний раз посмеяться над ней, он спросил:

— Думали ли вы когда-нибудь о судьбах еврейского народа?

Мирл побледнела. Она плотно сжала губы, ее дыхание стало тяжелым и прерывистым. «Если я еще когда-нибудь приеду сюда, то только ради вас», — вспомнилось ей. — Откуда же теперь это оскорбительное отчуждение? Зачем он оговаривает меня перед акушеркой и перед

всеми? Нет, нет, в этой записке было нечто худшее, чем шутка.

Он вызвался проводить ее.

— Несколько дней тому назад я видел вашего отца,—ни с того, ни с сего сказал он.

Но она перебила его:

— Бывают люди, которые оскорбляют каждым своим словом. Единственно хорошее, что они могут сделать,—это молчать. И я вас однажды уже просила об этом.

Не оборачиваясь больше к нему, она остановилась и стала разговаривать со встречной еврейкой: реб Гедалъз * несколько дней тому назад вернул ей долг с процентами.

Еврейка улыбалась всем своим добрым лицом; она то и дело поправляла на голове белый шелковый субботний платок и, не решаясь говорить о реб Гедалье в единственном числе, нараспев причитала:

— Разве можно оценить их сердце? Боже сохрани, чтобы они польстились на чужое. Да разве они останутся у кого-нибудь в долгу?..

Герц стоял -в сторонке. Когда Мирл рассталась с еврейкой, он опять пошел рядом. Он был смущен, и ему очень хотелось сказать что-нибудь простое, не задевающее ее, но он вдруг сказал:

— Послушайте, есть девушки, которые становятся притягательными накануне свадьбы с другим...

Она не хотела слушать его. Она протянула ему руку:

— Простите, мне нужно идти.

Но он задержал ее:

— А я думал, что вы сейчас свободны. Шац вернется поздно. Мы бы с вами немножко побродили по окраинам. Там есть чудесные места.

Не дослушав, она оставила его, прошла к себе к вдруг почувствовала — ее тянет туда — к нему. Она хочет видеть его, говорить с ним.

Среди множества мыслей, теснившихся в голове, то и дело всплывало: «Во вторник к венцу!.. А Герц там один, в домике на селе!»

Она вышла на крыльцо и стояла там долго, пока на стемнело. Уже народ возвращался из синагоги; вот и реб Гедалье в черном шелковом сюртуке поднялся на крыльцо:

— Доброй субботы, Мирелэ!

И еще раз повторил:

— Доброй субботы!

В воскресенье дом Гурвицев жил необычной жизнью. В столовой сидело человек пять-шесть близких друзей реб Гедалье. Раввин Авремель подымал свой бокал и, чокаясь с хозяином, говорил:

— Да пошлет вам господь благополучной дороги и благополучного прибытия! Да благословит всевышний детей ваших с самого часа венчания!

А в соседних комнатах двигали тяжелые ящики, вбивали гвозди, ворочали сундуки, и суетливая родственница Гитэлэ кричала кому-то, высунувшись из окна:

— Так приходите завтра к двенадцати! А то мы в половине первого выезжаем...

Внезапно открылась дверь, и на пороге появился Герц. Все с любопытством уставились на этого рослого незнакомца; реб Гедалье, встав немножко, глядел на него поверх очков и думал: «Что это за человек? Не нашелся ли еще один кредитор?»

Но молодой человек спокойно спросил, дома ли Мирл. Испуганная Мирл, услышав из залы его голос, появилась в дверях и быстро увела его из столовой.

Они долго разговаривали, стоя у закрытых дверей залы. Когда они вышли, у Мирл горело лицо. Она не смотрела на Герца, который спокойно шел впереди и улыбался. На ступеньках крыльца они задержались, пропуская двух гостей, уже попрощавшихся с хозяином.

Мирл взглядела в синее большое небо над городком и, точно желая задеть Герца, холодно сказала:

— Я очень рада этим солнечным дням. Думаю, что и день моей свадьбы тоже будет светлым.

Но он кивнул ей и медленно пошел к беспорядочно разбросанным домишкам села.

В городке обсуждали новые слухи. Говорили, будто в понедельник утром Мирл окольными путями прошла к акушерке, но никого там не застала. Хозяйка сообщила ей, что Герц уехал вчера вечером и больше сюда не вернется.

Еще говорили о том, что кто-то из недругов Гурвица написал письмо родителям Шмулика. В письме упоминались два имени: Мирл и Герц. Письмо должно было прийти в тот самый день, а может быть и час, когда невеста переступит порог дома своего жениха.

В доме Авром-Мойше Бурнеса особенно интересовались всеми этими слухами. Родители, не перенося вельселя у реб Гедалье, уехали куда-то, и по этому случаю

у молодежи собрались гости. Жена фотографа Розенбаума брэнчала на гитаре. А в соседней комнате бушевали младшие дети до тех *под*, пока их не взяли с собой на прогулку.

Девушк;-Бурнее полегчало, стало свободнее дышать — в доме реб Гедалье уже никого не было. Но когда пришлось миновать этот дом, все опять присмирели, всем стало грустно от ощущения внутренней его пустоты. На крыльце сидел дряхлый сторож, среди бела дня охранявший парадную, крепко запертую дверь. И казалось, что дом безмолвно рассказывает об уехавших и о том далеком полустанке, где завтра будет венчание Мирл.

И всем почему-то представился полустанок по ту сторону томительно-бегущих рельс; над ним стоит такой же, как и здесь, погожий день, и музыканты играют за обедом, который дает жених своим родственникам. И Мирл готовится итти туда же и надевает новое шелковое платье с длинным шлейфом.

Кто-то предложил вернуться или пойти лучше к дубовой роще. И все поплелись туда лениво, без всякой охоты.

Вдруг вторая дочь Бурнеса увидела экипаж, остановившийся у их крыльца. Она глупо во весь голос закричала:

— Смотрите, смотрите! Это Велвель приехал.

Все знали, почему Велвель последнее время не жил дома. Старшая сестра поспешила домой. Она вошла в столовую и увидела Велвеля; он стоял один в светлом дорожном плаще, низко опустив голову, и пристально смотрел на вытянутый палец правой руки, которым он старательно размазывал чайную лужицу на клеенке.

— Смотри-ка: Велвель! Откуда ты взялся?—неестественно громко обрадовалась девушка.

Но он ничего не ответил, не поднял головы и продолжал водить пальцем по клеенке.

Они помолчали. Сестре стало неловко. Она подошла к окну, подняла штору и долго смотрела на улицу. Наконец она повернула к нему лицо.

— Велвель, — спросила она, — ты здесь будешь ночевать сегодня?

Велвель поднял голову, спрятал руки в карманы плаща и, не глядя в ее сторону, переспросил:

— А? Что? Нет, я сегодня же еду обратно.

Он вышел из дому, сел в экипаж и приказал кучеру:"

— Домой!

Лошади быстро пронесли легкий экипаж мимо последних домов предместья, а Велвель сидел, слегка сутулый, и совсем не оглядывался назад.

Часть третья

I

— Шмулик, отстань!

Шмулик стоит над ней с полуоткрытым ртом и, глупо улыбаясь, ковыряет в зубах. На дворе его ждет собственная пара лошадей, запряженных в собственную новенькую бричку; на этой бричке ему предстоит целых три часа трястись к винокуренному заводу отца.

Шмулик, в конце-концов, отходит от кушетки, на которой лежит Мирл. Он идет к дверям отплевываясь, и с присвистом щелкает языком, точно желая избавиться от чего-то, застрявшего в зубах.

— В пятницу, Мирелэ, в пятницу, — говорит он на ходу, и Мирл чувствует, что все это неправда. — В пятницу я зайду и спрошу, почему до сих пор не доставили нам стенных часов.

Эта ненужная ложь ей неинтересна, она вызывает в ней только отвращение. Мирл не смотрит на мужа. Все в нем: его опустившаяся, обрюзгшая фигура, его рыжая, давно не стриженная борода, его голос — неприятны ей. И все это напоминает ей, что месяц тому назад она отдалась ему без всякого желания и что он получил от нее все, о чем мечтал,—и поэтому стал таким равнодушным, успокоенным и еще более омерзительным. Вот вчера была суббота, Шмулик лег после обеда, как был одетый, только снял пиджак, и проспал до вечера в небольшом своем квадратном кабинете. Вечером к нему зашел один из его молодых родственников, долго будил его, щекотал, а он, свернувшись калачиком, только отмахивался:

— Оставь меня, не щекочи! Забываешь, что имеешь дело со стариком!

Как наивно думала она когда-то, что выходит замуж в шутку, и даже взяла слово с жениха о безбрачии их брака. И много вот таких девушек-невест, которые не

знают, чего они хотят, и думают, как и она, будто замуж идут в шутку, на время, и своим нелюбимым женам ставят такие же условия.

Она слышит грохот отъезжающей брички Шмулика, и ей становится немного легче. Ей приятно думать, что он уезжает на целую неделю.

Во всех четырех обставленных новой мебелью комнатах грустно и тихо. В кухне прислуга моет посуду, слышно, как тарелки торопливо ложатся одна к другой, печально звеня, точно им больно от прикосновения друг к другу.

От нечего делать она выходит в сад. Все там полно увядания. Ободранные вишневые деревья тянутся от флигеля до большого белого дома свекра; они шепчутся о полусохшем позднем лете, о высоком прохладном небе последних августовских дней.

На застекленной веранде стоит свекровь и громко кричит невестке:

— Мирелэ! Что ж ты не возвращаешь мне полфунта чаю? Или забыла об этом?..

Мирл понимает, что дело тут не в полуфунте чая. Просто свекровь бесит равнодушие Мирл к хозяйству, и она хочет проучить ее. Ведь молодая хозяйка должна раз навсегда запомнить, что взятое в долг возвращается без напоминаний.

Мирл не отвечает. Ее раздражает свекровь. Она идет и садится на ступеньки крыльца своего домика.

Застоявшийся извозчик медленно ползет к длинному цепному мосту — туда, в центр, в шумные улицы большого города, где полумиллионная армия людей круглые сутки вертится в беличьем колесе своих повседневных забот.

Мирл сидит и смотрит в спину извозчика: «Что же мне теперь делать?»

Где-то далеко, на другом конце предместья, тарыхтит пустая подвода. Суховатое эхо многократно повторяет утомительный речитатив колес, и кажется, будто они выговаривают: «Завтра будет то же самое, послезавтра то же самое...» И так без конца.

Старый петух долго карабкается на каменную полуобвалившуюся ограду церковного двора. Это ему, наконец, удастся, и он, широко разевая рот и ероша тонкие перья, длинно и хрипло орет:

— Ку-ка-ре-ку-у-у!

Тишина. Кругом ни души. Словно раскаивающиеся з по

какой-то страшной ошибке, стоят бедные и богатые дома на песчаном краю предместья.

Мирл вспоминает, как два месяца тому назад здесь, в доме свекра, были реб Гедалье с Гитэлэ на послесвадебном субботнем пиру. Чувствовали они себя очень плохо у богатой новоиспеченной родни, с которой тягаться им было уже не под силу. От смущения и растерянности они ежеминутно отходили в сторону и шептались о чем-то. А" на званом ужине в домике молодых они сидели, как чужие, среди множества нарядных городских гостей. Уехали они незаметно с затаенным чувством печали и отчужденности, как уезжают из богатых семей обедневшие родственники.

Все это далеко в прошлом: и родители, и родной город, и дом,, парадная дверь которого всегда теперь на засове. Кажется, что в этом доме спят даже днем, а стены скучают по ней, половицы скрипят, дверные петли стонут: «Уже нет Мирелэ! Выдали, выдали замуж...»

Теперь Мирл принадлежит Шмулику, и от скуки часто ходит к своей кухне, Иде Шполянской,—богатой, красивой и распушенной.

Мирл часто теперь бродит одна, кружась по шумным улицам центра. Однажды она встретила там Носсена Геллера. Было это так: она возвращалась поздно от Иды и вдруг увидела его. Он стоял спиной к ней под высоким электрическим фонарем, одетый в модное широкое осеннее пальто, и оживленно рассказывал благообразному русскому господину о затеянной им газете «Копейка».

— Понимаете,—говорил он,—первый номер должен выйти не позже пятнадцатого.

Она не может до сих пор вспомнить, как случилось, что она совсем близко увидела его удлинненное, свежесвыбритое, матовое лицо.

Возбужденно блестя глазами, он протянул ей руку и сказал:

— Наконец-то мы снова встретились.

Эти слова показались ей глуповатыми. Она подумала: «Юн все еще не поумнел, этот Носсен». Но сердце ее сделало несколько судорожных толчков; она вгляделась в его лицо, и на нее вдруг пахнуло теплым воздухом весенних вечеров и влажной травой зеленого пригорка, на котором они просиживали вдвоем допоздна.

Ночью она приснилась сама себе совсем юной и влюбленной в Носсена. И после каждое утро ее тянуло почему-то в шумный водоворот улиц, ведущих к тихому за-

росшему перекрестку, где Носсен вечером будет ее ждать.

Днем она сидела на ступеньках крылечка, смотрела в пустынный воздух предместья и понимала, как глупо, что ее тянет к Носсену. Ведь она сама оттолкнула его. Но тогда она еще мечтала о чем-то. А теперь? Теперь она жена Шмулика Зайденовского, навеки оторванная от реб Гедалье и Гитэлэ, и жизнь ее пуста, пуста.

А к вечеру делалось еще грустнее, все чувства становились туманными от пережитого дня. И все время не покидала ее уверенность в счастье других людей,—но где эти люди, какие они — неизвестно.

Почти всегда в одно и то же время звякала щеколда калитки дома Зайденовских, и из нее выходила нарядная сестра Шмулику— Рита. Молодая девушка, только что окончившая гимназию, казалась старше своих девятнадцати лет и распространяла вокруг себя чувство то ли усталости, то ли равнодушия. Вся она — в плотно обтягивающем ее рослую фигуру костюме с несколько утрированной прической, чуть-чуть сдвинутой набок, и в широкополой шляпе, тоже чуть-чуть сдвинутой, выглядела изготовленной по самому модному образцу большого города.

Рита задерживается у крылечка Мирл—большая, туго затянутая в корсет.

— Я еду в город,—говорит она.—Тебе ничего там не нужно?

Мирл смотрит на "нее снизу вверх в ее матово-смуглое лицо с такими же матово-темными без блеска глазами. Эта девушка много молчит, и, кажется, будто молчит она не потому, что ей не о чем говорить, а потому, что ей не хочется говорить: она чем-то пресыщена или очень утомлена. Но на самом деле голова ее тупа и бездумна, как и у ее матери, и редко в ней зарождается какая-нибудь мысль. И все-таки Мирл кажется, что Рита разнюхала о ней и о Носсене и не сегодня-завтра доложит об этом свекрови. От этой мысли у Мирл вздрагивает и мутно замирает сердце. Она смотрит на исчезающую за поворотом Риту, потом идет в дом и долго и тщательно одевается у себя в спальне.

После она несется в освещенном, звонко грохочущем трамвае через длинный чугунный мост.

Над городом стоит тихий безлунный вечер. По широкому, сильному течению многоводной реки скользят тучи* кло освещенные пароходики. Они останавливаются, ба-

совито гудят, как бы вспоминая своих пассажиров, которые утром покинули их палубы.

— Э-ге-ге!—вздыхают гудки.—Они давно уже выпались, эти люди, и теперь сидят где-нибудь в театрах, клубах или городских садах.

На Мирл летит гористый, большой, весь пронизанный сиянием огней, однообразно гудящий город. Это гудение становится ощутительней, когда трамвай задерживается на остановках, и Мирл кажется тогда, будто расквакались десятки тысяч речных лягушек, и тихая, заросшая травой улица, где ждет ее Носсен Геллер, вдруг, как живая, встает перед ней.

Как обычно, все в переполненном трамвае сидят и стоят молча, и в этом молчании есть какое-то пренебрежение друг к другу — точно один другого не замечает и замечать не хочет. Но каждый в отдельности производит смешное впечатление, как человек, только что вставший с левой ноги и всем на свете недовольный.

Мирл тоже все нужны, как прошлогодний снег. Но за своей спиной она всегда чувствует взгляды, с любопытством устремленные на нее, и шопот:

— Невестка Зайденовских.

Это были, очевидно, соседи, какие-нибудь богатые домовладельцы, которые много слышали о Мирл, как о женщине притягательной и необычной, и им хотелось получше разглядеть ее. Им хотелось воочию убедиться, стоит ли овчинка выделки, и уж такой ли хороший вкус у нынешней молодежи.

Однажды офицер, сидевший, на противоположной скамейке рядом с женой, долго смотрел на Мирл, может быть вспоминая о первой любви, или думая, что женился-то он, кажется, по ошибке. Мирл инстинктивно почувствовала этот взгляд и тоже посмотрела на него, раскрыв глубокие и синие, печально затененные ресницами, глаза.

«И мне нехорошо», сказал этот взгляд.

Молодые люди мгновение смотрели друг на друга, и внезапно оба покраснели. Мирл сделалось нестерпимо тесно в тугом корсете. Она встала и вышла на площадку.

Вагон, звеня, остановился. Мирл сошла в начале широкой центральной улицы. Матово-белые большие фонари, сливаясь с прозрачным воздухом погожего августовского вечера, заливали еще не потемневшую улицу потоками света, придавая ей торжественно-праздничный вид.

Казалось, что в дальнем конце этой, как лента, натянутой улицы и начинается праздничное шествие под балдахин из фонарей и звезд, и множество несоразмерно больших фанфар и барабанов сопровождают его. Все это движется откуда-то из большого, шумного, сказочного царства. Здесь бродили толпы нарядных молодых людей, нагло заглядывающих под шляпки дам; сновали элегантные женщины, жаждущие приключений и измен; студенты с курсистками — растерянно-жадные, точно они, находясь на одной улице, опоздали на другую, где ждет их что-то необыкновенно интересное.

Мирл миновала бульвар, на котором жила Ида Шполянская, пересекла две-три пустынные улицы и вышла на четвертую — тихую, слабо освещенную простыми газовыми фонарями. Под одним из них нетерпеливо прохаживался Носсен Геллер; увидев ее, он еще издали радостно бросился навстречу. Он думал — она уже не придет. Он обеспокоен: не холодно ли ей; он очень доволен, когда она позволяет накинуть на себя одну половину его широкого пальто. Он держит за талию молодую жену Шмулика Зайденовского, и рука его при этом слабо дрожит.

— Твои волосы, — шепчет он, — пахнут не духами, а чем-то удивительно нежным, особым, девическим. Ты все такая же юная, как была два года тому назад.

Она молчит. Она твердо знает, что все это ненадолго: и чувство ее к Носсену, и тайные их свидания. Она смотрит на двух девушек, идущих навстречу. Это горожанки — они знают толк в красивых мужчинах. Вот они посмотрели на Геллера, улыбнулись, прошли несколько шагов, обернулись и улыбнулись опять. Она уже не слышит Геллера, который болтает о себе, о своей газете. Она думает: «Не по ней такие встречи; для таких, вот, девушек, да, они хороши. А ей?.. Ведь она другого чего-то ждала и поэтому оттолкнула Носсена. Но когда-то в девичестве ей казалось, что она почти поняла, чего именно ей нехватает... Теперь она все растеряла, и все в ней туманно и тоскливо... и все ненадолго... Скоро всему конец...»

II

Со дня на день она все больше распознавала Носсена. Все такой же. — позапрошлогодний — он болтал легкомысленно, судил поверхностно и, как прежде, был по-

хож на только что выброшенного из старших классов гимназиста.

Она почти не слушала болтовни о предполагавшемся его браке с богатой девушкой-сиротой и о том, что он хочет теперь расторгнуть помолвку.

В один из таких вечеров он назойливо приставал к ней, требуя развода с мужем; он хотел, чтобы она вышла замуж за него, Носсена. Ведь он будет ворочать большими делами, его газета «Копейка» — дело нешуточное, да и теперь он уже пользуется в городе большим почетом.

Ей было противно все это, а он сердился на нее за то, что она совсем не слушает его и думает о чем-то другом:

— Ни в чьих глазах я не выгляжу таким ничтожным и глупым, как в твоих!

Она ничего не ответила, только посмотрела на него и перестала ходить на тихую, заросшую травой, улицу.

Дни стояли серые, облачные. Облачное небо совсем низко спустилось к песчаным пустырям предместья; равномерно-унылые, резкие удары тяжелой шеколды бредили дуЧпу.

В субботу вечером от Носсена пришло письмо; в нем говорилось о его любви к Мирл, о пустоте, которая его окружает без нее; невеста узнала об этой любви, отказала ему и уехала в Лодзь... Сегодня суббота — значит, муж ее дома, и у них наверное гости, а он будет бродить один и об одинокой комнате своей вспоминать с -отвращением, будет бесконечно томиться и думать: «А вдруг все-таки она придет».

Письмо валялось около нее недочитанным, а она лежала на кушетке, лицом кверху, с закинутыми за голову руками. Ее взаимоотношения с этим бездомным юношей, ютящимся где-то в мебелишках, казались ей теперь, нелепыми. Она ясно представила себе ту улицу, где он ходит теперь один, и как ему тоскливо, и как неохота возвращаться в пустую холостяцкую комнату. И она недоумевала:-

«Вот глупо! И зачем я ходила к нему?»

Шмулик и в эту субботу проспал целый день в своем кабинете, и опять тот же молодой родственник тормозил и щекотал его:

— Шмулик, открой глаза! Завод горит, Шмулик!

Мирл терпеть не могла родственников мужа; она и словом не обмолвилась ни с одним из этих развязных, вечно улыбающихся молодых людей.

Проходя мимо кабинета, она даже не оглянулась на открытую его дверь. А Шмулик, увидев жену, сладко потянулся всем своим выпавшимся, ленивым телом и, простодушно улыбаясь, спросил:

— Ты пойдешь к отцу, Мирелэ?

Мирл ничего не сказала и прямо прошла в столовую. В одну из прошлых суббот она уже ответила ему на такой же вопрос так:

— Найдешь туда дорогу и сам!

Казалось бы, чего проще раз и навсегда запомнить этот ответ и не надоедать ей больше.

Вечером, когда Шмулик ушел с отцом в синагогу, в передней резко зазвонил колокольчик, и кто-то стремительно вбежал и так же стремительно спросил:

— Шмулик дома? Нету? Ах, он ушел к отцу!.. А когда вернется?

Это был двоюродный брат Шмулика — Монеш.

Он был одет по-праздничному: в новый серый костюм; на ногах сверкали лакированные, тоже новые, туфли. Казалось, будто весь он, с его деловито-рассеянным лицом и складным, подвижным телом горожанина, стремится опять туда — в шумную сумятицу города, где привлекает его не очередная «купля-продажа», а какой-то новый, таинственный ночной грех. От предвкушения этого греха темные глаза его оживлены больше обыкновенного. И все-таки он не ушел, а долго просидел рядом с Мирл. Он относился к своей родственнице с интересом и очень хотел узнать ее поближе.

Долго рассказывал он ей о себе и о Шмулике, как они вместе учились у меламеда выписанного из Литвы дядей Янкель-Иосифом, как выкармливали голубей в этом самом флигеле.

— Однажды у нас набралось целых десять пар голубей,—все более оживляясь болтал он.—Вот взяли мы голубя и голубку из разных пар, заперли их в теперешнем шмуликовом кабинете, а сами спрятались и решили поглядеть, что из этого получится. Вы можете себе представить, ведь мне и десяти лет тогда не было!..

Было ясно, что мысль подал он — Монеш, а выполнил эту затею Шмулик.

Мирл почти не слушала его. Лежа на кушетке, она смотрела на него и думала, что никогда еще не видела такого странного человека. Встретились они впервые как-то в городе на самой шумной улице. Монеш проводил ее

• Учитель религиозной школы.

немного. Он то и дело раскланивался, с некоторыми останавливался, некоторых останавливал сам:

— Зайди ко мне вечером, ты мне нужен.

Или,

— Будь дома в одиннадцать часов, только ровно в одиннадцать, слышишь!

У свекра в доме его очень уважали. Всякий раз, когда он на минутку заезжал, его обступали со всех сторон:

— Монеш! Почему ты у нас не был в субботу?

— Монеш! Видел, какой подарок тебе прислала тетя Перл из Варшавы?

— Монеш! Поедем с нами в **Еоскресенья** на ззеоя.

Зайденовские любили его и много рассказывали о том, какой он умный, какая у него светлая голова и как он много знает, несмотря на то, что бросил коммерческое училище, не закончив **его**, и какое прибыльное дело он затеял тогда, и как **это** дело процветает до сих пор. Теперь у **него** **есть** имя, кредит и большие связи, и много уважаемых людей не гнушаются его деловыми советами.

Когда разговор иссяк и Монеш, готовый распрощаться, стоял с шляпой в руках, **он** вдруг вспомнил:

— А недавно ко мне за советом приходил один молодой человек, он сказал, что знает вас. Брюнет—красавец! Похож на румына. Его фамилия... Погодите... Как она... Хел... Гел... Да, Геллер! Затеял он газету «Копейка». А денег-то всего — три тысячи! Какие это деньги!

У Мирл в начале этих слов на мгновение похолодело внутри. Она подумала: «Что это он, случайно рассказывает, или с какой-то»задней мыслью? Уж не подослала ли его свекровь?»

Когда Монеш ушел, она долго лежала одна—холодная и спокойная, и ей даже удивляло это спокойствие.

Но вдруг ей показалось, что Носсен поступает неблагоприятно, посещая родственников мужа и бахвалясь перед ними знакомством с ней. Она встала и сердито начала одеваться:

«Нет, сегодня этому будет положен конец? *Мвц* из* доела эта канитель. Пускай **он** оставит меня в покое».

Носсен Геллер, как всегда, ждал ее у закрытых ;врейской лавчонки. Он и сегодня не надеялся видеть ее, а все-таки шурил глаза, вглядываясь в дальний ксвец

улицы, откуда светило низкое и далекое солнце. Время от времени из золотисто-розового тумана появлялся человек, весь пронизанный светом. Каждый раз у Носсена сердце падало: «Нет, опять не Мирл!»

Увидев ее, он даже не поверил, что это она. Он знал, что многое должен сказать ей: о томительных днях, прожитых без нее, о своей тоске, о том, что дальше так жить не может. Он готов был заплакать, глядя на это желанное тонкое тело. Но, подойдя к ней вплотную, он увидел ее отчужденное лицо и сразу забыл все, о чем хотел говорить.

Они безмолвно стояли друг против друга. Мирл смотрела на его опущенную голову и молчала.

Он слышал только, как она глубоко вздохнула и медленно двинулась вперед. Он задержал дыхание и пошел за ней. Теперь уже было ясно: она пришла в последний раз.

Он дрожал. Если бы он заговорил, у него застучали бы зубы. Он смотрел не на нее, а на крышу лавчонки, еще красноватую от заходящего солнца. В одном окошке он видел разбитое стекло, заделанное синей сахарной бумагой. Он перевел глаза на Мирл: «Как она похудела за эти дни! Под глазами у нее черно. Наверное сидит у себя взаперти и никуда не выходит. И мучают ее вещи, не имеющие ко мне никакого отношения». Ему стало больно от этих догадок, и он робко сказал:

— Ну, что ж поделаешь! Ведь я ничтожество в твоих глазах!

Мирл не ответила. Они дювернули налево и пошли вниз по крутому спуску широкой кривой улицы, булыжная мостовая которой была сильно размыта дождями. Потом спустились вниз и вышли к окраине; там они долго сидели? на скамейке против длинной одноэтажной литейной. Прямо перед ними пламенели стекла многооконного фасада; направо в красновато-тусклом зареве тонули зеленые холмы, зияя провалами ям, из которых когда-то брали глину.

Стреноженная лошадь паслась на пригорке около заброшенного ветряка, и мальчишка в белых домотканых штанах стоял там и смотрел вниз — на город.

Носсену невыносимо стало молчать. Он вдруг заговорил, к ужасу своему, почти не понимая, какие слова произносит; он не успевал проверять их там, в голове, как они уже вылетели:

— Я знаю... Одно я знаю... Я только хочу спросить...

Мирл с удивлением смотрела на Него. Она не пони-

мала, что он хочет сказать. А он все еще путался в бес-
связных речах и все больше утверждал себя в мысли,
что Мирл смотрит на него презрительно, как на самого
последнего дурака. Он волновался, досадовал на себя,
еатем весь внутренне подобрался и, наконец, сказал то,
что, с его точки зрения, как раз нужно было сказать:

— Мирл, ты любишь меня! Ты ведь не станешь от-
рицать этого, почему же ты не разводишься с мужем и
не выходишь замуж за меня?

Мирл его выслушала, пожала плечами и стала раз-
глядывать закорючки, которые она чертила на песке кон-
чиком своего зонта.

— Ну, а дальше... Что будет потом?

— Потом?—переспросил он, не понимая смысла это-
го «потом».—Потом мы уедем за границу... И вообще...

Мирл опять повела плечами и встала. Носсен хотел
ее в чем-то убедить, но она заранее знала, о чем он сей-
час будет говорить, ей это было скучно. Она холодно
сказала:

— Не люблю длинных разговоров.

— Но ведь ты целых четыре месяца живешь с этим
дураком. Как ты выносишь это? Ведь он — посмешище
всего города.

Мирл так посмотрела на него, что он запнулся на
полуслове. Он видел теперь перед собой чудесное, но
совсем чужое лицо; он смотрел на нее с печалью, и ему
показалось, что легкая судорога тронула грустные черты.

Она сказала:

— Я прошу тебя, оставь моего мужа в покое. Ок
добрый... Он никому не причинил зла.

А сама с досадой подумала: «Множество женщин вот
так же говорит о своих глупых мужьях с молодыми
людьми на заброшенных улицах».

И добавила вслух:

— Во всяком случае, не для тебя изменю я мнение
о своем муже.

Она не хотела думать об этих последних злых сло-
вах. Не оглядываясь на Носсена, она пошла быстро впе-
ред. Она старалась забыть о нем, хотела унять волненье
и шла ровным, частым шагом, цепко хватаясь за одну
мысль: «Значит, с Геллером покончено. Теперь еще с
кем-то нужно покончить. Да, с ними—с Зайденовскими».
Она решила сделать это тотчас же — в ту самую мину-
ту, как переступит порог ненавистного дома.

III

Мирл еще долго бродила одна по темным улицам. Был поздний вечер, когда она, совершенно разбитая, очутилась среди темных лачуг предместья. Опустошенностью и мраком веяло от этих лачуг. Мирл не хотелось будить служанку, не хотелось входить в мрачные комнаты. Яркие полосы света из окон большого дома Зайденовских освещали только ближние кусты и деревья, оставляя в густом, неповоротливом мраке всю глубину сада. Мирл показалось, что необходимо еще раз проверить себя, убедиться в том, о чем она только что думала, и для этого она должна зайти туда, к свекру. «То, что я еще не оставила этот дом, — ужасно», — думала она.

Она, действительно, вошла туда и, не раздеваясь, долго просидела в столовой. Она не произнесла ни слова за весь вечер, так ей было тягостно и скучно. Как обычно по субботам, сегодня к Зайденовским сошлись почти все родственники. Они сидели на разнокалиберных стульях вокруг длинного, покрытого желтой скатертью, стола, стояли возле буфета, толпились у семейной горки, валялись на красном широком диване, над которым низко висела единственная в комнате вышитая картина.

Все они, от мала до велика, любили Шмулика за его простосердечную доброту и заигрывали с ним, как с маленьким удачливым ребенком.

Они видели, как хороша собою Мирл, насколько она утонченнее многих девушек и женщин, которых они знали, и все-таки они недолюбливали и сторонились ее и всегда между собою толковали о том, что Мирл, пожалуй, не подходящая жена для Шмулика. Не такую они ждали все годы и никак не могли, поэтому, забыть местную, очень богатую девушку — Иду Морейнис. Говорят, она до сих пор томится по Шмулику. И недаром старик Морейнис совсем на днях сказал:

— Шмулику я готов был выложить двадцать тысяч рублей, как одну копейку.

Была еще здесь Мириам, бывшая курсистка, высокая, большетельная красавица с прошлым революционерки; полтора года тому назад она вышла замуж за инженера Любошица, тоже бывшего революционера, и после первого ребенка разжирела, стала чаще улыбаться и снова оказалась вхожей в дом своего дяди Янкель-Иосифа Зайденовского, где все же держалась несколько отчужденно.

Мириам, как и все остальные, была очень расположена к Шмулику. Она всегда ему сердечно улыбалась и при всяком удобном случае рассказывала о его доброте одну, по ее мнению, забавную историю-.

— Я как-то встретила Шмулика на вокзале и познакомила его с одним нашим родственником — Наумом Клугером. Наум ехал в Харьков — на практику. Он только в этом году кончил медицинский. А Шмулик — совершенное дитя! Он первый раз увидел человека и сразу стал приглашать его к себе, да так настойчиво, точно без него жить не может. Он все держал его за рукав и твердил:

— Ну, Наум, ну оставайтесь! Сделайте остановку, и все тут!..

Из кабинета хозяина, с хозяйской папиросой во рту, вышел средних лет человек — шадхен¹. Высокий, с козлиной бородкой, в просторном, точно с чужого плеча, сюртуке, он самодовольно улыбался и почему-то казался или, может быть, хотел казаться гораздо глупее, чем был на самом деле. Он поймал обрывок какой-то фразы и тотчас вступил в разговор:

— Что, курсистки? Да они все помирают — замуж хотят! Увидят шадхена — поломаются, а как почувют, что дело серьезное, сразу идут на попятную.

Эти разговоры велись не зря. Имелась в виду Рита — сестра Шмулика, которой «давно пора бы подумать о женихе».

Во главе стола сидела сама свекровь в широкой, накинута на плечи, шали. Она, бессмысленно улыбаясь, моргала черными близорукими глазами и была немного растеряна. За несколько минут до прихода невестки она жаловалась на нее Мириам:

— Подумай, — шептала она, — каждый божий день уходит в город, почему бы ей иногда не взять с собой Шмулика, а?

Теперь свекровь рассказывала своей пожилой тетке о том, что две девушки-курсистки сняли комнату у Сарры — дальней родственницы Зайденовских:

— Сарра клянется-божится, что к этим курсисткам частенько заходит один студент и спокойно остается ночевать. Так можете себе представить!..

Немного поодаль стоял младший брат хозяина — Шелом Зайденовский. Всегда чем-то недовольный, он сма-

¹ Сват, агент по брачным делам.

хивал на вечного ешиботника¹, только недавно укоротившего пейсы и сюртук. Он держался в стороне, смогнул на всех пренебрежительно и молчал.

Женился он на перезрелой сухопарой богэтейке — из-за приданого. Жену свою не любил, как не любил и дела, которым занимался с отвращением: он считал ниже своего достоинства заниматься торговлей лесом, говорил, что презирает деньги, а на самом деле относился к ним с торгашески-болезненным пристрастием.

К Мирл он с самого начала испытывал враждебное чувство, словно не мог простить ей брака с глупым племянником. За весь сегодняшний вечер он ни разу не посмотрел в ее сторону, и все-таки он волновался и не **МОР** заставить себя забыть ее лицо с омраченными синими глазами.

Было уже поздно, когда внезапно явился Монеш. Рассеянный, он слегка вытаращенными глазами смотрел прямо перед собой и весь был поглощен мыслями о какой-то очень выгодной сделке, совсем неожиданно выскользнувшей из его ловких рук. Поэтому он не заметил, как за его спиной давятся от смеха, прижимаясь друг к другу, две молодые родственницы; они давно уже тянули его за полы пиджака, совали апельсиновые корки за шиворот, и, когда он, наконец, оглянулся, девушки и все кругом громко расхохотались.

Только Мириам, притворяясь серьезной, говорила:

— Фу, Монеш, как тебе не стыдно! Я целый час добиваюсь от тебя ответа, а ты хоть бы что!

Лишь тогда Монеш вспомнил, как он проголодался:

— Погодите! Вечером я чаю не пил — это определенно. А вот обедал ли я сегодня, честное слово, не знаю.

Все опять громко расхохотались.

Монету дали поесть. Не присев, он отхлебнул немного чаю из стакана, потом взял стакан и, снова сделавшись рассеянным и серьезным, начал прохаживаться по комнате.

Мирл следила за жадным блеском его больших черных глаз, — то была всепожирающая жадность дельца, ушедшего в мысли о своей наживе.

«Он такой же, как и вся его родня здесь», — решила Мирл.

За столом всё еще рассказывали о курсистках. Кто-то будто бы подслушал, как они бесстыдно говорили о студенте, разбирая его по статьям. Зайденовская при этом

¹ Учащийся высшей еврейской религиозной школы.

гадливо отплевывалась, а у мужчин глаза сделались похотливыми, щеки разгорелись, и они стали нашептывать друг другу неприличные истории. Кто-то отозвал Шмулика и начал втихомолку рассказывать ему о жене знакомого коммивояжера, которая... о, женщина с темпераментом! Да еще с каким! Она оставила мужа в Курске, а сама весело проводит время здесь, в городе, да так весело, что стала, говорят, брюхата!

Шмулик весь раскраснелся от напряженного интереса. Он забыл про все на свете и, не обращая внимания на гостей, громко воскликнул:

— Здесь, у нас в городе?!

Между тем за дверьми раздался сочный грудной голос хозяина:

— Вели закладывать, Борух! До поезда не больше часа!

В столовой сразу стало тихо. Когда Янкель-Иосиф появился на пороге, все учтиво повернулись к нему, а он, положив руку на плечо Монеша, весело спросил:

— Ну, как, дела попрежнему — с треском?

Никто не понял, всерьез или в шутку прозвучало это «с треском». Хозяин сиял лакированными своими глазами, и вся его энергическая, плотная фигура как будто говорила:

— Каково, а? Полумиллионное состояние! Гремлю по всей округе, да и сам не лыком шит — родом-то из Зайденовских!

Мирл смотрела на свекра из дальнего конца столовой, где она все еще сидела одетая. Этот человек, такой почтенный, такой религиозный, до сих пор навещающий падика в Садагоре; этот человек, которому необходимо присутствие не менее десяти гостей, чтобы произнести послеобеденную благодарственную молитву, — этот человек иногда кажется ей просто переодетым жуликом.

Вполне вероятно, что, несмотря на свое благопристойное положение семьянина и хозяина, он где-нибудь на стороне предается мелкому разврату, обделявает гнусные делишки — иначе непонятно было, почему этот гордый, деспотичный человек становится вдруг таким заискивающим и лстивым даже перед младшими детьми.

Вот он увидел свою невестку, подошел к ней и, оживленно жестикулируя и улыбаясь, стал шутить таким тоном, словно ему одному известно, какая она плохая хозяйка и неподходящая жена его сыну.

— А-а, Мирелэ!—говорил он.—Ну, как твое хозяйство?

Все смотрели на них молча и улыбались. И только Мириам ответила что-то вместо Мирл, желая этим обратить на себя внимание дяди.

Вез восторгались шутками Янкель-Иосифа.

— Предстазь себе, Мирелэ, что тебя бросила кухарка, а другую найти невозможно. А? Ведь может же так случиться» что сразу все кухарки забастуют.

Только один Шолом не разделял ебшил восторгоз. Он считал своего брата спесивым и глупо-тщеславным. Шолом был уверен, что никто не способен понять его — Шелома — мыслей и уяснить причины его полупрезрительного отношения ко всему окружающему; позтемуго Он молчал. Склонив голову чуть набок и заложив руку за борт сюртука, сн смотрел теперь поямо на Мирл колючими, злыми глазами.

Мирл отвернулась.

Янкель-йосаф ушел, и гости почувствовали себя непринужденнее. Шолом покинул свое место и прохаживался теперь по комнате, все такой же замкнутый а сердитый; он почти не слушал Мириам.

— Ну, когда же, Шолом, вы пригласите нас в гости?—приставала сна, намекая на его скаредность.

Вдруг Мирл резко встала со своего места. Она опять почувствовала на себе неприязненный, колючий взгляд Шолома, словно говорившего ей: «Мы ведь с тобою одного поля ягоды — презираем, мол, всю эту среду, на все же вязнем в ней, не уходим с этого сытого насиженного местечка, вижу тебя насквозь...» Не попрощавшись ни с кем и не сказав на слова, она вышла. Мирл шла одна через темный сад и никак не могла успокоиться.

^Нетг, я скажу когда-нибудь этому ешиботнику, что сн нгпроходкмо глуп, или что-нибудь в этом роде скажу».

* Раздеваясь у себя в спальне, она никак не могла унять волнение и с горечью думала: «Ну, вот! Еще недоставало, чтобы она расстраивалась от взглядов каких-то идиотов!.. А главное...» —

Главноез в том, что она давно чувствует, как необходимо ей что-то предпринять, найти какой-то выход. Однако она ве знает, где этот выход и как его найта. Каждый день она думает, что завтра будет это знать. А на-завтра опять то же самое: придумать ничего не может в только мучается от сознания, что она все еще жена Шмулика а живет с ним под одной кровлей. Но, в конце-концов, так продолжаться ведь не может.

«Да, все это так! А ведь другие на моем месте го-

дами ищут и, если не находят выхода, кончают жизнь самоубийством...»

Она забылась. В доме было темно и тихо. На кухне сладко причмокивала и храпела служанка. Котенок перекатывал по полу кусок сахара, спугивая слабое забытье Мирл; она никак не могла заснуть, и в спутанном ее сознании все еще вертелось:

«Другие на моем месте кончают самоубийством и оставляют глупые записки».

Она не заметила, как заснула. Вдруг чьи-то холодные пальцы притронулись к ее обнаженным плечам. Она вздрогнула и открыла глаза. В комнате было светло от принесенной сюда кабинетной лампы. Возле кровати в нижнем белье стоял Шмулик. Возбужденный сегодняшними рассказами, он стоял согнувшись, дрожал и глупо улыбался.

— Что тебе здесь нужно, Шмулик?

Она не сразу поняла, зачем он здесь. Но вот в глазах ее появилось выражение досады и упрямства:

— Шмулик, возьми подушку и ступай к себе в кабинет. Сию же минуту!

Пауза.

— Ты слышишь, что тебе говорят!

Шмулик все еще стоит согнутый и полуголый. Он дрожит, глупо улыбается и не трогается с места. Но Мирл уже нажала кнопку электрического звонка и неотрывно звонит.

Кажется, будто пронзительный этот звон на части разнесет весь дом. И слышно уже, как босые ноги служанки шлепают в соседней комнате.

Тогда смущенный Шмулик отходит от кровати, берет подушку и, понурившись, идет к себе в кабинет.

Служанка выносит лампу, тушит ее, и в доме снова темно и пусто. Чудится, точно кто-то горестно плачет в этой темной пустоте. Но если сесть на постели и вслушаться как следует, то услышишь: где-то на кухне, сладко причмокивая, храпит служанка, и все еще перекатывает по полу кусок сахара неугомонный котенок.

IV

На следующий день Мирл встала поздно. В кухне дробно и весело постукивала сечка, а на дворе распрягали лошадей, которые еще на рассвете увезли Шмулика на винокурный завод. Кучер Теодор — баловень Янкель-Иосифа, по-хозяйски громко кричал на кухарку за

то, что она выплеснула помой прямо посреди двора, и отгонял маленького братишку Шмулика, который путался в ногах у лошадей.

Свекровь тоже была тут и удивлялась, почему это Шмулик ни свет, ни заря уехал на завод, допытывалась у кучера, не привез ли он с собой какого-нибудь письма.

Через некоторое время, когда Мирл проходила по двору, там уже никого не было. Над кровлями конюшен, над заборами висела будничная тишина. Кучер уже сидел на кухне, а посреди двора стояла одинокая брчка с высоко поднятым дышлом, напоминая о нем, об уехавшем Шмулике. Нынче ночью он долго стоял в нижнем белье перед ее кроватью и не хотел уходить: «Ему стыдно ей в глаза смотреть; теперь он, наверное, не скоро вернется с завода». Мирл вернулась в дом, прошла в столовую и, закутавшись в шаль, улеглась на кушетку. Было у неё такое чувство, точно сердце ее погрузилось в липкую грязь и не в силах высвободиться оттуда.

А в окна заглядывало серое небо нового пустого воскресенья. И на всем лежала единственная скучная мысль: «Новая неделя, пустынная неделя...»

Из-за беспокойно проведенной ночи ломило затылок. Чувства были расплывчаты и слабы. Точно у нее начался тиф. В дремотном сознании отдавался стук сечки[^] доносящийся из кухни, путались мысли о потерянной своей жизни, о боли в затылке... «Здесь, на диване, буду я лежать долго — целый день...»

Проснувшись, она увидела накрытый к обеду стол. Подошла, повертела в руках кусочек хлеба, положила обратно и опять вернулась на кушетку.

Когда она очнулась, были уже сумерки. К досаде своей, она увидела перед собой проезжего кантора — молодого, высокого, очень худого человека в коротком потрепанном сюртуке, с грязно-серым бумажным воротничком на шее и с камертоном в кармане. Голос его гнусавил, когда он заискивающе допытывался о Шмулике:

— Гак, значит, мадам не знает, когда господин вернется?

По ее мнению, она совсем не обязана была скучать около этого кантора, вдыхать запах гниющей соленой рыбы, распространяющийся вокруг него, и отвечать каждый-раз одно и то же:

— Не знаю, нет, не знаю!

Она попробовала было на глазах у гостя открыть все окна, чтобы проветрить комнату. Но он намека не по-

нял и не двинулся с места. Тогда она оставила его одного и вышла на крыльцо.

Медленно надвигался вечер, плотной тишиной одевая редкие дома предместья. Ничего не было кругом — ни движения воздуха, ни звука, ни шороха. Только где-то за церковной оградой у овина священника тарахтела молотилка, торопясь обмолотить к ночи подсохшие за день снопы, да в саду свекра, где недавно шумела ватага родственников, провожая Шолома Зайденовского в дорогу, орал кто-то из младших детей; свекровь секла его и приговаривала своим хриплым голосом:

— Будешь так про мать говорить, а? Будешь, будешь, будешь?!

Мирл отчетливо представила себе, как свекровь зажала голову ребенка в коленях и как она всматривается близорукими глазами в то место, по которому бьет. Мирл подумала о том, что эта глупая, тупая женщина не умеет обращаться с детьми, и еще о том, что наверное лет пятнадцать тому назад она точно так же секла Шмулика и точно так же приговаривала:

— Будешь так про мать говорить, а? Будешь, будешь, будешь?!

У Мирл не было теперь сомнений: Шмулику, собственно, нужна такая жена, которая вот так же била бы его детей, как это делает сейчас его мать. От этой мысли Мирл почувствовала странное облегчение; она обрела вдруг почти забытую надежду. «Постой,—думала она,—что же, в сущности, свкзывает меня с этим домом? Я в любое время могу оставить его. Только нужно придумать, как это сделать».

Она вспомнила одну историю, которая произошла в их городке: молодая женщина, молчаливая и упрямая, невестка богатых купцов, вдруг поднялась с насиженного места и, **ни** слова **не** сказав ни мужу, ни его родителям, покинула дом. Когда об этом узнали в городе, шутили так:

— Ничего, вернется! Скоро, с божьей помощью, будет гостьей в собственном доме!

Но женщина **не** вернулась. И до сих пор никто не знает, куда могла она скрыться.

Шмулик все **еще** был на заводе и не подавал о себе никаких вестей. Он готовился ехать в Варшаву с партией волов, продажа которой сулила большие барыши. Для этого в город послан был надсмотрщик за волами — реб Буним. Низкорослый, неопрятный, с налитым кровью затылком, он никогда не забывал приказаний своего хо-

зяина. Он приехал сюда починить, несколько старых фонарей из воловни, купить новых веревок и каменной соли — лакомство волам на дорогу. Кстати, реб Буним зашел к Мирл. Он застал ее одну. Распространяя вокруг себя запах перестоявшейся браги, он передал ей поручение от Шмулика.

— Молодой хозяин, — сказал он, — приказали прислать им опись той партии волов, которую купили перец пасхой.

Мирл выслушала его и отослала на кухню. Служанка, должно быть, поняла, что речь идет о какой-то посуде. Она широко раскрыла глаза:

— Откуда я знаю? Я перед пасхой тут еще не работала. Спросите у кучера Теодора — может, он знает.

Надсмотрщик долго кружился по двору, пока его не позвали к старику-хозяину в дом.

— Как, молодая хозяйка все еще не выдала вам описи? — удивились там.

Под конец к Мирл пришла сама свекровь и долго рылась в кабинете, пока не нашла на шкафу какую-то книгу. Она раскрыла ее, поднесла совсем близко к глазам и нараспев, как молитву, прочла:

«Опись волов, купленных в месяцы: февраль, март, апрель».

— На-те! — сказала она нарочито громко и, не оглянувшись на Мирл, быстро пошла к дверям. Разъяренная, она вернулась к себе и стала ходить около дверей кабинета, где ее муж вел деловые разговоры с какими-то людьми. Еле сдерживая гнев, она дождалась, когда муж пошел в спальню отдохнуть, вошла к нему и стала нашептывать сдавленным голосом:

— Что это за жена для Шмулика? Это наказание господне, а не жена! Как она ведет себя?! То и дело шляется к этой потаскухе — Иде Шполянской. А я должна вести ее хозяйство, думать о побелке потолков в ее комнатах... Это же просто позор!

Янкель-Иосиф молча лежал в постели, попыхивая папиросой, и то и дело поглядывал на двери своими воровато-умными глазами, точно боясь, как бы кто не подслушал речей жены. Он ничего ей не ответил. Должно быть, он давно решил для себя, что Шмулик неудачно женился, и сейчас хотел одного — прекратить разговор об этом. Но жена все еще волновалась.

— Можешь себе представить, — еще горячей зашептала она, — что бы с ней было, если бы она попала к другим? Но ведь она попала к нам. А Шмулик — это же

тихая голубка. Он все снесет. Да и мы с тобой хороши — скоро нам на голову сядут, а мы молчим.

Через несколько дней свекровь привела к Мирл двух маляров. Не обращая никакого внимания на невестку, точно ее вовсе не было в доме, свекровь ходила из одной комнаты в другую.

— Видите, — говорила она, показывая на потолки, — сначала отделаете кабинет. Мебель оттуда перенесете в столовую. А потом все перенесете в кабинет и возьметесь за столовую.

Свекровь так и ушла, не взглянув на Мирл. А маляры сразу приступили к работе. В доме запахло олифой, смесью охры с английской сажей. Беспорядок увеличивался со дня на день. Загроможденные комнаты никто не убирал; маляры медленно продолжали работать. Целыми днями они стояли наверху — под потолками, брызгали мелом, что-то вымеряли линейкой, с удовольствием наводили трафареты и насвистывали грустные ремесленные мотивы.

Как-то раз один из них спустился вниз и пошел в соседнюю комнату за «инструментом». Он вернулся возбужденный, и, оглядываясь по сторонам, как бы проверяя, нет ли тут кого-нибудь, кроме его товарища, сказал ему, подмигивая в сторону двери:

— Не дурна собой хозяйushка, а?

Он думал о ней все время, пока влезал на подставку, пока усаживался на досках рядом с товарищем, затем, закуривая папироску, раздумчиво сказал:

— Лет восемь тому назад работали мы в селе Клоки. К была там у хозяина невестушка — разбитная, умница, бой-баба...

А Мирл возилась в соседней комнате в сильно декорированном капоте с широкими, японского покроя, рукавами. Она куталась в тонкий платок и все перебирала в памяти различные места, куда она может уехать. «Все равно — хуже, чем здесь, нигде не будет!» — думала она.

Вокруг нее громоздились кровати, два зеркальных шкафа, мягкие кресла из гостиной и большой пузатый умывальник, на котором вот уже третий день висела непросыхающая половая тряпка. Весь этот хаос вещей, утопающий в тускло-сером, неверном свете дня, порождал в душе ее тоскливую путаницу; ей казалось, что все это происходит не сейчас, не в этот момент, а давно — пять или шесть лет назад.

Ко всему этому еще прибавилась история с книгой стихов Герца, которую он прислал недавно. Книга пахла типографской краской, кожей и почти неуловимым ароматом здоровой юности.

Книга попала к свекрови в дом, куда принес ее почтальон вместе с другой корреспонденцией. Все столпились вокруг книги и испуганно смотрели на нее, точно это было живое существо. Кто-то, рассматривая адрес на бандероли, написанный твердой мужской рукой, заметил:

— Обратите внимание, имя Шмулика здесь даже не упомянуто!—И еще:—Да и неудивительно, такие девушки, как Мирл, с юных лет не прочь хороводиться с мужчинами!

Книгу отдали Мирл не сразу. Она лежала на столе как подкидыш, как живое доказательство разделенного с кем-то греха, и никто не знал, что теперь делать:

«Может быть, дождаться Янкель-Иосифа и посоветоваться с ним?»

В конце-концов книгу отослали Мирл. Получив ее, она пришла в необычайное возбуждение. Быстро оделась и пошла на телеграф. Вернувшись, она послала служанку к свекрови и наказала ей:

— Передай, что вместе с книгой должно быть письмо. Спроси, пожалуйста, где письмо.

С тех пор в доме свекра стали часто шептаться, устраивать маленькие домашние советы-

«Нужно же, наконец, поговорить с Шмуликом! Нужно же когда-нибудь прямо сказать ему, что это за жизнь».

Для всех было ясно: сразу Шмулику нельзя сказать о том, что всем известна история «того субботнего вечера». Долго подыскивали — кого бы послать на завод к Шмулику, чтобы осторожно подготовить и предупредить его. Наконец остановились на предложении Мириам: послать ее шурина — студента Любошица.

«А что, может быть, Мириам права! Может быть, Любошиц и впрямь самый подходящий человек!»

Однажды вечером запыленный Любошиц вернулся с завода. Он улыбался, как человек, выполнивший по доброте своей очень трудное и мало подходящее ему поручение. Он рассказывал в отдельной, накрепко закрытой комнате:

— Да, я с ним разговаривал...

Вокруг столпились все взрослые обитатели дома со свекровью и с Мириам во главе. Боясь постороннего уха,

из комнаты предварительно выгнали маленьких детей, и теперь все с любопытством заглядывали в лицо Любошица:

— Так вы говорите, когда Шмулик увидел вас, слезы навернулись у него на глаза?

Молодой посланец — рослый, склонный к тучности блондин, стоял, опершись на несгораемый шкаф, и казался утомленным. Он понемножку пописывал стихи, печатая их в студенческих журналах, оригинальничал в суждениях и даже имел собственную точку зрения на философию Толстого. Но когда он говорил о Шмулике, на лице его появилось то же детское, растерянное выражение, какое было присуще ему после нескольких рюмок вина. И казалось, вот-вот у него самого — в больших, синеватых его глазах покажутся слезы.

— Шмулик очень удивился моему приезду. «Смотри-ка, Шойлик! Какими судьбами?» — сказал он. Он совестился даже меня; ведь он подозревает, что все мы знаем, почему он так долго не возвращается домой. Потом мы с ним гуляли, и я как будто нечаянно упомянул о Мирл. Тогда Шмулик взял меня под руку и сказал так задушевно, что у меня защемило сердце. «Да, я знаю, Шойлик,— сказал он, — Мирл очень крута, но когда она захочет, она такая добрая». После этого он молчал и был очень грустным, а потом опять взял меня под руку и сказал, что таких, как Мирл, очень немного и что беда только в том, что Мирл считает его дураком, что он, Шмулик, совсем глуп в ее глазах.

V

Шмулик, так и не заехав домой, отправился в Варшаву. Отец каждый день получал от него телеграммы, в которых сообщалось о горячих рыночных делах. По всему было видно, что Шмулик, набивая цены, чувствует себя как заправский купец. Он, поэтому, решил задержаться еще на неделю-другую и требует высылки новой партии самых отборных волов.

У свекра в доме об Этом совещались по несколько раз на день. Даже младших детей не выгоняли из отцовского кабинета. Даже у самого маленького, веснушчатого-шестилетнего мальчишки, изрядно и частенько поротого, шутливо спрашивали:

— Ну, а ты что скажешь, пистолет? Послать волов, а? Все были в прекрасном расположении духа.

— Еще бы, — говорила свекровь, — если бог посылает удачу в таком деле, так можете себе представить!

Свекровь сделала вид, что ей необходимо посмотреть, как маляры справляются с работой, и зашла к Мирл. Она застала невестку все так же валяющейся на диване. Увидев свекровь, Мирл поднялась и отошла к окну.

Свекровь сказала:

— Шмулик в Варшаве. Мы пишем ему сегодня. Что от тебя передать ему?

Мирл равнодушно повела плечами:

— Ничего! Мне нечего ему писать.

Она стояла спиной к свекрови и не видела, с каким выражением лица та покинула дом.

Мирл, после ухода свекрови, долго сидела на диване, чувствовала, что ее отвращение к дому мужа становится невыносимым, и в сотый раз повторяла про себя: «Не могу, не могу... Надо скорее кончать!»

Ей не сиделось теперь на месте. Каждый день она уходила в город, подолгу кружила по улицам и, наконец, сворачивала на тихий бульвар — к дому Иды Шполянской. Ей казалось, что она может сказать Иде — такой свободной, не обращающей внимания на грязные сплетни, вот о чем:

«Послушай, Ида! Ты пренебрегаешь очень многими условностями, но все-таки, что бы ты подумала, если бы ты услышала однажды, что Мирл бросила Шмулика — не хочет с'ним больше жить?»

Чаше всего Мирл не заставляла Иду. Она где-то развлекалась с очень богатым и красивым офицером, которого Мирл однажды застала у нее. Служанки не знали, где она и когда вернется.

В нарядном доме было темно и грустно. Модная, изысканная мебель покоилась на дорогих коврах, и казалось, будто она знает много тайн о своей ветреной, молодой хозяйке и еще о том, что хозяин раскроет когда-нибудь все эти тайны и не оставит камня на камне от этой устроенной и внешне благополучной жизни.

И на этот раз Мирл тщетно прождала Иду больше двух часов, лежа на шелковой софе в гостиной. В конце концов она оставила дом. Она шла по улицам и думала о том, какая она, Мирл, бездельница! Все люди заняты чем-то, а она? Если бы она с первого дня рождения а по сию пору лежала в постели, никто бы от этого не пострадал.

И она перестала ходить в город.

Опять она сидела у себя по целым дням в одном и том же грязновато-красном растерзанном капоте, в мужских, на босу ногу надетых, шлепанцах. В эти отрепья сна одевалась тотчас, как вставала, часу в одиннадцатом утра; она перестала умываться, перестала расчесывать волосы и, неубранная, с утра усталая, заваливалась на диван и в тысячный раз повторяла:

«Если я не найду выхода, я пропала. А жить здесь, у Зайденовских, больше не могу!»

Свекровь, после истории с письмом к Шмулику, совершенно перестала разговаривать с Мирл. Но однажды она пришла сюда со своей прислугой, вызвала прислугу Мирл и велела вымыть окна, двери и вообще убрать дом. Она моргала глазами и, обращаясь не к невестке, а к служанкам, говорила:

— Какая грязь, боже мой! Да и неудивительно — вот уже четыре месяца, как в доме нет хозяйского глаза.

Она велела вынести все постели в сад и послала з город за полотером. Она следила за тем, чтобы он, натирая полы, отодвигал всю мебель. В одной из комнат она даже подобрала подол и, гадливо морщась, смотрела в запущенный, пыльный угол. Слышно было, как она гремела стулом и по-украински хрипло кричала:

— Геть скризь! Геть скризь!

А Мирл не двигалась с места. Ей хотелось рвать на себе одежду — так было все кругом отвратительно. Она ладонями крепко сжимала лицо и, качаясь от боли, шептала:

— Вот несчастье, вот несчастье! Мне нужна всего только маленькая лазейка! И неужели я ее не найду?

Зайденовские ждали Шмулика. Было точно известно, когда и каким поездом он приедет. Они поймали Монета Зайденовского, который забежал на минутку по делу — как всегда, рассеянно-устремленный. Выждали, когда он вышел из кабинета Янкель Иосифа, и увели его в отдельную комнату.

— Монеш! Большое несчастье с Шмуликом. Что мы откладываем, на кого надеемся?

Монеш рассеяннo смотрел на обступивших его женщин и думал о своей приемной, где его ждет несколько дельцов:

«Человек шесть—семь осталось там. В два банка нужно поспеть. А тетка и Мириам жалеют Шмулика. Поймай! Да-да, я давно заметил, что у Шмулика с Мирл

не все благополучно. Тетка права — я знаю. Я должен что-то предпринять».

Он поспешно убежал по своим делам. А к вечеру снова приехал и, не заходя к тетке, резко позвонил во флигель.

Он застал Мирл на диване все в том же растерзанном капоте и шлепанцах. Он заметил, что все кругом чисто прибрано к приезду Шмулика. Стол в столовой накрыт синей нарядной скатертью. Но все это явно не имеет отношения к Мирл. И поэтому сейчас думается больше о ней, чем о нем, и грустно выглядит вся эта парадная расставленная мебель и сверкающие полы.

Монеш долго сидел против Мирл, делал вид, что ничего не замечает, долго рассказывал о себе, о своей матери, о сестре и братишке, которых он содержит с тех пор, как умер отец, оставив сильно расстроенные дела.

— Сестра моя, — говорил он, — всего на два года моложе меня. Черная, как цыганка, и болтливая, как мельница. После окончания гимназии она сидела дома целый год, скучала и презирала курсисток. А теперь вообразила, что у нее голос, и стала брать уроки пения у профессора.

Мирл смотрела в его подвижное лицо и равнодушно ждала. Она не сомневалась — он подослан свекровью. Ей казалось странным, почему он сразу не начал: «Что же вы думаете о Шмулике? Чем может кончиться такая жизнь?»

Но он все еще рассказывал что-то, и порой казалось, что он без всякой задней мысли зашел к ней: просто хочет немножко рассеять ее.

— Я отнюдь не музыкален, но голоса сестры не выношу. Это какой-то сплошной визг! Я ее прошу: «Не пой, красавица, при мне», а она обижается, плачет и жалуется своим знакомым. «Родной брат, — говорит она, — должен был бы поддержать меня, а он вместо этого расстраивает все идеалы моей жизни».

Порой он останавливался и, вглядываясь в лицо Мирл, задумывался о чем-то. Наконец, он совсем умолк, опустил голову и стал поглаживать синюю скатерть. Наступила томительная тишина. Слышно было, как на кухне свекровь допытывает служанку — переменила ли она постельное белье, как проходит она со служанкой в спальню и долго гремит ключами, открывая шкаф, и как возится там, меняя белье. Потом свекровь проходит че-

рез столовую, даже не посмотрев в сторону Мирл и Монета.

Монеш распрощался и ушел в дом дяди. В передней он еле поздоровался с каким-то почтенным посетителем, не узнавая его, и прямо зашел в комнаты, где его тесно обступили домочадцы. Черные глаза Монета лучились каким-то мечтательным светом, и он смотрел перед собой, широко раскрыв их и не мигая.

Он спешил к своим делам и находил, что на этом «бесприбыльном деле» с двоюродным братом и его женой он потерял слишком много времени — на этот раз хватит. Чтобы его больше по этим пустякам не беспокоили, он прибегнул к обыкновенной торгашеской хитрости: будто сочувствует он, правда, главным образом Шмулику, но в то же время сочувствует и Мирл.

— Вот я просидел у нее больше часу и, по правде сказать, не знаю, кому хуже: ей или Шмулику?

И когда женщины, раскрыв рты от удивления, посмотрели на него, он уже, забыв о них и, не глядя в их лица, совал им свою руку на прощание.

— Сколько у меня еще дел сегодня! — сказал он, убегая, — уйма дел!

Мирл видела, как он вышел от Зайденовских и совсем близко прошел мимо ее окон. Она постучала в стекло и жестом попросила войти.

— Вы мне скажите правду, — сказала она, пропуская его в столовую, — если вы торопитесь, наш разговор можно отложить.

Ее глаза при этом, казалось, не хотели выдать какую-то сокровенную мысль. Монеш смотрел в них и, хотя он действительно очень торопился, выразил полную готовность поговорить.

— Что вы! — сказал он. — Я тороплюсь? Божо сохрани! Я очень рад...

И вот они вместе идут в город. Он испытывает к ней чувство почтительной нежности и, когда она просит его встретиться с нею и завтра, он с готовностью соглашается. У него проносится в голове целый рой мыслей: о том, что она умышленно замалчивает свое самое главное, что думает она совсем об иных вещах, а вслух говорит про другое; о том, что Шмулику, которого он любит, он должен все-таки что-то сказать о ней — умной и незаурядной, и что она, конечно, ему — Шмулику — не пара.

Но когда, проводив ее, он возвращается к себе, он забывает обо всем этом и углубляется в повседневные де-

ла. В переполненном, ярко освещенном трамвае к нему подсаживается тот самый мужчина, с которым он в доме дяди еле поздоровался сегодня. Он рассказывает Монету о каком-то деле, а Монеш смотрит на него большими, слегка вытаращенными глазами, морщится от досады и думает: «Я, правда, встречаюсь за день с сотнями людей... Но что же это, кто этот человек? Неужели я перестаю узнавать людей?»

VI

Через несколько дней, поздно вечером, Мирл опять встретилась с Монешом. Они тихо прогуливались по центральной улице, и вдруг Мирл издали увидела на одном из безлюдных перекрестков Носсена Геллера. Он стоял все в том же своем осеннем широком пальто—один и грустно смотрел на приближающуюся *Мирл*. Чтобы избежать встречи с ним, Мирл потащила Монеша на другую сторону. Они вошли в переполненное шумное кафе, где звон ножей и стук тарелок тщетно превозмогал визг надрывающегося оркестра.

Вышли они оттуда за полночь. Носсен все еще стоял против кафе и, как прежде, смотрел ей вслед. Мирл вздрогнула и прижалась к Монешу:

— Как он глядит, этот человек!

Монеш оторвался от своих мыслей, но не понял ее. Он посмотрел по сторонам и, ничего не заметив, тотчас же снова погрузился в размышления: на прошлой неделе ему удалось свести акционеров куропольской паточной фабрики с покупателями. Если бы директор не был таким взяточником, дело могло бы выгореть. Вдруг он остановился и приставил палец ко лбу: «А подписался ли я на телеграмме к этому директору?» Он по-настоящему заволновался и посмотрел на Мирл с таким выражением, точно очень нуждался в ее сочувствии:

— Вы меня простите, Мирл! Я должен на одну секундочку забежать на телеграф.

Мирл проводила его до телеграфа и попеняла ему:

— Ну, что вы, Монеш! Сейчас же идите; я и без вас найду дорогу домой.

Оглянувшись, она увидела Носсена. Он стоял на том же перекрестке и смотрел ей вслед. Он ничего не ждал. Он был просто несчастлив и смотрел ей вслед. Она отвернулась и поспешно взяла извозчика.

Она не заметила, как проехали мост и миновали ок-

раинные улицы предместья. Пролетка остановилась, и Мирл увидела: все окна ее дома, кроме спальни, ярко освещены и как будто хвастаются перед полуночной тьмой: «Гости у нас, гости!»

Она очень удивилась:

«Кто это приехал? Уж не отец ли? А может быть, мать?.. А она-то им за все время даже письма не написала».

Но, войдя в переднюю, она поняла, что ничего не произошло, никаких гостей нет: просто Шмулик после месяца мытарств вернулся из Варшавы, вот и все. Приехал он особенно тихий; знает — радости мало увидит он дома.

Бородка его и волосы подстрижены теперь короче обычного. На нем новый светлый костюм — из Варшавы, новые ботинки слегка поскрипывают, и весь он какой-то новый и свежий, словно только что вернулся из бани. Казалось, что за это время он сумел преодолеть в себе некоторые внешние дурные псвадки.

Мирл прошла через столовую и не оглянулась на мужа. Ему стало стыдно перед старым, седым и неопрятным евреем — поставщиком волов. Этот еврей сидел за столом с палкой в руке и мигал воспаленными глазами. От него несло нюхательным табаком и запахом бараньего жира. Шмулик опустил голову и в смущении стал пощипывать усы. На добрые его глаза навернулись слезы.

Мирл прошла в гостиную, сбросилч сак. Она хотела что-то вспомнить и не могла. Она помнила только одно: Шмулик стоит там — в столовой. Почему-то она опять стала натягивать сак, но тотчас же бросила его на стул и, минуя столовую, прошла в темную спальню.

Не раздеваясь — в шелковом платье, затянутая в корсет, она легла в постель. Она закрыла лицо руками и стала готовиться к тому, что сейчас должно произойти: «Вот и конец!» — думала она.

В смежных комнатах тихо. Слышно, как Шмулик медленно шагает по столовой, как старый скотопромышленник, довольный двухтысячной прибылью, выпавшей на его долю, звучно втягивая табак, говорит:

— Со времен Наполеона не было таких цен на волов. Шуточное ли дело — по семь рублей за пуд.

Старик сидел еще долго. Его воспаленные, с вывернутыми красными веками глаза слезились. Слезы текли по щекам и пропадали в грязновато-желтой бороде. Но

сн не замечал этого. Он совал понюшку в нос и при этом, как слепой, подымал голову, мечтая про себя еще об одной такой удаче.

— Если вы еще раз поедете в Варшаву,—сказал он,— придется несколько волов забраковать: вот этого буйного, с крутыми рогами, и еще двух. Удивительное дело—эти трое стоят уже целых четыре месяца и не прибавляют в весе. Я их ощупывал на прошлой неделе... Нет, это не значит мясо, это — не товар. Не люблю таких волов!

Еврей ушел. Шмулик запер за ним дверь. Тишина стала нерушимой, как в самую глубокую полночь. Шмулик шагал по столовой. В скрипе его ботинок было что-то сочувственно-жалостное: «Вот, мол-де, как плохо нашему хозяину!»

Шмулик ходил и думал о Мирл, которая лежит там одна, в темной спальне; он очень любит ее, хочет зайти к ней и не знает, как это сделать. Он несчастен, и никогда это несчастье не оставит его. Вот он вернулся теперь домой, денег у него много — скоро он станет совсем богатым, целые горы подарков накопил он для Мирл. Может быть, они понравятся ей, думал он. Он надеялся: после такой длинной разлуки она станет хоть разговаривать с ним.

Он все чаще пощипывал усы:

«Но ведь она считает меня дураком!»

Перед глазами стояло ее лицо — свежее, полное прелести. Теперь она лежит там — одна в темной спальне, и веки ее закрыты. Может быть, она спит? А может быть, нет? А если бы он вошел к ней, он не знал бы, что ей сказать. И все же он пошел к ней—медленно, шаг за шагом. Опущенную голову не подымал и помнил одно: «Она меня считает совсем глупым!»

Он переступил порог темной комнаты и остановился. СЕСТ из столовой проникал сюда. На кровати смутно виднелось тонкое, почти девическое тело, затянутое в черный шелк. Он подходил медленно, делал шаг, другой, останавливался и шел дальше. Теперь видно было ее чуть запрокинутое лицо. Оно лежало высоко на подушках, глаза были закрыты. Он постоял немного перед кроватью и не поднял головы; чувствовал, что лучше было бы уйти отсюда, и все-таки еще ближе придвинулся к ней. Полусогнутая рука слабо покоилась на краю кровати. Он осторожно взял эту беспомощную руку и стоял тихо, не выпуская ее, и так же тихо, почти беззвучно, начал

рыдать. Она не отняла руки. Он слышал: точно в полусне она вздохнула и сказала монотонно и вяло:

— На что я тебе нужна, Шмулик?

Тогда он присел на кровати и, всхлипывая, стал целовать ее руку. Он долго и нежно целовал ее. Она не открывала глаз и молчала. Он придвинулся к ней и обнял ее. Она все еще не открывала глаз и молчала.

На кухне проснулась служанка; заспанная, шлепая босыми ногами по полу, она ходила из комнаты в комнату и гасила свет.

VII

На второй день после рош-гашоно¹ Шмулик ненадолго отлучился на завод, а Мирл начала укладывать вещи в свой желтый саквояж с тем, чтобы уехать домой, к родителям. Она никому об этом не сказала и в своем решении была тверда. «Теперь уж окончательно я избавлюсь от Зайденовских», думала она.

В доме свекра были в этот день гости. Хозяин, как всегда, непринужденно восседал на самом почетном месте с видом человека, ожидающего непрестанных почестей. Зажиточная родственница, приехавшая откуда-то со своим мужем, сидела тут же в столовой. Разговор шел о варшавской тетке Перл, которой, по словам Шмулика, в этом году везет — дела ее хороши; о здешней тетке Зстер, которой, не сглазить бы, живется куда лучше, чем при покойном муже: она ежегодно ездит на курорт. А сын ее Монеш родился как раз в том году, когда у дяди Азриэль-Меера умерла первая жена. Монету вот уже двадцать шесть лет, он ворочает большими делами, а о женитьбе даже и не заикается.

Вдруг вошел один из родственников и что-то шепнул на ухо свекрови. Та выслушала и, наклонившись к мужу, в свою очередь стала нашептывать ему; она выпрямилась, прямо посмотрела ему в лицо, и глаза ее заморгали особенно часто и тревожно.

За последнее время Шмулик казался очень веселым. В день рош-гашоно его видели вместе с Мирл: они стояли на крыльце, — прямо против солнца. Свекровь даже начала советоваться с Мириам Любошиц:

— Как ты думаешь, — допытывалась она, — кто, по-

¹ НОЕВЫЙ год.

твоему, должен заговорить первым — я или Мирл? Полагалось бы, кажется, Мирелэ заговорить первой, а?

Свекровь поднялась с места и, накинув платок, пошла к Мирл. Сначала она осторожно заговорила со служанкой, потом еще осторожнее с Мирл:

— Надолго уезжаешь, Мирелэ?

И еще:

— _Может быть, подождешь Шмулика?

Мирл быстро двигалась по комнате среди уложенных вещей, выражение ее лица было упрямым и строгим. Она торопливо оделась в дорожный плащ, тут же распорядилась послать за извозчиком и на вопросы свекрови отвечала отрывисто и коротко:

— Не знаю!

— Посмотрю!

— Ждать не могу!

Она была так тверда в своем решении, что даже удивлялась себе: почему она этого не сделала месяц, два месяца тому назад!

Все восемнадцать часов в поезде она чувствовала себя легко, свежо, словно осуществление ее прежних и теперешних надежд зависело именно от этой поездки. Было приятно подолгу стоять у чистого широкого окна вагона, смотреть на медленно вращающийся горизонт, на чужие домики, на незнакомые поля, на роши и сады. Все это быстро несло навстречу и так же быстро оставалось позади.

Она представила себе синие свои глаза — такие печальные, и всю себя — стройную, одетую в черное. Вот она теперь свободна и совсем одна среди всего этого множества пассажиров, которые бросают на нее любопытные взгляды и каждый раз уступают ей дорогу, не осмеливаясь заговорить.

На большом вокзале, где запыхавшийся, насквозь пропыленный поезд отдыхал целых полчаса, какой-то высокий, крупный человек, в охотничьем костюме, с двухстволкой за плечами и с пустым ягдташем, не спускал с нее глаз. Наконец, он подсел к столику, за которым она завтракала.

На следующее утро, трясясь в наемной бричке по дороге к родному городку, Мирл вспомнила обо всем этом, и в голову приходили туманные, легкие мысли о какой-то новой жизни.

Но когда бричка покатила по окраинным улицам, от знакомых, домов повеяло на Мирл прежней безысходностью. Она ощутила в себе ту же пустоту, которая со-

путствовала ей в девичестве, точно она никогда не покидала этих мест. Весь этот жалкий городок с его нищенскими покосившимися лачугами точно остановился на одной-единственной горькой мысли: «Непоправимо наше несчастье, и нет надежд».

А вот и крыльцо отцовского дома. Дом стоял чуть пониже рыночной площади, как всегда тихий, и все еще жаловался каждому прохожему: «Замуж выдали Мирл. Давно уже ее здесь нет!»

Никто не встретил ее-, никто не обрадовался ее приезду. Дома было все по-старому: никаких перемен. Только Гитэлэ стала носить праздничную наколку по будням, драгоценности ее все еще были в закладе.

Увидя Мирл, она медленно поднялась из-за круглого стола, покраснела и туго улыбнулась.

— Смотрите, — сказала она смущенно, — Мирелэ!

Она крепко ухватила за край стола и не отпускала его. Ей было странно и неожиданное появление дочери, и то, что она за все время ни строчки не написала сюда; только Шмулик в каждом своем письме обязательно делал приписку: «Кланяется вам моя дорогая жена — Мирелэ, пусть бог пошлет ей здоровья».

В смущении Гитэлэ добавила:

— На лицо ты совсем не поправилась!

Постояв немного, она отобрала у служанки компрессы и ушла в спальню к реб Гедалье, у которого за последнее время снова начались припадки. Одетый, он лежал на старой деревянной кровати, обеими руками придерживал грелку на животе и не стонал.

— Вот лежу,— улынулся он Мирл,— а с утра еще был на ногах.

Лицо его стало желтым, и улыбка больше не шла к заострившемуся его носу. И голос казался другим — в нем появились какие-то едва уловимые, звучащие обреченностью нотки; по всему видно было, что он недолго протянет.

Перед вечером, когда боль унялась, реб Гедалье поднялся с постели и велел закладывать лошадей, чтобы отправиться в кашперовский лес. Он оделся, подошел к Мирл, постоял перед ней, опустив голову. На дворе ждала его запряженная бричка. Гитэлэ в комнате не было.

Он думал о том, что ему следовало бы приехавшей в гости дочке сделать хоть какой-нибудь подарок, а он беден, и ему нечем одарить ее. Но он вряд ли подумал о том, что в ее, Мирл, несчастье виновата его купеческая спесь. Он спросил:

— Ну, как тебе живется? Я думаю, Шмулик не злой муж...

Вдруг спохватился:

— • Что ж, поехали!..

И уехал.

Гитэлэ стала разговорчивее. Растягивая слова, она начала рассказывать о том, что кашперовский лес вовсе не такая находка, как думали сначала, о том, что кассир у них не работает больше — нечего ему тут делать; он поступил к богатым купцам в город.

— • Ну, а человек он преданный. Велвель Бурнее переманивал его к своему отцу и предлагал тысячу рублей в год. Мы с отцом уговаривали его. А раввин Авремел так прямо считает его сумасшедшим: зачем он не согласился? Но он ведь упрямый, так-таки к Велвелю не пошел.

А потом пили чай и не знали, о чем говорить. •

После Мирл долго стояла одна на крыльце и смотрела на городок. Все там было пусто и уныло, как прежде.

Поздно в сумерки учительница Поля прошла на село к акушерке Шац. И провизор Сафьян тоже пошел туда. И хромой студент Липкие... А кругом стало темно и прохладно. Ветерок погнал пыльные вихри с базарной площади. Велвель Бурнее, узнав о приезде Мирл, поспешил к себе на хутор. А из окон большой синагоги льется свет — молятся евреи, раскачиваются, однообразно и тягуче вторя словам кантора. Совсем близко мимо крыльца прошел молодой незнакомый человек: «Наверное новый учитель талмуд-торы», подумала Мирл.

Все казалось лишним и глупым: и то, что по дороге сюда она все еще на кого-то надеялась; и то, что в домике акушерки собрались теперь те же самые люди, которые собирались там в прошлом году и в позапрошлом, и говорят они то же самое, что говорили в прошлом и в позапрошлом году... Все они: акушерка, Поля, Сафьян, Липкие — недовольны жизнью. Но никто из них ничего не делает, чтобы эту жизнь переиначить.

Все они, как и акушерка, старше ее, Мирл. Порою они говорят о своем недавнем прошлом, когда все кругом всколыхнулось, и мир вокруг них должен был стать совсем иным. Но никто из них ничего не делает для того, чтобы вернуть это время: А в мире множество таких вот недовольных акушеров, Полей, Сафьянов... И все они собираются по вечерам в городах и местечках, в домах и лачугах, расходятся и возвращаются к своим давно надоевшим делам.

Но ведь должны же быть где-нибудь люди, которые пробуют делать что-то другое, которые хотят изменить эту проклятую жизнь! Где они? Как найти дорогу к ним—дорогу в более осмысленный мир?

И ее охватило какое-то озлобление против окружающих ее людей, словно именно они мешают — ?й узреть эту дорогу.

Когда она вернулась в дом, в столовой уже давно горела лампа. Раввинша Либке сидела за столом, улыбалась молчаливой Гитэлэ, и Мирл слышала, как она сказала о ней что-то интимно-женское.

— Вот как живут-то нынче!—многозначительно воскликнула она потом.

Мирл от этого сделалось еще тяжелее; она вошла в свою прежнюю комнату и остановилась у порога, внимательно разглядывая ее. В неясном свете лампы она увидела голые, пустые стены, голый столик у кровати, шкаф с открытой дверцей. В нем висело старенькое ее девичье платье и короткий жакет на вате. Постель стояла неубранной. Подушки без наволок высывались из-под ватного, небрежно брошенного на них одеяла. Пахло сыростью давно нетопленного жилья, и отовсюду, из всех углов, выглядывала скука. Казалось, что куда легче совсем не иметь пристанища на земле, чем еще раз лечь в эту постель. Она не в силах была оставаться больше здесь; опять вышла в столовую, села за стол, подперла голову обеими руками, задумалась и вдруг стала спрашивать о поездах:

— Есть, кажется, два поезда. Не знаю — каким мне лучше поехать завтра домой — утренним или вечерним?

Гитэлэ стесненно улыбалась и с удивлением спросила:

— Что, тебя дела одолели?

Раввинша тоже сказала что-то в этом роде. Мирл ничего не слышала. Она все еще смотрела куда-то перед собой: «Значит, завтра опять туда, в предместье...»

Из всей этой поездки ничего не вышло. Здесь, в родительском доме, она не останется. Теперь ей уж совсем не на что надеяться, но все-таки выход она найдет. К Шмулику же она возвращается ненадолго... На время...

VIII

На третий день ночью Мирл вернулась — осунувшаяся, побледневшая, ни с кем не разговаривала, никого не хотела видеть. Одетая, она целыми днями лежала в кровати. У Шмулика в кабинете отыскивала несколько случай

иых книг и постепенно перетасила их к себе в спальню; так они и валялись там на полу около кровати.

Она ни в чем не укоряла больше мужа: ведь он не может изменить ее жизнь ни в худшую, ни в лучшую сторону. Она была уверена, что все-таки уйдет от нег©, и совсем скоро. Ее даждражало, когда он заходил к ней, она не смотрела на него, не отвечала ему, если он робко заговаривал с нею.

Шмулик знал, что от ее отца уже врачи отказались— об этом написал ему раввин Авремель. Его мать осуждала невестку, то и дело приговаривая:

— • Что это значит? Отец чуть не при смерти, а дочь и лишнего дня не хочет с ним побыть. Что это за человек?!

Шмулик опять попробовал спросить Мирл, почему она так внезапно уехала из отцовского дома. Она прервала его на полуслове и, волнуясь, ответила:

— Не знаю, оставь меня, не знаю!

У-Шмулика на глаза навернулись слезы. Он ушел к себе в кабинет, стал у окна. Влажными глазами следил он за медленно ползущими серыми облаками, и было, ему очень плохо; звенящая пустота заполняла голову—, ни одной мысли не было в ней. Наконец он ушел к отцу. Там заметили, что ему не по себе. Мать ^отозвала его в сторону.

— Что? — сказала она. — Опять какие-то новости?

Но он приосанился, даже нахмурил брови и с видом совсем солидного мужчины ответил:

— Нет, ничего! Откуда ты взяла?..— и тотчас же вошел к отцу в кабинет.

У отца сидели три надсмотрщика за волами. Они обсуждали вопрос о том, не погнать ли новую партию волов на Варшаву. Янкель-Иосиф обратился к сыну, желая узнать его мнение по этому поводу. Но Шмулик посмотрел на него отсутствующими глазами и сказал:

— А?.. Что?..

В праздник кушей семья Зайденовских была вся в сборе. За празднично убранном столом сидели почти все родственники. Они пытались казаться веселыми и избегали даже случайного упоминания имени Мирл. Зайденовская только что подумала о Шмулике, семейные дела которого, по ее мнению, далеко не блестящи, но тотчас мысль эта вылетела из ее туповатой головы, и она сидела, бездумно помаргивая своими черными близорукими глазами.

Была тут и Мириам Любошиц с шестимесячной де-¹

вочкой на руках. Светловолосая, с плешивым затылком, девчонка смешно выставляла верхнюю губку и таращила синие бусинки глаз. Четверть часа тому назад все домочадцы вырывали ребенка друг у друга из рук, тетешкали его, танцовали с ним и затормошили до того, что ребенок, беспомощно переводя свои синие бусинки с одного на другого, совсем уже было собирался зареветь. Тогда сама Зайденовская взяла его на руки и, помаргивая, начала гукать и причмокивать, и ребенок вдруг сморщил носик и, высунув язык, весело ухмыльнулся. Все пришли в восторг, а Мириам Любошиц сказала:

— Видите! Уже любит тетю!..

Теперь в столовой было тихо. Все родственники разбрелись по комнатам. Девочка сидела на коленях у Мириам. Пухлыми кулачками шарил она по лицу матери, царапала его, пускала пузыри и весело лопотала по-своему:

— Бэ-э-э!

Мириам, уклоняясь от этих слабых ручек, поворачивала лицо то в одну, то в другую сторону и старалась ответить на вопрос тетки:

— О чем тут говорить! Нормальным человеком Мирл считать никак Нельзя.

За столом почти никого не было. Молодежь шумела где-то в дальней комнате. Свекровь с опаской оглянулась, велела прикрыть дверь и ближе придвинулась к Мириам.

— Говорить о нормальности не приходится,— прошептала она.

Мириам умолкла. Она слушала жалобы тетки и соглашалась с ней.

— Вот к примеру я! — сказала она. — Боже мой, я ведь тоже замужем!..

Она поднялась, передала ребенка няне и стала собираться домой. Тетка пошла ее провожать до трамвая и всю дорогу твердила об одном и том же:

— Что она хочет от Шмулика? Она хочет развода? Так пускай прямо скажет, что хочет развода!

На дворе было пасмурно—шел мелкий дождик. Мирл стояла у окна, кутаясь в платок, и грустно смотрела вслед свекрови и Мириам.

Они шли, оживленно разговаривая, и вдруг остановились: из трамвая выходил Монеш; с двумя связками книг подмышками он прошел мимо и не заметил ни тетки, ни Мириам. Из одной связки выпала книга, и какая-то женщина крикнула ему:

— Молодой человек! Вы потеряли!

Но он, не оглядываясь, быстро шел вперед. Он миновал дом дяди и позвонил у дверей флигеля.

На обратном пути свекровь зашла во флигель. В нем было тихо: Монеш уже ушел. Шмулик спал в кабинете на диване в одной жилетке — без пиджака. А Мирл лежала у себя в спальне на неприбранной кровати, и всюду вокруг нее валялось множество старых и новых книг.

С тех пор свекровь резко изменилась к Монешу. Она не могла смотреть ему прямо в глаза. Она подозревала его в чем-то. Каким образом поделиться с кем-нибудь своими подозрениями, она не знала. Но если он перешел на сторону Мирл и держал в секрете беседы, которые с ней вел, то она сочла себя вправе застигнуть его врасплох. И как только он однажды у них появился, она спросила его не без ехидства:

— Может быть, хоть ты можешь толком разъяснить, чего хочет от Шмулика Мирл? Говорят, что ты знаешь все ее секреты!

Монеш на мгновение остановил на ней свои слегка выпуклые глаза и ничего не ответил. Он забежал к дяде по какому-то делу и, очень быстро выйдя оттуда, отправился домой. Он постоял немножко на крыльце Шмуликоез флигеля, но не позвонил, а пошел к трамваю.

«Нужно взять себя в руки,— думал он, — что это за чушь! В самом деле, могут подумать, что я отбиваю жену у Шмулика».

Он перестал ездить к Зайденовским.

IX

Как-то перед вечером Шмулик вернулся из Лебединской волости, где он в течение двух дней делал опись новой партии волов, и застал комнату Мирл запертой изнутри.

Он постоял немного, постучался в дверь, еще постоял, опять постучался — ответа не было. Он стал шагать по комнатам, время от времени останавливался и задумчиво разглядывал серую сумеречную улицу. Его мучило, что вот уже вторую неделю Мирл не разговаривает с ним и что ходит он запущенный, в серых заношенных воротничках: все не решается подойти к бельевому шкафу, который стоит в комнате Мирл. Мирл относится к нему, Шмулику, с каждым днем все хуже и хуже, а он думает и ничего не может придумать, чтобы как-нибудь помочь и себе и ей.

Вечером он обошел флигель со всех сторон и остановился в саду под окнами Мирл. Сад был весь мокрый. Лил косой осенний дождь, и хлесткий ветер, свистя, крутил его холодные потоки. Вишневые деревья качались, мокли и тихо на что-то жаловались. В самом конце сада вдоль забора вытянулись в ряд старые тополя. Они все разом клонили свои темные верхушки в ту сторону горизонта, откуда шли свинцово-серые, налитые влагой, Тучи:

«Оттуда, оттуда идет несчастье!» — скрипели они.

Ставни на окнах Мирл были плотно закрыты. Сквозь щели пробивались теплые полосы света; значит, она ие спит.

Он долго потом ворочался на диване, все не мог заснуть. Царапая клеенчатую обивку, он думал:

«Пропала, должно быть, моя жизнь!»

В конце-концов он заснул одетый. Просыпался два раза — во втором часу ночи, когда в комнате Мирл еще горела лампа, и на рассвете, когда служанка убирала комнаты и в окна заглядывало начало нового дождливого дня. Теперь у Мирл было темно — она спала.

Шмулик вышел во двор, разбудил кучера, велел ему запрягать и уехал на завод. Там он сразу почувствовал, что приехал напрасно: он должен был остаться дома. Он не прикоснулся к делам. В заводской комнате, среди вечно кипящих котлов, было жарко, пахло пережженным спиртом, патокой, подгорелым ячменем и брагой. После полудня солнце вдруг выглянуло из-за туч, и особенно убогим и безотрадным показалось все, к чему прикасались его болезненно-бледные лучи.

У открытого подвала на берегу речки стояло множество подвод, груженных железными бочками; командовал подводами старый, вечно пьяный и очень обремененный сторож.

— Стой, подавай! Куда прешь? — орал он.

Из низины, раскинувшейся за заводским корпусом, подымался вонючий пар: это спускали к волоньям жидкие отбросы.

Шмулик велел подать бричку и уехал обратно домой. Солнце опять скрылось. Все кругом стало скучным и холодным. С полей тянуло свежим навозом, мокрой землей и гнилыми дынями с баштанов. Сытые гнедые бежали рысью, весело пригибали головы к земле и при каждом взмахе кнута высоко подбрасывали задние ноги. Бричка мягко подпрыгивала на рессорах и легко бежала за лошадьми. А Шмулик сидел, забившись в угол, и все

время думал о том, что вот едет Шмулик Зайденовский, богач — и не зависит он теперь ни от кого, даже от отца, спешит к себе домой. Там жена, которая вот уже две недели не выходит из своей комнаты. Он должен пойти к ней и спросить: «Мирл, скажи! Может быть, я тягостен тебе? Я могу тебе снять две или три комнаты в центре. Понимаешь? Я ничего не требую от тебя».

Он разжалобился от этих мыслей. Любовался своим благородством и был уверен, что Мирл оценит его. Он хотел поэтому поскорее приехать домой.

Но как только он въехал во двор, он почувствовал себя так же скверно, как и сегодняшней тягостной ночью. И он ясно представил себе длинные, полные унылого одиночества часы, которые предстоят ему сегодня, завтра, послезавтра и долго еще.

Наступал вечер. Окна отцовского дома, выходящие на двор, почти все были освещены; флигель стоял темным — только через закрытые ставни окон комнаты Мирл струился свет. Повидимому, она все еще не выходила из комнаты. Выскакивая из брички, Шмулик опять вспомнил о заношенном своем белье и направился прямо к себе. Но его вдруг остановила служанка из отцовского дома. Она торопливо бежала навстречу.

— Вас зовут! — кричала она. — К хозяину! Велели сию минуту итти!

— Сию минуту?

Он не понял, к чему такая спешка. Но повернулся и пошел к отцу.

В кабинете было жарко и накурено. За столом против отца сидели мать, Мириам Любошиц и молодой Любошиц-студент. Все были возбуждены. Чувствовалось, что все уже высказали свое мнение и теперь ждали какого-то окончательного решения.

Молодой Любошиц при появлении Шмулика тетчас же вышел из кабинета.

Янкель-Исиф, избегая смотреть сыну в глаза, затаился и выпустил густое облако дыма; Мириам водила пальцем по зеленому сукну стола, и только мать, повернувшись к нему в полоборота и помаргивая, окликнула его:

— Подойди ближе, Шмулик!"

У Шмулика начало вдруг покалывать в виске. Он скривился — так неприятен был ему предстоящий разговор с родными. Все было перед ним, как в тумане. Словно откуда-то издалека доносились до него слова ма-

тери, и он слышал, как она упоминала его, Шмулика, имя рядом с именем Мирл. Мать рассказывала, как она вошла к Мирл и стала говорить с нею и как Мирл перебила еб:

— Не хочу говорить! Хочу молчать! Дайте мне молчать!

— Ну, подумай, Шмулик, — продолжала мать, — разве эта женщина в своем уме?

И вдруг она начала говорить еще быстрее, и из однообразного потока ее слов то и дело выплывало одно: развод, развод, развод!

Шмулик рассердился. Его взбесило, что мать то и дело повторяет это ненавистное слово.

— Заладила: развод, развод, — передразнил он ее.

Вспомни! о Мирл, которая там одна, он хотел поскорее пойти к ней. Но отец вдруг поглядел прямо в глаза сыну и начал повторять все то, что говорила мать:

— А что же другое, если не развод? Какой еще есть выход?

И Мириам поднялась с места, вторя:

— Нельзя же так жить! Невозможно!

Мать тоже встала:

— Виданное ли это дело! С сотворения мира не было такого!

Потом сразу все утихло, помолчали немного и двинулись из кабинета, оставив Шмулика одного: им не о чем больше с ним разговаривать. В столовой мать подошла к студенту Любошицу и шепнула:

— Поди к нему! Поговори ты с ним! Он с тобой считается!

Любошиц вошел в кабинет, постоял немного у стола и, наконец, сказал:

— Она тебя не любит, Шмулик! И никогда не любила!.. Еще до замужества ты был ей неприятен—ты же видишь, что она с тобой не хочет жить. Насильно мил не будешь — давно известно.

Шмулик стоял к нему спиной и думал: «Значит, она меня и впрямь не выносит!» Он не знал — предположение это Любошица или прямые слова Мирл. Но если все родные понимают это и если Шойлик говорит, что он, Шмулик, ненавистен ей, то это, конечно, не выдуманно. Шойлик не станет говорить просто так, ни с того, ни с сего. А если она действительно не любит его, то разве можно ее заставить жить с ним?..

Он покинул кабинет и, почти не понимая, что делает, прошел в темную детскую. Окно там было завешено чем-

то черным, и малыши уже спали, сладко посапывая в своих кроватках. Ссутулившись, он облокотился на подоконник и задумался:

«Значит, разведусь с ней. Она будет жить в своем отцовском доме, а он останется здесь — один он будет здесь. И не женится, пожалуй, больше никогда. Какая уж тут женитьба?.. А жизнь-то в самом деле загублена...»

Ему стало до слез жалко себя.

В столовой все притихли, услышав сдержанные рыдания.

— Кто это? — спросила мать, замирая. Стало еще тише. Вдруг кто-то громко — во весь голос сказал:

— Ничего. Пусть поплачет!..

Все оглянулись: это сказала сестра Шмулика — Рита. Она знала всю историю взаимоотношений Носсена Геллера и Мирл, знакомый студент все рассказал ей. Она считала себя благовоспитанной девушкой и молчала все Бремя — но теперь... теперь можно рассказать, как однажды она проходила мимо дома, где живет Носсен Геллер, и видела: Мирл вошла в этот дом и долго це возвращалась оттуда.

Х

Шмулик сидел, запершись в одной из комнат отцовского дома, и не хотел выходить.

Мириам Любошиц крутилась по столовой с таким видом, как будто она опытная акушерка и уж знает, что надо делать с роженицей, лежащей тут где-то неподалеку. Она не вылезала теперь от Зайденовских, ночевала у них вместе со своим ребенком и играла первую скрипку в этом семейном оркестре. Она говорила о Шмулике, что если он решил для себя — окончательно развестись с Мирл, то зачем его пускать туда к ней? Ее советов слушались и решили действительно не пускать Шмулика домой.

Весь большой дом жил теперь взволнованной жизнью. Казалось, будто кто-то смертельно захворал в нем. В гостиной было накурено и грязно. По целым ночам там сидели и без конца совещались. Обычный порядок нарушился. Ели не во-время. В столовой стол накрывался с полудня и стоял так до самого вечера, а маленькие дети ходили голодные — их забывали кормить. Кормили их наскоро только поздно вечером. Взрослые же сидели и

всё шушукались. Однажды ночью вызвали депешей того почтенного еврея, который когда-то передал реб Гедалье, что они, Зайденовские, не требуют ничего—ни денег, ни обещаний. Теперь все сидели вокруг этого еврея и просили его поговорить с Мирл так: если она согласна на развод, то ее можно обеспечить — до шести тысяч можно дать.

Шмулик был растерян и участия в этом разговоре не принимал. Вся его прошлая жизнь лежала перед ним, как в тумане. Он шагал взад и вперед по гостиной, не слушая, о чем говорят старшие, и старался представить себе свою будущую жизнь без Мирл. Вот он будет один, и станет ходить по субботам в синагогу, и кто-нибудь, глядя, как он сидит на почетном своем месте, у восточной стены, скажет о нем:

«Вот смотрите, бедняга, бросила его жена — не захотела с ним жить!»

Когда, в конце-концов, все поднялись с мест (Шмулика в комнате уже не было), Мириам подошла к старику-поверенному и легонько стукнула его костяшкой указательного пальца по лбу:

— Ну, и голова у вас, дядя! Вас надо поблагодарить за этот брак!

Поверенный съежился и беспомощно развел руками:

— Кто же мог знать? Казалось, хорошее дитя Мирл, очень хорошее дитя!..

Когда все ушли, он расхаживал по комнате в глубокой задумчивости и все бормотал про себя:

— Кто мог знать? Кто мог это знать, скажите, пожалуйста!..

В двенадцатом часу дня поверенный постучался в комнату Мирл. Он чувствовал себя неважно. Босая служанка, провожая его через столовую, говорила:

— Послушайте меня, не стучитесь лучше! Ей-богу, нарветесь на скандал!

Войдя в комнату Мирл, он почтительно поклонился в ее сторону, шагнул раз, другой и поклонился снова. Он не знал, куда девать руки, так туго на все пуговицы был застегнут на нем черный сюртук. Доброе лицо его смущенно улыбалось.

— Я пришел, — сказал он с таким выражением, точно хотел подшутить над собой, — я пришел поговорить с вами немного.

Мирл лежала все в том же капоте и в шлепанцах. Она негодовала на гостя за то, что вынуждена была встать и открыть ему дверь. За эти две недели затвор-

ничества и упорного молчания она сильно исхудала и казалась какой-то одичалой. Теперь ее страшно возмущало вторжение этого посланца. Она приподнялась немного.

— Прошу вас, — сказала она тихо, — передайте свекрови, что если у меня будут новости, я ее немедленно извещу.

Она думала, что он сейчас же уйдет. Но он продолжал смущенно улыбаться:

— Понимаете, дело-то вот какое...

Ему стало вдруг жарко. Он присел на краешек стула, вытащил огромный носовой платок и начал медленно вытирать потный лоб.

— Да... Вся эта история мне самому неприятна... Очень неприятна. Но поймите, тут меня считают другом... Я, видите ли, немножко повинен. Так... так... да... А у нас, евреев, говорю я, если брак, не приведи господи, неудачен, а детей тоже нет... Вот, к примеру, моя дочь развелась в прошлом году...

Мирл уже сидела на кровати. Сердце ее начало сильно биться.

— Развод? — перебила она его. — Хорошо, хорошо. Передайте им, пожалуйста, что это хорошо.

Гость растерялся. Не веря своим ушам, он поднялся с места.

• — Я иду, — сказал он взволнованно, — я передам...

Но в дверях он остановился, подумал и опять повернулся к ней:

— Они вас обеспечат... Они велели сказать вам...

— Хорошо, хорошо, — снова перебила его Мирл.

Тотчас же после его ухода она опять улеглась в постель и принялась за книгу, которую читала все утро. Ей казалось, что ничего не изменилось, ничего не произошло.

Книга была толстая, в тяжелой коже. Говорилось в ней о женщинах средневековья и современности. Но читать ее по порядку она не могла — ей было скучно. Она перескакивала со страницы на страницу, пропускала целые главы и читала вразброд. Она читала, а мысли ее были заняты тем, что происходит теперь там, в доме у свекрови.

Среди менестрелей, рыцарей и разгуливающих по средневековым замкам дам путались: Мириам Любошиц с младенцем, свекровь, унылый Шмулик и этот старик, который только что был здесь и ушел со словами: «Так, значит, развод. Да, да, я передам им...»

Мирл отложила книгу в сторону, задумалась, и сно-

ва сердце ее забилося. Так, значит, возвращается к ней девическая жизнь!

В ней крепло чудесное чувство здоровья и силы. Оно росло, это чувство, с каждым новым толчком горячей крови. Она даже взвизгнула легонько, почуяв возвращение давно утраченной юности; она взвизгнула только один раз, но в этом было столько настоящей радости! Ей представилась вдруг зима, белые поля за их городком и твердые, круглые снежки, которыми она закидала хромого Липкиса. И ей страшно захотелось окунуться в прозрачную ледяную воду.

Она посмотрела в окно и увидела медленно бредущего через двор посредника. Она поспешно встала, распахнула окно, окликнула старика и попросила: пусть он передаст им, чтобы развод был как можно скорее. Она очень просит — пусть устроят это дело без проволоочки и -лишних церемоний.

В открытое окно заглядывало облачное небо и навсвязь промокшие вишневые деревья.

Служанка улучила минуту, когда Мирл вышла из комнаты, убрала постель, сложила книги в стопку и повесила раскиданные блузки и платья в шкаф. Комната наполнилась свежестью и сочным запахом влажной земли. Мирл шагала по этой комнате в туго зашнурованных башмаках, в черном, плотно облегающем талию платье, к которому вот уже две недели она не прикасалась. В каждом ее движении, в упруго колеблющихся маленьких грудях под плотной тканью, во всем гибком, сильном теле и в радостных мыслях о свободе чувствовалась спокойная, молодая уверенность. «Написать бы кому-нибудь о разводе», — подумала она и стала искать бумагу на письменном столе. На глаза ей попала книга Герца, так и не разрезанная до сих пор. «Вот если ему теперь дать телеграмму, он бы приехал». Но она тотчас же спохватилась и, не притронувшись к книге, отошла от стола: «Какие глупые мысли лезут в голову! Она, Мирл Гурвиц, уже достаточно научена, чтобы думать о такой ерунде».

Лил ни на минуту не прекращающийся нудный дождь, который так и не выпустил Мирл из дому. До двух часов ночи она читала ту же книгу, и, когда, наконец, задремала, ей приснились средние века. Средние века во сне были похожи на сумеречную страну, где огромное скопище людей стоит под луною и кричит неистово; и один не знает, о чем кричит и чего просит другой. Она долго бродила одна по этой стране и попала, наконец,

в церковь, наполненную такими же кричащими людьми; они допытывались теперь друг у друга: «Кто есть женщина, человек она или не человек?»

Вдруг посреди ночи Мирл проснулась и вспомнила, что скоро будет разведена с мужем; сердце ее снова екнуло от радости и тоски по завтрашнему дню.

Она опять заснула, и ей привиделся новый радостный сон.

Проснулась она в десять часов утра и первым делом вспомнила обо всем вчерашнем. Возможно, что формальности по разводу будут проделаны совсем скоро, на этой неделе.

Она полежала еще немного в постели, все думая об этом. Ей вспомнился сон с молнией: «Что ей нужно теперь? — Какую-то мелочь, пустяковину должна она ухватить, и тогда станет ясным смысл всей этой жизни, смысл, в поисках которого живет она с самых малых лет».

XI

К полудню дождь перестал. Мутновато-желтый свет остался висеть в воздухе, распространяя скучную тишину вокруг застоявшихся луж и мокрых домов предместья. Босоногие мальчишки откуда-то гнали белых гусей; у одного из почернелых домов стояла груженная скарбом подводка: кто-то обосновывался здесь на новую жизнь.

Мирл оделась и пошла пешком через цепной мост в город. Она побывала на почте и написала несколько коротких слов Герцу. Ей хотелось хоть с кем-нибудь поделиться своей радостью. Писать об этом домой казалось преждевременным, да и, пожалуй, ненужным.

Возвращаясь с почты, она издали увидела на главной улице Монета. Замедлила шаги. Лицо ее смягчилось и легкая улыбка тронула губы.

Монеш должен был зайти по делу в одно место. Но это пустяки! Он с удовольствием бросит все свои дела. Он так давно не видел ее! Мирл и не подозревает, что произошло: он, Монеш, не может бывать больше ни у дяди, ни у Шмулика. Они стали просто невыносимы — эти Зайденовские. Нет, постойте, ведь это очаровательно, что он встретил ее сегодня!

Большие глаза его светились радостью. Несколько раз в забвении он брал руку своей спутницы чуть выше локтя и нежно пожимал ее. Он даже остановился:

— Вы и не подозреваете, Мирл, как я рад встрече с вами!

Он постоял еще немного, весело поглядывая на нее, и "вдруг громко рассмеялся от удовольствия.

Мирл двигалась медленно рядом с ним и мягко улыбалась. Она знала, что Зайденовские думают, будто Монеш влюблен в нее и хочет отнять ее у Шмулика. А Монеш... Он, может быть, никогда не признается в этом.* И все же он ей предан больше, чем все ее прежние друзья.

Мирл не знала, задумался он о ней или о своих делах.

«Он, конечно, когда-нибудь женится, и тогда к его делам прибавится еще одно — менее важное. Вот и весь Монеш», — подумала Мирл.

Но ей все же необходимо было хоть с кем-нибудь поделиться своими переживаниями.

Она замедлила шаги.

— Вы знаете, Монеш, я развожусь с Шмуликом.

В первый момент он не понял, о чем она говорит. Но потом остановился, лицо его стало серьезным, глаза широко открылись. Он только что хотел спросить ее, как жилось ей все это время, но что-то ему помешало. Он задумался. Ему показалось сначала, что она шутит; он весь как-то съежился, застыл, и слегка выпуклые его глаза смотрели не на нее, а куда-то перед собою.

— Нет, постойте, это все же странно! Это бог знает, что такое!

Мирл вынуждена была тронуть его за рукав, чтобы вывести из оцепенения. Он повел плечами, почесал затылок и, прикусив нижнюю губу, задумался снова.

— Убей меня бог, не пойму, как все это могло произойти! Нет, вы серьезно говорите, Мирл?

— Да.

Она, правда, не знает, куда деваться после развода. Возможно, что ей просто не на что будет существовать. Но ничто ее теперь не остановит. Мир кажется ей теперь таким просторным... Вчера, после того, как от нее ушел этот посредник Зайденовских, который разговаривал с ней о разводе, она даже взвизгнула от радости, и ей захотелось вдруг окунуться в ледяную воду. Но где-нибудь она все-таки найдет же себе пристанище. Родительский дом — это не причал, это для нее теперь пустое место. К матери ее не тянет. А отец... Лучше, пожалуй, что живет она с ним врозь; помочь друг другу все равно невозможно. О себе она думает, может быть, слишком часто и помногу, но она привыкла к этому с

детства Вот перечитывала она недавно Тургенева. Русская девушка от безысходности идет в монастырь и превращается в ничто. А ее, Мирл, монастырь не устроил бы. Ей кажется глупым такой выход. К религии ее никогда не приучали. Мириться же с настоящим положением вещей она не может. А найдется ли какой-нибудь выход — неизвестно. Но уйти необходимо, иначе она просто не мыслит.

Они уже дошли до начала цепного моста и остановились. Монеш не мог дальше идти из-за Зайденовских.

В глазах Мирл разгорался печальный огонь. Она глядела теперь куда-то далеко мимо домов, мимо медлительно текущей реки. От синевы, залегшей вокруг глаз, ресницы ее казались еще длиннее и делали пленительное это лицо с его строго вырезанным, ярким ртом еще пленительнее.

— У меня есть один знакомый поэт,— сказала Мирл.— Он говорит обо мне, что я никчемная — и от старого оторвалась, и к новому не пристала, да и не пристану.

Она усмехнулась и прямо посмотрела ему в лицо:

— Этот поэт считает, что раз он определил, откуда идут мои страдания — значит, я могу успокоиться. А то, что я все-таки страдаю — это пустяки.

Она хотела попрощаться и уйти, но Монеш вдруг спохватился:

— Нет, нет! Зайденовским на глаза я не попадусь, я провожу вас до конца моста.

Он не помнил, как прошел весь обратный путь до трамвая и как сел в него.

Всякие глупые мысли лезли в голову: «Нет, это совсем невероятно! Неужели он, Монеш, может жениться на Мирл? Нет, нет... Это пустые, глупые бредни. СЖН, пожалуй, не помнит, чтобы женщина ему так сильно нравилась, как Мирл. Но какая она ему жена?.. С ней будет много возни, она вечно будет хандрить. Тут во всяком случае, следует серьезно подумать».

Когда он очнулся, то увидел, что трамвай завез его очень далеко. Он выскочил на ходу и пошел домой пешком.

Хорошо одетый молодой человек был очень доволен, что встретился с ним на улице; он бросил своих спутников и начал излагать перед ним какое-то сильно запутанное дело. Монеш выслушал его очень внимательно.

— Поймите, — сказал он, — вы хотите, чтобы я в

этом деле участвовал? Да? Тогда идемте, мы их еще застанем на бирже. Кликните извозчика.

И вместе со своим знакомым дельцом он помчался к центру города.

ХП

Зайденовские отложили бракоразводный процесс на целых полторы недели и решили перенести его в другой город. Эту мысль подала Мириам Любошиц, которая как-то раз, точно невзначай, сказала:

— Не понимаю, зачем нужно с разводом возиться здесь, в этом городе. Ведь тут разговоров не оберешься!

Тетка подхватила ее слова и сейчас же пошла к мужу.

— Послушай!—сказала она.—А ведь Мириам права!

За последнее время в доме без совета Мириам ничего не делалось. За ее помощью обратились даже тогда, когда Шмулик, запершись в отдельной комнате, перестал принимать еду — отказывался от нее. Кто-то сказал:

— А где же Мириам? Почему бы ей не зайти к Шмулику? Она-то добьется, чтобы он поел, наконец.

И Мириам зашла к нему, и он поел.

Молодой Любошиц смеялся до упаду, хватался за бока и, всем своим тяжелым телом пригибаясь к полу, кричал:

— Что с тобой сделалось, Мириам!

До замужества, помнит он, она была совсем другая. На кружках очень часто упоминали ее имя. А теперь это самая обыкновенная нянька. Какая разница — нянчит ли она свое собственное дитя, или чужое.

Мириам разозлилась. Она посмотрела на шурина, как на сумасшедшего:

— Что вы скажете об этом дураке?

Вдруг на руках у Риты заплакала ее девчонка. Мириам взяла ее к себе и, вся багровая от злости, собралась было сказать шурина что-то еще более крепкое, но тут подошла тетка.

— Ребенок болен, — сказала она, — ставила ли ты ему клизмочку?

Мириам моментально забыла о шурине:

— Уж я и не знаю, что делать! И клизму ставила, и компрессы клала—ничего не помогает.

В дом Зайденовских постепенно возвращалось спокойствие. Комнаты убрали, все привели в порядок. Старики попрежнему укладывались поспать на часок после

обеда, а детвора опять водворилась на свое место — в самую отдаленную комнату дома. Только Шмулик все еще не спал по ночам и злился на мать, которая то и дело заходила к нему с термометром в руках.

«Чего от него хотят! Что ему жить не дают? Никакого жара у него нет — отстаньте!»

Все уже привыкли к тому, что он плохо выглядит, ни с кем не разговаривает, не вылезает из своей комнаты, а все только ходит по ней полураздетый, в одних чулках;

Но однажды ночью с ним случилось нечто совсем неожиданное. Родные только что разошлись по своим комнатам и потушили свет, как вдруг дом наполнился суетой и криками:

— Что случилось?

— С кем? Кому дурно?

— Скорей огня!

В неярком свете лампы, которую зажгли в комнате Шмулика, мелькали обнаженные женские плечи, открытые руки, исподние мужчин.

Кто-то приподымал голову Шмулика, кто-то брызгал ему водой в лицо; но он сам уже медленно открыл глаза и печально посмотрел на обступивших его людей, которые шептали теперь друг другу:

— Ничего, ничего!.. Ему стало дурно... Ему показалось, что он слепнет...

Он тотчас же задремал, очнулся на минутку и задремал снова. Двери его комнаты широко раскрыли, на комод оставили горящую лампу, на ночной столик положили большой очищенный апельсин и разошлись.

Но Шмулик, немного погодя, проснулся и больше спать не мог. Он встал и принялся шагать по комнате. Было уже около трех часов ночи. Кто-то вздыхал и причмокивал за стеной, кто-то густо храпел. Шмулик ходил по комнате и с нетерпением ждал наступления дня. Завтра он пойдет к Мирл и скажет ей: «Скоро, — скажет он ей, — скоро развод. Все теперь кончено. Но об одном он ее просит — пусть зайдет она в отцовский дом, пусть попрощается. Он задержит ее недолго—пусть подарит ему только четверть часа. Он будет очень счастлив все это короткое время. Ему покажется, будто ничего не произошло, будто пришли они просто к родителям в гости».

Ему хотелось, чтобы Мирл подумала о нем в конце-концов: «Как Шмулик переменялся!»

Днем он несколько раз заходил во флигель и никого

не заставал там, кроме служанки. Он дождался вечера, увидел свет в окнах флигеля и зашел опять. Теперь Мирл была дома — она только что вернулась из города.

В ее комнате было светло; перед шкафом стоял большой сундук, куда служанка все утро укладывала вещи. Мирл лежала на кровати лицом к двери. Розовая от холода, она посмотрела на мужа удивленно и с любопытством. Он смешался и опустил глаза. Потом он сидел на стуле перед ее постелью в таком смятении, что не узнал своего голоса; и сказал он совсем не то, о чем так хорошо думалось ночью.

Он полагал... Он хотел бы... Может быть, она зайдет попрощаться туда — в отцовский дом.

Он не смотрел на нее. Вдруг она прикоснулась к его коленям мягкой, теплой ладонью и тихо погладила их. Он робко поднял глаза; она ближе придвинулась к нему и, подперев голову рукой, глядя ему прямо в глаза, спросила:

— Шмулик, разве я причиняла тебе зло?

У Шмулика екнуло сердце.

— Зло? Нет... Откуда ты взяла?

Мирл должна была встать рано утром и уложить оставшиеся вещи. Кроме того, ей нужно было побывать в гостинице — снять номер. В десять часов утра уходил пароход, на котором поедут все они на бракоразводный процесс. Оттуда, чтобы не ехать вместе с Зайденовскими, она вернется поездом; на вокзале ее встретит Монеш — он обещал ей это.

К вечеру она, по всей вероятности, будет очень утомлена. Уже и сейчас чувствуется усталость во всем теле. Но ничего не поделаешь. Она жалеет Шмулика и к тому же обещала ему. Надо теперь накинуть шаль и зайти на минутку туда, в большой дом.

Служанка, открывшая дверь черного хода, бросилась со всех ног — так перепугалась она, увидев Мирл.

В столовой сразу водворилась тишина. Мирл уступили место возле свекрови; заговорить никто не решался. Кто-то отозвал сидящую за столом дальнюю родственницу. Мириам шепнула Рите, и они вышли из комнаты. Мирл стало тяжело, и она пожалела, что пришла. Она думала: «Ну, сдержала слово. Теперь можно, пожалуй, шти».

Но свекровь вдруг заморгала глазами и пригнулась к ней. Все последнее время ее не оставляло одно подо-

зрение, и она об этом должна была расспросить Мирл. От первого вопроса Мирл сильно покраснела и, не глядя на свекровь, ответила отрывисто и раздраженно:

— Нет! Не помню! Уже давно!..

Свекровь сразу выпрямилась, и лицо ее приняло выражение удивленной повивальной бабки. «Да, — казалось, говорило это лицо, — с меня достаточно, все понятно!»

Она посмотрела по сторонам. Никого здесь, кроме Мирл, не было. Она повернулась к ней и сказала громко:

— Мирелэ, ты ведь беоемецна!

— Что?

Нет, свекровь сошла с ума! Чтобы досадить ей, Мирл поднялась и сказала тоже очень громко:

— Не знаю, о чем вы говорите. А кроме того — какое это имеет отношение к разводу?

Но вокруг нее уже шумели. Никто не прислушивался к ее словам. Кто-то настойчиво звал сюда Шмулика, кто-то с новостями мчался к Янкель-Иосифу в кабинет. В дверях опять появилась Мириам Любошиц. Свекровь торопливо ей что-то рассказывала. Мириам в упор смотрела на Мирл и кивала головой:

— Конечно! Что за вопрос?

ХІІІ

Ночью Мирл сделалось дурно. Она два раза будила служанку и, наконец, послала ее с запиской к Шмулику; в записке говорилось о том, что она, Мирл, еще до замужества оставила за собой право уйти от него во всякое время, когда ей заблагорассудится. Она еще не уверена в своей беременности, но если это так, то иметь от него ребенка она не хочет. Повинен в ее беременности только он, Шмулик, и нужно теперь найти какой-нибудь выход.

Шмулика уговорили уехать на завод и пробыть там несколько дней. Уже готовый к отъезду, он стоял посреди комнаты, равнодушно оглядывая обступивших его родственников. Мать утешала его:

— Ты, Шмулик, не горюй! Вот родится дитя, и Мирл остепенится, вот увидишь.

Мирл целых три дня страдала. Она ощущала теперь непрекращающуюся мутную тошноту, все время чувствовала то место, что пониже груди, откуда эта муть подступала к горлу. Она сноза начала ходить в дом свекрови и каждый раз, когда шла туда, ей казалось, будто она

должна там окончательно о чем-то договориться. Но там ее оставляло желание разговаривать о чем бы то ни было, а ненависть к тому месту, что чуть пониже груди, все крепла. Ее тошнило от свекровышого: «Сиди, Мирелэ», от Мириам Любошиц с ребенком и от бесконечных разглагольствований молодого толстого Любошица. Отвержение в ней росло и было до того ощутительным, что ей казалось, будто его можно схватить, зажать в ладони и вырвать — и тогда снова станет все легко и хорошо.

Потом Мирл перестала ходить к свекрови и снова зачастила в город. Однажды она зашла к Иде Шполянской за советом, но не застала ее дома. Она вернулась к себе, улеглась в постель и, стараясь как-нибудь успокоиться, думала: «Кто знает, может быть, лучше ничего не предпринимать? Пускай все идет, как идет. Может быть, лучше страдать так все годы, страдать и терпеть...»

Шмулика она не любит. Она никого не любит. Иногда ее тянет к Носсену Геллеру, но она не верит в это чувство. А матери — • любят же они своих детей! Возможно, и она будет любить своего ребенка?

И Мирл постаралась представить себя в роли матери. Кто-нибудь и над ней будет посмеиваться, как над Мириам Любошиц: «Что с ней сделалось? Нянькой стала!» Но она и не оглянется на злословящего, пройдет мимо, не услышит. Согнувшись, она будет ходить следом за ребенком с единственной мыслью:

«Ох, ах! Как бы он, боже сохрани, не упал, не ушибся!»

Было погожее, морозное воскресенье. Выпавший за ночь первый снежок сиял, швырялся в лицо мельчайшей серебряной пылью и вкусно хрустел под ногами. Все лавки и магазины стояли на запоре, и по морозно-белому городу взад и вперед носились нарядные сани. Воздух был переполнен веселым похрапываньем лошадей и звонком колокольчиков — тонким и чистым, то и дело роняемым из-под раскрашенных дуг.

Мирл стояла у окна. Она видела, как возле только что освободившегося извозчика остановилась молодая пара и смотрит на запыхавшуюся заиндевелую лошадку, страстно желая усестись в эти узкие козовые санки. Молодые люди сами смеются над ничтожной суммой, которую они могут предложить за катанье. И все рады: извозчик — потому что заработал нынче, а парочка — свежему первопутку и своей молодой любви.

Нехотя Мирл принялась одеваться, чтобы куда-нибудь пойти. Она вынула из шкафа каракулевый сак,

остановилась над ним и задумалась, потом натянула его на себя и задумалась снова. Подошла было к двери, но остановилась опять и загляделась на узкую свою руку, которой уперлась в косяк двери. За последнее время эти руки стали такими слабыми — тонкие голубые жилки просвечивают сквозь бледную кожу.

Она постояла некоторое время и вдруг вернулась,* разделась и злобно швырнула сак на диван:

«Зачем ее хотят сделать матерью? Она не может быть матерью, не хочет...»

В тот же день к вечеру Мирл опять зашла к Шполянской и узнала: есть два акушера, которые могут «это» сделать; один старый — он любит потолковать часа два в нравоучительном тоне и к тому же дорого берет — не меньше двух сотен. Другой — еще совсем молодой. Он делает за сто рублей.

Мирл пошла к молодому. Отвечая на его вопросы, она чувствовала, как он каждым своим взглядом и словом оскорбляет ее, давая ей понять, сколь она преступна и как низко пала, и поэтому повторяет еще раз: может быть, она девица и нужна абсолютная тайна? Ему это, собственно, все равно. Но если делать здесь, в кабинете, то ему грозит большая опасность, в связи с чем оплата должна быть увеличена вдвое.

Он сказал еще:

— Две недели мы можем, во всяком случае, подождать, испробовав несколько безвредных средств.

Ее резнуло это «мы». Она перебила его:

— Ладно, хорошо! Вы получите двойную плату.

Домой она шла успокоенная и все высчитывала оставшиеся до «этого» дни: «Пятница, суббота, воскресенье... В понедельник — кажется».

Ей не с кем поговорить ни о себе, ни об опасности, которая грозит, но не путает ее, ни о том, что надежды на будущее сомнительны и малы. И все же тоскует о чем-то сердце, и разные планы приходят в голову, и мысли всякие бродят там: о себе, о газете «Копейка» Носсена Геллера, которая все-таки появилась и проникла уже в кабинет Шмулика. «Вот даже Носсен Геллер чего-то добился!»

А в кабинете сидел Шмулик, погруженный в тягостные размышления о своей жизни. Перед ним лежала газета Носсена, он смотрел на черные ее столбцы и все думал о Мирл.

Большую часть времени он проводил на заводе, а, возвращаясь домой, запирался в кабинете и не выходил оттуда по целым дням. Однажды зашел к нему молодой Любошиц. Как всегда, он начал громко и весело болтать. Шмулик не мог вынести этого. Он думал: «Как смеет он кричать, когда Мирл лежит здесь рядом, в соседней комнате?» И сказал наконец:

— Тс-с! Что это на тебя такая веселость напала? За-молчи.

XIV

И понедельник настал. Часов в одиннадцать утра Шмулик приехал на трамвае из города и издали увидел: Мирл стоит у трамвайной остановки в своем каракулевом пальто и передает посыльному письмо, а тот, внимательно слушая Мирл, кивает головой. Шмулик почему-то вернулся в город и приехал домой только в три часа дня. Мирл еще не было. Он походил по пустынным комнатам, вышел во двор и велел запрягать. Кто-то моментально рассказал об этом в доме отца. Мать очень удивилась. Она пошла к Шмулику и застала его уже одетым.

— Шмулик, — сказала она, — ты же только вчера приехал с завода!

Шмулик опустил глаза:

— Послезавтра рождество. Я должен расплатиться с рабочими.

И он повернулся к окну и стал молча ждать, когда запрягут лошадей.

В тот же день, когда в домах предместья уже застелились огни, у парадной двери флигеля Зайденовских остановились сани. Посыльный помог Мирл выйти из саней, взял ее под руку и медленно повел в дом. Мирл была бледна и еле-еле передвигала ноги. Она доплелась до спальни и совсем обессиленная упала на кровать. Перепуганная служанка хотела бежать к свекрови, но Мирл слабым движением руки остановила ее:

— Не надо... Не надо. Возьмите кошелек — расплатитесь с посыльным. А шума никакого не надо.

От слабости и боли ее клонило ко сну. Она лежала, закрыв глаза, чуть кривя бескровные губы. Всю ночь путалась она среди множества болезненных впечатлений длинного дня. Вот она сидит у доктора в приемной. Рядом с ней молодая женщина в трауре; красная от волнения провинциалка нервно шагает из угла в угол; глупо

улыбаясь от смущения, забила в угол девица, которую привела сюда старуха-акушерка. Все это в чистом холодном свете дня, спокойно льющемся через двойные рамы. И все исчезло в ту самую минуту, когда за ней медленно закрылись двери докторского кабинета. Когда она очутилась на улице, ей показалось, что она вот-вот упадет — так подкашивались ноги и кружилась голова.

Но теперь уже все позади. Вот наступает ночь, а она лежит у себя в постели и знает: одна опасность миновала — она свободна от ребенка. Но, может статься, что она больше не поднимется с постели. Никогда, никогда...

На третий день утром, когда Шмулик вернулся с завода, Мирл лежала с пылающим от жара лицом и с пересохшими, бескровными губами. Вокруг не было ни пузырька, ни склянки.

Мирл взяла руку мужа в свою слабую и жаркую и попросила его все случившееся сохранить в тайне:

— Я должна была это сделать, Шмулик! Ведь мы были бы навеки несчастны!

А он стоял возле ее постели, жалкий, и кивал головой:

— Хорошо, никто об этом не узнает!

Днем Шмулика позвала к себе мать и завела разговор о Мирл. Он нахмурил брови и даже рассердился: «Что вам далась Мирл? Что вы все на нее насели?»

Он часами ходил по кабинету, обдумывая новый план, который хотел предложить Мирл. Он мог бы, пожалуй, уехать на несколько дней вместе с нею и распространить слух о разводе! Он все равно никогда больше не женится. Для чего ему вся эта жизнь? По крайней мере, он будет знать: где-то живет Мирл, а он заботится о ней. И развод он готов выслать ей в любую минуту, когда она захочет.

В дом Зайденовских на имя Мирл приходили телеграммы—одна за другой. Каждый раз Шмулика вызывали туда и шептались с ним об этих телеграммах. Шмулик был перепуган, каждую новую телеграмму вскрывал с замирающим сердцем и однажды умчался, наконец, куда-то с курьерским.

Через два дня он вернулся бледный, с покрасневшими веками: должно быть, много плакал за эти дни. Мирл, совсем осунувшаяся, сидела на кровати; жара у нее уже не было. Она задумчиво смотрела в окно и ничем не спрашивала мужа. А он стоял, еще более жалкий, все чего-то пугался и готов был каждую секунду

произнести заранее обдуманную ложь:" «Я был у тети Перл, у нее, бедной, умер сын...»

Поздно вечером пришел молодой, высокий доктор. Он остерегался чужого глаза, оглядывался по сторонам, как вор, и у Мирл пробыл не более пяти минут.

— Все в порядке,—сказал он.—Завтра можете встать с постели.

. Он спешил и быстро направился к выходу. Шмулик нес за ним лампу, а доктор, оглянувшись, посмотрел на него своими вороватыми глазами и подумал: «Ну, и профиле у нее муж! Должно быть, круглый дурак!»

У Шмулика действительно был совсем растерянный вид. Он держал наготове четвертной билет и не знал, что с ним делать. Доктор одной рукой рванул ассигнацию, а другой хлопнул Шмулика по плечу:

— А женушка у вас, — сказал он, улыбаясь,—крепкая. Дай бог каждому!

Остались сущие пустяки: зайти к Шмулику, оторвать его от счетов, в которые он зарылся, и сказать: «Завтра поедем туда — разведемся».

Но она была еще так слаба! Да и Шмулик вдруг уехал в Варшаву, оставив для нее письмо с изложением своего нового плана. Он не спал целую ночь, сочиняя письмо. Он переписывал его и перечитывал многое множество раз и, наконец, остался им доволен. Он так взволновался, что не мог заснуть. А Мирл прочла только первые несколько строк и бросила письмо. «Что он, с ума сошел! Переписываться задумал! Я, даже будучи невестой, не отвечала на его письма!»

Она казалась спокойной, и теперь, после болезни, была терпимее, чем всегда. К ней постепенно возвращались силы, и она ждала только-следующей недели, когда станет совсем здоровой, а Шмулик вернется из Варшавы.

Каждый день она одевалась потеплее, закутывалась в черный шарф и медленно бродила около дома.

У свекра уже обо всем знали. Свекровь часто среди бела дня уединялась с Янкель-Иосифом, сидела против него с пылающим лицом, у нее гневно раздувались ноздри, она дрожала от бессильной злобы:

— Я тебе говорю — такого выродка днем с огнем не сыщешь!

. Мирл думала о беременности, которая миновала, и совсем не верила в новую, предстоящую ей жизнь.

От нечего делать она опять начала ходить в город и пропадала там по целым вечерам. Сначала никто не

знал, куда она ходит и у кого бывает, пока ее однажды не увидели на той улице, где жил Носсен Геллер; у свекрови об этом говорили теперь открыто: «Так она любит этого парня уже давно, с девических лет! Она просиживает у него целыми вечерами. Что ж тут говорить! Выродок — выродок и есть!»

Шмулик, вернувшись из Варшавы, велел перенести свою кровать в кабинет, перестал ходить к отцу в дом, стал вести затворническую жизнь. В его смиренном поведении, во всем его унылом облике чувствовалось теперь немое упрямство. Казалось, шагая по комнате, он в мыслях блуждает где-то далеко.

Однажды его встретила на улице Ида Шполянская. Она спросила о разводе и услышала прохладный ответ: «Кто знает, может быть, все обойдется...»

Ида вызвала тогда к себе Мирл, ходила с ней до вечера по тихим улицам, рассказывая о своей встрече с Шмуликом.

— Вот увидишь, — говорила она, — теперь тебе Шмулик развода не даст!

Ведь точно такая же история произошла с ней несколько лет тому назад. Муж готов был дать согласие, но когда она категорически потребовала развода, муж уехал на целый месяц неизвестно куда, а ей передал через своего младшего брата: «Пока еще Иде развод не нужен. Когда понадобится, я представлю его в течение двух часов».

В этот же вечер Мирл пришла к Носсену. Было ясно: ходит она сюда не ради Геллера, а ради его уединенной комнаты, где можно спокойно думать обо всем, что так волнует ее теперь. Изредка она требовала от Носсе-на, чтобы он разостлал на подушке ее белый платок, так как наволочка не совсем чиста, укладывалась и каждый раз повторяла одно и то же: «Хорошо здесь!» Нигде она себя так чудесно не чувствует! И особенно хорошо ей здесь потому, что он — Геллер — взялся, наконец, за ум. И больше не разговаривает с ней о браке.

Она рассказывала: ее совершенно не трогает то, что говорила Ида. Шмулику достаточно сказать лишь слово, и он сейчас же даст развод. Но полтора месяца тому назад она ясно знала, для чего нужен ей этот развод... А теперь вот она здесь думает обо всех своих делах, которые ей привелось делать: все, что она делала на своем веку, шло не от собственного желания, а от любопытства и сожаления. Так мало удовлетворения и радости видела она за недолгую жизнь!.. Но если бы все началось

сызнова, она опять жалела бы себя и отца, ещё раз вышла бы замуж за Шмулика, развелась и лежала бы вот так же, думая: «Ну, хорошо — вот она свободна, а дальше что?»

Геллер, засунув руки в карманы, шатал по комнате. Он был полон трудно сдерживаемой досады: он не нужен ей — это ясно. Ее прельщает тихая, чужая комната. Ни одна женщина в мире еще не вела себя так с мужчиной!

• Она одевалась, шла к двери, а он смотрел на нее, не отрываясь, и ее печаль вызывала в нем невольное чувство уважения.

Он ждал ее каждый вечер в своей скромной, неярко освещенной комнате. Он тосковал по ней так неистово, как тоскуют разлученные. Даже воздух в этой комнате был проникнут ее ароматом. Тянуло к тому месту, где она лежала, к ее тонкому, печальному лицу. Он вспоминал, как из-за нее забросил он свое образование — так и не кончив его. А бывшая его невеста скоро выходит замуж — за какого-то вдовца, адвоката; с газетой дела тоже далеко не блестящи, в городе уже поговаривают: «Чудом держится эта «Копейка», скоро закроется совсем!»

Мирл пришла к нему еще один только раз. Она посидела несколько минут — совсем подавленная после неприятного разговора с мужем о разводе. Ей не хотелось теперь говорить об этом. Не раздеваясь, не снимая калош, она молча прошла несколько раз по комнате; ей трудно было даже проглотить слюну, так судорожно сжалось горло. Ре оглядываясь на Геллера, она пошла к выходу. Он хотел ее проводить, но она не позволила. Все же он пошел за ней, нагнал на ближайшем перекрестке и сказал: нашелся коммерсант, который готов откупить его газету; предлагает пять тысяч... Этих денег, может быть, хватит на поездку за границу и на то время, пока он закончит образование.

Мирл не оглянулась на него. Она только пожала плечами и ускорила шаг. А он остался стоять на тротуаре один и видел, как она села в трамвай и уехала.

Потом он встретил ее на улице возле дома Монета Зайденовского. Она шла с очень красивой темноволосой дамой, выглядевшей лет на пять старше ее. «Это Ида Шполянская», — подумал Носсен. Он остановился и учтиво приподнял шляпу. Мирл заметила его, но продолжала смотреть на свою собеседницу. Вот она сказала ей что-то и прошла совсем близко. В посадке ее головы,

в стройных плечах, во всем строгом облике сквозило какое-то упрямство! «Вот, мол-де, я не нашла себе места Е жизни, но чего-то своего сокровенного никому не уступлю».

Мирл вместе со своей спутницей свернула за угол и исчезла, а он долго еще стоял на месте, потом вздохнул, надел шляпу и пошел своей дорогой.

Ему обязательно нужно было зайти к Монешу Зайде-новскому. Он знал: чувствовать себя он будет там плохо—рядом с этим родственником мужа Мирл. Но он дбл-жен попросить его о подыскании компаньона, который, может быть, поддержит своим капиталом его развали-вающуюся газету.

. . . — , XV - L v; ^ ! t ^ ' ~ %

Рабочий стол Монеша — низкий, широкий и тяжелый. Кроме массивного письменного прибора, на нем стоят два портрета—покойного отца и Мирл. Портреты заклю-чены в кожаные темные рамки и глядят прямо на не-го— молодого хозяина.

Склонив голову на руку, Монеш подолгу смотрит в тонкое, суровое лицо Мирл; глаза его становятся боль-шими и влажными: «Что-то теперь с нею? Как она?»

После их последней встречи на улице, когда он про-водил ее через цепной мост, он получил от нее письмо с просьбой одолжить ей на короткий срок двести рублей. Деньги были ему возвращены вместе с запиской Шму-лика. Шмулик писал:

«Дорогой брат Монеш! Большое спасибо за деньги, которые ты одолжил моей жене Мирелэ».

В кабинет к Монешу забегают маленький одиннадца-тилетний братишка. Монеш встает ему навстречу и ве-село кричит:

— А, реб Леля! Что скажет еврей реб Леля?

Леля в заговоре с Монешем. Оба они не выносят су-хопарых кавалеров, которые приходят к сестре-певице; оба они терпеть не могут визгливого ее голоса и претен-циозных манер. Монеш любит брата: ему нравится его смешная степенность, его ясная голова, его умение во-время осадить сестру, уличить ее во лжи. Монеш уверен, что из этого худенького, черноглазого мальчишки вый-лет настоящий делец.

Однажды днем он сидел у себя в кабинете и уста-лым голосом произносил: «До свидания, до свидания!»— провожая последнего из своих клиентов. Голова его бы-

ла мутна и переполнена мыслями о вчерашнем суматошном дне.

В доме у дяди Янкель-Иосифа в тот день творилось что-то невообразимое. Там все кипело и клекотало. Мирл уже Покинула' этот дом. Она переселилась в гостиницу. Поздно вечером к Зайденовский вызвали по телефону мать Монеша — тетю Эстер; волнующие вести сообщили ей: «Шмулик исчез. Со зчерашнего вечера его нет. Его уже искали повсюду. Что?.. На заводе?.. И на заводе его нет. Нигде его нет!»

Мать вернулась только в четыре часа. Он сам открыл ей дверь и долго потом сидел у нее на постели. В мозгу у него толпились лихорадочные' мысли; они вертелись, обгоняли одна другую, торопились. Но мать не спешила — времени у нее было достаточно. Она, очевидно, узнала уже о подозрении, которое падает на сына, и теперь медленно передавала печальные новости.

. — Ну что ж... Его не нашли. Боятся, не случилось ли чего с ним!.. Бог знает, что взбрело ему в голову! После ухода «той» он вывесил записку, что дом сдается в аренду, а мебель распродается. И письмо, говорят, оставил родителям. Они, должно быть, стыдятся показывать это письмо... Шурин Иды Шполянской рассказывает, будто видел его вчера вечером около аптеки Камовского. Он ходил там взад и вперед. А сегодня кто-то прочел в «Вечерней газете», что в больничном саду нашли удушенника; и вот сейчас побежали в морг...

Монеш уснул на рассвете. Ему приснилось, будто он живет в гостинице и его комната рядом с комнатой Мирл. Вот он выглянул в окно и увидел: Шмулик ходит по тротуару взад и вперед.

Теперь, после рабочего дня, он был очень утомлен и рассеян. Вставая сегодня утром, он решил вечером пойти к Мирл. Он почему-то был уверен, что Мирл обрадуется ему. Но теперь это ему казалось просто глупостью.

Дела еще не все закончены: он должен зйти в банк и на биржу, где ждут его всякие разговоры. Поспешно набил он бумагами несгораемый шкаф, запер его и, одевшись, вышел на улицу. Огляделся — и вдруг окаменел, точно увидел вставшего из могилы: перед ним на тротуаре стоял Шмулик. Лицо его было землисто-желтого цвета. На вопрос: где пропадал он эти два дня, Шмулик не хочет отзечать. Но он очень просит Монета: «Два дня тому назад Мирл ушла из дому и не взяла денег,

ни за что не хотела взять... Он умолял ее, но она все равно не хотела... и ушла... Может быть, Монеш зайдет к ней и упросит ее как-нибудь?..».

' ' " - . 'у - урл >" • \i > " ! В »".

Недели через две из меблированных комнат, находящихся в центре города, вышел молодой высокий человек в черном пальто и широкополой шляпе и медленно пошел вниз, к цепному мосту предместья.

Это был Герц. Вот уже месяца полтора носит он в кармане письмо Мирл. Там, у себя, в заброшенном городке, он частенько посмеивался над этим письмом, в котором она просит его — Герца — приехать. Приехал он сюда просто так, словно невзначай. Сегодня в полдень, когда он проснулся, он вспомнил почему-то, что он холост, что ему вот уже тридцать два года и что многое из написанного им совсем не нравится ему; Мирл, о которой он помимо своего желания все-таки думал, здесь, в этом городе, имеет мужа и большой, переполненный родственниками дом. И не зря, одеваясь сегодня утром, смеялся он над собой.

Он здесь вот уже несколько дней. «Что делает он в этом городе?» Если он уж приехал сюда раз в жизни, надо хоть посмотреть на архитектуру домов и театров, спуститься к цепному мосту, остановиться там рядом с парнями, лузгающими жареные семечки, и посмотреть на реку, где стоит уже готовый тронуться потрескавшийся лед.

Как-то раз он все же перешел цепной мост и, шагая по улицам предместья, втихомолку опять стал подсмеиваться над письмом Мирл.

Оставалось несколько дней до праздника пурим; свежий воздух казался насквозь пронизанным теплотой солнечного света; колеса бегущих дрожек стучали только что открывшимся булыжникам мостовой. К вечеру солнце остыло. Прекратив стремительный бег вешней воды, ручьи замолчали, остановились. Солнце задержалось еще немного на далеких холмах, и почудилось вдруг, будто самое главное, самое удивительное — это черные пласты обнаженной и жирной земли. Птицы выходили из себя, провожая угасающий день. Няньки вели домой румяных детей. Легкий морозец стягивал лужи, и ребята весело гомонили, предчувствуя конец школьных занятий и начало длинного желанного лета.

Герц застал флигель Шмулика пустым и остановился. Прохожий указал ему на большой дом; Герц вошел в дом и спросил Мирл.

Зайденовские готовились к пуриму. В столовой раздвигали тесто для печенья и чистили орехи. За длинным столом сидело много народу: были тут и взрослые, и дети, и домочадцы, и дальние родственники. Шестилетний веснучатый мальчишка вертелся, как вьюн, всем мешая. Вот он запустил руку в медовую горячую массу, и кто-то прикрикнул на него:

— Ну, ты! Не мешайся! Да что ты пальцы-то лижешь!..

Герца встретила служанка. Она не знала, что ему ответить, и помчалась в столовую. И тотчас же оттуда высыпало не меньше десяти человек, и все побежали в переднюю. Они тесно обступили незнакомца в шляпе, с любопытством разглядывая его.

Одна из девушек просто сгорала от любопытства — так ей хотелось узнать — кто он. Она назвала гостиницу, в которой остановилась Мирл: «В двух комнатах она там живет».

Другая девушка знала, что Мирл все время ждет кого-то. И она добавила, намекая на Шмулика, который заходил недавно в гостиницу и никак не мог добиться Мирл:

— Она, кажется, больна... Уже несколько дней в постели...

Вдруг на пороге появилась сама свекровь и, моргая близорукими глазами, спросила:

— Тише! Что тут за шум?

Когда ей объяснили, в чем дело, она шагнула к Герцу, посмотрела на него слегка прищуренными глазами и вдруг схватила за плечи малыша, который, заложив руки за спину, разглядывал Герца, стоя совсем близко от него; она прижала сынишку к себе, словно оберегая его от нечисти. Она даже сплюнула в сторону, как от дурного глаза, и сказала с таким выражением, точно Герц совершенно не интересует ее:

— Ну, да... Она живет в городе... в гостинице живет она там...

Часть четвертая

Над городом бушевали снежные бураны. Однажды вечером Велвель Бурнее приехал с хутора. Румяный от холода, стоял он в столовой отцовского дома; он не сразу понял, что происходит вокруг. Домочадцы толпились возле поверенного реб Гедалье, слушая, как тот рассказывает:

— Кончается реб Гедалье. Доктора от него отказались. И уже сестра из-за границы приехала. А дочка, говорят, сильно хворает, и ей, должно быть, не показывают телеграмм.

Через двойные рамы уныло струился серый сумеречный свет; темные тени прятались в дальних углах комнаты, и большой черный буфет, тускло мерцая стеклами, казалось, смотрел на собравшихся с тихим укором: «Вы все хулили его, когда он был здоров... А теперь он лежит на смертном одре, и мальчишки из хедера уже направляются в синагогу, чтобы читать там псалмы и молитвы об его избавлении...»

Кто-то посмотрел через морозные стекла на окна дома Гурвицев. В них мерцали рано зажженные огни. Невесело там, в доме! А по занесенным улицам в рваных тулупчиках и впрямь бегут мальчишки из хедера; они по колена увязают в снегу, но бегут все дальше за учителем, который показывает им путь в большую синагогу.

В комнату вошел всеми почитаемый в городе меламед. Он вернулся оттуда, от реб Гедалье, и рассказал, что там только что покончили с завещанием: «Четырнадцать тысяч рублей—сумма, которую предлагают за кашперовский лес; разделили ее так: двенадцать тысяч семьсот рублей уйдет на оплату долгов, а тысячу триста рублей реб Гедалье завещает общине».

У меламеда было деловитое лицо, немножко отсутствующее, как у людей, близко соприкоснувшихся со смертью.

Авром-Мойше Бурнее нервно курил папиросу за папиросой; наконец, он увлек меламеда к себе в кабинет и стал с ним советоваться: не зайти ли ему, Авром-Мойше, к реб Гедалье? Тот наморщил лоб и сказал:

— Какие могут быть разговоры! Конечно, надо бы зайти!

Велвель, стоявший в дверях кабинета, облегченно вздохнул. Он вышел в переднюю, оделся и, никем не замеченный, выскользнул во двор.

Велвель крадучись пробирался к дому реб Гедалье. Он увязал в сугробах, и полы его длинной, тяжелой шубы, волоочась по снегу, оставляли за собой синий, неровный след.

После бурана стояло затишье. Все вокруг: и бледные сумерки, и редкие огни в домах, и безмолвие — • казалось наполненным ожиданием чего-то неизбежного, вот-вот готового наступить. В тишине гулко грохнула дверь, и старая еврейка, выйдя на крыльцо, крикнула кому-то: «Бог милостив! Реб Гедалье, может быть, еще встанет».

Велвель увидел родственника Гурвицев — бывшего кассира, торопливо направлявшегося к дому. Он нагнал его и, задыхаясь от волнения, спросил:

— • Одну минуту, ради бога! Что там слышно?.. Нехорошо, а?

Кассир остановился и вздохнул:

— Что же хорошего? Конечно, нехорошо!

Он не удивился, увидев Велвеля, и ответил ему добродушно, как другу реб Гедалье. Велвель пошел дальше. У крыльца дома Гурвицев толпились евреи, слушая поверенного реб Гедалье, который рассказывал о Гитэлэ; вот уже третий день страдает она сильными головными болями: «Сестра реб Гедалье сидит там в темной спальне возле нее. Она не спускает Гитэлэ с постели».

Велвель миновал крыльцо, обошел дом с другой стороны и остановился у освещенного окна бывшей комнаты Мирл. «Должно быть, он лежит здесь», подумал он.

Какой-то болезненного вида старичок, выйдя из узкого переулка, подошел к Велвелю, всмотрелся в его лицо и, вздыхая, прошептал:

— Кто это, а? Ой-ой, Велвель?..

Старичок жаловался на старость, на жизнь, на смерть. Велвель, терпеливо слушая, выжидал. Когда старичок, наконец, ушел, он вплотную придвинулся к окну. Теперь он видел все происходящее внутри. Казалось, воздух в комнате пропитан запахом лекарств. И тихо было там — необыкновенно тихо. И смерть присутствовала во всем. За столом, в свете лампы под синим абажуром, сидел фельдшер — видно было, что он очень устал от бессон-

ных ночей. Он смотрел прямо в лицо умирающего, па которое падал синеватый, прохладный свет лампы.

По комнате вместе со своей тенью ходил раввин Авремель. Он ходил, высоко подняв правое плечо, опустив левое, и левая его рука висела беспомощно, как парализованная. Вся Она была запрятана в рукав и раскачивалась взад и вперед, как бы отдельно от всего тела.

А на постели у стены лежал реб Гедалье. Для тс*о, чтобы удобнее было ставить пиявки, голова его была начисто обрита, и от этого пейсы и борода казались слишком черными и длинными, а лицо слишком изможденным и маленьким.

Вот голова его медленно двинулась; все подошли и склонились над ним.

Велвель привстал на цыпочки. Реб Гедалье осторожно взяли подмышки, приподняли и посадили. Потом его совсем раздели и обрядили в новую белую рубаху, и он стал торжественным, точно его коснулось очищение, и строгим, как после долгого поста. Его снова уложили на подушки и опять наклонились, прислушиваясь к тому, что он говорит. Кто-то принес большую фотографию Мирл и показал ее раввину Авремелю, но тот сердито замахал руками: «Не надо, не надо».

Может быть, реб Гедалье спросил про свою дочь? Снова все наклонились над умирающим. Очевидно, от слов его защемило сердце, потому что сестра выпрямилась, отвернулась и приложила платок к глазам.

Вдруг фельдшер зашептал что-то на ухо раввину, и тот, кивнув головой, вышел из комнаты.

Велвель оставил окно и подошел к крыльцу. Бывший поверенный реб Гедалье искал подводу, чтобы съездить в ближайшее село за пиявками. Велвель потянул его за рукав:

— Вы можете взять мою бричку. Она запряжена. Поезжайте скорее, прикажите кучеру гнать!

Было около полуночи, и у Бурнесов еще не спали, когда с улицы вдруг донесся громкий крик. Обе дочери Авром-Мойше, сидевшие в столовой, замерли. Одна прижала руки к груди, другая посмотрела в окно. По улице в бледной темноте метались люди; девушка в испуге отвернулась: «Ой, скончался, должно быть, реб Гедалье!»

Кто-то из младших детей, спавших тут же на диване,

проснулся и заплакал во весь голос: девушкам стало страшно одним в этом доме.

Велвель оделся и выбежал. Он теперь не крался, а шел прямо по широкой улице.

На базарной площади толпилось множество евреев; говорили они все сразу, как на освящении луны. Кто-то воскликнул громко:¹!

— Что за спешка? Не ночью же хоронить!

Никто в городке не спал. Со всех концов к дому Гурвицев стекались люди. Велвель толпился вместе с ними, с трудом протискиваясь из одной комнаты в другую. В переполненной столовой он увидел своего отца. Отец стоял в сторонке от всех, облокотился на буфет, и печально посасывал свой серебряный мундштук.

Вход в третью комнату до того был запружен людьми, что проникнуть туда казалось невозможным. Множество свечей пылало там, и множество стонающих голосов доносилось оттуда. Велвеля совсем затолкали. Кто-то за его спиной указал на зятя реб Гедалье, только что приехавшего с вокзала. И, когда он вспомнил, что ему не следовало бы, пожалуй, дальше идти, он очутился там — среди пылающих свечей и разноголосого плача. Теперь уже никто не толкался. По левую руку, бок о бок с Гитэлэ и с сестрой покойного, стоял, низко склонившись над мертвым, молодой Зайденовский. Напротив, с искривленным судорогой лицом, покачивался раввин Авремель; он смотрел прямо на Велвеля; он хотел, чтобы молодой Бурнее убедился в подлинности дружеских его, раввина, отношений к покойному, и что слезы, которые текут теперь из его глаз, настоящие, горестные слезы.

Забрезжило серое утро, и гроб с останками реб Гедалье вынесли из дому. Узкий и короткий гроб этот казался совсем детским. Его несли быстро, как вещь, которую нужно поскорее скрыть от человеческих глаз. Раввин Авремель, даен¹, два престарелых почтенных еврея, молодой зять и еще какой-то посторонний несли его. Велвеля подтолкнули поближе к гробу, и кто-то шопотом сказал тому, постороннему:

— Уступите ему место! Это же Велвель Бурнее.

И Велвель подставил свое плечо и вместе с зятем реб Гедалье Гурвица понес гроб далеко-далеко, на кладбище. Когда гроб опустили на землю и Велвель выпрямился, он не знал, куда девать пустые руки, и стоял, пол-

¹ Общинный судья.

ный' неловкого замешательства. К нему подошел тот самый человек, который уступил ему место у гроба, и, чувствуя из-за этого какую-то нежность к Велвелю, сказал:

— А легкий реб Гедалье! А? Одни кости остались...

• и

Гитэлэ с сестрой реб Гедалье отсидели траурную седмицу. Все это время раввин Авремель дважды на день водил в дом благочестивых евреев, чтобы они молились за упокой души реб Гедалье. Он зазывал их с улицы, никого не пропуская.

— Реб Гедалье заслужил, чтобы вы помолились за него!—говорил он.

Евреи слушались и заходили в дом. Они видели, как опустел этот дом, как он притих. Они видели, как там, в гостиной, на полу сидит Гитэлэ рядом со своей золовкой, смотрит вниз и молчит. *

Золовка приглашала Гитэлэ поехать с ней за границу. Когда никого чужих в доме не было, она жалобно твердила об этом родственнику-кассиру и раввину Авремелю:

— Кто здесь у нее остался? Что она здесь будет делать? А на некоторое время... На время она, во всяком случае, может поехать ко мне!

Раввин с кассиром молчали, не зная, что сказать. А сестра реб Гедалье все твердила свое, стараясь как-нибудь скрыть неискренность этого приглашения.

Гитэлэ не поднимала головы. А в комнате было тихо, и опустошенность ломила стены, стучалась в окна, висела под потолком, напоминая о реб Гедалье, который никогда не вернется, и о том, что нет у Гитэлэ пристанища на земле. Подыскивали покупателей на дом и не нашли. Мебель распродали исподтишка — без ведома Гитэлэ. В день отъезда наняли плотника, и он крепко заколотил досками все окна. Прощаться пришли раввин Авремель, кассир с женой, раввинша Либке и еще какая-то старая еврейка-вдова, которая раз в неделю брала у Гитэлэ халу для одного многосемейного бедняка. Она больше обыкновенного вздыхала, собирая в оборочку рот, и почему-то без конца рассказывала о своей покойной дочери: «И просила же я у бога! Зачем тебе, господи, моя дочка? Возьми лучше меня!...»

Гитэлэ так закутали в теплые кофты, шубу, платки/ что не видно было ее лица. Она покорно сидела на од-

ном месте, безмолвствуя и не шевелясь. Из дому вышла последней, и, когда хотела сесть- в сани, у нее вдруг закружилась голова, и она пошатнулась. Ее подхватили, стали усаживать в сани, но она вырвалась, взошла на родное крыльцо и в последний раз прижалась губами к холодной жести мезузэ¹.

Рассказывали потом, что Велвель Бурнее был в тот день на вокзале; он подошел к Гитэлэ и почтительно склонил перед нею голову:

— Прощайте,—сказал он тихо.

Она приподнялась со скамьи.

— Благослови вас бог!—ответила она ему.

В последнюю субботу перед пасхой человек пять портных-подмастерьев шли по свежеутоптанной тропинке вниз к окраине городка. Они радовались весеннему дню, теплой, податливой под каблуками, земле и близкому отдыху. Они смеялись до упаду, отпуская острые словца по адресу каждой встречной молодой девушки. Крыльцо заброшенного дома реб Гедалье приглянулось им, и они уселись на его ступеньках, подставляя обветренные лица горячим солнечным лучам. Посидели, помолчали, потом снова стали переговариваться, весело подталкивая друг друга локтями, и, наконец, затеяли борьбу. Возились долго, пыхтели, кричали, пока не выдавили стекло террасы. Старый еврей шел в это время к вечерней молитве, он остановился и закричал сердито:

— Ах, пропади вы пропадом! Ничего святого у вас нет! Пошли вон, бездельники!

Стекла так и остались выбитыми; слепые провалы рам зияли уныло и тревожили память о дочери реб Гедалье Гурвица, которая так и не собралась навестить родное разоренное гнездо.

Прохожие оглядывались на этот опустевший, без наследников, дом: «Умер таки реб Гедалье! Нет его!»

Раввин Авремель с трудом достал у общины денег я ставил теперь памятник на могиле реб Гедалье. Горожане осуждали это намерение раввина. Но он стоял на своем:

— Ничего, ничего! Покойник не скупился: завещал общине деньги. Так и о его памяти можно подумать!

Раввин Авремель, углубившись в изучение шестикнижия «Мишне», по целым дням не выходил из дому;

¹ Молитаа на пергаменте, вложенная в футляр; прибавляется на дверном косяке.

шестикнижие читал он за упокой души Гурвица¹. Когда памятник на могиле был готов, раввин уже заканчивал шестикнижие. Он пошел на кладбище с десятью евреями и, взойдя на могилу реб Гедалье, произнес последнюю главу «Мишне» и заупокойную молитву «кадиш».

В старой большой синагоге время тянулось в это утро дольше обыкновенного. Стояли тут вернувшиеся с кладбища евреи во главе с раввином, они выпили по глотку вина за упокой души реб Гедалье, и теперь их мучило от нестерпимого голода. В синагоге было буднично. Первая пасхальная пыль лежала на скамьях и пюпитрах. Евреи вспомнили, как реб Гедалье попросил обрядить его перед смертью в белую рубаху: «Эта рубаха, должно быть, досталась ему по наследству от прадеда». Раввин держал бокал Еина в руке и рассказывал о реб Гедалье, повторяя каждый раз, когда упоминал его имя: «Да будет благословенна память о нем!»

— Было это... уже совсем перед концом, — вспоминал раввин — и вот говорит он мне: — Авремель, — говорит он мне, — что ты плачешь? Если бы я знал, что я кого-нибудь оставляю после себя, я бы с легким сердцем ушел туда...

Все слушали и молчали. И только один изможденный, с перепуганным лицом, еврей придвинулся к соседу и стал хитро ухмыляться. Ему хотелось намекнуть на молодых людей, которые ходили за Мирл, и на то, что она не приехала к умирающему отцу, и он сказал:

— Реб Гедалье, должно быть, знал свою дочку, — а? Он знал, кто она такая!..

Дети Нохзма Тарабая приехали только к концу пасхи вместе с политехником — товарищем Геллера. Политехник встретился с акушеркой Шац, которая жила теперь на сахарном заводе, и со слов Геллера рассказал ей, чем Мирл болела в то время, когда отец ее лежал на смертном одре.

У Авром-Мойше Бурнеса скоро узнали, что Мирл не живет больше с мужем, а поселилась в одной гостинице с Герцем, что она разведена и вместе с тем не разведена — не поймешь; что она не принимает никого из родственников мужа, за исключением одного двоюродного брата его, который, говорят, холост и ворочает крупными делами.

Как-то в воскресный день за чаем об этом заговорили вслух:

— Него тут гадать! Велвель должен денно и ночью

благодарить господ-бога за то, что он упас его от такой беды.

Вдруг в столовую вошел Велвель. Все сразу притихли, почувствовали себя неловко, старались не глядеть на него. Сестры одна за другой выскользнули из комнаты, и только мать уселась поудобнее на диване. Она посмотрела прямо в лицо сына и сказала:

— Когда уже этому конец, Велвель? Когда уже придет добрый час?

Велвель чуть наклонился к ней, и лицо его искривилось.

— А? — переспросил он и тотчас же сердито выпрямился, повернулся к матери спиной и стал глядеть в окошко. Он не знал, чего от него хотят.

Он смотрел на дом кассира, из которого выносили мебель и складывали на подводы: «Вот уже и родственник реб Гедалье уезжает в другой город. И никто из них не остается тут».

И потянутся дни, такие длинные, жаркие, по-летнему нудные. Пусто будет в городке, не с кем даже слозом перемолвиться. А он, Велвель Бурнее... Да, вот эти триста десятин чернозема, которые ему предлагают. «Следовало бы взять в аренду эти триста десятин...»

" / • ' ' ' i ;• III ' ."" t'iv"

От хромого студента Липкиса вскоре после пятидесятиницы пришло письмо. Он оперировал ногу, и операция прошла удачно.

В пятницу вечером в большой синагоге толковали об этом: «Ерундовская операция! Подрезать немного жилы — и все тут. Теперь, наверно, будет ходить ровно, как все люди».

Еще с любопытством слушали рассказы одного еврея, только что вернувшегося из губернского города, о Зайденовских и об их родственнике, с которым он сам говорил: «Мирл все еще в гостинице, но все это враки, будто она развелась с мужем».

А потом потянулась длинная летняя неделя, и наступила душная, насквозь пропыленная пятница, напоминающая порожнюю крестьянскую подводу, одну-единственную на всем пустом базаре.

С утра крикливо переругивались женщины, торгуясь у возов с вялой зеленью, к полудню из домов понеслись мирные удары сечки. Еврей-торговец, торопясь до наступления субботы отдать долг, быстро прошагал по ули-

це. Провизор Сафьян, возвращаясь откуда-то в аптеку, морщился, вдыхая вонючий, низко расстилающийся дым, и на чем свет стоит ругал хозяек:

— Чорт их знает, чем они топят, чтоб им пропасть!

Вдруг откуда-то издалека донесся слабый звук бубенцов, он становился явственней, ближе, и вокзальный балагула, стегая кнутом лошадей, пронесся по главной улице, разгоняя перепуганных кур; он свернул за угол и остановился у дома раввина Авремеля.

На таратайке в соломенной шляпке, закутанной белым тюлем, совсем одна сидела Мирл Гурвиц. Она кивала головой и улыбалась раввинше Либке, которая торопилась ей навстречу. Раввинша Либке из приличия тоже улыбалась и лстиво говорила, помогая гостье вылезть из таратайки:

— Какие могут быть разговоры! Ханку я возьму к себе, а вы располагайтесь в ее комнате...

И Мирл бок о бок с хозяйкой вошла в дом, не переставала улыбаться и делала вид, будто она все принимает за чистую монету:

— Да, да! Я знала, что вы примете меня. Я знала, что всегда могу пробыть у вас неделю — другую. Больше двух недель я, во всяком случае, здесь не задержусь.

В субботу днем нарядные девушки, возвращаясь с прогулки, нарочно сворачивали в переулок, куда выходило крыльцо дома раввина. Переулок был чисто выметен и тих. Дома отбрасывали длинные тени и точно кичились друг перед другом: «А моя тень длиннее!.. А моя еще длиннее!..»

Из настежь открытых дверей доносился однообразный, тягучий напев псалма, который читал раввин Авремель. На ступеньках крыльца сидела заспанная раввинша Либке в рыжем парике. Не оглядываясь на дверь и широко зевая, она крикнула своей одиннадцатилетней дочке:

— Ханка! Принеси там ягоды — в буфете на тарелке.

Мирл сидела рядом, подперев голову руками, и смотрела на сонный, заросший травой переулок.

— Да, — сказала она, — очень мне жаль, что даже кассир уехал отсюда.

В городке судачили о каком-то скандале, который будто бы произошел в коридоре гостиницы между Мирл и ее мужем. И не зря она теперь приехала сюда, потому что там оставаться ей было никак невозможно. Носсен Геллер, которому она когда-то кружила голову, прогорел со своей газетой, служит теперь где-то здесь в ок-

руге за шестьдесят рублей в месяц, распускает о Мирл разные слухи. Как-то он встретил фотографа Розенбаума и показал ему совсем непристойную записку от Мирл. И фотограф Розенбаум частенько щекотал насупленного Сафьяна подмышками:

. — Кто его знает, от кого Мирл понесла, Сафьянчик!.. Правда ведь?!

Однажды в полдень из губернского города вдруг явился Монеш Зайденовский; он мчался куда-то по своим делам и остановился здесь проездом. У Мирл он пробыл недолго — от поезда до поезда. В городке сразу угадали, что хотя Монеш и равнодушен к Мирл, но захал он сюда не из-за себя и не из-за нее, а по просьбе своего двоюродного брата Шмулика, который умоляет Мирл вернуться к нему.

Раввинша Либке, прильнув к замочной скважине, слышала, как Мирл ответила громко на тихий вопрос Монеша:

— Этого никогда не будет! Вы слышите, Монеш, никогда!

А потом они оба сидели в столовой. Как всегда, Монеш рассеянно смотрел своими большими глазами и затем сказал, безнадежно махнув рукой:

— Ну, больше я не стану об этом говорить! Ни одного слова!

Лицо Мирл пылало от волнения. Она сидела, покусывая губы, и глаза ее с сильно расширенными зрачками казались совсем темными. Она вдруг спохватилась, что Монеш целых восемнадцать часов был в дороге, не поверила, что он не хочет есть, и тут же в столовой принялась стряпать яичницу.

Раввинша Либке воспользовалась случаем и показала себя во всем блеске. Она чинно сидела за столом и вела легкую светскую беседу на варшавском диалекте.

— У них не будет желания посмотреть наше местечко?—спросила она под конец.

Монеш спохватился и посмотрел на Мирл:

— Да, да! Обязательно! Я никогда не видел еврейского местечка.

Стояли в дверях и смотрели: вот они вдвоем идут по улице. Монеш в светлом летнем костюме, в белых манжетах и в воротничке, Мирл в легком белом, гладкошпоро, платье и с непокрытой головой. Она издали указала ему на дом Авром-Мойше Бурнеса и подвела его к отцовскому дому.

— Вот это окно моей девичьей комнаты, — сказала она грустно.

Они поднялись на крыльцо и заглянули в разбитое окошко. Мирл подняла руки, чтобы удержать выскальзывающий из волос гребень. Но он все-таки выпал. И, когда Монеш протянул его, Мирл медленно взяла этот гребень и, улыбаясь, посмотрела Монешу в глаза. Он тоже улыбнулся, и они еще немного постояли так друг против друга...

Вечерело, а Мирл все еще водила его по переулкам. Стало свежеть. Монеш сказал:

— От всего, от всего грустно! А все-таки я очень рад, что заехал к вам.

И Мирл посмотрела на него и прикоснулась своей прохладной рукой к его, широкой и теплой, и он благодарно пожал слабые, тоненькие пальцы.

— Какой час? — спохватился вдруг Монеш, — как бы мне не опоздать к поезду, очень спешу... Дела!

Мирл вздрогнула, почуввав в его словах что-то давно знакомое, ненавистное. Взгляд ее потух.

— Да, да, — промолвила она.

Стало совсем темно. Из-за дома раввина подымалась полная бледная луна. По переулку прогуливались девушки, и было их сегодня больше обыкновенного. У крыльца стоял вокзальный балагула — тот самый, который привез Монеша в городок. Раввинша поставила на подоконник лампу, и от этого в переулке стало еще праздничней.

Мирл равнодушно укладывала ручной чемоданчик Монеша.

• — Посмотрите, Монеш, это ведь ваше полотенце?

Монеш почти не слышал, что ему говорят. Он торопился.

Мирл стояла рядом с раввиншей и смотрела, как балагула трогает лошадей, как он круто поворачивает, точно желая выбросить седока, и как быстро исчезает за углом. Потом она осталась одна.

Улица утихла, в домах погас свет. Мирл еще долго сидела на ступеньках крыльца. Уехал Монеш, и вместе с ним, казалось, была порвана последняя нить, которая связывала ее с подобными ему людьми.

На третий день после отъезда Монеша Мирл получила сразу две телеграммы оттуда, из предместья. Они рассказывали о том, что Монеш уже снова у себя дома, что он надолго запомнил день, проведенный здесь с

Мирл, что Шмулик уже был у него и выслушал ответ, который она передала через Монеша.

Раввинша Либке умирала от любопытства — так хотелось ей узнать, что написано в телеграммах, но Мирл вернула их почтальону нераспечатанными.

— Пусть ответят, — сказала она ему, — что я не хотела принять телеграмм. Просто отказалась их принять...

А сама все еще оставалась в городке — на хлебах у раввинши. Каждый день ходила она на почту и отпразднела кому-то много телеграмм и писем. Ей смотрели вслед: «Разве это человек? У нее даже угла на земле нет!»

А слава о ней, благодаря стараниям Носсена Геллера, шла недобрая. Провизор Сафьян, увидев ее однажды из окна аптеки, где он наклеивал сигнатурки на флаконы, сказал какому-то покупателю:

— Смотрите на нее, — сказал он. — Вот до чего доводит безделье! И вообще, может ли кто-нибудь объяснить, для чего такое существо шатается на земле?

Простые евреи слушали и молчали. Они забыли мгновение про своих больных детей и почтительно стояли перед Сафьяном, который еще и еще раз проверял рецепты, прежде чем выпустить их из рук.

На все письма и телеграммы Мирл не получала ответа. Подавленная, бродила она по городку — совсем одна. Ее откровенно сторонились; ни для кого теперь не было честью разговаривать с ней. Она понимала это и совсем замкнулась в себя. Но однажды вечером, долго блуждая по кривым переулкам, она остановила вдруг девушек Бурнее, стала допытываться у них о каждом члене их семьи и осторожно перевела разговор на Велвеля: просто непонятно, почему Велвель скрывается от нее. Все равно, она знает, что он ее лучший друг. Она знает даже о том, что он был на вокзале — прощался с ее матерью.

И еще раз она встретилась с ними, приветливо поклонилась им и спросила, не хотят ли они прокатиться в наемном экипаже куда-нибудь за город.

Это было как раз в то жаркое воскресенье, когда мать Бурнее только что уехала за границу лечить свою астму. Перед крыльцом дома Авром-Мойше еще стоял экипаж, на котором Велвель часа два тому назад приехал с хутора попрощаться с матерью.

Дом Авром-Мойше Бурнеса настежь открыл свои окна и смотрит немного печально на молодые деревца, растущие перед ним: «У всякого новоиспеченного богача должны быть вот такие молодые деревья перед окнами», — утешается он.

В комнатах прохладно. В окна летит щемящий, влажный шелест листьев, и чувствуется, что хозяйка надолго покинула дом и хозяйничать остались молодые девушки. Станет здесь теперь немножко свободнее и веселее. Молодежь будет засиживаться до поздней ночи. А если ни с того, ни с сего заревет малыш, ведь некому прикрикнуть на него, придется сунуть пяточок в ладошку — только бы замолчал.

Авром-Мойше ходит по своему кабинету, без конца дымя папирсой, и, как всегда, морща крутой лоб. У письменного стола стоит Велвель, держит в руке плач недавно арендованного им земельного участка и советуется с отцом о посевах.

— Вот эту низину следует засеять овсом, — говорит он.

Вдруг двери кабинета широко распахнулись, и старшая сестра, запыхавшаяся и красная, влетела с известием, что Мирл здесь в доме, в гостиной сидит она. Девушка чувствует себя виноватой и слабо защищается:

— Ну, что можно было сделать! Не могла же я быть невежей! Ведь она заглядывает прямо в окна, спрашивает: «Можно к вам зайти?»

Сестра вышла, оставив мужчин неловко стоящими друг против друга. Они избегали смотреть друг другу в глаза и с ужасом ждали: вот-вот откроется дверь — и войдет Мирл.

Велвель был бледен, дышал горячо и часто; наконец, он посмотрел прямо на отца: что, мол, он скажет? Но отец молчал, и тупое лицо его было совершенно бесстрастным. Он только еще больше наморщил лоб и совсем скрылся в табачном дыму. Наконец, старик тихо вышел из дому через черный ход, сел в экипаж Велвеля и приказал ехать на кирпичный завод. Вслед за ним через тот же черный ход вышел и Велвель и зашагал к винной лавке, где он должен был разменять деньги.

В гостиной между тем сидели и разговаривали о том, что граммофон всегда немножко шипит и гнусавит и поэтому надоедает очень быстро; что маленький Зямка знает, кто такой Толстой, но теперь он стесняется и не хочет сказать и не скажет: еще о том, что разорившаяся

помещица из села Причепы, сорокалетняя старая дева, опять сходит с ума: на последние деньги купила автомобиль и говорит, что выйдет за сына кашперовского графа.

Кроме Мирл и сестер Бурнее, здесь в плюшевых креслах сидели: молодой родственник, обучавший младших детей Бурнее древнееврейскому языку, племянница хозяйки постоянного двора — не очень умная (учится на зубного врача), и еще один молодой студент, недавно приехавший сюда на кондицию. Студент впервые видел Мирл вблизи. Но он знал о ней много и часто спорил с девушками Бурнее и с провизором Сафьяном: «Что вы мне рассказываете! Даже из ваших слов ясно, что это интересная, незаурядная женщина!»

Теперь он смотрел на молодое, немного утомленное лицо Мирл, и его волновали ее улыбка, чуть запрокинутая на спинку дивана голова и голос, звучащий ослабленными интонациями человека, много пережившего. Он молчал, думал все время о ней; забывая, что сосед его не курит, нет, нет, да и протягивал к нему руку, прося папиросу.

Старшая сестра услышала, как тронулся и загремел экипаж. Она забыла обо всем на свете и, точно курица, вытянув шею, наострила уши. А Мирл знала: в кабинете никого нет; неизвестно для чего попросила карандаш и бумагу. Писать как будто бы не собиралась: держала карандаш в одной руке, бумагу в другой. Посидела так немного, потом распрощалась и ушла.

И все же Велвель нашел потом в кармане своего дорожного плаща клочок бумаги, на котором рукою Мирл было написано: «Ты хороший».

Он читал и перечитывал эти два коротких слова, носил их несколько дней в бумажнике среди ассигнаций и, наконец, бережно спрятал в маленький ящик несгораемого шкафа.

Однажды утром Мирл все же получила долгожданный ответ. Она была этому очень рада и, возвращаясь с почты, остановила посреди улицы провизора Сафьяна, Сделала ему комплимент по поводу роговых его очков, которые удивительно к нему идут, и, наконец, стала убеждать его в необходимости жениться:

— Поверьте, Сафьян, я совершенно серьезно вам говорю: ну, что вы один живете! Специальность у вас прекрасная—чего вам!

У Сафьяна нервно задергались губы, он хотел уже

было приступить к изложению своего особого мнения о браке, как Мирл его перебила, любопытствуя — на какой день приходится девятнадцатое число—

— Мне это очень важно знать — девятнадцатое число этого месяца...

— **Щ** $\sqrt{\text{''}}$ - f **Ч** >г"5 **Ш**

Девятнадцатое пришлось как раз на первый день месяца Аб¹. Был он жарким, почти знойным, точно разгоряченность многих летних дней скопилась и пала на один этот — длинный и томительный.

Над городком веяло печалью приближающихся «девяти дней»². Чтобы не так остро чувствовать приближение этой поры, мужчины спали даже днем; то ли по ошибке, то ли от нечего делать, беспрерывно кричали петухи, и женщины не могли преодолеть тайного беспокойства, перебегали с одной завалинки на другую и не находили успокоения даже в меланхолическом мелькании спиц.

Около трёх часов дня к постоялому двору подкатила пыльная бричка, и из нее вылез высокий, тщательно выбритый молодой человек с забинтованной шеей. Прохожие оглядывались, распознавая, кто бы это мог быть, и, наконец, узнали в нем давнишнего приятеля акушерки — Герца.

Любопытные кивали в сторону Мирл, которая, скучая, сидела на крыльце рядом с раввиншей Либке.

— Она знала, когда пригласить его! Угодила прямо в день девятого Аба!

А Мирл узнала стороной, что Герц болен ангиной, я, встретив местного фельдшера, сказала ему:

— Герц скорее умрет, чем сознается в своей болезни. Ко если бы вы были так любезны и зашли к нему, может быть, он и согласился бы полечиться...

Фельдшер послушался и пошел на постоялый двор. А Мирл опять уселась рядом с Либке, жалуясь на этот бесконечный день.

— Если тень от нашего дома достигает середины переулка, значит, шесть часов. А сегодня и время остановилось. Кажется, за все лето не было такого длинного дня.

И когда тень доползла до середины переулка ч пере-

• Одиннадцатый месяц еврейского календаря.

- Предшествуют дню траура по случаю падения Иерусалима.

плелась с другими тенями, Мирл встала и пошла по направлению к почте. Там она опять встретила дочек Бурнее, которые прогуливались со своим учителем-студентом. Она остановилась перед ними и спросила о самой короткой дороге к железнодорожному полотну; еще спросила о какой-то девушке-сироте, давным-давно обрученной и все еще не вышедшей замуж.

Сестры Бурнее, глядя на Мирл, думали о своем брате, так и не женившемся до сих пор из-за нее, и о Герце, который ради нее сюда приехал. «Нет, они никогда ничего не слыхали о такой девушке». А студент волновался, краснел и готов был хоть сейчас пройти с Мирл по улице на городской манер. Ради этого он опять вернулся к разговору о девушке:

— Во всяком случае, это, должно быть, очень интересно!..

Но Мирл не слышала его. Она распрощалась и пошла вниз, к окраинам — за город. Бродила там долго, до вечера, одна.

И когда в домах уже накрыли столы к ужину и трудно было разглядеть лицо встречного на темных, пустых улицах, она все-таки забежала на постоянный двор к Герцу и долго не выходила оттуда. Красные занавеси на окнах Герца были приспущены, и кругом никого не было, кроме девушки — племянницы хозяйки. Девушке хотелось знать, о чем будут Герц с Мирл разговаривать, и, задерживая дыхание, она на цыпочках вошла в соседнюю пустую комнату и припала к щелям разошедшейся стены. Мирл и Герц сводили старые счета, бередили старые раны.

— Герц, — сказала Мирл, — я тебя так долго ждала! Никто никогда не ждал тебя так — я знаю.

В комнате стало тихо. Герц ничего не ответил.

— Герц, — сказала Мирл, — я не понимаю, что со мной творится, не знаю, почему я так много думаю о тебе, и не знаю, зачем, ради чего приехала сюда.

Но помолчала немного и прибавила:

— Мне казалось, что здесь, в родном городке, будет все-таки легче; мне все еще кажется, что где-то будет легче.

Герц звенел ложечкой в стакане, размешивая борную кислоту.

— Прекрасно, — сказал он, — но зачем было настаивать на том, чтобы я приехал именно сюда, где знают и тебя, и меня и следят буквально за каждым нашим

движением? К тому же еще и акушерка Шац здесь... Я чувствую себя просто глупым провинциальным женихом. И всем этим я обязан исключительно твоему капризу.

Мирл ничего не сказала на это. И, когда заговорила снова, голос ее сорвался и дрогнул. — • :*

— Герц! Мне все еще кажется, что ты знаешь нечто такое, чего не знаю я.

И вдруг она заговорила горячо и бессвязно:

— И вообще мне все кажется, будто есть такие редкие люди, которые знают что-то, но только держат это в секрете.

Пусть Герц простит ее за поездку сюда, но пусть он поймет—у нее ничего не осталось в жизни—ничего, кроме кажущегося мира, который все мерещится ей. И теперь она думает об этом без конца, подолгу, все длинные предвечерние часы.

— По вечерам я сижу рядом с раввиншей Либке И смотрю на запад, на пылающий край неба, и чудится мне иногда, что на меня смотрит оттуда другая, огненная Мирл, кивает издали и беззвучно шепчет: «Ничто, никто не знает, для чего блуждаешь ты на земле. А я, Мирл, пылающая здесь, на горячем краю горизонта, тоже блуждала когда-то и тоже не знала для чего».

Герц не понимал, чего она хочет; он улыбался чуть-чуть иронически и был недоволен этим разговором.

— Да, но зачем о таких высоких материях говорить в первые часы свидания? Послушай-ка лучше, как однажды ко мне в гостиницу пришел двоюродный брат твоего мужа — • Монеш. Он пришел с визитом и поэтому был в парадном черном костюме. Да и сам муж заходил тоже. Коридорный передавал, что он два раза спрашивал меня.

Мирл посмотрела на него и больше не проронила ни звука, так оскорбительны показались ей его последние слова. Она сильно побледнела и, не попрощавшись, ушла.

В темном коридоре она постояла немного, точно не решаясь на что-то, но обратно не вернулась; поправила на себе шарф и исчезла в темноте.

Когда племянница хозяйки вышла в коридор, Герц стоял в открытых дверях своей комнаты. Он учтиво просил хозяйку подлить керосину в лампу и принести чернильницу и перо. Девушка вышла на улицу. Она долго стояла, вглядываясь в темную даль. Было прохладно. Городок спал. Никак нельзя было угадать, куда направи-

лась Мирл: налево — к дому раввина, или направо — к почте, на окраинную дорогу, к темным просторным полям.

Было далеко за полночь. Раввинша Либке приподняла голову с подушки, пригнулась к соседней кровати, где спал ее муж, и стала будить его приглушенным зашпанным голосом:

— Авремель?! Авремель?! Спишь, Авремель? !

Унылая ночь тянулась через темные комнаты, выползала наружу, вилась вокруг стен, захлестывала пустынные улицы и широко разливалась в полях.

Раввин пошевелился испуганно и промычал:

— А?

И потом они оба лежали, полубодравшиеся, приподымались иногда в темноте и слушали, как Мирл плачет там, за стеной. Она плачет, еле сдерживаясь от рыданий, но рыдания разламывают грудь, и их невозможно удержать. Под ее содрогающимся телом жалобно поскрипывает кровать, и чудится, будто стоит кто-то у ее изголовья согнувшись, держит за горло, смотрит в залитое слезами лицо и шепчет: «Поздно, поздно... И впрямь все пропало, поздно, конец».

Раввинша присела на кровати и поправила сбившийся чепчик.

— Мирл была у него, —; сказала она, намекая на Герца. — Весь вечер она пробыла у него.

А потом раввинша приоткрыла ставни и увидела: светает... все спят... И только на краю базарной площади все еще светится одно из окошек постоянного двора; красные занавеси приспущены, прячут того, кто проводит бессонные ночи у письменного стола, заполняя белые страницы лихорадочным разгоном перечеркнутых строчек и слов.

VI

В ночь накануне девятого Аба лил дождь. Он стучал по заспанным крышам и не мог никого добудиться. Он поливал грязную крестьянскую подводку, которая медленно плелась через город, и хлестал в единственное беспокойно освещенное окошко в переулке раввина.

С Мирл творилось что-то неладное, и раввинша плохо спала, все думая о том, что в городке на нее прямо пальцами указывают. Еще бы! Приютили детище! Ведь это додуматься надо — жить в доме раввина и трепать хвост с каким-то приезжим молодцом. Раввинша не

могла понять, за что на нее такая напасть. И вздыхая и ворочаясь в постели, она нет-нет да и бросит в сторону мужа, но громко, так, чтобы услышала Мирл:

— Вот ведь беда какая. А разве скажешь чужому человеку — уезжай, мол, подобру-поздорову!

Утро наступило погожее, и день обещал быть жарким. Вместе с осколками стекла сверкали на солнышке подсыхающие лужи. Обмытые дома исходили паром и не знали: будут они еще мокнуть под дождем или нет.

А за дверью комнаты Мирл все еще слышались ночные беспокойные шаги. Часов в одиннадцать она вышла из дому и поспешно направилась к постоялому двору, у ворот которого уже стояла бричка, поджидающая Герца. Лицо Мирл стало совсем бледным, и синие тени залегли под глазами. Она чуть-чуть сутулила плечи, и было в этом что-то жалостное, что-то беспомощное, напоминающее о близком конце.

Она издали смотрела на бричку, и от бессонной ночи мозг ее работал напряженно и лихорадочно: она должна успеть сказать что-то Герцу! Но, поровнявшись с домом Авром-Мойше Бурнеса, она остановилась: какие пустые это были бредни! Она обманывала себя, полагая, что где-то сможет с ним жить!

Она увидела младшую дочку Бурнеса на крыльце дома и повернулась к ней:

— Не скажешь ли, Броха, какое сегодня число? Я и в самом деле тут засиделась.

Испуганная девушка надолго запомнила это бледное, с синими подглазьями лицо.

А Мирл быстро зашагала к почте — отправить кому-то телеграмму, и уже издали слышала, как бричка тронулась, загромыхала по мостовой и как балагула, понукая застоявшихся лошадей, кричал:

— Но-о-о, милые! К вечерней молитве будем дома!

Раввинша Либке поджидала Мирл в столовой. Она остановила ее:

Да... Она и Авремель хотели сказать ей... Конечно, они были рады ее видеть у себя... Хотели они сказать...-Да...

Руки раввинши глупо лежали на животе. Она моргала и смотрела куда-то в сторону. Мирл не пожелала продолжать разговор.

— Да, да! — сказала она. — Я **ЗНАЮ**. Завтра меня здесь не будет.

И тотчас же она пошла к себе в комнату, закрыла

ставни, заперлась изнутри: решила немного отдохнуть—¹ ей необходимо было хоть немного поспать — так болела голова. Мысли путались, и она не знала, что предпримет через несколько часов. Но если в комнате здесь не дает покоя узкий горячий луч, рвущийся через щелочку в ставне и надвое раскалывающий темноту, то, по крайней мере, можно раздеться, закинуть руки за пылающую голову и представить себе, что исход ее пустого двадцатилетия не столь уж безнадежен.

Стало немножко легче, отодвинулась тревога о завтрашнем бездомном дне; ей казалось невероятным, что она в родном городе, где жил ее родной отец — Гедалье Гурвиц... И в утомленном мозгу вдруг возник предсубботний вечер — давний, розово-теплый. Садится солнце. Одета по-субботнему, Гитэлэ стоит у окна, смотрит на дорогу и, как всегда, в пятницу, бормочет невнятно и тревожно:

— Смотрите-ка! Уж так поздно, а Гедалье еще не приехал!

6 утра Мирл ушла из дому и больше не возвращалась.

В полдень ее видели на пустой площади неподалеку от почты; позже она брела по пыльной дороге, ведущей за город. Там она встретилась с каким-то знакомым реб-
Гедалье торговцем и попросила его нанять для нее бричку, зайти в дом раввина и сказать, чтоб-і выпали ее вещи.

Перед заходом солнца бричка появилась на дороге. Мирл уселась в нее и стала торопить возницу. Но, отъехав несколько верст, она стала безразличной к тому, что лошади еле плетутся и возница не понукает их. Уже почти у самого вокзала она велела свернуть с дороги и отвезти ее в еврейскую корчму, которая томится под красной крышей чуть поодаль от крохотного железнодорожного поселка.

Больше недели прожила Мирл в корчме, все поджидая кого-то. В городе рассказывали, как она по четыре раза в день бегала на вокзал, ходила взад и вперед по перрону — по всей длине останавливающихся поездов, заглядывала в каждый вагон, ни с кем не разговаривала, не спрашивала ни о чем и уходила обратно, подавленная и грустная.

Вокзальные завсегдатаи собирались на перроне и смотрели вслед:

— Что сделалось с Мирл Гурвиц, а?..

В конце-концов Мирл уехала — одна, ночным поездом. Долго еще обо всем этом толковали потом в городке, но никто не знал, в какую сторону подалась Мирл, куда она исчезла.

VII

В конце августа в городок приехал студент Липкие. Еще по дороге он узнал от возницы:

— Эва, хватились! Да уж Мирл, поди, месяц, как уехала отсюда!

Липкие проспал ночь, утро и полдень в домике своей матери, и бесцельным казалось ему пробуждение. Мысли его все время возвращались к Мирл. Ведь он думал о ней, и когда его хлороформировали к операции, и летом на кондиции, и когда ехал домой; в поезде он нет-нет да и выбежит на площадку, чтобы лишний раз ошупать свою совершенно выпрямившуюся ногу.

Под вечер он вышел из дому и долго бродил по городку с чувством человека, куда-то безнадежно опоздавшего. Некому было даже рассказать о том, как он, Липкис, дружелюбно относится к Мирл. Летом, раскрывая свои учебники, он все твердил, вперемежку с заученными абзацами: «Я ей не врат... Не враг... Не враг».

Он долго смотрел на заколоченные окна дома реб Гедалье, прошел по переулку раввина, оглядываясь на его дом. Было удивительно ново и приятно ходить уверенно и прямо по тем самым улицам, где ковылял он двадцать шесть лет сряду, уродливо подбрасывая бедро, при каждом шаге мучительно изгибаясь.

Раввинша, как всегда, сидела на ступеньках крыльца; она увидела Липкиса, встала и двинулась ему навстречу:

— • Так, так... Здоровы, значит, теперь. Ходите, как все люди!

Она разговорилась с ним об операции, о его брате, который, говорят, стал хорошо зарабатывать, и о том, что ее девчонка Ханка наверно забыла все уроки. Может быть, он, Липкие, проверит, как Ханка пишет под диктовку?

Липкие вошел в дом и принялся за диктовку. Раввинша вышла. Ханка раскрыла тетрадь.

Ханка сидела за столом и писала. А он шагал по комнате, диктуя, и смотрел на стены, на потолок, под которым Мирл жила целых полтора месяца. В полуоткрытом шкафу валялось несколько забытых ею вещей и среди них скомканный клочок бумажки. Липкие взял его и

увидели это незаконченное письмо Мирл. Волнуясь, он расправил листок и прочел:

«Из того, что я предпринимала, опять ничего не вышло. Все мои замыслы всегда были и есть бесплодны. Герц по отношению ко мне так несправедлив! Я ему пыталась объяснить по мере сил своих, что меня гложет, А он твердит о каком-то целом поколении ненужных людей, которым совсем нет места в жизни. Раньше все это меня волновало, а теперь и этого нет. Касаться этого мне все же тяжело и до сих пор.

Там, где я нахожусь сейчас, оставаться больше не могу. Не знаю — куда, но уйти отсюда я должна.

Уже увядают листья и падают... И осень у меня на душе. Я переживаю свою осень. С первого дня рождения я переживаю ее. А весна... Весны я никогда не знала. Еще за долго до того, как я появилась на свет, кто-то пережил за меня мою весну...».

1910—1911 гг.

ОБЛОМКИ

Время от времени Циве, младшей из двух старых дев Пузис, становится тошно от жизни своей семьи — жизни впадших в бедность людей. Она перестает есть и пить и даже умываться. Она ходит в нижней юбке, непричесанная, и без конца убирает комнаты, — особенно большую пустую гостиную: суетливо сметает пыль со стен, с потолка и с каждого пожелтевшего листка на высоком старом фикусе. Она тяжело сопит, не отзывается на вопросы и злится, когда ее зовут в столовую кушать.

Так тянется день, два. Цива и стакана чаю не пьет. Кончается тем, что она убегает в свою комнату и, преисполненная отчаяния и неизбывной тоски, валится на кровать и раздражается рыданиями, долго не прекращающимися.

— Боже мой, боже мой! — горько всхлипывает она. — Ведь в этом доме все заживо погребены!.. Мы медленно гнием...

Ее плач вконец расстраивает старшую сестру, тридцатичетырехлетнюю Рохл, маленькую женщину с темными усиками. Она ни на минуту не отходит от Цивы, ссорящая ее. Рохл смотрит в окно. Вот идет по двору, подоткнув подол и прижав к животу лохань, беременная жена бондаря. Под ногами соседки путается крохотная замурзанная девочка, которую мать не перестает бранить. Рохл видит, как шевелятся мясистые губы женщины, но слов не слышит. На глазах у нее слезы. Она до боли прикусывает палец. В голове неотвязные мысли о младшей сестре.

«Боже, зачем ока меня мучит? Ты понимаешь, Цива, что ты со мною делаешь?»

Она, в сущности, и мысленно не произносит этих слов. Они, помимо ее волн, повторяются в сознаний.

Это находит на Циву чаще всего в конце весны, после праздника «швуэс», ближе к лету, когда снова начинают потеть толстые кирпичные стены, на аршин ушедшие в землю. Штукатурка покрывается пятнами. Пятна

ширятся, распространяя затхлый сладковатый запах со-
лода. В комнатах днем тихо и прохладно. В столовой
полулежит на кушетке старый Пузис. Уже много лет,
как он ослеп. Его глаза, сплошные бельма, постоянно
мигают, он прислушивается к плачу, доносящемуся из
комнаты дочерей, и недоумевает:

«Почему Цива плачет?»

От нестерпимой скуки он почесывает седую голову
и бороду, зевает так, что рот вот-вот разорвется, и, еще
не закрыв его, нечленораздельно шепчет:

— Ох, ты, боже милосердный, отец ты наш!

Он терпеливо ждет — попозднее сюда заглянет пере-
плетчик Иекусиэль, он же — синагогальный служка. Он
забежит посмотреть, не угостят ли стаканчиком горяче-
го чая. Старик постарается немного задержать его и бу-
дет ему жаловаться на дочерей:

«Очень уж капризные!»

Потом он заведет с переплетчиком разговор о горо-
де вообще, о тех или иных людях и о себе, Калмане Пу-
зисе, конечно, тоже. О делах, которые когда-то проходи-
ли через его руки, например, о Завалинском лесе. Он как
сейчас еще помнит: купил лес за гроши, а сколько вре-
мени рубили его! Лет, наверное, двенадцать кряду, — не
меньше. И денежки всё притекали. Тогда он, Калман
Пузис, слыл умным человеком... Но затем счастье повер-
нулось спиной, и умницей стала его покойная жена Лея,
царство ей небесное, потому что у нее были богатые
родственники. А теперь даже собственные дети его, Кал-
мана Пузиса, дураком считают!

«Ха!.. Что ты на это скажешь, Иекусиэль?»

Иекусиэль — человек сметливый, он за слов'ом в кар-
ман не полезет, но он также знает, когда лучше промол-
чать. У него густая светлая борода и белесые брови.
Войдя в столовую, он еще издали смотрит на старого
Пузиса, смотрит с хитринкой в глазах, пряча легкую ус-
мешку в подстриженные усы.

— Что может быть слышно? — скупно отзывается он
на вопрос слепого. — Плохо, реб Калман! Горько быть
бедняком, да еще в такой длинный летний день!

Старик Пузис сразу падает духом. Он не знает, кого
имеет в виду Иекусиэль, — себя или его, впавшего в бед-
ность. Он с минуту молчит и растерянно моргает.

— Присядь, Иекусиэль!

!— Премного благодарен, реб Калман.

Молчание.

— Эх, было времячко! Верно, Иекусиэль?

— Да, было, реб Калман.
— И ушло навсегда. Верно, Иекусиэль?
— Да, ушло, реб Калман.
Старик погружается в раздумье.
— Сколько тебе лет, Иекусиэль?
Никто не отвечает.

Старику хотелось бы знать, каков сейчас мир, которого он не видел вот уже двенадцать лет, каков собой, например, Иекусиэль.

— Скажи, пожалуйста, Иекусиэль, — спрашивает он осторожно, будто ступает на цыпочках, — ты уже седой?

Но Иекусиэля уже нет. В доме, — успел тот подметить, — что-то неладно. Чаю, повидимому, не дожدهшься, и предпочел потихоньку убраться. Старый Пузис снова опускается на кушетку и опять прислушивается к плачу Цивы. Ему невыносимо скучно. Он ждет...

К пяти часам жара начнет спадать, и длинные тени лягут на мощенное булыжником маленькое местечко. Но улица еще долго останется мертвенно-безлюдной. Только почтальон пройдет по ней быстрым шагом и, может быть, завернет сюда отдать деньги с сопроводительным талоном, на котором значится:

«По распоряжению г. Ш. К. Пузиса препровожаем вам 50 руб.».

Деньги от единственного сына, Шмуэля, у которого винокуренные заводы под Екатеринославом. Он посылает отцу на жизнь.

Но почтальон приходит редко, — всего раз в месяц. Томительно долго тянутся летние дни. А Цива все плачет. Старик почесывает седую голову и бороду, зевает так, что вот-вот рот разорвется, и, еще не закрыв его, нечленораздельно шепчет: ч

— Ох, ты, боже милосердный, отец ты наш!..

Иногда от богатого сына приходит письмо. Он пишет, чтобы Цива приехала. Имеется приписка и от его жены: «Будем надеяться, на этот раз Цива не пожалеет!» И еще приписка:

«Если у Цивы недостает чего-либо из гардероба, пусть это не послужит задержкой».

Ясно, как день, — речь идет о женихе! И жених, должно быть, не кто-нибудь — раз он нравится Шмуэлю и его жене. И он, по всей вероятности, не смазливое личико ищет, для него важнее всего, чтобы невеста была «человек», — из хорошей семьи.

Старик взволнован. Он лежит очень довольный на кушетке и бормочет:

— А го как же?.. Будто я сомневался!.. Уж Шмуэль подыщет жениха.

Старик сгорает от любопытства, ему не терпится узнать кто жених и, что важнее, кто женихов отец, будущая родня. Чтобы разведать, нет ли в письме Шмуэля намек на счет этого, старик прибегает к хитрости:

— Рохелэ, сердечко мое, скажи, пожалуйста, ты не помнишь, сколько у нашего Шмуэля заводов?

Он знает, что сестры молятся на брата, и продолжает как бы про себя:

— Был когда-то набожный молодой парень Шмуэль... А теперь, говорят, он в перчатках ходит, за ручку с важными господами здоровается. А борода у него, наверное, красивая, черная, — как ты думаешь, Рохелэ, черная, правда?

Но дочери думают, что умницей была покойная мать, а его, ослепшего отца, они считают глупцом. Они молчат. Видимо, они дав'но решили: «Ему и отвечать не стоит!»

Несколько дней в доме длится суетливая таинственная возня. У Цивы в комнате почти безвыходно жена местного казенного раввина, воспитывавшаяся в большом городе у богатого деда. Теперь у нее трое детей. Она помогает шить Циве всякие мелочи и щедро надевает ее советами. Сейчас она опять беременна, все лицо у нее в желтых пятнах. Говорит она обо всем уверенно, как человек, обладающий огромным опытом в вопросах брака и знающий лучше всякого другого, как приворожить жениха.

Наконец, Цива едет. У парадного крыльца дожидается нанятый для поездки на станцию возница, к бричке крепко привязана корзина с вещами, и Рохл, у которой сводит лицо от грусти и волнения, со слезами на глазах и с мучительной, глубоко запрятанной завистью шупает сиденье и справляется у возницы:

— Не будет ей жестко?

Через четыре недели Цива возвращается загорелая, но измученная, с тихим отчаянием в душе и с дикой головной болью от бессонной ночи в вагоне.

Пока она слезает с брички, на губах у нее еще реет улыбка, она как будто довольна, что вернулась. Дом принимает праздничный вид. Стол накрыт свежей желтой скатертью, садятся за чай. Жена казенного раввина уже тут как тут, и Цива, морщась от нестерпимой мигрени, рассказывает о пышной свадьбе, которую целую неделю праздновали в доме у братниного шурина.

. — Боже ты, мой, — кривится она, — сколько было шума! И сейчас еще, только заскрипит дверь, мне кажется, что это музыканты играют!

Старик лежит тут же на кушетке и беспрестанно мигает слепыми глазами.

— Ну, а как живет тесть Шмуэля? — спрашивает он. — Очень богатый человек, верно? Широко живут, а?

Про письмо, которое Шмуэль прислал месяц тому назад, никто не упоминает. Цива чуть ли не сутки беспробудно спит. И, когда, наконец, она встает, у нее все еще шумит в ушах, и каждый скрип двери напоминает ей о музыкантах на свадьбе или о паровозном гудке.

Снова тянутся долгие летние дни, в доме будто все вымерло. В комнатах прохладно, старик лежит один-одинешенек на кушетке. От скуки он почесывает седую голову и бороду. Зевота разрывает ему рот, и он нечленораздельно шепчет:

— Ох, ты, боже милосердный, отец ты наш!

Солнце близится к закату. Стоит чудесный, ясный день. Старый Пузис ждет, чтобы на него надели субботний сюртук — он пойдет гулять. Недавно в местечке умер Исроэль Китовер, некогда компаньон Пузиса на протяжении многих лет. Теперь внук покойного, Нотэ-Герш, надстраивает дедоёский дом и выводит новое крыльцо прямо на базарную площадь. Старик мысленно рисует себе — скоро он, в субботнем сюртуке, будет стоять на базаре, возле дома Китовера, где идет надстройка.

«Видишь ли, — скажет он Ноте-Гершу, — тут когда-то была канава. Вот... Не мешало бы поэтому проверить, достаточно ли крепок грунт».

А кругом уже собралось много народу, они прислушиваются к каждому его слову.

Мало, что ли, старый Калман строил на своем веку!

Старику не терпится. Ему хочется поскорее быть уже на базаре, возле дома Китовера.

— Ну, Рохелэ, сердечко мое, — • торопит он каждые несколько минут, — где же мой субботний сюртук? !

Но дочерям сейчас не до него. От Шмуэля пришла телеграмма. Брат спешит за границу на курорт, завтра он проедет их маленькую станцию и просит, чтобы все приехали туда повидаться с ним.

Повидимому, телеграмму подали сестрам Пузис через окно, и кто-то мигом помчался с этой вестью к жене

казенного раввина. Она уже тут. Женщины говорят все одновременно. Дом наполняется праздничным шумом. Можно подумать, что в последнюю минуту отчаяния дом вдруг воспрянул к новой жизни.

Нет ли связи между телеграммой Шмуэля и письмом, которое он писал несколько недель назад, приглашая Циву?.. Не везет ли он с собой спасение прямо сюда в дом? Конечно же! Он наверное едет не один...

Рохл переводит жалостливый взгляд с одного лица на другое. Она улыбается, но говорить не в силах. Вдруг она быстро опускается на стул в самом углу комнаты и заливается слезами.

— Шмуэль, — горько всхлипывает она, вспоминая, что восемь лет не видела брата, — Шмуэль!

Так и кажется, что Шмуэль находится в соседней комнате и сейчас выйдет на ее зов.

Весь следующий день сестры неустанно хлопочут. Они пекут пряники и сдобные булочки на дорогу. Они стирают носовые платочки, утюжат косынки. Все окна в доме открыты настежь. Служанка готова заподозрить Рохла, что та завивалась, а старик лежит на кушетке, и ему чудится, что из комнаты дочерей доносится тихое пение... Он беседует с забежавшим на минуту светлобродым переплетчиком Иекусием:

— Был когда-то набожный парень Шмуэль... А теперь, говорят, он в перчатках ходит и за руку с господами здоровается.

Старик замолкает; он пытается мысленно представить себе нынешнего Шмуэля.

— Борода у него, наверное, пышная, черная. Эх, Шмуэль!..

Всю ночь старый Пузис томится ожиданием. Утром он в пыльнике выходит, под руку с Рохла, на улицу, где дожидается фаэтон, нанятый для поездки на станцию, но не спешит садиться. Ощупью ходит он вокруг и водит рукой — он хочет знать, пристегнут ли кожаный верх. Он уверен, что в тенистых переулках стоят на порогах жители и шепчутся:

«Калман Пузис едет повидаться с сыном».

— Кожаный верх есть? — спрашивает он.

Едут почтовым трактом, верста за верстой остаётся позади. Дочери сидят в фаэтоне принаряженные, по-праздничному свежие, словно на св'адьбу собрались. Они злятся на старика — хоть бы он минуту помолчал! Когда приезжают на убогую станцию, оказывается, что

впереди еще очень много времени. Томительно долго ждут поезда.

Шмуэль едет курьерским. Не успел паровоз подкатить к крохотному перрону, как даются два звонка. Важный обер-кондуктор относится с полным пренебрежением к этому захоластью. Он торопит с третьим звонком.

— Готово? — спрашивает он чуть ли не каждую секунду.

На станции беспорядочная беготня. Среди шума раздается чей-то уверенный густой баритон:

— Отец, я здесь! Вот я — у окна!

Из загона выглядывает широкоплечий мужчина в окладистой черной бородой, с дерзкими, словно подернутыми лаком, глазами. Это и есть Шмуэль, счастливый сын старого Пузиса. Он протягивает руку, но старик стоит под окном, испуганный, дрожащий, подавленный. Он лишь мигает слепыми глазами, он всеми десятью трясущимися растопыренными пальцами ловит руку сына, и дочери поддерживают его под локти, чтобы помочь ему. Наконец-то он ухватил руку сына. Он водит по ней пальцами и с замирающим сердцем торопливо ощупывает ее со всех сторон.

I — Это рука Шмуэля, правда? — снова и снова повторяет он. — Это рука Шмуэля, да?

Его важничающий обер-кондуктор уже добился третьего звонка, и поезд трогается. Пальцы старика еще некоторое время щупают воздух, ему кажется, что они все еще сжимают шелковистую лайковую перчатку, он не спешит опустить руку...

Теперь можно ехать назад, поезда уже не видеть и не слышать, — он скрылся на горизонте далекого летнего неба. Все усаживаются в фаэтон, но тут начинаются поиски — пропал кулечек с пряниками. И никто не знает, зачем, собственно, таскали с собой эти пряники.

Седоки не произносят ни слова. Усталые лошади еле плетутся, тихо позвякивают бубенцы. Но даже это слабое, чуть слышное позвякивание действует Циве на нервы, приводит ее в ярость. Она кричит:

— Боже ты мой, этот звон меня с ума сведет!

Фаэтон въезжает в ложбину, возницу заставляют сойти с козел и отвязать бубенчики. Слева, за жидкой рощицей, близится к горизонту огромный солнечный диск. Вокруг диска — прозрачное янтарное озеро, а ниже тянется под ним узкая розовая полоска. И почему-то

кажется, что солнце вовсе не зайдет, что так оно и будет висеть в небе.

Старику попало, и он теперь молчит — на него-хорошенько накричали за его непрекращающуюся болтовню. На его лице реет обиженная улыбка.

«Ну, конечно, они же меня дурачком считают!»—думает он.

Фаэтон тихо трясется по дороге, бубенчики больше не звенят, Всем хочется поскорее быть опять дома.

Теперь уж наверное ничего больше не случится в старом доме, где живут впавшие в бедность люди. Пройдет год, и снова начнут потеть сырые кирпичные стены, снова Цива будет метаться по дому в одной нижней юбке и с ожесточением убирать комнаты. Она не будет есть, перестанет пить и, в конце-концов, бросится с громким плачем на кровать. Попрежнему старый Пузис будет лежать на кушетке в прохладной столовой и часто мигать слепыми глазами. Чтобы Иекусиэль не знал, отчего плачет Цива, он заведет с ним беседу:

— Эх, было времячко! Верно, Иекусиэль?

— Да, было, реб Калман!

•— И ушло навсегда. Верно, Иекусиэль?

— Что было, то сплыло, реб Калган!

ш

1912 Г.

ГОРОДОК ДУБРОВИЧ

I

Студенту Бурману, застрявшему в захолустном еврейском городке, было тридцать лет. От скуки он дал выбрать себя рабинером¹, обленился, много спал, отпустил густые светлые усы, перестал писать единственной сестре, горбатой массажистке, и навсегда оставил мысль об университете.

Летом он каждый день вместе с земским врачом и пьяницей волостным писарем купался в холодной извилистой речонке и гулял за городом со своей бывшей ученицей Маней Ример, единственной курсисткой в Дубровиче. Она по секрету рассказывала ему, что мужа, курчавого Фройку Черкиса, не любит, что типография, приобретенная им на ее приданое, ее не интересует, и, вероятнее всего, она от него уйдет и опять поедет на курсы.

— Чего я буду тут сидеть, скажите, пожалуйста!

Внимательно слушая, Бурман думал о том, что эта молодая женщина всего год тому назад была свободна, и оба они — он и Фройка, так сказать, имели над ней одинаковые права. Тогда они, тайком друг от друга, щипали ее пухлые руки повыше локтя. Теперь же она замужем, и как-то даже странно: Маня живет с Фройкой в домике из трех крошечных комнат, а он, Бурман, по-прежнему по-холостяцки ютится в одной комнате.

С начала осени Маня стала реже показываться. Поползли слухи, что она не ладит с мужем. Бурман скучал, не зная, как убить время, еще больше опустился, совсем обленился, ходил всегда заспанный. От нечего делать он зачастил к застенчивой рыжеволосой дочери вдовы Перлис. За девушкой давали восемь тысяч рублей, у нее был купленный аттестат об окончании гимназии. Уже поговаривали, что Бурман на ней женится.

¹ Иначе — казенный раввин*, лицо недуховного звания, своего рода хранитель метрических записей.

Каждый день, в послеобеденный час, когда пожилая вдова спала в своей тихой спальне, где стояла двуспальная кровать и до сих пор как будто ощущалось присутствие давно умершего супруга, являлся Бурман. Не глядя на служанку, занятую мытьем обеденной посуды, он через кухню проходил в гостиную, уставленную горшками цветов и мягкой мебелью, принадлежавшей некогда разорившемуся генералу. Здесь рыжеволосая дочка вдовы читала ему какую-нибудь совсем новую и, чаще всего, очень скучную книгу. Читала она запинаясь, неуверенно. В голове у нее кружилась сильно смущавшая ее мысль о том, что Бурман, ее бывший репетитор, возможно, женится на ней. Голос ее дрожал, пока Бурман слушал, изредка поправляя ошибки, не переставал дрожать и тогда, когда гость ронял голову на грудь и дремал, думая о том, что началась осень, что на душе у него тоже осень, что за пределами этого жалкого городишки где-то кипит жизнь, и о том, что ему все безразлично, что он никогда уже не увидит радости в жизни.

Однажды в ненастный день, когда он, так вот задремав, снова открыл глаза, в окнах, выходящих в сад, было уже темно и в стекла хлестал дождь. Прежде всего Бурман различил в полумраке низко опущенную голову девушки и долго не мог сообразить, где находится. Рядом в столовой горел свет. За столом, на котором шумел самовар, сидела недавно проснувшаяся вдова. Она смотрела в окно на утопавший в сумерках сад и думала о Бурмане, занимавшем должность рабинера, о дочери, у которой восемь тысяч приданого, и о том еще, что при помолвках приглашают раввина, резника, кантора и, конечно, родных и при свечах бьют тарелки. Но связать все это ей было лень и трудновато. От чересчур спокойного и нерушимо монашеского образа жизни она перестала последовательно мыслить, громко разговаривать, встречаться с знакомыми и переживать чье бы то ни было горе.

. — Шевочка, дитя мое,—протяжным бесцветным голосом окликнула она дочь, — позови Бурмана чай пить.

Только тогда Бурман поймал на себе взгляд девушки — ее глаза, светившиеся в темноте, пожирали его.

— Бурман, вы, кажется, уснули — тихо произнесла она, и на этот раз, несмотря на обыденные слова, голос дрожал от затаенного чувства.

Ее голос, рыжие волосы, руки, державшие книгу, — все это вызвало в его сонном мозгу внезапное отвращение. И в тот же миг он почувствовал, что она гладит в

темноте его руку, теряет ее, находит и снова гладит.

С того вечера Бурман перестал бывать у вдовы. Целыми днями не выходил он из своей холостяцкой комнаты, где все было серо от пыли — и стены, и потолок, даже толстые книги с метрическими записями, шептавшие, казалось, с грустью и укоризной:

«Бурман, что ты без дела ходишь?.. Ох, нехорошо ты кончишь!»

Надо решить, твердил себе Бурман, женится он на дочери вдовы Перлис или нет. Пряча усмешку в светлые усы, он думал о том, как напишет сестре, горбатой массажистке, и спросит совета, иронизируя над самим собою. Он начнет так:

«Дорогая сестрица, я подвожу итог своим блестящим успехам за прожитые тридцать лет...».

В Дубровиче умер скряга Мейлех-мужик. Из Николаева приехал его двадцатидевятилетний внук Элиша, худощавый, крепкий мужчина. На нем был новенький серый костюм, в жилетном кармане — золотые часы. Дед оставил ему утопавший в зелени старый дом с окнами на базарную площадь, ссудную лавку, где мужики получали небольшие суммы под заклад, «коробку»¹ и десять тысяч чистоганом. Наследник в первый же день поссорился с общиной, отказавшейся предать его деда погребению, пока внук не внесет четырех тысяч рублей. Трое суток пролежал старик, не находя последнего успокоения, и уже начал разлагаться. Элиша отправился к становому, и с помощью трех, предоставленных в его распоряжение, стражников похоронил деда.

Обиженные лавочники подучили мясников прекратить убой скота — пусть Элиша терпит каждую неделю двести рублей убытка.

— Стоит всем захотеть, и внук Мейлеха-мужика по миру пойдет! — злорадно уверяли они.

Элиша не сдавался. Он грозил открыть, в пику врагам, новую мануфактурную торговлю и еще одну типографию. Нередко стоял он у окна в унаследованном от деда доме и, глядя с ненавистью на лачуги, тянувшиеся вверх к круглой базарной площади, злобно бормотал:

¹ Мясо, употреблявшееся в пищу евреями, облагалось царским правительством особым налогом, называвшимся «коробочным сбором» или сокращенно «коробкой». Сбор этого налога отдавался на откуп частным лицам.

— Погоди, погоди, задрипанный городишко!.. Посмотрим, кто кого!

Наследник умершего скряги был в сущности жизнерадостным человеком. Перед самым приездом Элиша взял себе красавицу-жену без копейки приданого, и в Дубровиче знали, что он собирается ее привезти из Меджибожа, как только прибудет мебель.

Встретившись однажды на улице с Бурманом, он первый поклонился ему, оглядел с головы до ног и скороговоркой произнес:

— Доброго вам здоровья, пане рабннер! Как обстоит дело с новыми выборами?

Бурман прищурил глаз, в который попал дым от папирасы, а вторым посмотрел на Элишу удивленно к чуть иронически. По городку и в самом деле ходили слухи по поводу предстоявших выборов рабинера. Бурман, впервые увидев этого человека, не нашелся, что ответить и почувствовал себя неловко.

Но Элиша уже повернулся желтоватым узким лицом к возвращавшемуся из своей типографии чернокудрому Фройке Черкису и уставился на него серыми плутовскими глазами.

— Фройка Барашек! — окликнул он владельца типографии, напоминая ему его прозвище в хедере лет двадцать назад. — Какой стал важный! Никого узнавать не хочет!

Хитрый, расчетливый и прижимистый Фройка и впрямь перестал знаться с кем-либо в городке. А всего несколько месяцев тому назад, до женитьбы, он часто забегал к Бурману, веселый, щипал его жирную грудь и кричал так, чтобы даже на улице слышно было:

— Совсем как у женщины, ей-богу! Чем не девица?!

Теперь, исхудалый, всегда нахмуренный, неделями небритый, он целиком ушел в свою типографию. Его лишь редко встречали поздним вечером с женой, и если останавливали, он нежно брал Маню под руку, как бы опровергая все слухи, будто она его не любит. Он вечно спешил: казалось, эгот человек решил наверстать и в делах, и в семейной жизни все упущенное за безрадостные годы своего существования провинциала-экстерна.

У Фройки был зуб против Элиши, грозившего открыть в Дубровиче вторую типографию. Он откликнулся холодно и равнодушно, и тут же на улице разыгралась ссора. Любопытные прохожие кольцом окружили обоих и жадно прислушивались.

Элиша упрекнул Фройку:

темноте его руку, теряет ее, находит и снова гладит.

С того вечера Бурман перестал бывать у вдовы. Целыми днями не выходил он из своей холостяцкой комнаты, где все было серо от пыли — и стены, и потолок, даже толстые книги с метрическими записями, шептавшие, казалось, с грустью и укоризной:

«Бурман, что ты без дела ходишь?.. Ох, нехорошо ты кончишь!»

Надо решить, твердил себе Бурман, женится он на дочери вдовы Перлис или нет. Пряча усмешку в светлые усы, он думал о том, как напишет сестре, горбатой мае, сажистке, и спросит совета, иронизируя над самим собою. Он начнет так:

«Дорогая сестрица, я подвожу итог своим блестящим успехам за прожитые тридцать лет...».

В Дубровиче умер скряга Мейлех-мужик. Из Николаева приехал его двадцатидевятилетний внук Элиша, худощавый, крепкий мужчина. На нем был новенький серый костюм, в жилетном кармане — золотые часы. Дед оставил ему утопавший в зелени старый дом с окнами на базарную площадь, ссудную лавку, где мужики получали небольшие суммы под заклад, «коробку»¹ и десять тысяч чистоганом. Наследник в первый же день поссорился с общиной, отказавшейся предать его деда погребению, пока внук не внесет четырех тысяч рублей. Трое суток пролежал старик, не находя последнего успокоения, и уже начал разлагаться. Элиша отправился к становому, и с помощью трех, предоставленных в его распоряжение, стражников похоронил деда.

Обиженные лавочники подучили мясников прекратить убой скота — пусть Элиша терпит каждую неделю двести рублей убытка.

— Стоит всем захотеть, и внук Мейлеха-мужика по миру пойдет! — злорадно уверяли они.

Элиша не сдавался. Он грозил открыть, в пику врагам, новую мануфактурную торговлю и еще одну типографию. Нередко стоял он у окна в унаследованном от деда доме и, глядя с ненавистью на лачуги, тянувшиеся вверх к круглой базарной площади, злобно бормотал:

¹ Мясо, употреблявшееся в пищу евреями, облагалось царским правительством особым налогом, называвшимся «коробочным сбором» или сокращенно «коробкой». Сбор этого налога отдавался на откуп частным лицам.

— Погоди, погоди, задрипанный городишко!.. Посмотрим, кто кого!

Наследник умершего скряги был в сущности жизнерадостным человеком. Перед самым приездом Элиша взял себе красавицу-жену без копейки приданого, и в Дубровиче знали, что он собирается ее привезти из Меджибожа, как только прибудет мебель.

Встретившись однажды на улице с Бурманом, он первый поклонился ему, оглядел с головы до ног и скороговоркой произнес:

— Доброго вам здоровья, пане рабннер! Как обстоит дело с ног/ыми выборами?

Бурман прищурил глаз, в который попал дым от папиросы, а вторым посмотрел на Элишу удивленно и чуть иронически. По городку и в самом деле ходили слухи по поводу предстоявших выборов рабинера. Бурман, впервые увидев этого человека, не нашелся, что ответить и почувствовал себя неловко.

Но Элиша уже повернулся желтоватым узким лицом к возвращавшемуся из своей типографии чернокудрому Фройке Черкису и уставился на него серыми плутовскими глазами.

— Фройка Барашек! — окликнул он владельца типографии, напоминая ему его прозвище в хедере лет двадцать назад. — Какой стал важный! Никого узнавать не хочет!

Хитрый, расчетливый и прижимистый Фройка и впрямь перестал знаться с кем-либо в городке. А всего несколько месяцев тому назад, до женитьбы, он часто забегал к Бурману, веселый, щипал его жирную грудь и кричал так, чтобы даже на улице слышно было:

— Совсем как у женщины, ей-богу! Чем не девица?!

Теперь, исхудалый, всегда нахмуренный, неделями небритый, он целиком ушел в свою типографию. Его лишь редко встречали поздним вечером с женой, и если останавливали, он нежно брал Маню под руку, как бы опровергая все слухи, будто она его не любит. Он вечно спешил: казалось, этот человек решил наверстать и в делах, и в семейной жизни все упущенное за безрадостные годы своего существования провинциала-экстерна.

У Фройки был зуб против Элиши, грозившего открыть в Дубровиче вторую типографию. Он откликнулся холодно и равнодушно, и тут же на улице разыгралась ссора. Любопытные прохожие кольцом окружили обоих и жадно прислушивались.

Элиша упрекнул Фройку:

— Я знаю, что и ты мне враг! Тоже, наверное, подстрекаешь мясников за моей спиной!

— Провались ты вместе с мясниками! — огрызнулся Фройка. — Другого дела у меня нет!.. Но раз ты завел разговор, так я тебе скажу: поделом! Нечего было самому хоронить деда и затевать ссору со всем городом!

Да, его со всех сторон окружали враги, этого жизнерадостного Элишу, и не было на свете ни души, с кем он мог бы словом перемолвиться. Бесцельно прослонявшись целую неделю, он решил, что ему начихать на весь Дубрович, уехал в Меджибож и вернулся с красавицей-женой.

В этот день к нему вернулось его радостное настроение. И когда он под вечер, в сопровождении жены, вышел на озелененный скверик, он и думать не хотел ни о мясниках, отказавшихся резать скот, ни о двухстах рублях убытка в неделю, ни о лавочниках. Как бы бросая вызов врагам, он громко и оживленно беседовал с молодой женой.

Люди стояли на порогах и глазели на нее. Она была много выше Элиши, а тем более — миловидной смуглянки Мани Черкис. И когда Фрадочка, в узкой черной юбке, сгибала при ходьбе ногу, мужчины, не отрываясь, смотрели, как раскачиваются ее бедра. Как искусно ступала эта высокая меджибожская девица! Большие черные глаза на матовом лице, пушок на верхней губе, стриженные черные вьющиеся волосы — все это надолго запомнилось жителям Дубровича.

Двое портных-подмастерьев поспорили, есть ли у жены Элиши сорочка под зеленой, с короткими рукавами, кофточкой, оставлявшей открытой полную шею. Один из них умышленно громко крикнул:

— Глупая твоя голова, сейчас такая мода — женщины не носят сорочек!

Элиша никого не удостоил взглядом. Увидев Бурмана, стоявшего под своим окном, он подошел к нему, как к старому приятелю, познакомил с женой и любезно спросил:

— Как вам здесь нравится, пане рабинер? И эта мягкая погода, и вообще все вокруг?.. Правда, красиво у нас?

А она стояла справ'а от него, крупная, стройная, и обводила глазами это «вообще все вокруг» — изрезанные оврагами холмы и извилистую кайму лесов, упиравшихся вершинами в голубое небо.

— Да, — тихо и уверенно произнесла она, и взгляд ее

попрежнему был устремлен вдаль,—здесь можно неплохо зажить.

Лицо ее было серьезное и сосредоточенное, словно она годами скиталась по городам и селам в поисках места, где бы обосноваться, и здесь, наконец, нашла его.

После этой встречи Бурман хорошо выспался в своей пыльной холостяцкой комнате, потом отправился гулять. Проходя мимо Элишиного дома, он увидел тяжелые гардины, которыми хозяйка успела завесить окна. Одна из гардин была чуть отогнута, из комнаты доносился стук молоточка. Воображению рисовалась прохлада комнат, стулья с высокими спинками и кресла в свежих чехлах. А она, должно быть, говорила служанке, взобравшейся на табурет:

«Прошу вас, вколотите гвоздь чуть повыше... еще чуточку...»

Молодой рабинер усмехнулся в густые светлые усы и направился в самый дальний угол скверика, откуда еле видна была вывеска на типографии Фройки Черкиса. Он снова ухмыльнулся. Это означало:

«Чего ты хандришь, глупый человек? В Дубровиче появилась красивая бойкая бабенка!»

III

На другое утро, часов около одиннадцати, Бурман уже сидел с женой Элиши в той самой комнате, где накануне одна из гардин была отогнута. Фрадошка оказалась женщиной смышленной, с житейским опытом. Раннее знакомство с меджибожскими офицерами послужило ей, повидимому, не плохой школой и научило обхождению с мужчинами. Слушая комплименты, которыми ее осыпал Бурман, она весело хохотала, поправляла волосы и кричала мужу в кабинет:

— Элиша, ты знаешь, что про меня рабинер говорит?..

Ее сочный смех яснее слов говорил о том, какое удовольствие ей доставляет общество красивого мужчины.

Во время второго посещения Бурмана Фрадошка уже мерялась с ним ростом, пробовала, кто кому сильнее руку сожмет. В третий визит она, по его просьбе, села за новенькое пианино.

— Я могу вам сыграть «Бурю на Волге», румынскую «Дедуню», «Аве-Марию»... «Аве-Марию» я наизусть знаю, и нот не надо. Начинается так...

Бурман нашел, что она играет прекрасно. Пальцы ее

свободно бегали по клавишам. Не отрываясь от пианино, она заговорила с появившейся в дверях служанкой: завтра она сама пойдет с ней на рынок, булочки же пусть посыплет не тмином, а маком.

Когда Бурман пришел в четвертый раз, Фрадоchка по своему вкусу перевязала ему галстук и поправила ворот пиджака, чтобы не вылезал воротничок. Бурман стоял перед ней, покорный, как вол, усмехался и делал все, что она приказывала. Каждый раз, когда ему случалось прикоснуться к ее теплой и мягкой руке, он испытывал волнение. Из прежней практики он помнил, что с такими женщинами надо действовать решительно, с наскоку.

Однако в то же утро вышла маленькая неприятность.

По улице проезжал экипаж, и Бурман с Фрадоchкой высунулись из окна. Он почувствовал ее теплое бедро, оглянулся, нет ли кого в комнате, и уже поднял руку, чтобы обнять молодую женщину. Но она внезапно и так резко повернулась к нему, что ее короткие черные волосы рассыпались по лицу.

— Бурман, — холодно сказала она, схватив его за руку и откидывая со лба волосы. — Так не поступают...

Кровь ударила Бурману в лицо, и он даже удивился, когда ему удалось выжать из себя улыбку. Но Фрадоchки возле него уже не было. Легко упершись руками в бедра, она медленно прошла в столовую, затем дальше в коридор. И Бурман расслышал, как она громко сказала сидевшему в кабинете мужу:

— Ты мог бы сказать, чтобы тебе помыли галоши. Стоят, грязные, прямо на виду...

Вскоре после этого Бурман поехал на один день в уездный город, куда ему давно нужно было по делу. Вся эта история с женой Элиши казалась ему теперь несуразной глупостью. Про эту меджибожскую красулю ходила слава по всей округе. Подумаешь, недотрога!..

В уездном городе он узнал, что в Дубровиче действительно собираются выставить другого кандидата в казенные раввины — сына местного лавочника. Узнал он также, что в «Гранд-Огеле» уже вторую неделю обретается приехавшая на смотрины рыжеволосая дочка вдовы Перлис. Пьяница-сват из Дубровича остановил его на улице и, дыша в лицо винным перегаром, рассказал, что сватовство «на мази», что приехала уже сама вдова Перлис и теперь обшивает себя и дочку к помолвке. Упомянул он и о жене Элиши: он накануне столкнулся на улице с меджибожским сватом, и тот указал ему на драгунского офицера, с которым она жила.

Покончив с делами и бродя без цели по главной улице, Бурман увидел вдову Перлпс с дочерью. Вместе с таскавшимися за ними дамским портным, скорняком и модисткой они вошли в магазин, где их тотчас окружили угодливые приказчики.

Но ему все было совершенно безразлично, даже и то, что его порядком потрепанная одежда никак не подходила для нарядного города. Его тянуло назад в Дубрович, к дому Элиши, к той крупной, стройной, коротко стриженной молодой женщине, которая не подняла скандала из-за маленькой дерзости, которая, неизвестно почему, так поспешно вышла замуж за Элишу Оснаса. Отчетливее, чем когда-либо, отдавался у него в ушах ее голос: только Вчера вечером он стоял, притаившись, у открытого окна своей комнаты и с бьющимся сердцем прислушивался к ее разговору с полькой-прачкой на соседнем дворе:

«Если будете хорошо стирать, у меня всегда найдется для вас работы дня на два в неделю».

Вернувшись Е Дубрович, Бурман выспался и вышел погулять. Фрадочка завидела его из окна и подозвала.

— Бурман, — быстро заговорила она, оглядываясь по сторонам, — вы с ума сошли? Почему вы вдруг исчезли?.. Я вчера два раза заходила к вам,' >

Ей удалось быстро и ловко провести рукой по его волосам, даже лабазник, стоявший напротив в дверях своей лавки, ничего не заметил.

На ней была все та же зеленая, с короткими рукавами, кофточка, глаза ее казались подернутыми пьяной дымкой. И Бурман понял, отчего она так таинственно озиралась и зачем приглашала его зайти. Он последовал за нею, усмехаясь в усы. Мысли его путались, но одно было ясно: Элиши сейчас нет дома. И Бурман решил на все махнуть рукой — ему так или иначе некуда бежать из этого городка, который выставит другого кандидата в казенные раввины. Когда он следом за молодой женщиной прошел в ее спальню, у него мелькнула новая мысль:

«Глупый человек, все в жизни — вздор!.. Честное слово — вздор!»

И спокойно, с хозяйской уверенностью, он запер за собой дверь.

IV

Курсистка Маня твердо решила развестись с Фройкой. Об этом знало все местечко.

Элиша однажды раньше обычного вернулся с рынка и стал весело рассказывать Фрадошке и Бурману, сидевшим в гостинной.

— Ну, что вы скажете!.. Она его бросает! Чтоб я так жил на свете! Сейчас у Фройки полон дом народу, все орут, Маня требует, чтоб он вернул ей приданое... Она уезжает на свои курсы.

Фрадошка была женщина с головой. Недаром Элиша хвастал, что его жена складывает в уме какие угодно числа.

— А где Фройка возьмет три тысячи, чтобы отдать ей, когда он все всадил в типографию? — трезво спросила она.

Бурман хранил молчание. Он сидел в кресле напротив Фрадошки, перекинув ногу за ногу, с видом человека, который выше таких пустых разговоров. Усы он сбрил по желанию Фрадошки, куртка его была застегнута на все пуговицы, чуть не до горла. Ему было немного не по себе: он избегал встречаться глазами с Элишей, так неожиданно вернувшимся домой. Это не укрылось от Фрадошки, и, стоя за спиной Бурмана, она легонько уцепила его и воскликнула:

— Глядите, вот, кажется, идет Фройка!

Все бросились к окну и проводили глазами Фройку. Он быстро шагнул к себе в типографию, — этот черномазый курчавый скупердяй оставался невозмутимо спокойным и, повидимому, попрежнему старался зажать каждый грош.

Бурман пошел к Фройке прямо от Элиши. Войдя в типографию, он сразу опустился на какой-то грязный ящик.

— Глупый человек, — сказал он, смущенно улыбаясь, — пора бы тебе знать: все в жизни — вздор!.. Честное слово — вздор!..

Он подразумевал свои отношения с женой Элиши, свое щекотливое положение в этом охладевшем к нему городишке, где скоро выставят другого кандидата и рабинеры, и незавидное положение Фройки, которого бросала жена. На Фройку его слова не произвели никакого впечатления. В поисках какого-то шрифта он ко-

пошился под столом и оттуда ответил таким тоном, словно услышал нечто давно ему знакомое:

— Конечно, вздор!.. Новость какая, — чудак!

Он вышел в смежную комнату, где работали два наборщика, и до Бурмана донесся его крик:

— Готово? Что же ты не скажешь, дурья голова! Буди мужика! Эй, ты, запускай машину, потягиваться будешь на печи!..

Дня через три Элиша сам затащил Бурмана к себе. Ещё в дверях он весело бросил жене:

— Фрадоchка, рабинер пришел! Иди скорее к нам, сыграй ему что-нибудь!

И тут же он пристал к Бурману с пером и чернилами:

— А ну, пане рабинер, настрочите мне, сделайте одолжение, прошение мировому! Такое, знаете, чтобы за печенку хватало!

Обращаясь к жене, он льстиво добавил:

— Ты думаешь, для него это большое дело? Пусть бы твои меджибожские адвокаты так писали!

Фрадоchка была еще в пеньюаре. Она нашла, что Бурман плохо выглядит, и незачем утомлять его какими-то прошениями.

— Лучше распорядись, Элиша, чтобы дали рабинеру стакан горячего молока, — сказала она.

Едва Элиша вышел, Фрадоchка села рядом с Бурманом. Она уже собиралась спросить, скучал ли он по ней, но в прихожей вдруг послышались громкие возгласы. Элиша и служанка стремглав кинулись на улицу. Выскочив вслед за ними, Фрадоchка и Бурман увидели людей, бежавших со всех концов городка к скверу, и спросили возвращавшегося оттуда парня, что случилось,

— Пустяки! — ответил тот. — Манин дядя опечатаЛ Фройкину типографию. Сама Маня еще вчера уехала.

Бурман направился в типографию и нашел перед домом большую толпу, среди которой бушевал разъяренный Фройка. Три человека вцепились в него, а он все порывался избить жениного дядю и содрать с дверей судебную печать. Вид у него был отчаянный, и крепко державшие его люди не были уверены, что он не пустит в ход ноги или голову. Когда его, наконец, отпустили, он немного успокоился, перевел дух и прежде всего посмотрел на окружающих ненавидящим взгля-

дом и с таким удивлением, словно только-сейчас заметал" их.

— Ну, чего собрались? — крикнул он. — Какого дьявола вам тут надо?

Усевшись на ступеньках опечатанной типографии, он задумался. Мысли его унеслись вслед за сбежавшей женой — поговаривали, что в Киеве за ней какой-то студент ухаживает. Он думал и о себе: сколько труда вложил он в типографию, с каким упорством работал, и все пошло прахом!

Бурман издали наблюдал за ним. Подошли Элиша с женой.

— Пойдемте! — сказала Фрадочка, — Что тут стоять?

«« л. ;'• lit • , - • у .

Фройка Черкис почти не выходил из дома. Он терзался от безделья и думал о Мане:

«Не дам развода!.. Шиш на!..»

В недавно отремонтированных комнатках все оставалось в том же беспорядке, все было раскидано, как в день отъезда жены. Постели разворотила Маня, когда вытаскивала из-под одеял свои собственные две подушки. В крошечной столовой роились мухи над обедками селедки и хлебными корками. На дворе лило, как из ведра, а в доме было душно, как в свежеевыкрашенном дачном вагоне. Фройка ни разу не потрудился открыть окно или позвать кого-нибудь подмести в комнатах.

Но однажды под вечер, когда дождь перестал, Фройку вдруг охватила досада — чего он сидит взаперти? Сбрав двухнедельную бороду, он хорошо умылся и, всем назло, достал из шкапа новый, ненадеванный костюм. Облачаясь, он размышлял о том, что тыщонка у него все же осталась и с голоду он не умрет.

«Проживу и без Мани!»

Близилась сумерки. От плохо вымощенной базарной площади до окраины городка тускло поблескивала под ногами жидкая грязь. В одном из последних домов высунулась из окна девичья головка, черные глаза с застенчивым и жадным любопытством уставились на Фройку, а потом проводили его долгим взглядом.

Немного дальше стояли у плетня два еврея и внимательно рассматривали только накануне доставленный

им крестьянский сруб. Довольные выгодной покупкой, Они все же на время забыли о ней и долго не сводили глаз с Фройки.

— Ну, что ты скажешь! — нарочно громко заметил один из них, — Опять холостяком сделался! Видно, так на роду написано!

Фройка, будто не слыша, прошел мимо и направился к своей опечатанной типографии. Постояв с минуту, он вздохнул и задумчиво повернул назад. Проходя через базарную площадь, он на лету уловил несколько слов об Элише и его распре с городом, и у него тут же возникла мысль пойти к ненавидимому всеми Элише. Зная, что там на него будут смотреть со злорадным состраданием, он постарался придать себе при входе в дом залихватский вид: ухарски шлепнув себя сверху по соломенной шляпе и нахлобучив ее на самые уши, он крикнул, подражая деревенским парням:

— Здоровьица!

Когда Элиша выбежал на его голос из кабинета, Фройка сразу начал объяснять свой приход:

— Иду я по базару и думаю — почему вам не помириться? Просто душа болит и за тебя, и за мясников!

Элиша смерил его злым и вместе с тем грустным, как у барана, взглядом.

— Какой стал Вдруг жалостливый! — ехидно воскликнул он. — У него за мясников душа болит!

Фройка побледнел от обиды, но сдержался.

— Чудак! — продолжал он. — Я разве сказал, что мне только мясников жаль? Ведь и ты каждую неделю теряешь ни за что, ни про что рублей двести...

С того дня Фройка стал у Элиши своим человеком. Собственный дом ежеминутно напоминал ему тот ад, который Он в нем пережил. Взяв на себя роль третейского судьи, он повел переговоры с общиной от имени Элиши.

С утра он был уже на базарной площади и пытался втемашить тупоумным мясникам, что они должны итти на мировую. Лавочники, ненавидевшие Элишу и ни на грош ему не доверявшие, поднимали его насмех, но он не обращал на это внимания.

— Какая польза вам, дурни, от того, что бойня закрыта? — повторял он без конца мясникам. — Ведь резники все равно тайком у себя на дому режут кур и гусей!

Днем он распинался у раввина, обливаясь потом

среди набившихся туда дубровичан, которые не желали простить Элише самочинное погребение деда и твердили одно:

— Это же неслыханное дело!

Лукавый Фройка сочувственно гримасничал, пожимая плечами и нетерпеливо размахивая руками.

— Ну, хорошо, ну, ладно, ну покричали! — пытался он успокоить их. — Разве я спорю? Но я вас спрашиваю: чего вы своим упрямством достигнете?

Усталый, измученный, накричавшись до хрипоты и отчасти жалея, что ввязался в это дело, Фройка лишь к вечеру приходил к Элише. Перед ним тотчас ставили ужин и расспрашивали о делах. Быстро и жадно жуя, он рассказывал, что ему удалось сделать за день.

— Ты свидетель, Бурман, — то и дело повторял он, — Элиша обещает сотнягу, если я помирю его с общиной.

Фрадочка деловито слушала и быстро соображала.

— Поди сюда, Элиша, — отзывала она мужа в кабинет и шепталась с ним.

Потом, в вечерней прохладе, садились за преферанс. Все ждали этой минуты с нетерпением. Обычно засиживались далеко за полночь.

Крепко и спокойно спал безмолвный городок, утопая в мраке. По дороге из Меджибожа проезжал иногда фургон с сонными пассажирами. Невольно седоки поворачивали головы к единственно не спавшему дому, всех манили эти освещенные окна, как иллюзия счастья.

Иногда до слуха игроков доносился из прихожей скрип осторожно открываемой двери. Все напряженно ждали, но каждый раз оказывалось, что это не кто иной, как заглянувший со двора сторож.

— Ян, что на улице? — нарочно по-еврейски окликали его.

Ян, конечно, догадывался, зачем это делается, и в тон отвечал, коверкая еврейские слова:

— Темно на улице, пане! \v

Следовал взрыв хохота, и сторожу высылали на кухню десяток папирос.

Элиша играл с толком. Он не ошибался и нещадно ремизил партнеров. Такова уж была его натура — за картами не думать о делах, столь часто выводивших его из себя. Он не замечал, что делается вокруг. Зато Фройка знал, что Фрадочка под столом не прекращает нежной беседы с Бурманом. Зависть охватывала его.

— С лихвой! С лихвой! — гримасничая передразнил он его и злобно смерил с головы до ног.

Все же он заперся в кабинете и там прикинул на счетах, сколько он заработает за один только, скажем, канун Судного дня. Получилось даже больше, чем он предполагал. Он согласился производить расчет с мясниками через их представителя. Фройка снова ликовал и приставал ко всем:

— Ну, что я говорил!

Но на той же неделе пошел слух, что лавочники возражают против условий мировой, а мясники опять собираются прекратить убой. Почтенные евреи, которые, казалось, мухи не обидят, стояли кучками на рынке и «просвещали» мясников:

— Какое вам дело до того, что община с ним помирилась? Сумасшедшие люди! Ведь ему рано или поздно пришлось бы бросить свою «коробку» и убраться отсюда!

Тут же расхаживал спаиваемый лавочниками пьянчуга-сват, сморкался в лоскут оберточной бумаги, который снова прятал в карман, и рассказывал невероятные вещи про жену Элиши:

— В Меджибоже все знают, что она жила с офицером! Он и сейчас еще дает ее матери деньги.

— Кто, кто? — с хохотом переспрашивали его. — Кто дает деньги ее матери?

Сват притворялся, будто принимает расспросы всерьез, и в сотый раз божился:

— Чтоб мне с места не Сойти! Деньги дает драгунский офицер, с которым Фрадочка жила.

Элиша рвался на рынок, чтобы раскроить башку старому пьянчужке. Фройка силой удерживал его.

— Дурак безмозглый! — кричал он. — Сиди дома! Это все пронесет. Ты пойми, не может город остаться без мяса к праздникам!

Но Элиша все-таки поймал грязного свата и в кровь избил его.

Фрадочки в это время не было дома: она гуляла с Бурманом.

Стоял тихий, очень темный вечер. И вдруг послышались вопли, от которых дрожь пробежала по спине. Сразу стало ясно, что кричит старый человек, которому пришлось худо. С разных концов городка на базарную площадь устремились здоровые молодцы, перекликаясь, как слепые, не узнавая друг друга в темноте. В воздухе

повис ужас, словно происходило страшное избиение. Слышался громкий детский плач. Сбежавшиеся люди нашли старенького, вечно пьяного свата сидящим одиноко на земле. Сгорбленный, насмерть перепуганный, он держал руку под носом, из которого капала кровь, и дрожащим голосом, всхлипывая, повторял:

— Ой, убил меня этот негодяй, этот выродок!.. Ой, как он меня избил...

— Ребята!—послышался чей-то негодующий голос.— Неужели мы ему спустим?

Но в этот миг грянул двойной гром и перекатился по всему городку:

— Трах-тах-тах-тарарах!

Это Элиша дважды выстрелил в воздух у себя в саду. Первый раз — ради собственного успокоения, второй — с целью показать, что он никого не боится.

Окровавленного свата водили по домам, от одного почтенного еврея к другому: «Нате, мол, люди добрые, смотрите, что с ним сделал этот разбойник!»

Старый пьянчуга кряхтел, стонал и корчил рожи, хотя у него уже ничего не болело. Ему наперебой доказывали, что он может получить с Элиши хорошие деньги. А мясники ходили за ним следом и говорили, что с завтрашнего дня опять прекратят убой.

Фройка примчался к Элише. Он был разъярен — сотенка, которую -он ждал за свои труды, ускользала из рук. Как одержимый, носился он по столовой и вопил:

— Ну, конечно! Кто же не знал?! Разве трудно было догадаться, что Элиша обездолит и себя, и весь город, и всех, кто с ним имеет дело?!

Фрадочка, из-за которой, в сущности, все и произошло, сидела, отвернувшись. Она была румяная после прогулки, но чувствовала себя плохо.

— Этого еще не доставало! — Еозмушалась она. — Пусть старый пьяница языком плетет!

Тогда побагровевший Элиша круто повернулся к Фрадочке и, впервые рассердившись на нее, зло передразнил:

— Языком плетет! Языком плетет!

При этом он иронически сощурился.

Потом он накинудся на Фройку, и тот, окончательно обозленный, выбежал из дома. Элиша почувствовал к нему такую же ненависть, как и ко всему городку.

— Иди себе, иди! — бросил он ему вслед. — Никто тебя не звал!

Фрадочка была очень обижена. Когда Элиша пытался ее приласкать, она отталкивала его плечом и, отвернувшись к стене, говорила своим волнующим голосом:

— Как он мне противен! Видеть не могу!

Элиша, уязвленный, закусывал губы и, засунув руки в карманы, только фыркал:

— Пхе!

Этот звук имел разные значения:

«Какую она из себя недотрогу корчит!»

Или:

«Ничего, ничего, пройдет!.. Смиляется!»

Но она уехала к матери. Когда Элиша вернулся из ближнего села, куда ходил по делу, Фрадочка уже упорхнула.

Этого он от Фрадочки не ожидал.

В доме было необычно тихо, неубрано, — сдвинутые с мест стулья, казалось, скучали по хозяйке. Обед опоздал, так как служанка все утро возилась с проводами хозяйки. Элиша кинулся в спальню. Удостоверившись, что все Фрадочкины вещи в шкапу, он немного успокоился.

«Ничего, ничего, смиляется! — утешал он себя. — Я-то, во всяком случае, за ней не побегу!»

Весь день он был дома и не знал, что делается в городе. Фройка больше не показывался. Под вечер позвонили. Элиша бросился открывать, полагая, что жена вернулась. Но это был Бурман, — он пришел звать Фрадочку на прогулку.

— Нема! — с плутовским видом сказал ему Элиша и сделал руками движение, словно собирался лететь. — Упорхнула!

— Упорхнула? — с растерянной улыбкой повторил Бурман и вдруг почувствовал себя мальчиком, который пришел к своей маленькой приятельнице, а большой дядя говорит ему:

«Нет ее, глупенький... Придется тебе итти домой!»

Смущенная улыбка не покидала его и на улице. Увлечение Фрадочкой показалось ему вдруг необычайно ребяческим, совсем не к лицу ему, серьезному человеку. Бурман круто остановился и оглянулся. На зеленой площади скверика не было ни души. Все с той же улыбкой, тыча себя в грудь, он впервые вслух заговорил сам с собой:

— Дурак!.. Честное слово, ты дурак!..

Элиша каждый вечер ложился спать со щемящей тоской в душе.

«Завтра утром еду за Фрадошкой! — говорил он себе. — Как встану, отправлюсь в Меджибож...».

Но он видел дурные сны, по большей части связанные с убытками, которые он нес, и просыпался с новой досадой на Фрадошку. Одеваясь, Элиша бормотал;

— Так я и бросил все дела и помчался за тобой!..

В городке опять усилилось озлобление против него. Элише становилось ясно, что он погибает, что ему грозит нищета. Об обиравшейся Фрадошке не было времени и думать.

И опять во всем были виноваты лавочники и пьянчуга-сват, которого Элиша избил. На многолюдном сборище в одной из молелен было решено:

«Община отказывается иметь Элишу арендатором «коробки».

К решению примкнули и мясники. Двух человек из своей среды, «перекинувшихся» на сторону Элиши, они избили. Опять превратился убой. Перестал приходить человек и приносить пригоршни серебряных монет, от которых еще пахло салом и свежей убоиной. Он без дела слонялся по рынку, грызя семечки. Лавочники повеселели, предвкушая победу. Они даже подзуживали мужиков, которые тащили Элише кожухи в заклад, и уверенно говорили:

• — Скоро он по миру пойдет! 1 " . .

Потом мясники собрались отдельно и "решили намять Элише бока. Они не привыкли много думать и орали все сразу:

— Кишки ему выпустить!

— Откуда он взялся?! Он здесь чужой!

Темной ночью они выбили стекла у резников — пусть перестанут тайком резать кур и гусей! Волнение в городке усилилось. Гадали: чья работа, но мясники, чтобы отвести от себя подозрение, выбили стекла также у одного из своих. Утром они снова стояли без дела на базарной площади и сами посмеивались над собою и чад затеянной ими тяжбой:

— Многого мы добьемся!.. У Элиши-то нет детей, которых ему надо было бы кормить!

— У этого человека — ни бога, ни совести! От него всего ждать можно!

Ице Варатута, неопрятный пожилой мясник с нелепо длинной бородой и воспаленными веками, промямлил:

— Покуда Элиша истратит все деньги подохшего Мейлеха-мужика, мы и сами с голодудохнем!

Ему нахлобучили шапку на глаза и принялись дразнить:

— Баранья башка!.. Иди, выбей у него стекла!

Варатута был злой, сильный и тупой человек. На тайном собрании мясников он первый высказался за то, чтобы набить Элише морду, но он понимал, что о таких вещах не надо болтать и днем этого сделать нельзя. Он втянул голову в плечи, оттолкнул от себя приятелей и бессмысленно ухмыляясь, ответил осипшим голосом пьяного возницы:

— Сами идите!.. Чтоб вы сгорели!

Днем Мясниковская братия увидела проходивших мимо Бурмана и Фройку и принялась улюлюкать им вслед, словно это были не люди, а бродячие псы.

— Одна компания с Элишей!

:— В одних гимназиях учились!

Кто-то заметил служанку Элиши, выходившую из лавки, и вслед ей понеслось:

— Подожди, подожди, скоро отродью Мейлеха-мужика крышка!.. Он думает, мы не знаем, что у него в кармане револьвер!

Вдруг из узкого проулка выскочил Элиша. Сопровождавший его стражник остался ждать. Элиша бросился прямо в кружок мясников и полез с кулаками на оторопевшего Ице Варатуту.

— Ну, ну, тронь меня! — заорал он. — Ты, может, думаешь, я тебя боюсь?.. Иди доноси, что у меня револьвер!

Уж очень накопело на душе у Элиши. Все утро простоял он на окраине городка, возле бойни, надеясь, что кто-нибудь придет резать скотину, и с отчаяния полез с кулаками на мясников...

у ш

Сторож Ян поссорился со служанкой. Он отказался вынести лохань с помоями, и возмущенная женщина перестала оставлять ему жирные луковицы из супа, до которых Ян был большой охотник.

— Можешь подохнуть там! — кричала она из кухни, когда он тщетно тянул запертую изнутри ,'чВерь. — Ты

у меня будешь, как собака, всю ночь на улице мерзнуть!

Сторожу было скучно, не с кем было поболтать. В продолжение всей непроглядно темной ночи его свисток тоскливо сверлил тишину в разных концах большого сада. На рассвете он остановился поговорить с человеком, который нес с рынка говядину, затем, не теряя времени, принялся стучать в окно к Элише:

— Барин!.. А, барин!.. В городе торгуют мясом!..

Элиша в испуге вскочил — этой напасти он все время больше всего и опасался.

«Ага!.. Мясники!..»

* ' '

Спросонья, в одном белье, подбежал он к окну и распахнул его:

— У кого ты видел мясо?

Волосатая грудь Элиши бурно вздымалась, пока сторож рассказывал. Он не ощущал утренней сырости и холода, занятый одной¹ мыслью:

«Привозное мясо!»

Поднятый с постели ни свет ни заря, он особенно остро и болезненно воспринимал происходившее. Весь городок — и мясники, и лавочники, и мужики — все, чувствовал он, ополчились против него, слились в одну беспощадную, безмолвно надвигавшуюся на него стаю. Со страхом в душе он лихорадочно быстро одевался и через несколько минут уже бежал по погруженным в сон и окутанным полумраком проулкам позади базарной площади.

«Поймать их!.. Во что бы то ни стало поймать!»

Он бросался от одного дома к другому. Казалось, ему нужен не этот дом, а вот именно тот, потом уже и не тот, а другой... вон тот, например, возле которого темным пятном чернели вылитые накануне помои, или тот, который, как и вся улочка, утопал во влажной пред-рассветной мгле... С проселочной дороги доносился скрип тяжело груженных телег. Бесконечной лентой они лениво тянулись со свеклой на сахарный завод. Вот, дрожа, простерлась по сырой, холодной земле гигантская серая тень от креста на высокой церкви, заалевшая раньше, чем выглянуло солнце.

Вдруг Элиша как вихрь метнулся к одной из задних

¹ Привозить из другого города мясо, не оплаченное местным налогом, по закону запрещалось.

дверей, куда собиралась войта с кошелкой заспанная служанка. Еле переводя дух, он схватил ее за руку.

— Ага!.. Мясо?.. Откуда мясо?.. Где ты его взяла?..

Через пять минут он уже стоял с кошелкой в руке перед раввином и стучал кулаком по столу:

— Вот как вы охраняете закон! В городе жрут привозное мясо, а вы знаете и молчите?!

Раввин только что встал, он еще не кончил утренней молитвы.

— Чего тебе от меня надо? — отозвался он, пожимая плечами. — Уж не ты ли будешь учить меня, как охранять закон?!

От него Элиша бросился к становому, телеграфировал исправнику... Часа через полтора он уже рыскал в сопровождении четырех стражников по домам мясников, шарил на чердаках и в погребах, но ничего не нашел. Потом он долго без сна валялся в своей затемненной спальне. Полуодетый подошел к окну и долго с тоскою глядел на улицу.

Светило уже полуденное солнце, над крышами домов поднимался дым, в каждой горшке варилось мясо — это варили привозное мясо! Элиша ни на миг не забывал, что с каждым днем становится все беднее... Все пропало, теперь ничем беде не помочь!

Через два дня пришла бумага от исправника с предписанием задерживать мясо, которое будут привозить из других мест.

Элиша держал это в тайне, откладывая действия на канун еврейского Нового года. Он бегал по комнатам, скрипя зубами от ярости, преисполненный непримиримой злобы ко всему городку.

«Негодяи! Погибели на вас нет!.. Я вам покажу...»

А тут еще начались ненастные дни. Улицы утопали в осенней мгле, беспрестанно моросило. Дороги размыло. Мясники с большим трудом тайком доставляли мясо из соседнего города.

— Кровью оно нам достается! — роптали они. — Не хотят мужики везти, чтоб они пропали!

Сторож Ян, посланный в ближнее село разнюхать, что там делается, вернулся однажды с известием, которого Элиша ждал:

— Мясники наняли Петра-маленького и Сидора с мельницы. Они за темно поедут в город за мясом и на рассвете, накануне вашего Нового года, придут в Дубрович.

Дождь пеленою -повис в воздухе, теплый пар поднимался от земли, как из-под намокших груд навоза. За два дня до еврейского Нового года пар сгустился в бурый туман, целиком поглотивший городок. Приезжие мужики не узнавали окраинных домов. Весь город, казалось им, на версту передвинулся.

Жители в эту ночь рано улеглись спать, чтобы пораньше встать к утренним поминальным молитвам, и только в домике напротив окутанной туманом базарной площади мерцал огонек. Там, у Элиши, все уже было рассчитано и подготовлено. Четыре стражника караулили на четырех дорогах, которые вели в Дубрович. С Злишей дома были урядник да еще сторож Ян, который перед тем долго бродил по ближнему селу и теперь спал в коридоре возле кухни. В столовой пол был покрыт грязью, на столе горела только коптилка, да и в той приспустили фитиль, чтобы не привлекать внимания с улицы. На четырех составленных стульях лежал толстопузый и короткий урядник, успевший опрокинуть немало стаканчиков водки, и вкусно храпел, надувая щеки и губы.

Элиша был в пальто. Глубоко задумавшись, сидел он на кушетке, забившись в угол, как сидят пассажиры в вагоне третьего класса, и не сводил глаз с широких зеленых шаровар урядника и его облепленных грязью сапог. Незадолго перед тем, стоя на крыльце, он долго вглядывался в ночной мрак. С крыши капнуло прямо за ворот, и по спине прошла холодная дрожь. «Быть сегодня беде!» — подумал он, но потом, вернувшись в столовую, забыл об этой мысли. Ссора с городом казалась чем-то далеким и смутным, словно она случилась давным-давно, в дни его юности. Его охватило безразличие ко всему, даже к беде, которой следовало ожидать, и он задремал, уронив голову на грудь.

Приснилось Элише, что старый дед сидит на крыльце и беседует с рослым мужиком о своем внуке и вообще о нынешней молодежи, которая не умеет беречь копейку.

«Так-то, так-то!» — бормочет Мейлех-мужик, и голова его опускается все ниже.

Внезапно Элиша очнулся, и опять кровь закипела в Нем: окно напротив, черневшее до сих пор мертвым пятном, вдруг будто ожило под барабанившими по стеклу пальцами.

С большим нетерпением слушал Элиша стражника, рассказывавшего, что одну подводу с мясом ему удалось захватить, другая ускользнула, прямо из-под носа.

*- Обездолили меня!—раскричался Элиша на урядника.—Эта полиция меня в гроб вгонит!

И, не слушая, что, запинаясь, говорил заспанный полицейский, он выбежал на улицу.

В эту же ночь мясники поймали Элишу за городом и избили до полусмерти.

Это произошло в логе между березовым леском и заброшенным мостиком по дороге в Торговицы, как раз в ту минуту, когда Элиша в темноте набрел на скрывающуюся от стражника подводу. Не успел он броситься назад за полицией, как получил первую затрещину от одного краснолицего мясника.

— Вот тебе!—прошипел тот сквозь стиснутые зубы. — Не лезь другой раз, куда тебя не звали!

Кровь хлынула у Элиши изо рта и ушей; он почувствовал жгучую боль. Но сознание продолжало работать спокойно и ясно. Глаза скосились влево, чтобы взглянуть, кто нанес удар. В тот же миг затрещина повторилась справа. Кто-то ударил его сзади под колено, и он упал, успев подумать, что все, кто мог бы ему сейчас помочь — Фрадочка, Фройка, Бурман — далеко, и помощи ждать не от кого. Перед тем, как сомкнулись залитые кровью глаза, промелькнула нелепая, длинная борода и бессмысленные глаза, затем кто-то занес ногу в огромном сапоге, и Элиша услышал полный бешенства голос:

•— А ну, Ице Варатута, всыпь ему всухую!.. С умом действуй, болван этакий!

Огромный сапог с сокрушительной силой ударил Элишу под ребра и сразу перевернул его лицом вниз. Кто-то наклонился над ним и стал говорить, как обращаются к покойнику, прося прощения за старые обиды:

— А помнишь, как ты старого свата бил?.. Погибели на тебя нет!

Сапог бил по голове, в ребра, под сердце, ходил по всему телу, и Элише казалось, что через него проехала подвода с захваченным мясом. Потом все разбежались, заслышав свистки стражников.

Когда Элишу с первыми проблесками света принесли" домой, он все еще был без сознания. Возле него не было ни одного близкого человека. Урядник пытался привести его в чувство бесконечными вопросами, остававшимися без ответа.

Утром, когда солнце уже скудно светило сквозь

слегка согретый туман, перед домом Элиши собрались женщины со всего городка, дожидаясь выхода земского врача. Он уже полчаса находился в доме и накладывал Элише швы на голову.

Первым показался фельдшер. Равнодушно сплюнув, он охотно стал отвечать на расспросы. Скоро все знали, что с Элишей плохо. Доктор, мол, сказал:

«Внешние повреждения не опасны для жизни. Вся беда в глухом кашле. С таким кашлем долго не проживешь».

Элишину соседку осенило. Увидев возчика на базарной площади, она сказала ему:

— Чего ты тут зря торчишь, дубина? Езжай в Меджибож за женой Элиши, получишь вдвое больше, чем с любого другого пассажира!

Возчик долго колебался, но, наконец, стегнул по лошадям и укатил в сторону Меджибожа. Он рассчитал: если поспешит, то заработает, быть может, целую пятерку и вернется до наступления праздника, даже в баню поспеет. Он вернулся перед заходом солнца, усталый, без седока, не зная, на кого быть в обиде.

— Вот-те и проехался! — жаловался он. — Сперва Фрадошка мило улыбнулась: «Подождите, я сейчас поеду!» Потом выходит ее мамаша — стерва этакая, чтоб ей сквозь землю провалиться! «Передайте ему, — говорит, — что номер не пройдет, ничем он не болен, и никуда Фрадошка не поедет, пока он не выпросит у нее прощения!»

IX

Поздним вечером рабинер Бурман уложил свои вещи, чтобы на другой день навсегда покинуть Дубрович. Когда он после этого лег спать, ему снилось, что сестра, горбатенькая массажистка, провожает его в путь.

«Братец, — говорит она с любовью и преданностью, — на твоей студенческой тужурке недостает пуговицы».

И когда она потянулась за пуговицей, Бурман проснулся подавленный, с чувством вины, словно стала известна его причастность к незаконному освобождению призывников от воинской повинности.

«Бурман, — мысленно произнес он, не открывая глаз, — непонятно, как тебя еще земля терпит!»

Полный раскаяния, он все утро ходил взад и вперед по комнате, часто задерживаясь возле стола, где еще с

летней поры лежали, в ожидании ответа, письма. Сколько укоризны таилось в них, сколько жалости к одинокой сестре будили они в нем!

Не раз она ласково журила его: «Братец, ты все глубже увязаешь в болото... Еще не поздно спастись...».

Теперь она перестала писать. Она, верно, бедствует, но и об этом не пишет.

От глубоких переживаний Бурман снова лег в постель и во сне не переставал думать о письме, которое dokonчит, как, только встанет.

«Дорогая сестрица... — начиналось оно. — «Я подвожу итоги своим блестящим успехам за прожитые тридцать лет...»

Бурману снились покойные родители. Вот все сидят за столом, на котором шумит самовар, и отец, писарь городской управы, говорит сыну:

«Когда у человека в тридцать лет нет еще крова и он не задумывается, что с ним завтра будет...»

Но как-то получилось, что письмо к сестре осталось неоконченным, а Бурман только проспал в этот день несколько лишних часов. И никуда он не уехал. Его отяжелевшее тело неспособно было слишком долго реагировать на душевные переживания. Махнув на все рукой, он снова погрузился в глубокий сон.

Очнувшись, наконец, от охватившей его одури, Бурман принялся обливаться холодной водой. Никакие мысли не тревожили его больше. Он помнил только, что был некогда студентом, а теперь он рабинер в Дубровице. Община хочет его сместить, и поэтому не его вина, если он ходит без дела и... приглядывается к миловидной смуглой модистке. Ему нужно хорошенько продумать свои отношения с Фрадочкой. Он ждет ее — должна же она когда-нибудь вернуться.

Когда солнце склонилось к закату, в Бурмане с прежней силой заговорил мужчина, и он очутился на улице, в самом конце безлюдного скверика. Там он повстречался с земским врачом, с которым они все лето купались в холодной змеящейся речке. Тот пристально, чуть сощурился, посмотрел на него и приятельски шлепнул по жирному бритому затылку.

— Красивый вы мужчина, Бурман, — улыбнувшись, сказал он. — Но от безделья вы чудовищно жиреете... Это вредно. Идемте ко мне, наколите дров.

Бурман ответил улыбкой. Доктор взял его под руку

и вместе с ним зашагал к костелу, близ которого ему нужно было навестить больного.

— Элиша совсем плох, — сказал он, — вряд ли. неделю протянет.

— Что вы? — как будто испугался Бурман.

Но тут же он подумал о Фрадочке, — не вернулась ли она?.. Нужно было навестить больного.

Он только попрощался с земским врачом, как из соседнего переулочка, усаженного деревьями, показалась миловидная, хорошо сложенная смуглая модистка. Она прошла совсем близко, обдав Бурмана запахом духов, даже не взглянув на него. У него в ушах отдавалось шуршание ее юбки, и он так распалился, что чуть было не окликнул девушку по имени, чуть было не остановил ее за руку... И проводил ее восхищенным взглядом.

Солнце заходило, большое и красное, как огромный апельсин. Зарево его отражалось в окнах домов, и на этом фоне девушка казалась очень молодой. Не переставая думать о ней, Бурман усмехнулся и зашагал следом. В тесном переулочке, где модистка жила с матерью-вдовой, с ним столкнулся Фройка Черкис. Он сразу догадался, на какой домик метит Бурман, и, подмигнув, воскликнул:

— Разбойник, ты что тут делаешь?! Ведь она уже просватана! Она выходит замуж за шорникова сына...

Фройка был весело настроен. В последнее время он носился с ворохом преискурантов и продавал окрестным помещикам плуги и молотилки. В записной книжке, которую он тут же хвастливо показал Бурману, были отмечены заказы, которые должны были принести ему сотни рублей комиссионных. Даже сейчас, в будний день, на нем был новехонький зеленоватый костюм, белоснежная сорочка и пышный галстук, какие носят в большом городе.

— Главное, — затараторил он, — не терять головы и зарабатывать деньги — вот!.. Пстой, — а как Элиша? Ты у него не был?

Он говорил разом обо всем, но прежде всего ему хотелось объяснить, почему у него, Фройки, такое хорошее настроение.

— Видишь ли, милый мой, — сказал он, взяв Бурмана под руку, — я стал зарабатывать и снова зажил по-человечески. У меня уже нет никакой обиды ни на тебя, ни на Маню, ни на Элишу. Зайдем, проведем его.

Уже в прихожей они почувствовали, что в доме без-

надежно больной. Элишина горе-служанка сразу принялась жаловаться: она одна-одинешенька с «ним» во всем доме, «он» совсем извел ее.

Она даже перестала называть Элишу по имени.

— Я ведь тут одна! — без конца повторяла она. — У меня уже сил нет!

В доме стоял запах мышиного помета и давно не прибранной кухни. В столовой, прямо на столе, стояло ведро с грязным льдом, вокруг него валялись обглоданные куриные косточки... Эти косточки почему-то особенно напоминали о гнетущей безысходности, наполнявшей всю тускло освещенную комнату до дверей затемненной спальни. А служанка не переставала причитать:

— Он уже и есть совсем престал. Одни прихоти! Он только и знает, что гонять мект по всему городу. Доставай и готовь ему то одно, то другое! Я из кухни не вылезаю!

Накануне Элише вдруг захотелось творожников. Пришлось ей чуть ли не ночью бежать за маслом и творогом. Только она прилегла на полу у его двери, он опять разбудил ее, — ему показалось, что он мог бы что-нибудь скушать, скажем, пирожок с мясом.

— Вы только зайдите ко мне на кухню — стоят там и творожники и пирожки! Не прикоснулся даже!

— Вы бы потише, — сказал ей Бурман, указывая глазами на дверь.

Она только злобно усмехнулась —

— Вы, может, думаете, он спит?.. Он и глаз не смыкает. Сам не спит и мне не дает.

Фройка и Бурман прошли в гостиную, на цыпочках добрались до стульев и сели рядом. Кругом было тихо. Бурман увидел на полу комок грязи, вероятно, занесенной еще несколько дней тому назад урядником. Он наклонился и долго не сводил глаз с пола, словно ожидая, что комок вот-вот сдвинется с места и поползет по комнате. Фройке стало скучно, он раскаивался, что пришел. Одной рукой он недовольно почесал за воротом, а другой слегка ткнул Бурмана в бок.

— Ты, в общем, неплохо проводил здесь время, а?

Затем он добавил что-то про Фрадочку. Она не знает, что Элиша так плох. Ему сосед рассказывал, что накануне Нового года видел ее с кавалерами в Меджибоже.

Служанка прошла в спальню и сейчас же вернулась удивленная.

— Что вы скажете?! — воскликнула она с таким недоумением, словно случилось нечто необычайное. — Уснул, наконец!

Х

Фройка блаженно проспал ночь, и во сне не переставая думать о заработанных накануне комиссионных, и проснулся довольный, бодрый.

«Дело пошло хорошо! — размышлял он. — Теперь не велика беда, что Маня меня бросила!.. Хочешь развод, — пожалуйста! Завтра же могу жениться на такой, как Фрадочка!»

Он оделся во все, что было у него лучшего и нарядного, и вышел погулять, свежий и веселый, как солнечное утро, игравшее над спрятанным среди холмов городком.

В сущности, он не так уж гонится за наживой. Как-никак, он фармацевт. Захочет, — бросит к чорту торговые дела и будет опять работать в аптеке. Ведь он, слава богу, не чета дубровическому быдлу!

На глаза ему попала младшая сноха мануфактур-шика Тункельштейна, та самая, которой бог детей не посылал. Она стояла на солнцепеке у входа в магазин, прислонившись к косяку.

«Какая жалость! — подумал Фройка. — Всякой молодой женщине так хочется иметь детей. — Когда у человека есть верный заработок, — размышлял он, — когда он сыт и одет, в нем непременно пробуждается жалость и к себе, и к окружающим... В конце-концов, человек не так уж плох. Взять хотя бы его, Фройку»...

Ему мучительно захотелось поведать свою мысль человеку с тонкой натурой, который выслушает его до конца и по заслугам оценит.

«Эх, если бы иметь друга!.. Как это обидно, что наш Дубрович такой грубый городишко!»

Он охотно пошел бы сейчас к рабинеру Бурману, повел бы его гулять по окрестностям, где поля по-весеннему залиты солнцем, и там сказал бы ему:

«Милый мой, хорошо тебе, пока ты думаешь только о заработке. Но когда, добившись своего, ты оглядываешься вокруг, то видишь чудесный мир и проникаешься к нему безграничной жалостью, и на душе у тебя становится тревожно».

Но Бурмана в последнее время из дома не вытянешь.

В былые дни, когда Он давал уроки и ходил в студенческой тужурке, с ним можно было поговорить. Теперь он только усмехается. Что ни скажешь ему, он только ухмыляется и молчит, как истукан!

«Как обидно, что наш Дубрович такой грубый городишко!» — снова подумал Фройка.

Он долго вертелся по базарной площади, франтоватый, веселый, и, наконец, остановил служанку Элиши, возвращавшуюся домой с кошелкой:

— Ну, как хозяин?

У нее было попрежнему изможденное от усталости и давно не мытое лицо.

— Теперь он только и делает, что спит, — ответила она. — Сегодня вдруг проснулся, и захотелось ему фаршированной рыбы. Битых три часа я по селу бегала, пока раздобыла вот эту шуку. Возчик еще вечером поехал к Фрадочке с запиской от доктора. Может, она уже приехала, тогда конец моим мукам!

— Вот как? — переспросил Фройка. — Она может еще сегодня приехать?

Его потянуло в Элишин дом. Но раньше он пошел к себе домой, пообедал и лег спать, чтобы не получилось так, будто он при первом сообщении о приезде Фрадочки сразу помчался туда.

Когда часа через три Фройка все в том же радужном настроении пошел проведать больного и, по былой холостяцкой привычке, еще в дверях крикнул: «Здоровья!» — Элиша лежал уже накрытый простыней. Тут же на комод стояла еще дымившаяся фаршированная рыба. Фрадочки не было, и никто не знал, когда она придет.

Стоя возле покойника со степенно-серьезным видом, Фройка не переставал говорить себе, словно оправдываясь:

«Что я, в конце-концов, врагом был ему, что ли?»

Вскоре он услышал скрипучие всхлипывания служанки, вбежавшей с пачкой свечей. Он почувствовал раздражение.

— Чего развизжалась? — прикрикнул он на нее. — Родного отца хоронишь?

Служанка ушла на кухню, и оттуда донесся ее приглушенный плач. Время тянулось нестерпимо медленно. Фройка вышел на крыльцо. На ступеньках сидел сторож Ян и рассказывал прачке, как мясники избили Элишу, а та по-польски осыпала проклятиями грубый городишко:

— Чтоб их холера забрала!.. Чтоб у них руки отсохли! Чтоб им ни здоровья, ни счастья не знать!..

Фройка издали увидел приближавшегося к дому рабинера и пошел ему навстречу.

— Что ты скажешь? Какой конец!

Но тут же он отозвал Бурмана в сторону и, подмигнув, сказал:

— Чего загрустил?! Неплохое наследство тебе оставил Элиша! Неплохую жену!

С минуту оба молчали. Бурман стоял, глубоко задумавшись, засунув руки в карманы пальто, и с благоговейным страхом смотрел на дом, где лежал покойник. Вдруг у него на лбу и вокруг рта собрались морщинки, на губах заиграла обычная усмешка.

— Глупый человек, — • сказал он, обращаясь к Фройке. — Все на свете вздор!.. Честное слово вздор...

1913 г.

ХИСЯ-СТРОПТИВАЯ

I

Ока была дурна, как смертный грех, эта Хися. Крохотное личико с длинным подбородком было изрыто оспой. С юных лет она внушила себе, что выйдет замуж только за «ученого», — а выдали ее за кузнеца Мойше-«татарина». И вот теперь она не хотела жить со своим мужем.

Ему же было крайне досадно, — ярость подкатывала к горлу. Нет, подумать только:

— Этот урод еще куражится!

Он нещадно колотил ее, но она стояла на своем — не хочет с ним жить, и все.,

В праздник «Симхес-тойре» он избил ее в последний раз.

В этот день ждали дождя, но дождя не было. Воздух был очень холодный, над местечком нависло хмурое небо. Оно, казалось, на все было согласно — пусть зима, морозы, все равно.

В доме раввина сидели подвыпившие гости, дверь была открыта, и женщины, стоя у порогов своих домишек, издали поглядывали туда. Они видели, как внутри, в комнате, рядом с раввином и рыжим Мотэлем — недавно избранным синагогальным старостой, покачиваются за столом степенные евреи. Там пили молодое вино, пели религиозные мелодии и стреляли арбузными семечками в бороду Иойне-длинному. Это были все «свои», приверженцы контикозовского рав'вина-«чудотворца». От расположения к Иойне-длинному они кричали ему:-

— Иойне!..

— Иойне, чорт бы твою душу унес!

Но Иойне-длинный делал вид, будто ничего не слышит. Он стоял, вытянувшись во весь рост, под градом арбузных косточек, и пел пронзительно громко, на молитвенный лад:

Только выпью шкалик, два,
Тут как тут моя жена
И давай орать-кричаты
Но, чтоб я так жил, друзья, —
На нее мне начихать!

И вдруг по всему местечку несутся испуганные возгласы, они быстро докатываются до дома раввина:

- Опять жену бьет!
- Кто? Мойше-«татарин»?
- Болячка ему в горло!

Все разом выбегают на улицу, собираются у дверей и смотрят, как кузнец гоняется по всей базарной площади за своей женой Хисей. Он — богатырского сложения, рукава у него засучены как в будние дни, когда он стоит в своей кузне и оковывает железом мужицкие телеги. Она — маленькая, сухая, как тощая курица. Всем известно, что она никогда не расстается с зеркальцем, — жалким осколком со стертой наполовину амальгамой. Эта уродина любит прихорашиваться. Улепетывая от мужа, она не забывает прятать рябое лицо подчистенькой белой косынкой, а ее раскосые плутовские глаза, как всегда, шмыгают по сторонам и не смотрят мужчинам в лицо, будто стыдась и скрывая какой-то грех. Она вбегает в дом богача, где служила до замужества, и жители местечка видят, как за ней тотчас запирают дверь.

- Кончено! — передается тогда из уст в уста.

Дом богача — старый, крепкий. Крыша плоская, стены белые, окна большие, в восемь квадратов; вдоль фасада — старые акации. Качаются старые деревья на ветру, качаются под хмурым октябрьским небом, под каждой тучкой, которая либо пронесется мимо, либо обдаст землю брызгами, качаются и без конца нашептывают бедняцким лачугам о богаче, построившем для себя этот дом, о его умершем сыне.

Сейчас в доме живет, чуждаясь всего местечка, вдова — невестка богача, она говорит только по-русски, в синагогу не ходит и время коротает в обществе местного врача, акцизного чиновника и самого станового.

Кругом местечка — грязь, болото. Голые, давно сжатые поля тянутся в гору и теряются в немой осенней мгле...

Лишь изредка пронесется помещичья коляска, оглашая улицу треньканьем бубенцов, скроется из глаз, и опять стоит, поникнув, крохотное местечко во мгlistой тишине. В грязи чавкают сапоги Мойше-«татарина», — он бродит одиноко среди лотков и лавчонок. Ему не кем перемолвиться словом. Не поднимая глаз, глубоко задумавшись, мучительно и остро переживая свою Миду, он время от времени сплевывает и ворчит:

— Болячка ей в глотку!

Это он ругает богатую молодую вдову. Она не возвращает ему жену. С самого праздника «Симхее-тойре» держит ее у себя и уже не раз приказывала ему передать, что даст ему пятьдесят рублей, если он согласится на развод.

Кузнец, к слову сказать, побаивается богатой вдовы: у нее в доме бывает сам становой. Все же раз он зашел требовать жену. Хиси уже не было в кухне: увидев мужа, она промчалась через все комнаты и спряталась у хозяйки в спальне. Долго стоял кузнец, дожидаясь ответа, как нищий — подавания. Из внутренних покоев, из хорошо протопленной комнаты, вышла с ребенком на руках няня, толстая крестьянка с приплюснутым носом и губами лакомки. Она долго разглядывала кузнеца хитрыми темными глазами. Ей нечего было ему сказать, она только хотела посмотреть, что это за человек, из-за которого рябой Хисе приходится укрываться у хозяйки. В конце-концов, вдова вышла к «ему и начала его бранить. Лицо у нее было удивительно подвижное. Кузнец молчал и только, насупившись, смотрел на нее исподлобья. Вид у него был растерянный.

«Болячка тебе в глотку!» — снова подумал он.

Наконец вся эта волынка до смерти надоела Мойше-«татарину». Работа в кузне не ладилась, дома некому слова сказать, во рту гадкий вкус, как на другой день поале праздника. Погода тоже дрянь.

Детей она ему не родила, эта рябая крыса, чтобы ей пусто было! Так и быть, он снова пойдет в большой дом — в последний раз... Он даст ей развод.

Вместе с Хисей к раввину пришла вдова и осталась все время, пока тянулась церемония развода. Она внимательно слушала, как кузнец повторял за раввином слова древнего обряда, и кивала с видом знатока. Она, казалось, хотела удостовериться, стоило ли платить за это пятьдесят рублей.

У кузнеца была в местечке сестра. Она гадала кре-

стьянкам на картах, а когда их обкрадывали, предсказывала, удастся ли найти вора. Сейчас она стояла, окруженная народом, неподалеку от дома раввина. Голова у нее была повязана грубой косынкой. Женщины и дети жадно слушали, как она посылала проклятия Хисе и ее •покровительнице — богатой вдове.

— Чтоб им обеим околеть! Провалиться им обеим сквозь землю! Чтобы их сегодня же болячка задушила!

[S Она не спускала при этом глаз с дома, где происходил развод, лицо ее оставалось спокойным, и казалось, будто она молится.

Наконец дверь в доме раввина отворилась, и участники и свидетели церемонии высыпали на улицу. Тут же, у всех на глазах, кузнец нагнал Хисю и закатил ей несколько затрещин.

— На прощание! — передавалось в толпе.

III

Мойше-«татарин» продал кузню и плюнул на местечко. Никто не знал, куда он ушел.

Хися опять была свободна.

Накануне субботнего дня ребятишки приходили к забору, окружавшему дом богатой вдовы, и заглядывали сквозь щели. Хися сидела на дворе возле кухни и работала до седьмого пота. Возле нее стояли два огромных самовара и высилась гора медной посуды. Ребятишки хором дразнили ее—

— Рябая, «татарин» идет!

Испугавшись собственного крика, они отбежали от забора и бросались врассыпную.

Поссорятся в местечке две женщины, надают друг дружке тумаков, и та, которой больше достается, кричат другой:

--- Ты Хися — рябая крыса!

Хися все это слышала. Проходя по улице, она прятала изрытое оспой лицо в чистенькую белую косынку, а вернувшись к себе, в дом богатой вдовы, украдкой, в уголке кухни, смотрелась в осколок зеркала с облупившейся амальгамой. Она видела оспины — частые и большие — и смотревшие в разные стороны глаза. В гостиной, случалось, сидели гости; Хисю зачем-нибудь звали, и она, как вор, скорее прятала зеркальце и спешила на зов.

— Иду, иду! — кричала она, проходя по комнатам и избегая встречаться глазами с мужчинами,

Всем было известно, почему она так неохотно пошла замуж за кузнеца. Гости потешались над честолюбивыми мечтами Хиси. Щелкая орехи, спрашивали:

— Хися, когда же ты, наконец, выйдешь замуж за раввина?

Кроме Хиси, у богатой вдовы жили еще кухарка, горничная, судомойка и няня. Всем им хотелось замуж. Когда в местечке случалась свадьба, они бежали смотреть. И чем старше была засидевшаяся в девках невеста, тем жаднее смотрели они ей в лицо, когда ее под звуки скрипки и кларнета вели под венец. И всю ночь, не отрываясь, глазели в ярко освещенные окна. Вернувшись лишь на рассвете, попрежнему возбужденные, они укладывались в комнате для прислуги, но не смыкали глаз и без умолку говорили о женихах и невестах. Дело кончалось общей ссорой. Горничная кричала кухарке, что ее муж, пьяница и вор, околел в тюрьме, а кухарка с ехидством спрашивала, с кем это горничная всю зиму путалась и проводила ночи на пустыре за забором? Вмешивались судомойка и няня, и никто уже не знал, кто зачинщик ссоры, кто кого обидел. Все вопили. Кухарка, пунцовая, злая, плевала Хисе в лицо, и, забывая, что на плите у нее уходит молоко, накидывалась на хозяйку, пытавшуюся утихомирить их и заступиться за Хисю:

— Нет, послушайте только! Душа болит! Этой паскуде непременно надо ученого!

Это повторялось из раза в раз. Хися все терпеливо сносила. И она дождалась своего счастья.

IV

Был жаркий день. Лучи солнца, словно йрорваЕгштсь сквозь частое сито, заливали землю. Громыхали телеги, резко звучали голоса, толпился народ — в местечке была ярмарка. Телеги были завалены крупными, связанными в косы, луковицами, яйца шли за бесценнок, а возы все прибывали. На одном из них трясся Довид-Лейзер, тощий, старенький меламед из соседнего местечка. Он был в субботнем сюртуке из черного ластика и в бархатном картузе с вытертым козырьком. Подскакивая на ухабах, он прижимался к правившему лошадей мужичку, посадывал с хитрым видом трубочку и ухмылялся в седые с прожелтью усы. Ему нужно было купить лохань и доску для приготовления лапши: старые совсем худые стали,— сказала соседка, которая уже десять лет, — с тех пор,

как умерла его старуха, — пекла ему хлеб. Приехал он еще потому, что здесь, в местечке, было много приверженцев конгикозовского раввина-«чудотворца», а Довид-Лейзер, хоть и стар был, попрежнему оставался верным «конгикозовцем». Все эти годы он терпел в своем местечке от сторонников рахмистровского «чудотворца», не пел вместе с ними в их молельнях и постепенно превратился в молчальника.

Да, старый молчальник Довид-Лейзер давно уже ни с кем не говорил по душам, зато сегодня, когда он часов в одиннадцать вошел в старую конгикозовскую молельню, откуда неслись заунывные молитвенные напевы, душа его преисполнилась неопишуемой радости: «свои» узнали его! Он не отвечал на приветствия словами и только блаженно улыбался. Из его отвыкшего от речи, прокуренного махоркою горла вырывались лишь странные звуки, вроде тех, что издает немой, когда особенно доволен: «Кхе-кхе-кхе!»

Он сиял. Ага, все полагали, что он давно сыграл в ящик, кхе-кхе-кхе!.. А он, вот, взял да приехал — живехонек! «Свои» находили даже, что он совсем еще бодрый для своих лет. После молитвы, когда пили за его здоровье, открылось, что он давно вдовствует. Его пожурили:

— Как же так? Надо тебя женить!

Иойне-длинный морщил лоб, долго чесался спиной о стенку и, наконец, потихонечку сбегал домой поговорить со своей старухой. И уже скоро Иониха, запыхавшись, прибежала на кухню к богатой вдове...

Хися весь день ходила розовая от смущения, шеголяя в новом ситцевом платье. Мысли ее путались. Переполненное счастьем сердце, казалось, не выдержит. Еще один только раз должна была притти сюда Иониха — сообщить «его» ответ.

Вечером Хися уже косила глазами по сторонам в доме раввина, где сейчас же должно было состояться венчание, и тут в первый раз ее взгляд упал на «него». Он ей понравился. Его окружали почтенные евреи, а Довид-Лейзер, усмехаясь одними бровями, посасывал свою коротенькую трубку. Он походил на добродушного деда, которого тормошат внучата.

На другое же утро Довид-Лейзер вернулся в свое местечко, а Хися попрежнему осталась у богатой вдовы.

Выждав неделю — другую, вдова наняла возницу и проводила Хисю со словами:

— Поезжай к мужу!

К вечеру Хися прибыла в совершенно чужое ей соседнее местечко. Окутанное летними сумерками, оно раскинулось у подножья холма над речушкой. Незнакомые женщины стояли у ворот и встречали стадо с пастбища. Мужчины шли в молельню, с любопытством глядя вслед Хисе, сидевшей в мужицкой телеге. Многие останавливались — к кому гость приехал? Возница был местный. Он свернул в закоулочек между двумя сгорбившимися лачугами, весело сообщив по пути любопытным:

— Це я ему, Довид-Лейзеру, жинку привез!

Довид-Лейзер сидел дома за столом, окруженный детворой, за обучение которой ему платили пятиалтынные и двугривенные, и водил указкой по большим буквам в замусоленных молитвенниках. Он как раз стал отпускать ребят, когда вошла Хися. Не глядя на гостью, он раскурил свою трубку, стоя спиной к жене, и смущенно крикнул: «Кхе!»

Затем, как и всегда в этот час, он отправился в молельню. Возвратившись, он сразу заметил невиданный в доме порядок: постель была тщательно застлана, под столом подметено, печь затоплена, и в ней булькал старый закопченный чайник. Довид-Лейзер пил чай за столом, тускло освещенным керосиновой лампочкой, и по-прежнему на его губах реяла довольная улыбка. Он не прочь был бы что-нибудь сказать «ей», но не знал, как ее зовут. А Хися сидела на кухне, робкая и безмолвная. Скрестив руки на груди, она сосредоточенно смотрела на тлевшие в печи угли еще долго после того, как старик задул лампочку.

У;

С тех пор Довид-Лейзер уже не опускал в кармашек засаленного жилета медяки, которые получал за обучение ребятишек, а клал на покосившийся кухонный подоконник. Хися шла на базар и покупала то, что покупают все хозяйки. Теперь и здесь все знали, что она рябая, но относились к ней не без уважения — ведь у нее муж был из «ученых».

— Как вы находите, рыба свежая? — спрашивали у нее.

Она скупно отвечала, ни с кем первая не заговаривала.

Стряпала она искусно. Старый Довид-Лейзер диву давался:

«Не иначе, как там, у богатой вдовы, научилась!»

Они сидели за одним столом, ели из одной миски, но

друг на друга не смотрели и не обменивались ни одним словом.

Хися купила большую желтую тыкву. Она с трудом донесла ее до дому и сварила, не жалея масла, с пшеном и всякими приправами, как готовили у богатой вдовы.

Возвратившись из молельни, старый Довид-Лейзер потянул носом и обрадовался:

— Подумайте! Откуда «она» знает, что я люблю тыкву?

Первую миску, которую ему подала Хися, он опорожнил в один присест. Он не ел, а глотал, обжигаясь и облизывая жирную ложку. Глаза его блестели, ему хотелось еще, еще. Она подала ему вторую миску, третью, а он все уписывал с жадностью кашу. И в тот вечер он впервые заговорил с Хисей.

— Объядение!—вырвалось у него.—Ай, какая тыква!

Рябое лицо Хиси залилось краской. Она почувствовала потребность остаться на минуту одной и поспешила выйти в кухню. В первый раз в жизни она познала счастье, голова у нее кружилась.

Довид-Лейзера скоро охватила странная сонливость, но только он задремал, его начало сильно знобить. Хися накрыла его двумя одеялами. Он кряхтел от боли в животе, начались схватки, на его крики сбежали соседи. Грели чугунные крышки от горшков и прикладывали к животу, а к ногам — горячие бутылки. Позвали фельдшера, который тупо смотрел на больного и долго щупал его вздутый живот.

К полуночи старику как будто полегчало — он, наконец, задремал. Но на рассвете снова поднялся галдеж, скоро в -комнате уже горели свечи, и набожные евреи, совершив обрядное омовение, приходили один за другим и читали молитвы. Громче всех голосила свояченица Довид-Лейзера, Кейле-Малке. Когда тело на коротких узких носилках выносили из дома, она начала рваться, чтобы последовать за мужчинами. Женщины с трудом удержали ее.

А Хися все сидела одна на кухне, и ее виноватые глаза избегали смотреть людям в лицо.

С тех пор в доме живут свояченица Довид-Лейзера с мужем и Хися. Она занимает угол в кухне возле печи.

Когда муж с женой в соседней комнате шепчутся, раскосые глаза Хиси бегают по сторонам, и она напрягает слух, стараясь что-нибудь уловить. Она боится,

как бы ее не прогнали отсюда. Никто не знает, откуда у нее средства на жизнь. Должно быть, она кое-что скопила за годы службы у богатой вдовы.

Наступает день поминовения усопших. В обеих модельнях рано заканчивают молитвы, и все отправляются на кладбище, раскинувшееся на склоне горы. Идет туда и Хися. Она все такая же молчаливая, маленькая, сухая, как тощая курица, и попрежнему прячет рябое лицо в белую косынку.

К кладбищу она добирается задворками. Потом долго сидит под оградой, осторожно озирается, — совсем, как заблудившаяся ночная птица, — рвет травинки и прислушивается, как там, по другую сторону ограды, стонут и рыдают женщины, будто силясь поднять мужей из могил. Но вот снова тихо на кладбище. Заплаканные женщины расходятся по домам.

Тогда Хися перелезает через ограду и остается одна среди надгробных плит. Она стоит перед могилой мела-меда Довид-Лейзера, но ей нечего ему сказать — ведь она только три месяца была его женой, она ни о чем с ним не говорила. Когда она пытается вспомнить его лицо, он встает перед нею, каким был, когда одну за другой глотал миски с тыквенной кашей, а она едва успевала подавать.

Он обжигался, облизывал жирные пальцы; он тогда в первый и единственный раз заговорил с ней. Он сказал: «Объядение! Ай, какая тыква!..»

Теперь он в могиле. Он лежит среди почтенных благочестивых евреев. Хися долго смотрит на его надгробную плиту, и мало-помалу его образ ясно всплывает перед нею. Вдруг она начинает причитать, как все женщины', оплакивающие в этот день умерших мужей, — с сухими глазами, тягуче, жалобно:'

— ...И любил ты тыкву... И я сварила тебе тыкву...

Тихо шелестит вокруг молодой кладбищенский лес. Кузнечики прыгают в высокой траве, никогда не выдавшей косы. И чудятся еще вздохи рыдающих женщин, как далекие отголоски человеческого горя. Рядами стоят надгробные плиты, всеми забытые. Всмотрись в них — и начинаешь думать: они многое могли бы рассказать, они всё слышат. И среди них еще долго раздается тихое причитание Хиси:

— ...И любил ты тыкву... И я сварила тебе тыкву...

1917 г.

1921-1946 гг.

Военком на родине

Лбе

Доктор Абрамович

Телефон

Злодеи

Дою иро-Джиро

Вечный раб

*Биробиджанские
мотивы*

*Рассказы периода
Великой Отечественной
войны*

Издали казалось, что **на** песчаной земле, г **дернет** ни травинки, разлеглось стадо и без конца пережевывает жвачку. Вблизи оказывалось, что это полгоры сотни домов, осевших под старыми черепичными крышами, без единого деревца. Все вместе называлось Александровкой. Все вместе было старым еврейским селением, где до сих пор время исчислялось по древнему календарю. Отрывали листок за листком и читали:

были святые праотцы,
был потоп,
 были погромы...

А теперь, говорят, снова погромы.

На глазах Александровки, в соседней долине, на рукаве узкого Буга, вырос Рорград — город, утопавший в **зелени**, с ветряками у колодцев, с домами в три и четыре этажа на главной улице, с двумя трамвайными вагончиками, ползавшими, как два жужжащих шмеля, от вокзала, в одном конце города, до тюрьмы, в другом.

В годы войны на рорградской главной улице бойко торговали дешевыми изделиями александровских кузнецов, шорников, сапожников, плотников, шапочников и жестяников.

В гражданскую войну в Рорграде оставалось мало отходов — сырья для ремесленников. Александрова лишилась работы и хлеба. Молодежь разбежалась.

Главная рорградская улица, попрежнему ярко залитая электричеством, до глубокой ночи озаряла окрестность. А в Александровке люди корпели над работой за мигающим фитильком в плошке с маслом и злобились на обитателей Рорграда.

— Хвороба на них! — ругались они, изможденные трудом, глядя на иллюминацию в Рорграде. — Весь век на них работали. Вот и доработались!

В это же время надвигался призрак погрома. Он з равной мере угрожал и голодающей Александрова, и сытому Рорграду.

В те ночи Александровка почувствовала себя беспомощной ладьей, которую волны относят все дальше и дальше от залитого огнями корабля. Чтобы спасти себя от погромов, в Рорграде избрали один путь, в Александровне — другой.

Научившись какому-нибудь ремеслу, юнцы немедленно покидали Александровну. Так повелось издавна. Девушки говорили:

— Хороший парень, ежели сам не уедет во-время, так его заездят!

Примером мог служить рослый, крепкий Лейзер, младший сын покойного фельдшера, работавший слесарем на заводе под Николаевом. В Александрова его однажды «взяли», «посадили» и загнали в Сибирь. Во время войны шорников сын Мотл случайно столкнулся с ним в окопах — Лейзер оказался в одном с ним полку под чужим именем. В Александровке сразу поняли:

— Раз под чужим именем, значит «они» велели ему быть среди солдат.

Объявился он снова в этих краях в конце войны, завел дружбу с батраками в большом селе возле бобровицкого сахарного завода и прятался на александровских чердаках. Его снова стали считать «здешним».

При Керенском рабочие избрали Лейзера депутатом, и никого не удивил его уход с большевиками.

В дни гетманщины он снова прятался на александровских чердаках. Никто не знал, откуда Лейзер явился и куда пропал, но рорградский комендант уверял, что именно он и руководит подпольным ревкомом. И пусть евреи на себя пеняют, если будет погром.

Рорградская община снарядила в Александрова/Эльокема Борнштейна, владельца типографии. В заезжем доме Хаима Башевеса он рассказал александровцам притчу про петуха и курицу, из-за которых был некогда разрушен Иерусалим.

— Помните! — сказал он в заключение. — Из за Лейзера погибнет Александровка... А может быть, и Рорград.

Кто-то крикнул:

— В чем дело? Мы, что ли, прячем его? Пусть его забирают!

Иные, однако, молча покуривали махорку и думали про себя:

«Если Лейзер со «своими» впрямь где-нибудь поблизости, то чего же он медлит? Скорее бы занимал Александровку!»

II

Лето подходило к концу. Рорград был отрезан от всей страны. Двенадцать ближайших местечек были разгромлены, жители перебиты. Спасшиеся молили о помощи. На бурных заседаниях рорградской общины доходило до ругани и драк, когда возникал вопрос: «Кто даст деньги?»

А так как разгромленные двенадцать-местечек почти исчезли с лица земли и постепенно даже названия их забывались, секретарь рорградской общины Шмуэль-Лйзик, старый холостяк, хилый, чахоточный, вечно с леденцом во рту, называл их «двенадцать пунктов».

Когда на собраниях дрожали уже стекла от криков, Шмуэль-Айзик вдруг делался белей бумаги и глаза его закатывались. Сразу становилось тихо. На него прыскали водой. Тогда Шмуэль-Айзик снова открывал глаза, отталкивал протянутые к нему руки, клал в рот новый леденец и, еще покачиваясь, чуть слышно произносил:

— Так вот... мы обсуждаем, стало быть, вопрос о помощи двенадцати пострадавшим пунктам...

Очередной погром угрожал «тринадцатому пункту» — самому Рорграду, и «четырнадцатому пункту» — Александрова.

Тогда рорградские купцы «купили» коменданта, недавно перешедшего к Петлюре. Через молодую жену аптекаря Лошака из недели в неделю передавались коменданту тридцать тысяч рублей — деньги вперед.

Как и раньше, в витринах всех трех рорградских фотографов красовались портреты Манечки.

На одном она была в украинском наряде — вышивка на широких рукавах, коротенькая юбка, сафьяновые сапожки с узкими голенищами, бубен в протянутой руке, — вот-вот сорвется с места и пустится в пляс.

Во второй витрине она стояла в костюме сестры милосердия — благочестивая, кроткая, покорная. Выдавали ее только смеющиеся глаза, как бы лукаво подмигивавшие из-под косынки с красным крестом.

Третий фотограф снял ее в день венчания — в белом

платье, в фате и с гирляндой на голове. Бледная и томная, она держала в руках раскрытое священное писание — отныне она будет скромной и верной женой аптекаря.

Была глубокая, поздняя осень.

Городские дома, казалось, насквозь промокли под непрерывным дождем.

Лишь изредка выдавалось погожее утро. Высокие мокрые крыши отливали на солнце холодным блеском, клочья облаков напоминали перевернутые челноки в темносинем море. С шумом вертелись у колодцев ветряки и, казалось, неумолимо твердили:

«Каждый рорградский богачей имеет свою долю в тридцати тысячах».

Изредка показывалась на главной улице Рорграда коляска, запряженная белыми конями; в ней сидел, развалившись, комендант — смуглый мужчина с вытянутым лицом, отвислыми усами, суровый, неприступный. Только в складках между бровями залегла невысказанная мысль:

«Можно, конечно, обходиться и по-человечески, но для этого...»

И первым это «но» уловил Эльокем Борнштейн, владелец крупной типографии, тоже рослый и статный, с бельмом на правом глазу. Зато второй глаз был острый, бегающий, проницательный.

Однажды коляска подкатила к типографии, сам комендант вошел в контору и потребовал срочного выполнения заказа. Хозяин приказал даже остановить все машины, чтобы лучше слышать коменданта. Он подобострастно согнулся и, прижав руки к груди, сказал:

— Через два часа. Это удовлетворит ваше благорозие?

Левый острый глаз сразу подметил, что коменданта можно умаслить.

Эльокем повел переговоры с богачами и не успокоился, пока не был создан «комитет ло сбору тридцати тысяч».

Его речь на первом совещании начиналась так:

— Не подмажешь, не поедешь! Испокоп веков так водится...

Эльокем даже обиделся, когда кто-то усомнился: «возьмет» ли комендант.

— До полуночи у человека карман преобладает над рассудком, — скупое, но поучительно изрек он,

— А после? — спросили его.

— После полуночи, — отрезал Эльокем, — он ложится спать.

С ним пробовали спорить:

— Разве не бывает исключений?

— Бывает! — ответил выведенный из себя Эльокем. — Это те люди, которые не спят ни днем, ни ночью и всегда живут, как во сне. Вот и все!

Людьми, которые живут, как во сне, он считал тех, которые установили свою власть в Петрограде и Москве.

Всем, кто имел родственников в других городах, Эльокем советовал:

— Дайте им знать, чтобы пробрались' к нам, здесь погрома не будет.

Теперь он мог, успокоенный, стоять в дверях своей типографии, ничем больше не тревожась. Созданием комитета он завершил дело своей жизни.

Но Лейзер оставался неуловимым, и комендант был взбешен. Поэтому Эльокем считал себя вправе приказывать молодым людям, которых встречал на улице:

— Сию же минуту отправляйтесь домой! Поменьше попадайтесь на глаза коменданту!

Однажды Эльокем закатил оплеуху типографскому ученику, у которого нащупал в кармане револьвер. Тот полез в драку. Хозяин оттолкнул его и сказал:

— Ступай домой и скажи отцу, что Эльокем Борнштейн дал тебе пощечину!

Через Эльокема, как через таинственную длань, тридцать тысяч попадали к аптекарю Лошаку, от него — к его жене Мане.

Дальше никто ничего не знал.

Каждую субботу, ровно в двенадцать, Эльокем относил аптекарю тридцать тысяч. В эти дни он не обедал в положенное время и долго оставался у Лошака. Случалось даже, что он лишь в сумерки шел домой. Владельцы домов и магазинов не отходили от окон, пока не показывался Эльокем. Как некогда первосвященник при выходе из храма в судный день, так и Эльокем в эти торжественные минуты никому не подавал руки, и встречные тоже не здоровались с ним за руку. Была, однако, примета: если Эльокем покашливает, возвращаясь от аптекаря, значит комендант «взял». А раз «взял», то глазная улица могла снова целую неделю спокойно торговать.

Не раз Эльокем, стоя в дверях типографии, думал:

«Скажут ли мне хотя бы спасибо за все, что я сделал?»

И вдруг забастовали наборщики. Такой неблагодарности Эльокем уж никак не ожидал!

На третий день стачки по городу были расклеены прокламации: Красная Армия совсем близко, города один за другим очищаются от петлюровцев.

Комендант вызвал Эльокема и велел хорошенько всмотреться в шрифт — где могли быть напечатаны прокламации?

Эльокем честно признался:

— Повидимому, в моей типографии... Без моего ведома, понятно.

И раз уж комендант проявил к нему такое доверие, Эльокем позволил себе заметить:

— Не Лейзера ли это дело?

Дома он говорил об этом с уверенностью:

— Без Лейзера тут не обошлось! Чтобы мне так покашливать и в эту субботу.

Но покашливать ему больше не пришлось. Комендант спешно перебрался на вокзал вместе с петлюровским штабом и передал через Манечку, что больше он город от погрома не охраняет и дает евреям совет: организовать вооруженную самооборону совместно с Александровкой.

И при первом нападении бандитов рорградская самооборона оказала сопротивление. Тогда петлюровцы явились с пулеметами, окружили самооборону, многих перестреляли, оружие все забрали.

Небольшая банда примчалась в Александровку ночью. Лейзера искали у его сестры. Не найдя его, петлюровцы ворвались к одинокой швее Сойбл, жившей со своей падчерицей Зильпой.

Среди тихой ночи в Александровке слышались истошные крики. Сойбл стояла возле своего дома и отчаянно вопила. Она кричала в пространство, ни к кому не обращаясь. Помощи ждать было неоткуда — в Александровке не осталось ни одной винтовки.

Петлюровцы заперлись с падчерицей швеи. Всю ночь они пьянствовали, раз десять прострелили потолок, целясь в висячую лампу. Визжали, горланили, кляли засевших в бобровицком лесу повстанцев и Лейзера. Это он, — орали они, — взбунтовал окрестных крестьян и привел красных!

— Если в ближайшие дни не поймаем Лейзера, вер-

немея и всю Александровну вырежем! — бахвалились бандиты.

Рано утром по Александровке пополз шопоток:

— У швеи Сойбл изнасиловали падчерицу. Первая жертва... Только начало...

В домике на окраине, как раскаленный уголь, алел в окне огонь — это горела с ночи лампа у швеи Сойбл, горела долго, как поминальный светильник по девственности Зильпы.

Словно капель с мокрых крыш, равнодушно растекалось горе, и не к кому было звать о помощи.

— Вот беда-то, — вздыхали в Александровке, — из-за рорградцев с их комитетом мы без единой винтовки остались!

Хозяин постоянного двора Хаим Башевес, приземистый, рыжий, горячился больше всех.

— Это все ваш Лейзер! — кричал он на базаре. — Спасибо скажите, дураки этикие, вам покамест дешево обошлось! В Рорграде расплачивались за него тридцатью тысячами в неделю, а вы, голодранцы, отделались одной Зильпой!

Александровские бородачи молча слушали и сердито курили махорку. Они не попустому тревожились: не примкнули ли к большевикам и их дети, разбежавшиеся по большим городам? Совсем недавно ушли к красным шорников сын Мот л и Мохе, сын могильщика.

«Н-да! — думали озабоченные бородачи. — Если за каждого такой ценой расплачиваться, то нам никому не сдобровать. Сегодня коснется тебя, завтра меня!»

Так и вышло. Не прошло и суток, как среди ночи заголосила жена шапочника Айзика Блюма. Как и Сойбл, она не ожидала помощи. Но не может ведь молчать женщина, когда насилуют ее дочерей и душат заступившегося за них отца — коренастого, крепкого, как дуб, мужчину!

Неуверенно, лениво поднимался дым из труб. Домишки глазели кривыми окнами на собравшихся среди улицы людей, растерянно совещавшихся, как отбиться от налетов.

Ш

Выведя свою часть из бобровицкого леса, Тарас Божко однажды ночью налетел на петлюровцев и обратил их в бегство. Бандиты кинулись на гору, но тотчас в беспорядке

рядке откатились: бобровичане под командованием Лейзера встретили их метким огнем.

Теперь отряд Тараса часто делал вылазки и гнал петлюровцев к Бобровицам, а бобровичане каждый раз отбрасывали их назад.

Ночью вся окрестность спала тревожным, чутким сном, как больной в лихорадочном жару. Гулко отдавались среди ночи выстрелы, будили птиц в рощах, гнали их разлетающиеся стаи низко над александровскими крышами. На рассвете бледный и сыроватый воздух наполнился легкой трепещущей дрожью птичьих криков. Потом сразу становилось до жути тихо. Вся окрестность замирала в ожидании.

С одной стороны с боем продвигался к Александровне отряд Тараса, с другой — бобровичане. Ночью Тарас поставил свои пулеметы справа от городка и дал очередь в воздух, как бы спрашивая:

«Угйли петлюровцы?»

Из Александров[™] ему ответили неистовые крики.

На рассвете Хаим Башевес вышел из своего постылого двора и потянул носом, как бы обнюхивая воздух. Авось бог поможет, — подумал он. — Наступят морозы, все успокоится, снова будет много приезжих, вернутся помещики, он опять будет ездить по их делам в Рорград в банк. Откашлявшись, Хаим Башевес сплюнул широко и свободно, как он делал это в прежнее, мирное время.

Вдруг на околице зацокали подковы. Хаим Башевес увидел трех всадников в полущубках. У них были обрезы и сабли, а за поясом — гранаты. Окинув глазами проулки, они помчались назад и еще издали кому-то замахали, как бы сообщая радостную весть.

В пятницу, морозным ранним утром, Тарас со своей частью занял Александровку. Из печей густо повалил дым. В этот канун субботы Александровка забыла вести счет дням по старому еврейскому календарю, забыла, что был некогда потоп, были святые праотцы, были погромы.

Вечером старые женщины молились над зажженными свечами. Из покривившихся окон весело глядели праздничные огоньки. Люди с любопытством рассматривали захваченные у петлюровцев три тяжелых орудия и глазе-ли на красный флаг и доску с надписью «ШТАБ» на доме Хаима Башевёса.

Белобрысый ординарец Зозуля то и дело вскакивал на свою заезженную лошаденку, поятал в шапку пакет и мчался в Бобровицы.

— Верно, едет за повстанцами, — говорили в толпе.

— Много, много придет их еще!
— Их ведет Лейзер!
— Угадал тоже! Лейзер давно здесь, в Александров-
'Ее. Я видел, как он заходил к сестре.
— А вот он сам!

Лейзер, оказалось, все время оставался где-то поблизости и давал знать красным, когда выступать. Он и подпольным ревкомом руководил, он успел и у большевиков побывать. Ну и хват!

— Гляди, гляди! — указывали на него пальцами. — Он уже в шинели, за поясом револьвер...

Лейзеру некогда было останавливаться. Он шел размеренно быстро, серьезный, сосредоточенный.

Александровцы шептались:

— Он привел красных!

— Он набирает людей!

— В каждом доме он ставит по два — три красноармейца.

Лейзер торопливо шел куда-то вместе с комполка Тарасом. Александровцы гадали:

— Кто же главный — он или Тарас?..

— Не тот Лейзер, совсем новый!

— Он военком!

Заглядывали в окна к Хаиму Башевесу. Там сидели Лейзер с Тарасом и что-то обсуждали.

— Они готовятся к митингу, — говорили в толпе. — Завтра они выступают в Рорграде.

IV

Медные трубы гремели, проклиная смерть.

В такт протяжному траурному маршу хлопали и колыхались длинные красные транспаранты, протянутые поперек главной рорградской улицы.

С полудня поднялся ветер. Казалось, он дует с двух сторон одновременно. Он выгонял солнце из-за черных, как гречневые лепешки, туч, вызывал слезы у людей, собравшихся на площади.

Двадцать конников вложили сабли в ножны и, направив винтовки в небо, дали залп. Оставалось только заколотить и опустить в землю пять гробов с красноармейцами, павшими под Бобровицами.

У Тараса дрожала рука, когда он, по обыкновению, разглаживал усы — черные усы на побелевшем лице. Он не поднимал глаз: лучше не смотреть на лежавшего в одном из этих пяти гробов изуродованного Зыка — рабоче-

го, вместе с ним дравшегося под Киевом. Никогда в жизни Тарас себя ни у кого в долгу не считал, а тут вот он вдруг почувствовал: этому изуродованному Зыку причитается и с него, и со всего мира много, очень много!..

— Не забудь про Зыка!—шепнул он Лейзеру, готовившемуся начать речь.

— А что сказать? — буркнул Лейзер. — Что я, поп?! Я не знаю даже, кто он. Ты хоть Расскажи мне вкратце...

— Что тут рассказывать?!

Тарас свирепо посмотрел на Лейзера, лицо его побагровело.

— Ну, был он вроде тебя! Вроде меня... Завтра и мы с тобой можем так вот лежать!

Верно! В одном из этих пяти гробов мог лежать теперь он, Лейзер, сын александровского фельдшера, слесарь, человек завтрашнего дня. Лейзер уже знал, кто такой был Зык, хорошо знал, лучше не надо.

В своей речи он очень тепло говорил о нем. Ветер подхватывал его сильный голос.

В тот же день началось переселение рабочих из подвалов в верхние этажи.

— Дожили! — говорили на главной улице. — Все это дело Лейзера и каменщика Калашникова — он у них председатель ревкома.

Нескольким крупным домовладельцам удалось поймать неуловимого Лейзера в коридоре ревкома.

— Кто будет вносить за новых жильцов квартплату? — допытывались они, — жильцы-то ведь бедняки.

— Какие же они бедняки? — спокойно ответил Лейзер, — они рабочие—хозяева страны.

Они постояли еще возле ревкома, но говорили уже не о Лейзере, а о его отце. В молодости он был парикмахером, фельдшером стал в полку. Прописывая больному лекарство, отец Лейзера неизменно бормотал:

— Ответ — ревень и калий броматум...

Или:

— Ответ — ромашка, заваренная на аква дистилата...

Больной душу богу отдает, а фельдшер все еще бормочет:

— Ответ—камфара и согревающие компрессы.

Уже после его смерти узнали, в чем дело. У него нашли пособие для военных фельдшеров. Учебник состоял из вопросов и ответов: «Вопрос — живот болит?» «От-

вет — клизма из двух с половиной литров воды и горчичник или компресс под ложечкой».

— Ну да, — говорили домовладельцы, припоминая слова фельдшерского сына. — Ответ — камфара и согревающие компрессы!

V

Несколько красноармейцев переселилось из Александровки в Рорград. Среди них был рыбак Суриков, черный, угрюмый, молчаливый, со щетиной на лице и с серьгой в отвисшей мочке левого уха. Его одежда состояла больше из веревок и заплат. На лице у него застыло выражение горечи, словно желчь подступала к горлу **01** долгих лет обид и унижения.

Впереди красноармейцев по главной улице Рорграда шел белобрысый Зозуля, бывший батрак. Он неторопливо шагал с винтовкой на ремне и поминутно задирал голову на вывески: он недавно выучился читать по складам, и любые слова, где бы они ни были начертаны, служили ему букварем.

Зозуля ни на минуту не забывал о рыбаке. Суриков, неровен час, сцепится с кем-нибудь на улице, и тогда пятно ляжет на всю красноармейскую часть. А Зозуле очень дорога была его часть — он был в ней одним из первых добровольцев. Суриков служил в полку только несколько дней. Он пришел оборванный и босой, и ему выдали новые сапоги, но на следующий день он их кому-то отдал, а сам снова ходил в опорках. Теперь у Сурикова, как у всех красноармейцев, за спиной была винтовка, и Зозуля, по правде говоря, следил не столько за ним самим, сколько за винтовкой.

— Во! — Зозуля¹ задрал голову и прочитал по слогам большую вывеску: «Ти-по-ли-то-гра-фия Э. Борнштейна»... Типография, стало быть...

Вдруг он заметил, что его четыре спутника завернули за угол и остановились у красивого дома за железной оградой.

— Сюда! — Суриков ткнул кулаком в воздух и скосил заспанные злые глаза на массивную дубовую дверь. — Дальше ходить незачем!

Дверь была обшита по краям медью, к ней вели полукругами каменные ступени.

— Здесь? Бачь, чего захотел! — удивился Зозуля.

Он предпочел бы устроиться поскромнее, но раз товарищ настаивал, то почему бы нет.

— Можно,—согласился он.—Отчего же?

Он первый открыл железную калитку, следом, высоко поднимая ноги, поднялись на ступеньки остальные четверо красноармейца.

Зозуля постучал кулаком в тяжелую дверь и сразу понял, что зря старается — никакого отклика, будто стучишь в надгробную плиту. Пробовали потянуть тяжелую дверь, налечь на нее плечом — все без толку. Она была заперта наглухо, как был закрыт для них весь мир богачей. Вот тогда Зозуля почувствовал досаду, не меньшую, чем его товарищи.

— Номер не пройдет!—сказал он.—Чекай трошки!

Годы батрачества отнюдь не приучили Зозулю отказываться от входа в какой-нибудь дом потому только, что его туда не впускали через парадное.

Вместе с товарищами он прошел в заснеженный садик и там отыскал вторую дверь. Она до тех пор гремела под ударами его тяжелого кулака, пока изнутри не послышался жалобный женский голос:

— Ну, что там?.. Пожар, что ли? Открываю, открываю!

В дв'ерях стояла сгорбленная беззубая женщина. Она была не столько стара, как измождена. Вся скривившись, она прижимала к животу грелку.

— Ты кто будешь? Хозяйка? — склонился на нее Зозуля.

— Скажете тоже!.. Какая я хозяйка?! Меня поставили стеречь, и я стерегу.

Она быстро затараторила: муж ее — бондарь; дом этот — самый красивый в городе — принадлежит богатому помещику.

— Детей у него нет. Богачи, известное дело, им скучно, вот они и понастроили себе хоромы для своего удовольствия... Как только почуяли, что красные идут, так сразу улизнули.

— То-то!—сказал Зозуля.

Высокий вестибюль весь в стекле, огромные трюмо в стенах, мебель с тонкой резьбой, дорожки из красного бархата и персидские ковры на блестящем желтом паркете — все это было такое, чего ни один из пяти красноармейцев в жизни не видал.

Они переходили из комнаты в комнату, ступали по дорожкам и коврам, поминутно ловя свои отражения в зеркалах. В их воображении эти комнаты принимали необычайные размеры. У них было такое ощущение, словно

они вошли в обитель всей мировой буржуазии. Они не переставали считать:

— Одна зала, вторая, третья, еще, снова зала... Одни залы!

Встал вопрос: в какой же расположиться?

— Чекайте, — сказал Зозуля, — может, еще какая есть, получше всех...

Он исчез и скоро, необычайно довольный, повел своих товарищей в «совсем замечательную залу». Это была огромная кухня. Стены ее были до середины облицованы белым кафелем. Чистые плитки пола отбрасывали светлокрасные отсветы. Приятным теплом дышали печь и изразцовая плита.

— Добре!—решил Зозуля.—Здесь мы и разместимся. Й печь под рукой, и пол чистый, на нем спать можно. Лучше и не надо. Верно?

Все молча скинули винтовки и составили их в углу.

Широкими движениями, как хозяин, приглашающий гостей чувствовать себя как дома, Зозуля начал стягивать шинель. От тепла лицо его разгорелось.

— Ну, — обратился он к женщине, прижимавшей к животу грелку, — пускай нам варенье подадут.

Вдруг Зозуля заметил, что беспокойный Суриков куда-то исчез, и затревожился. Он нашел его в одной из самых больших зал. Суриков возился с испорченным граммофоном.

— Ты чего?—проворчал он, когда возле него очутилась старая беззубая женщина.

— Испорчен! — ответила та.

Когда-то этот граммофон был первым в Рорграде. Богач-помещик привез его из столицы и в летние вечера заводил у открытого окна. Люди останавливались и слушали, некоторые даже хлопали и кричали «браво». Тогда помещик сам показывался в окне и раскланивался, как артист на сцене.

В другой комнате Суриков открыл ящик огромного буфета. Товарищи окружили его. Когда Зозуля подбежал, слышен был уже звон серебряных ложек.

— Положи на место!—крикнул он.

— Не ори! — выпучив на него сердитые глаза, отозвался Суриков. — В полку нечем щи хлебать, а тут—во, сколько ложек даром валяется!

— Верно!—не без удовольствия поддержала его беззубая женщина.—Богатые всегда так. Под десятью замками держат, а сами и не притронутся. Их всего два человека, а добра на полгорода хватит....

— Стой! — сказал Зозуля, растерянный.

Положение его было затруднительно. Мало того, что Зозуля революцию делал, он должен был сам догадываться, как по законам революции действовать.

— Добре!—решил он.—Все принадлежит казне. Ежели кто что-нибудь себе возьмет, на месте уложу!

Но Суриков уже добрался до большого гардероба в третьей комнате и обнаружил шесть пар брюк, одна другой лучше. Перед Зозулей встало новое испытание: как поступить, если на пяти красноармейцах, которым скоро в бой итти, изодранные, кое-как заплатанные штаны (у него самого они были сшиты из мешков), а тут у сбежавшего буржуа осталось несколько пар брюк?

— Хозяин этим брюкам ревком,—решил Зозуля и захлопнул шкаф.—Точка!

Суриков был озлоблен и раздосадован до крайности. Насупившись, он вышел на улицу. Зозуля посмотрел на него в окно и озабоченно сказал своим красноармейцам:

— Не беда... Ежели он дерьмо какое, то пускай к чертям убирается. Коли ж наш, то вернется...

VI

Уж который день гоняются за Лейзером Хаим Башевес, Эльокем Борнштейн и Манечка Лошак. Но разыскать военкома — дело не простое: то он в штабе, то в своей части, то в ревкоме заседает.

Хаиму Башевесу нужно у него спросить:

«Долго еще, Лейзер, мой постоянный двор будет красноармейской казармой?»

У Эльокема Борнштейна жалоба на своих наборщиков: только он зашел «к себе» в типографию, к нему подошли и сказали:

— Вам чего тут?

Манечка Лошак желала бы услышать от Лейзера, какие порядки в Москве: там тоже забирают аптеки у хозяев, да еще говорят им холодно: «Уходите и не мешайте фармацевтам работать!»?

Красноармейская часть готовилась покинуть город. Она завербовала тут не мало молодежи — рорградцев, александровцев, бобровичан. Здесь оставался небольшой отряд. Полк выступал в поход.

С утра сидели в коридоре ревкома Хаим, Эльокем и Манечка, дожидаясь Лейзера.

— Если его сегодня не поймать, все пропало!—горячился Хаим Башевес.—Ищи тогда ветра в поле!

Эльокем и Манечка сидели за круглым столиком и как будто не замечали Хаима, стараясь показать ему, что он им не ровня. Они разговаривали только между собой.

Манечка была в каракулевой жакетке. Черный гарусный шарф то и дело сползал с ее густых, темных, с медным отливом, волос.

Хаим Башевес больше других возлагал надежды на Лейзера: как-никак они односельчане. Он себе места не находил: на городской площади, говорили, уже построилась вся красноармейская часть. Хозяин постоянного двора поминутно выбегал на улицу и тотчас мчался обратно.

— Оркестр уже играет! — волновался он, бестолково размахивая руками. — Мы, дурни, караулим здесь, а он уже уходит с полком. Все пропало, теперь уж не поймать его!

Звуки оркестра приближались. Работники ревкома и все посетители выбежали на улицу. В открытую дверь видна была проходившая ровным строем красноармейская часть, со всех сторон окруженная провожающими.

— Простите, что вы сказали? спросил Эльокем Борнштейн, как будто Манечка обратилась к нему.

И тут же добавил:

— Пойдемте... Чего здесь сидеть?

Оба поднялись и смотрели, как запоздавшие жители мчались по улице, чтобы успеть на проводы красноармейской части.

— Как вам нравится признательность наших евреев? — сказала Манечка, кривя губы. — Вот награда за то, что я спасла их от погрома!

Эльокем с минуту стоял в раздумье.

— А благодарность, которой город платит мне, вам нравится? — скосившись на нее левым глазом, спросил он.

Как вихрь, рванулся вперед Хаим Башевес. Ему удалось нагнать Лейзера на самой окраине, где красноармейская часть остановилась, чтобы принять от рабочих красное знамя.

Он подошел к Лейзеру с плачущим видом и, стоя с обнаженной головой, долго не мог заговорить.

— Лейзер! — дрожа, выдавил он, наконец, из себя. — Ты уезжаешь и оставляешь мне полный дом красноармейцев. Забери их, Лейзер... Лейзер, подожди минутку!.. Одно слово!.. Сделай милость, Лейзер!

Лейзер только мельком, как-то рассеянно взглянул на него.

— Хаим Башевес. — ответил он, — до чего же ты отвратный!

1923 г.

17 Д. Бергельсон

257

А Б Е

Часть вступила в село ночью. Утром над хатой, где помещался штаб, реял красный флаг. Он хлопал неутомимо и резво, радостно волнуясь всеми своими складками. К хате была прибита доска:

«Н-ский повстанческий полк».

Штаб сразу наполнился добровольцами. Ни один не спрашивал, где другие красные части, близки ли они. Намалеванное крупными буквами название полка внушало почтение, многих радовало, в некоторых вселяло страх.

Ветер с речки облюбовал алое полотнище, весело, уверенно реявшее над крышей. Под вечер потянуло осенней сыростью и прелью. На улице стало пасмурно, грязно, слякотно.

По всему селу чавкали сапоги, больше всего месили они грязь в уходившем под гору проулке. Там, засучив рукава, люди смазывали орудия, готовя их к бою. А на огромном грязном дворе, среди занятых под постой хат, красноармейцы с неутомимым рвением чистили лошадей, заботливо осматривали кровоточащие места на спине, осаждаемые мухами, и часто обращались за советом к парню, опоясанному красным извозничьим кушаком:

— Абе, взгляни-ка! Скажи, чем бы смазать...-

Абе, родом из Ставищей, с ранних лет величал отцом возчика Иехиэля, и на его лошадях возил пассажиров в отдаленный, расположенный в низине, городок. Работал он на отчима задаром, как на родного отца, три с половиной года провалялся в окопах, вернулся, ничему не научившись, и снова стал ездить на лошадях Иехиэля. Мало того, что за свой труд он ничего не получал, — его еще часто бранили.

— Живодер у тебя сынок!— жаловался его матери отчим. — Загоняет он мне лошадей, шкуру с них сдерет!

Абе и впрямь не баловал лошадей, как никто и его не баловал. Свою злобу он вымещал на скотине. И кто знает, как долго тянулась бы его беспросветная жизнь, ее*

ли бы не знакомство с Шифрой, служанкой на постоялом дворе в том городке, куда он возил пассажиров.

Девушка эта полюбила его уж потому, что со всеми была неприветлива, на всех огрызалась и только с ним была ласкова. Абе был уверен — пусть кто другой сунется к ней, она его так огреет, что он своих не узнает! К нему же она доверчиво льнула. Настигнет ее Абе в темных сенях, девка замирает и позволяет себя целовать и обнимать.

Иногда, на рассвете, подъезжая к постоялому двору, он заставал ее на задворках, возле хлева, куда она выносила ведро с помоями. Босая, с голыми икрами, стояла она, склонившись над корытом, и отгоняла набегавших с улицы свиней. Со сна ее немытое лицо казалось немного припухшим, в прищуренных глазах сверкала злоба: впереди, как и всегда, лежал длинный, изнурительный день. Но стоило ей увидеть подъезжавшего Абе, ее лицо прояснилось.

— Вот и Абе!—встречала она его.—Надолго?

С каждым днем его все больше влекло к девушке. Даже во сне он думал о ней, ощущал ее запах, запах свежего, чуть слежавшегося сена. Все это и навело Абе на мысль: «Хватит! Довольно на чужих работать, пора о себе подумать. Не позволю всякому собой помыкать, пропади они все пропадом! Только даром силы на других тратил!»

Так Абе и сделал. И хорошо получилось! Едва стало известно, что Абе женится на служанке с постоялого двора, им перестали командовать. Мамаша даже заторопила отчима со свадьбой. Назначили день.

Как раз в то время разнесся слух о погромах в округе.

В субботу отпраздновали проводы. Гости, в большинстве тоже возчики, опорожнили в честь Абе не мало бутылок, чокались с ним и, охмелев, подмигивали, намекая на восторги брачной ночи. Больше всех выпил отчим, пил он и на следующий день, но везти пасынка к невесте отказался.

— Сама вези!—цыкнул он на ворчавшую жену.—Поди послушай, что люди на базаре толкуют! Ни пройти, ни проехать. На всех дорогах гайдамаки —грабят, режут!

Соседи подтверждали его слова:

— Кто же теперь едет? Шею свернут! Нет, уж ты потерпи, Абе!

Абе томился неделю, вторую. Он чувствовал себя прескверно. Бывают женатые, бывают холостые, а он — ни

то, ни се? женатым не назовешь, и не холостой тоже, раз были проводы. К нему начали терять всякое уважение, посмеивались:

— Потеха с тобой, Абе! Как был бестолковый, так и остался: жениться и то по-настоящему не сумел!

Попрежнему отчим заставлял его работать даром. А к невесте тянуло пуще прежнего, и запах ее тела мерещился ему и днем и ночью.

Надев старую шинель, в которой вернулся с фронта, и надвинув на уши барашковую шапку, Абе один пустился пешком в отдаленный городок к невесте.

«Чтоб им на медленном огне сгореть!—думал он об отчине и знакомых возчиках, не желавших отвезти его к невесте, как полагается перед свадьбой.—Провались они сквозь землю!»

И злоба против людей, заставлявших его всю жизнь ларом работать на них, росла и крепла.

Вот тут и начинается повесть о том, как возчик из Ставищей Абе очутился среди чужих людей в Н-ском повстанческом полку.

Первые пятнадцать верст Абе прошел благополучно. Никто его не останавливал, никто не спрашивал, откуда он идет, куда направляется. Но под вечер, прижимаясь к Балясинскому лесу, он услышал отдаленную пушечную пальбу. Абе насторожился. Продолжать путь было опасно. Тревожно, угрожающе неслось эхо из темного угрюмого леса. Постояв и немного подумав, Абе свернул влево, в село Филипповку, надеясь переночевать у кузнеца.

Кузнец Гавриэль и его жена Роха были дома. Они хорошо знали молодого возчика и не отказали ему в ночлеге.

Разувшись, Абе полез на печь, растянулся и сразу погрузился в темную пучину.

За хатой гнулась под ветром одинокая старая осина, взъерошенные ветви глухо ударили по камышовой крыше.

Вправо тянулось безбрежное поле, дальше — темнел Балясинский лес, откуда доносился отдаленный гул орудий. Абе спал крепко.

Ночью прискакал отряд человек в пятнадцать и неторопливо расположился полукругом перед хатой. Луна то выглядывала, то снова скрывалась.

Жена кузнеца, которую постоянно мучили кошмары, первая услышала стук. Приподняв спросонья занавеску, она окаменела: на лошадях сидели вооруженные люди, лица их были темны, как ночь, глаза устремлены на ок-

ко, под одним из них дыбилась лошадь, и он злобно бил ее.

— Гавриэль! — закричала она. — Проснись... Ой, горе!.. Смотри, сколько их, они уже с лошадей слезают! Буди Абе!

Абе храпел на печи. От усталости он словно одеревенел. Ему совсем не хотелось просыпаться. Да и не для чего было: проснешься, сразу вспомнишь все вынесенные от людей обиды.

— Абе!—тормошил его кузнец.—Проснись! Беда!

Абе спустил с печи босые отекавшие ноги, но тут же, сидя, снова прикорнул.

— Абе!—не переставал будить его хозяин.—Проснись наконец, чорт бы тебя драл!

Приоткрыв глаза, Абе как будто пожалел, что дал себя разбудить, и снова растянулся на печи.

Наконец, он понял, что от него хотят. Сонный, поплелся он к дверям. Тяжело сопя, сясь раскрыть смыкающиеся веки, он едва передвигал ноги. На дворе он поговорил с одним из всадников, постоял, затем, вернувшись посвежевший в хату, безучастно сказал:

— Они пулеметов требуют. Филипповские мужики, говорят, их сюда чинить отдали.

— А кто они такие?

— Как будто большевики... Из повстанческого полка, говорят. Грозят—худо будет, ежели не отдашь.

У женщины от страха зуб на зуб не попадал,

— Отдай им, Гавриэль! — запричитала она. — Не упрямся!

Абе взял ключ, пошел в кузницу, отдал всадникам пулеметы и совсем бодрый вернулся в хату.

— Хозяин,—виновато произнес он,—они и повозку забирают, коня тоже вывели, уже запрягают. Не себе берем, говорят, а для полка: пулеметы везти-то не на чем

— Уговори их, Абе, хотя бы лошадь оставить, — заметалась в тревоге женщина.—Скорее, Абе! Ой, горе, горе мне!

Абе снова пошел к всадникам. На этот раз он долго не возвращался. Затем, быстро вбежав в хату, радостно, дрожащими руками схватил сапоги и, сопя, стал быстро обуваться.

— Как же с лошадью-то?—допытывались у него кузнец и его жена.—Что же ты молчишь, Абе?

— Они берут меня с собой,—захлебывался от волнения Абе, натягивая тесные сапоги. — В город к невесте обещают доставить. Убей меня бог на этом месте, ежели

вру! А насчет коня вы не беспокойтесь, вернут вам его, ей богу вернут — уж я позабочусь!

С той ночи Абе не расставался с Н-ским полком. Ему и винтовку выдали, но он носил ее небрежно, как-то не всерьез: век, что ли, ему с ней ходить? Только бы до городка добраться, где его дожидается невеста, а тогда — только его и видали!

Этих людей, с которыми Абе проводил дни и ночи, он считал чужаками. Что ему ни говорили, он пропускал мимо ушей и больше всего бывал доволен, когда его оставляли в покое. Лениво, словно заспанный, бродил он среди готовящихся к наступлению красноармейцев, по-извозничьи поводил плечом и думал: «А мне что до этого?!»

Когда бежавшие от гайдамаков еврейские юноши-добровольцы спрашивали у Абе, долго ли еще полк задержится в селе, он равнодушно отмалчивался. Он ни с кем не хотел сближаться. Его не обижали, делили с ним хлеб, звали к котлу наравне с другими. Он часто слышал взволнованные разговоры, что кто-то должен пробраться сюда через фронт и потому лишь задерживается наступление, но это его нисколько не трогало.

В жарко натопленных горницах, где по ночам, не раздеваясь, вповалку спали красноармейцы, пахло потом, стоял душливый запах казармы. Здесь спал крепким сном и Абе.

Однажды, чуть свет, его стали сильно тормозить. Но молодой возчик только повернулся на другой бок. Когда же его раз — другой ткнули крепко в ребра, он — только из уважения к такому приему — решил, наконец, проснуться и открыл глаза, подумав: «И мастер же он будет!»

Возле Абе стоял белобрысый ординарец Зозуля, добродушно смотрел на него и улыбался только маленьким вздернутым носом.

— Живей обувайся! — заторопил он Абе. — Тебя дожидаются во дворе.

Абе неторопливо натянул сапоги и вышел из хаты.

Бесшумно падал легкий, словно невесомый, снег. Будто осыпанные белой крупой, стояли командир полка и военком Лейзер. Они молча глядели на подходившего Абе.

— У тебя в селе Лещиновке знакомые есть? — спросил Лейзер.

Абе хотелось только одного — поскорее вернуться в теплую хату и снова завалиться спать.

— Знакомые?—уклончиво пробурчал он.— Не при-¹ помню...

Военком подошел ближе, окинул его дружелюбным взглядом и загов'орил с ним тихо и просто, как говорят между собой еврейские возчики:

— Лещиновского колесника не знаешь?

Абе быстро отозвался;

— Кого? Нехемью?

— Ну, вот видишь!—улыбнулся военком.—Я так и знал. Не раз, верно, заезжал к нему бричку чинить. Отправишься к нему, лучше всего пешком. Узнаешь, много ли там петлюровцев, какие части, что делают.

— А?..

Абе, не торопясь, перетягивал шинель красным извозчичьим кушаком.

Все еще сонный, он неясно представлял себе, зачем его посылают в Лещиновку и что он должен там делать. Он шел полем и чем глубже погружался во влажный предутренний туман, тем меньше помнил о данном ему поручении. Ясно было только одно: время тревожное, лучше не показываться в деревнях, а итти в обход. До Лещиновки верст пятнадцать наберется, зато оттуда до городка в низине останется верст двадцать, не больше. А там его невеста, Шифра! Абе ручается головой: пусть-ка кто сунется к ней, она его так огреет, что он своих не узнает!

Он ускорил шаг. Впереди расстилалась туманная даль. На взрытых пустынных полях не было ни души,—некому, значит, и заметить его в серой шинели, подпоясанной красным кушаком. Местами уже поблескивали замерзшие лужицы, снега не было.

Абе почудилось, что он оглох, такое было кругом безмолвие. Издали село Лещиновка казалось вымершим. Так же тихо было в хате колесника Нехемьи, до которой он задами добрался к полудню.

Прислонившись к остывшей печке, колесник и его жена с вытянутыми лицами сидели рядом на лавке. Кухонка была не топлена—обеда не готовили. Занавески на окнах даже сейчас, среди бела дня, были приспущены. Забившись в угол, испуганно перешептываясь, играла детвора, и все же родители время от времени покрикивали:

— Ишь, расшалились! Веселье на них нашло! Тсс!..

Хозяева безучастно встретили гостя.

— Куда собрался, Абе?—спросил колесник.—Уж не к невесте-ли понесло тебя в такое время?

Помолчав, он добавил:

— Оставайся здесь, дурень! Кругом резня идет.
Колесник не отводил глаз от приспущенных занавесок.

— Да и у нас в селе гайдамаков до чорта набралось! Носа из хаты не высунуть. Смерти в глаза глядим.

— Ты бы послушал, что они на той неделе с мельником сделали!—тяжело вздохнула женщина.

В Абе крепло упрямство: «Пойду дальше... Пробьюсь! Чтоб им сгнуть, кровопийцам!»

Но женщина все причитала, не переставая горевать о зарезанном мельнике. Он жил в трех верстах от Лешиновки. Его нашли убитым вместе с зятем.

— А Маля, глухонемая дочь его, с перепугу заговорила. С грудным ребенком на руках, босая, убежала в лес. Слух по деревне пошел, что она ночью к попу стучалась: «Хочу в вашу веру перейти». Пока поп отпирал, ее и след простыл. Что ни ночь, к мужикам стучится: «Впустите! Босая я, и малютка замерзает!» Не успеешь ей открыть, ее уже нет. Рехнулась... А душегубы на селе погуливают себе, управы на них нет...

Поднимая краешек занавески, то колесник, то его же' на со страхом разглядывали собиравшихся на пустыре вооруженных гайдамаков:

—Гляди-ка, головорезов все больше!.. Сколько их!

Абе тоже выглянул в окно и увидел людей в разноцветных шапках и пестрых шароварах. Казалось, они собираются давать цирковое представление.

«Холеры на них нет! Провалиться бы им сквозь землю!» — мысленно проклинал их Абе.

У крыльца сельской школы томила на привязи голодная коза, которую зачем-то привели гайдамаки. В школе с самого утра пьянствовал «штаб», из окон с разбитыми стеклами неся шум пьяной гульбы, пронизываемый глухими ударами бубна, звуками гармошки и визгом охмелевших девчат. И, вслушиваясь в этот шум, притихло, оцепенело село. С сосулек на крышах уже не капало. Морозом затянуло грязь. Надвигались сумерки.

В хате колесника тускло мерцал каганец. При его свете причудливо белели вытянутые мертвенно-бледные лица. Никто больше не говорил. С полуоткрытым ртом сидел голодный Абе. Он все думал о мельниковой дочери, видел в своем воображении, как ночью, одна в лесной глуши, она возится у небольшого костра — босая, с малюткой на руках...

Охваченный жутью, Абе впал в забытие. Но не успел он погрузиться в сон, как со двора слышались тяже-

лые шаги, зазвучала громкая пьяная речь. Кто-то налег плечом на запертую дверь. Раздался сильный стук в окно, Абе вздрогнул и открыл глаза. Он не узнал хозяев хаты, до того исказились их лица. Женщина заломила руки. Казалось, что не она, а ее скрюченные пальцы кричат в смертной тоске:

— За душой нашей пришли!.. Ой, пропали мы!..

Колесник в ужасе закатил глаза. Он схватился обеими руками за шею, точно защищая ее от ножа. Абе почувствовал, что ему здесь не место. В хате стало вдруг тесно, точно в клетке, которая вот-вот захлопнется. С одним-двумя гайдамаками он схватился бы, но их там, за дверью, было много.

— Чтоб их разорвало!—прошептал он.

Юркнув в темные сени, Абе нашел лестницу и мигом взобрался на чердак. Там он постоял, нагнувшись, и прислушался: вошли в хату... посыпалась брань... Через дыру возле дымохода Абе выбрался на крышу, увидел навес конюшни и перепрыгнул туда. Здесь, в мягком сене, доверху наполнявшем отгороженную часть конюшни, было теплее, чем в хате и на чердаке. Лошади перестали жевать и с минуту прислушивались к непривычному шуму. Вытянув шею и насторожившись, Абе неподвижно стоял по колено в сене. Почувствовав ноющую боль в затылке, он опустил голову и закрыл глаза. Его обуял невыразимый страх. Так пролежал он бесконечно долго. Было далеко за полночь. Где-то поблизости раздался выстрел. Затем снова наступила тишина. Гулко хлопнула дверь в хате колесника. Оттуда донесся проникнутый отчаянием истощенный вопль. Так кричит женщина, отбиваясь от насильников. Врезавшись на мгновение в ночную тишину, крик оборвался.

И снова ночь наполнилась мертвым оцепенением. И снова страх обуял человека, лежавшего словно в забытьи.

Светало. Абе почудилось, что рядом вздыхает колесник и просит попить. Он открыл глаза — никого не было, его самого томила сильная жажда.

Бесшумно выбрался он во двор. На селе пели петухи. Теперь, в лучах занимавшегося дня, нельзя было медлить ни минуты. Спустившись с бугра за хатой колесника, Абе помчался к заливному лугу, кутившемуся пред-рассветным туманом. Вдруг он увидел конных гайдамаков. Абе прыгнул к земле, пополз в сторону и через лаз пробрался в чей-то огород. Он не знал, заметили ли его, и стал прислушиваться: голоса, изрыгавшие брань, сме-

шивались с лязгом металла. Бежать было поздно. В соседних дворах появились проснувшиеся люди. Как по булыжнику, загрохотали колеса. Зазвонили в церкви. Не согревая земли, всходило холодное солнце.

На огороде Абе спрятался в развалившемся погребе. Он вслушивался. Все чаще раздавался топот копыт, — прибывали петлюровские конники. Часть ямы была накрыта тонкими жердями. Сквозь них, как сквозь решето, видно было ясное небо, уже по-зимнему зеленоватое. Абе все еще был полон тревог пережитой ночи. Он сидел с непокрытой головой — он не помнил, где потерял шапку. Абе думал только об одном: у колесника стоят без присмотра две лошади. Как стемнеет, он заберется в конюшню, вскочит на коня и помчится обратно к большевикам.

В сумерки Абе осторожно выполз из ямы. В морозном воздухе пахло яблоками и овчиной. У околицы, недалеко от притихшей церкви, дымились походные кухни. На пустыре, вокруг плясунов, вихрем кружившихся под звуки гармошки, толпились гайдамаки. Сорили семечками, огрызками яблоков и капустными кочерыжками. Вдруг в толпе засуетились. Кто-то загорланил:

- Держи!
- Держи!
- Загороди дорогу!
- Не пускай!

Врассыпную погнались за въехавшей в село чужой подводой.

- Лови!
- Держи!

Толпа, обступившая задержанную подводу, росла. Бешеная ругань перекатывалась через головы и плечи. Но вот круг разомкнулся, из него вывели усталых лошадей. Толпа стала редеть, расходиться. Село утихло, засыпало. Был уже поздний час. Взошла луна.

Абе с опаской пробрался к затихшему пустырю. На этом месте, где раньше толпился народ, стояла пустая телега, сиротливо торчало дышло, валялась упряжь. Там копошились два человека: один — долговязый, близорукый — время от времени подносил руку к носу, чтобы разглядеть при свете луны, унялась ли кровь. Другой — в шинели, проворный, не переставая рылся в соломе на дне телеги.

— Как же теперь быть?—спрашивал он долговязого, растерянно озираясь по сторонам.—Все в целости, но как выбраться?

Крадучись, приближался к ним Абе. Они казались ему такими же загнанными, как он сам. Уже недалеко от телеги ему стало ясно, что его заметили. Абе шарахнулся в сторону. К нему медленно подходил долговязый. Он шел, подавшись головой вперед, шея была напряжена, точно он собирался боднуть. С минуту он разглядывал Абе, растрепанного, усталого.

— Еврей?—тихо спросил он.

У Абе сразу пропал страх. Подумав, он ответил:

— Верно. А что?

— Здешний?

— Нет.

— Как ты попал сюда?

Абе объяснил. Подошел второй. Незнакомцы заговорили между собою шопотом.

— А до большевиков далеко? — спросил первый.

— До советской части?—выпалил Абе.—А вам зачем?

•— Есть дело.

Абе внимательно пригляделся к незнакомцам.

— Верст пятнадцать наберется.

Те обрадовались:

— Не больше? Наверное знаешь?

Абе нахмурился и пожал плечами.

— Странные люди! Я же оттуда...

Те снова пошептались и сказали:

— Нам бы лошадей.

— А мы и пешком доберемся...

Он покосился на село:

— Вроде и лучше будет...

— Нам без лошадей никак нельзя.

— А что? — спросил Абе, опытным глазом окинув телегу.—Поклажа есть?

— Надо достать лошадей, и всё.

Абе почесал затылок:

— У колесника на конюшне лошади стоят... Его самого прошлой ночью убили...

— Вот ты и води их сюда, да скорее!

— Не выйдет,—озабоченно сказал Абе.—Опасно очень. Надо телегу оттащить до луга, что за домом колесника... А меня страх берет... Да и голоден я. Хлеба не найдется?

Получив хлеб, Абе оживился:

— Не вас ли, часом, у нас в штабе ожидают?

— А что?

— Да так... От ребят слышал, должен кто-то через фронт прорваться...

— Вот и ладно!—улыбнулся долговязый.

Запряженная двумя конями, телега поднималась в гору по песчаной дороге. Абе, без шапки, привычной рукой погонял лошадей. Мысль об убитом колеснике не покидала его.

«Надо было все же зайти в хату, — терзался он. — Похоронить бы, что ли... Эх, неладно как получилось!»

Его мучила жалость. Ни в каком родстве он с колесником не был, а все-таки щемило в груди от одной мысли: жил в селе Лещиновке Нехемья, безобидный колесник, а злодеи его загубили ни за что, ни про что. Жаль было и мельника.

Над рощей, мимо которой тряслась телега, взошла луна. Ее холодный свет, струясь между деревьями, казалось, бежал за подводой. Понукая лошадей, Абе поминутно впадал в дремоту. Ему снилось: за канавой, отделяющей рощу от дороги, среди редких кустов мелькает тень — призрачная женская фигура, босая, с ребенком на руках, выплывает из-за одного куста и тотчас исчезает за другим. Абе вздрогнул и открыл глаза.

— Тпру! — в испуге остановил он лошадей и спрыгнул.

— Что случилось? — спросил один из сидевших в телеге.

Кругом было тихо. Луна попрежнему обливала холодным светом верхушки деревьев.

— Ничего... Почудилось, должно быть, — смущенно проворчал Абе.

Он полез обратно в телегу с таким чувством, точно давно знал людей, сидевших рядом с ним. Это были не те пассажиры, которых он возил на лошадях отчима. Это были свои, и подвода была особая — ничья, вернее, — общая.

Весело хлопало и волновалось красное полотнище над штабом Н-ского полка, радуясь всеми своими складками: «Снимаемся! Идем дальше!»

Среди красноармейцев, готовивших в путь лошадей, стоял в новой красноармейской шапке Абе. По-хозяйски, деловито и щедро расточал он советы, как с каким конем обходиться.

В углу двора бродили стреноженные лошади. К трем из них Абе питал особую привязанность. Одна — маленькая, часто моргавшая — была взята у кузнеца Гавриэля. Другие две — тонконогие, с аккуратно подстриженными гривами — казались Абе сиротами, тоскующими по уби-

тому колеснику из Лещиновки. Серdito подошел он к одной из них, наклонился, снял путы, но не ударил при этом сапогом в живот, как принято в таких случаях.

— Абе1—позвал его ординарец Зозуля.—Тебя в штаб кличут!

Поправив шапку и шинель, Абе размеренным шагом направился туда.

— Вот и Абе!—приветствовал его военком.—Молодец! Нужных людей привез. Выполнил задание! Сейчас получишь первый паек.

Абе насторожился. Он недоверчиво косился на паек, не торопясь брать его. Уж не разнюхали ли в штабе, что он лишь случайно пристал к полку? Чего доброго, скажут: «Не наш! Получи паек и проваливай к своей невесте!»

Насупившись, все еще боясь прикоснуться к лежащим перед ним сверткам, Абе озабоченно спросил:

— А в наступление когда пойдем? Скоро гайдамаков из Лещиновки гнать будем?..

1923 г.

ДОКТОР АБРАМОВИЧ

I

Густая черкая борода на скуластом, квадратном лице сильно старила доктора. Гимнастерка у него всегда была измята, пояс сидел криво.

Доктор Абрамович был в полку свой человек; красноармейцы называли его просто «наш доктор».

В последнее время он иногда исчезал из госпиталя на час-другой. Больные передавали тогда друг другу:

— Нема нашего доктора, сховався!

— Тоскуе наш доктор.

Кто-нибудь из больных отправлялся его искать и находил на далеких задворках. Доктор долго смотрел на больного, не произнося ни слова. Случалось, больной пошутит, но доктор отворачивался.

В Н-ский полк его привел военком Лейзер. Судьба свела их в Тереве. Доктор извлек пулю из левого плеча военкома и заодно решил вырезать у него воспаленный отросток слепой кишки.

— Ну, вот еще! — отшучивался Лейзер. — Ваш брат любит резать. Попадись вам в руки, одна шапка останется!

Но доктор был равнодушен к остротам.

— Я про дело говорю! — сухо проворчал он. — Не вырежете, начнет гнить!

Чудаковатый доктор добился своего. — операция была сделана, военком быстро поправлялся.

— Свет не без добрых людей, — сказал как-то Лейзер навестившему его Абрамовичу. — Вот вы меня вылечили, часто навещаете и даже спасибо слышать не хотите!

— Я не в счет, — раздраженно отозвался доктор. — Мерзости во мне не меньше, чем в других. Я не честнее, а только упрямее. Когда объявили войну, я сразу попросился на фронт. Мне претило походить на тех врачей, которые откупались взятками, чтобы остаться в тылу... Че-

стность тут была не при чем. Честных людей нет, — это одна выдумка!

— Шутите! — смеялся Лейзер. — Поступайте врачом к нам в полк. Я вам покажу честных людей. Я познакомлю вас с нашим ординарцем Зозулей: он из батраков, прежде был неграмотный...

— А ну вас!..—сердился доктор.—Подлости у всех людей поровну, только и разницы, что у одних она Торчит на видном месте, у других запрятана.

— Вот как!—смеялся Лейзер.—Дайте время, наведем порядок. Захотят люди подличать, да не смогут.

— Не верю, не верю!—мотал головой доктор.

Но в полк все же поступил.

Шла гражданская война. В Красную Армию призывали врачей. Оставив семью у тестя, доктор отправился на фронт вместе с Н-ским полком.

Летние месяцы прошли в суровых боях. Влившись в одну из дивизий Красной Армии, полк со всем своим обозом, походными кухнями и полевым госпиталем продвигался на коростенский фронт.

И

К концу лета прокатилась волна погромов. Во время резни в Тереве была убита беременная жена доктора — рослая, статная, светловолосая Генка. Вместе с ней погибла четырехлетняя дочь.

Весть об этом Абрамович получил уже на фронте. Его скуластое лицо не обнаружило ни волнения, ни боли — оно словно окаменело. Быть может, ему не хотелось походить на тех, кто в подобных случаях разливается ручьем, бьется головой о стену.

Этот день он провел так же, как и все другие дни. Больные красноармейцы передавали друг другу:

— Нема нашего доктора, схавався!

— Тоскуе наш доктор.

Доктор шагал взад и вперед по своей комнате. Случайно остановившись перед зеркальцем, он с ненавистью посмотрел на свою лохматую черную бороду, взял вдруг ножницы и мигом отхватил ее.

— Подумаешь!—злбно произнес он.—Велика важность — человек... Да еще с бородой! К дьяволу ее!

В госпитале все шло обычным порядком. Доктор с тем же усердием лечил красноармейцев и партизан, отпиливал раздробленные руки и ноги. Кровь, вопли и стоны раненых путались в его воображении с кровью, вопля-

ми и стопами жены и дочери, погибших в теревском погроме. И без того скупой на слова, он стал еще молчаливее.

Целыми днями не отходил Абрамович от операционного стола. Смыв с рук кровь после одной операции, не обменявшись ни словом с помогавшими ему сестрой и старшим санитаром, он тотчас же приступал к другой. В глазах своих помощников Абрамович видел готовность выразить ему сочувствие, и это раздражало и мучило его.

Прошло три дня, четыре, может и больше,—доктор потерял ощущение времени, он не считал дней.

Август был на исходе. Стоял удушливый зной. От земли поднималось горячее марево. Так бывает перед дождем, но доктору почему-то чудилось, что будет затмение.

В самый разгар боев пришло письмо с подробностями о смерти Генки. Три дня бесчинствовала банда в Тереве. Генка с ребенком погибла в первое же утро. Их убили на крыльце у доктора Пшибульского. Напротив видели, как Генка отчаянно звонила к доктору. Отворять вышел сам Пшибульский, белотелый, по-бабьи рыхлый, но, увидев Генку, захлопнул дверь перед самым ее носом.

А за несколько дней до этого шестипудовый Пшибульский был в доме ее отца и дружески осведомлялся о «коллеге Абрамовиче». Генку он бережно осмотрел и нашел, что она на девятом месяце. Родителям он по секрету сказал, что за ней нужен внимательный уход, так как беременность протекает не совсем нормально. Необходим полный покой, тем более в такое тревожное время, — в городе ждали погрома...

Из всего этого Абрамович запомнил лишь одно: Пшибульский осматривал Генку незадолго перед погромом. Какая-то смутная навязчивая мысль уж не покидала его. Он продолжал работать в госпитале. С фронта все чаще прибывали раненные.

На плохенькой кровати, корчась от боли, лежал Абе, бывший возчик. Уставясь в одну точку, он, казалось, пытался понять, каким образом он, Абе из Ставищей, попал сюда в госпиталь.

Возле него, на еще худшей койке, лежал комроты Ефим Птаха, плотный и приземистый. Он горячо убеждал доктора отрезать ему ногу возможно ниже. И Ефим Птаха с раздробленной ногой, и Абе с пулей в области почек, — оба стонали от боли. Но доктору казалось — они

стонут оттого, что на улице такой зной, а в Тереве был погром.

Рядом с этими двумя лежал после операции артиллерист Саша Черных. Чтобы заглушить мучительную боль, он снова и снова повторял стишок, не то подслушанный, не то им самим сочиненный:

Что ни утро, все равно
Смотрит солнышко в окно,
Иль блеснит оно в зените.
Милой девице скажите:
Сердце ей свое несу,
Полюбил ее красу!

Тихий, бархатный голос страдавшего человека отвлекал доктора от работы.

— Велите прекратить! — сказал он сестре.

В тот день, покончив с операциями, доктор с обычной медлительностью снял халат, постоял в раздумье, ища глазами, куда бы его повесить, и вдруг кинул на пол, как бы решив никогда больше не надевать. Потом он вышел из госпиталя.

Над селом клубилась горячая пыль. Раскаты оружейных залпов (фронт был рядом) то сливались в долгий непрерывный гул, то затихали, чтобы снова загрохотать с удвоенной силой.

На краю разрытого шоссе стоял каменный дом. Обитатели его сбежали прошлой ночью. Рядом, в опустевшей лавчонке, сидели на низком топчане командир полка и военком, склонившись над полевым телефоном. Оба только что примчались, словно их пригнал сюда ветер, несший облака пыли с передовых позиций. Ждали начдива. У крыльца переступали с ноги на ногу кони. Возле запряженных двуколок сустились люди. Из штаба вышел Зозуля, запыленный, со вздутой перевязанной правой щекой. Увидев Абрамовича, он пошел ему навстречу. Правого глаза Зозули из-за сильной опухоли почти не было видно, левым он лукаво подмигнул доктору.

— Вы бы, доктор, того... — сказал он, теребя его за рукав. — Вы бы мне зуб выдернули, а, доктор?

Абрамович ничего не ответил. Он стоял около двуколки, жевал соломинку, шурился. В штаб то и дело входили военные. Наконец, вошел туда и доктор.

— Отпустите меня домой, — обратился он к командиру полка Божко.

И командир и военком вскинули на него глаза.

— То есть, как это — домой? — переспросил Божко.
— Больше я не гоюсь здесь, я дошел до точки! — буркнул доктор. — Я словно не людям руки и ноги режу, а дрова рублю, солому крошу...

Командир полка так и привскочил. Опустив веки, он разгладил усы и, бледный от обиды, сказал:

— Не смеешь так выражаться о моих людях! — Хорошее дело... «дрова», «солома»! А ты знаешь, что месяца три назад в Москве на Военном Совете наших хлопцев молодцами назвали?! Сам слышал. Ленин и Сталин на том Совете заседали...

— Правильно! — улыбнувшись, поддержал его Лейзер, но улыбка его погасла, едва он заметил внезапную перемену в лице Абрамовича.

Тот неистово закричал, стуча кулаком по столу:

— Отпустите меня! Замените меня кем-нибудь! Ведь у меня жену и ребенка зеленобандиты убили!..

Затем сн притих.

III

Абрамович прибыл в Терев на рассвете. У него было принято твердое решение: позвонить в тот же звонок, который дергала беременная Генка перед тем, как ее убили, войти в дом и, вынув из кармана револьвер, сказать Пшибульскому: «К стенке, негодяй!»

С этой мыслью шел он с вокзала, озираясь по сторонам и недоумевая.

Здесь ничего не изменилось. Погрома будто и не было... Тот же тихий городок у подножья холма, узкие улицы и садочки, чисто подметенная базарная площадь в кольце домиков, смотревших на прохожего подслеповатыми окнами, тот же постоянный двор, та же белая церковь.

Было раннее утро, солнце только всходило. Разило помоями и конским навозом.

Завидев Абрамовича из окнагмать Генки выбежала к нему на улицу, рыдая и причитая:

— Ой, горе, Мендель, ой, какое горе!

Тесть неподвижно сидел у стола. Его с раннего утра душил кашель. Доктору показалось, что он притворяется, стараясь оттянуть разговор о случившемся.

В доме пахло свежеиспеченным хлебом и было так же опрятно, как и при Генке...

«Служанку все еще держат! — подумал доктор с родителей Генки. — Попрежнему берегут себя!»

Он почувствовал к ним враждебность. Нет ли здесь в городе близких людей, с которыми он мог бы поговорить о Генке?

Подали чай и топленое молоко. Тесть все смотрел в сторону; он опять закашлялся, потом оперся локтем о стол и закатил глаза.

— Ну, и пообчистили нас! — начал он. — До ниточки обообрали!.. У меня одной мануфактуры тысяч на пятьдесят с лишним было!

Абрамович не сводил с него глаз. Его неприятно удивило сходство тестя с Генкой. Он ясно представил себе ее лицо, глаза, нос, рот, лоб. Все, что в ней было так мило, казалось противным в старике. В ушах доктора все еще отдавались слова: «У меня одной мануфактуры тысяч на пятьдесят с лишним было».

«Не человек, а мразь!» — мысленно выругался он.

Мать Генки время от времени начинала плакать, но Абрамовича это не трогало, его жалость иссякла. Мысль о мщении Пшибульскому стала простой, понятной, осязаемой: он его убьет. Одновременно давила на мозг и другая мысль: «Пшибульских много, и жить среди них противно».

IV

На крыльце докторского дома, за нагретыми солнцем стеклами, созревали помидоры и баклажаны.

В докторском кабинете стоял Абрамович с наведенным на Пшибульского револьвером. Все получалось иначе, чем он себе представлял. На диване, съездившись, сидел белотелый, по-бабьи рыхлый Пшибульский, прикрыв лицо руками, задыхаясь, и что-то бессвязно бормотал.

— Негодяй! — процедил сквозь зубы Абрамович, чувствуя, что говорит не то. — Зачем вы приказали смыть кровь с крыльца?.. Кровь моей жены и ребенка!

Пшибульский сполз с дивана и, пресмыкаясь, целовал сапоги Абрамовича. И вдруг доктор почувствовал себя душевно опустошенным. Он даже не испытывал больше жажды мести, ярость сменилась отвращением.

«Не человек, а мразь!» — опять подумал он.

Это животное было так же противно, как и подсчитывавший убытки тесть.

— Так и быть,—сказал он, пряча револьвер,—дарю тебе твою вонючую жизнь... Подавись собственной вонью!

Лишь потом, на улице, Абрамович вспомнил, как обрадовался Пшибульский словам: «Подавись собствен-

ной вонью!»—он был так растроган, что даже обещал никому не рассказывать о случившемся и проводил Абрамовича до дверей.

Был полдень, когда к Абрамовичу, в дом тестя, пришел местный учитель Фридкин. Он озирался по сторонам обезумевшими глазами. В дни погрома Фридкин руководил отрядом самообороны. Два дня они сдерживали банду, наступавшую с вокзала. На третий вышли патроны. Тогда они на рассвете вернулись в город и попрятались, кто куда. Но его, Фридкина, никто к себе не пускал.

— Потому, что я был в самообороне... Из-за меня, мол, достанется и другим. Бродил я по безлюдным улицам, добрался до Коноваловского переулка и вижу: в глубине двора сарай, дверь чуть-чуть приоткрыта. «Ладно,—думаю,—укроюсь в сарае!» Забрался я на чердак и прилег на сене. Сверху вижу: между штабелями дров и стеной—узкий промежуток. Там, пожалуй, надежнее,—думаю,—попытаюсь спрыгнуть. Спускаю ноги, но наталкиваюсь на что-то мягкое, живое. До ушей доносится шопог. Место оказалось занятым семьей Лихман. Один из малышей радостно кричит: «Вот и учитель с нами!» Но Лихман с женой злобно зашипели на меня: «Уходите! Вы в самообороне были, вы и нас погубите!» Пришлось револьвером пригрозить!..

В этом сарае Фридкин укрывался все время, пока в городе шел погром. К концу третьего дня он с чердака увидел кучку вооруженных людей и принял их за красных.

— Я поспешил к ним с радостным криком: «Товарищи! Это вы выбили из города бандитов?»—«А ты кто будешь?»—набросились они на меня. «Я коммунист,—говорю,—пока, правда, только сочувствующий». А они: «Коммунист? К стенке его!» Я, значит, ошибся: это оказались зеленые. Какой-то вздор городят: «Мы за советы, да против коммунистов». Бандитов из города они выгнали, но и сами непрочь были пограбить. Чудом спасся от них... До сих пор не оправился... Пойду теперь в Красную Армию.

День уже клонился к вечеру, когда Фридкин ушел. Шагая взад и вперед по комнате, Абрамович видел перед собой глаза учителя. В доме было тихо. Тесть, как и при жизни Генки, после обеда прилег вздремнуть. Здесь жизнь шла по-старому. Доктору стало невмоготу. Остаться в этом доме было страшно. Незаметно выбравшись, он побрел на вокзал и там просидел до поздней ночи.

Переполненный до отказа поезд привез его в Киев. В

вагоне была толчея, кругом сустились, кричали, ругались. «Почему бы самому не положить конец своим мучениям?»—подумал он. Легче от этой мысли ему не стало, но и прежнего гнета он уже не ощущал.

V

Шаркали по асфальту сандалии. Запруженные улицы все же были какие-то странные — без трамвайных вагонов, с обгоревшими воротами, с изрешеченными фасадами, с выбитыми стеклами...

Внизу серебрился Днепр, вспыхивали и гасли в нем брызги искрящегося солнца.

По улице, по горячим тротуарам, шел Абрамович. Последний день... Все слабее, все тоньше делались нити, связывавшие его с миром. Он передаст по назначению лежавшее у него в боковом кармане письмо, и больше никаких дел у него нет — оборвется последняя нить. Он хотел поскорее развязаться с этим письмом, которое командир полка просил его лично передать некоей Мирре Исаевне.

Доктор нашел указанный в адресе дом и поднялся на самый верх. На широкой полутемной площадке он постучался в единственную дверь. Никто не ответил. Тогда Абрамович просунул письмо в щель и спустился обратно с чувством полной пустоты в душе — все счета с жизнью были покончены.

Почувствовав сильную жажду, он удивился, что у него осталось еще какое-то желание, и остановился на углу у киоска.

Там стоял молодой рабочий с ребенком на руках. Сморщив заплаканное личико, ребенок тянулся ручонками к конфетке, но торговец дорого просил, и рабочий колебался. Абрамович схватил горсть леденцев, сунул их ребенку и швырнул торговцу деньги. Забыв о жажде, он пошел дальше. Вдруг ему показалось, что его окликнули. Он нехотя оглянулся. Его догоняла незнакомая женщина.

— Простите, — смущенно сказала она, — это вы только что принесли письмо? Вас видела соседка.

Ее матово-черные глаза смотрели на доктора испытующе и с затаенной радостью. Грудь часто вздымалась. Из-под верхней, чуть вздернутой, губы виднелись ровные белые зубы. Лицо показалось доктору знакомым.

— Да, я,—неохотно ответил он.—А что?

Глаза женщины заискрились.

— Вы, может быть, зайдете ко мне?—предложила она. — Я — Мирра Исаевна. Хотелось бы расспросить вас про вашего командира.

Лишь теперь Абрамович вспомнил фотографическую карточку в комнате Божко. Приветливо улыбаясь, девушка протягивала ему руку. Он испуганно отстранился, словно эта рука собиралась втянуть его назад в жизнь.

— Нет, нет... зачем? — неприятно пробормотал он. И тут же сурово добавил: — Никуда я не пойду.

Мирра дотронулась до его руки и одновременно повернулась к ожидавшей ее в сторонке девушке:

— Чего вы там стоите одна? Идите сюда!

Та вздрогнула. Абрамович заметил, что у нее были заплаканные глаза. Сделав над собой усилие, она тихо ответила:

— Доберусь сама... Я найду...

И, отвернув грустное лицо, побрела дальше.

— Такое несчастье!—сказала Мирра.—Она бежала от погрома, всех родных убили у нее на глазах... Уже три раза она пыталась покончить с собой. Я ее не отпускаю ни на шаг.

Абрамовичу вдруг стало стыдно. Он как-то обмяк и молча поплелся за Миррой.

Она оживленно рассказывала о себе, о своей работе в военном госпитале, где встретилась с Божко после Февральской революции и давала ему первые уроки политграмоты. Она напишет ему, и пусть доктор передаст еще на словах, что она ждет назначения в ревком коростенского фронта.

— Посмотрю я на своего ученика, как он справляется с работой!—лукаво прибавила она.—Хороший он!.. Правда? Простой, но хороший!

А вот ее дом. Доктор непременно должен зайти... Это ее комната. Он может передохнуть здесь с дороги, а она тем временем сбегает в комитет. Там как раз решается вопрос о ее переводе.

Она поспешно опустила штору. В дверях она задержалась.

— А где же та?.. Неужели еще не приходила?—Она имела в виду девушку, которую не оставляла мысль о самоубийстве.—Не стряслось бы чего с ней. Вот Горе-то!

Она растерянно развела руками и скрылась за дверью.

VI

Как сквозь сон, слышал доктор удалявшиеся шаги. В оцепенении сидел он посреди чужой комнаты и долго разглядывал висевшую над опрятно убранной кроватью фотографическую карточку командира полка.

Он задремал, но, услышав шаги, очнулся. В комнате стояла девушка, которую он видел с Миррой на улице. На плечах у нее был шарф. Она недружелюбно посмотрела на него, очевидно недовольная тем, что застала его здесь: он ей мешал, как она мешала ему. Девушка стала у окна спиной к доктору. Ее пальцы то судорожно перебирали складки застиранной кофточки, то путались в бахrome спадавшего с плеч шарфа.

Она, казалось доктору, вела себя так же, как он сам только что наедине с собою. Он отвернулся, удивляясь неприязни, которую испытывал к девушке. Отчего бы это? Два человека задумали одно и то же, — им бы сочувствовать друг другу. Но вот они в одной комнате, оба решили покончить с собой, и как тягостно каждому присутствие другого!

Он услышал, что девушка у окна плачет, и с ужасом уставился на нее. В ее всхлипываниях он слышал свой собственный плач. Растерянный, он встал и принялся шагать по комнате. Девушке показалось, должно быть, «то он собирается ее утешать.

— Не нужны вы мне! — крикнула она. — Вы мне противны!.. Вы дали сегодня леденцов плачущему ребенку... Но мне наплевать на вас! Погромщики могли бы то же самое сделать!.. Уходите! Все вы звери...

Абрамовичу опять почудилось, что эта несчастная девушка повторяет вслух его мысли. Вынуть из кармана револьвер и выстрелить в себя было легко, — легче, чем до сих пор казалось, — сущий пустяк/Но между безвольным самоубийцей и человеком, который страдает, борется, терпит поражения и опять борется, — подумал он, — столько же общего, как менаду трухлявой соломой и чистым зерном.

«Что же делать?»

В первый раз за эти дни он вспомнил про госпиталь, про тяжело раненного Абе, про приземистого Птаху, горячо просившего отрезать ногу пониже, про других ребят в полку, так упорно боровшихся за жизнь. В первый раз за все это время его потянуло к ним.

VK

Через три дня Абрамович опять стоял у операционного стола. Вечером он и Божко сидели на ступеньках опустевшего каменного дома. У комполка в руках было письмо Мирры Исаевны.

— Ну, вот,—говорил он доктору,—отец у нее, знаешь, пекарем был. Девчонкой она пирожные и прочие лакомства разносила по богатым домам, а сама всегда голодная ходила. Хлеба досыта не видела. Ну, и я тоже в бедности вырос. Батки не помню. Мать на сахарном заводе маялась. Раз я стащил у пана куренка, подпаском я еще был... Ну, и била же меня мамаша за такое дело, дня два кряду била!..

— Да, — задумчиво сказал доктор. — И мой отец неласковый был, — нищета одолевала, — он был меламендом. С матерью не ладил, подолгу не разговаривали. Ох, и голодно было! Случится, мать достанет костей на суп — вот радость! Опять отец с матерью разговаривать начинают, и мы, дети, тоже довольные ходим и друг другу шепчем: «Помирились!»

— То-то и оно! — хитро подмигнул Божко. — Вот, значит, откуда строгость твоя идет — по наследству, выходит!

Сгушались сумерки. На фронте было затишье. Доктора позвали в госпиталь. Через открытую дверь доносился голос раненого артиллериста Саши Черных:

Что ни утро, все равно
Смотрит солнышко в окно,
Иль блеснит оно в зените.
Милой девице скажите:
Сердце ей свое несусь,
Полюбил ее красу!

1927 г.

ТЕЛЕФОН

I

В корчме, у самой пограничной полосы, где начинались дремучие болотистые леса, висел полевой телефонный аппарат.

Охранял его красноармеец Федор Зозуля. Волосы у него были жиденькие, совсем светлые, в водянистых глазах часто застывало глубокое раздумье, и в таких случаях верхняя губа забавно задиралась и ползла вверх, к вздернутому носу.

Зозуля чувствовал себя в корчме хозяином.

По телефону он говорил с каким-то ожесточением, с суровой преданностью служебному долгу и часто отчитывал дежурных с соседних постов.

В Красной Армии он научился читать, и у него сохранилась давнишняя привычка — остановившись возле плаката или воззвания, читать вслух, не смущаясь тем, что на него смотрят с удивлением.

В разговоре он употреблял то русские, то украинские слова. Русские, усвоенные за годы службы, нужны были для всего, что касалось революции, — украинские относились к полям, лесам и человеческой природе. Он родился под Харьковом и с детства работал у помещика, сперва пастухом, потом конюхом.

В Красной Армии он считал себя человеком крайне нужным, — он одним из первых вступил в ее ряды, побывал на разных фронтах, умел вовлекать в свою часть новых людей.

— Вот ты послушай, товарищ! У нас больше нет прежнего начальства, — верно я говорю? Ты, значит это, боец, но можешь стать и командиром, как ты есть, значит, красноармеец. —

Шли бои с legionами Пилсудского.

Вначале пост близ корчмы, кроме Зозули, охраняли еще восемь красноармейцев. Леса, гул которых напоми-

нал отдаленный шум прибоя, укрывали в себе остатки разбитых банд, грабивших без разбора, и нередко приглушенный лесной шум прорезали замирающие вопли.

В грязной корчме сидели у непокрытого стола восемь красноармейцев с винтовками между колен и в полудреме слушали объяснения Зозули, почему француз так быстро дал дёру из Одессы, а англичанин все не уходит из Архангельска.

Настало лето. Окрестным болотистым лесам грозило окружение со стороны белопольских легионов. Восемь красноармейцев были отозваны на другой отдаленный пост. Зозуля остался один — охранять полевой аппарат.

К своим обязанностям Зозуля приступил со страстью человека, который до всего в жизни дошел собственным умом. Чего больше — даже в вопросах революции, казалось ему, он до многого сам докопался.

Связиста, который принялся было ему объяснять, как обращаться с телефоном, Зозуля прервал на первых же словах.

— Все понятно, товарищ, — отрезал он: — Воно, значит, есть телефон, верно я говорю? Ты в него говоришь, и тебе отвечают—во!.. Батарея для него все одно, что коню корм, кончилась одна, другую на ее место сунул. Вот ты мне побольше этих самых батарей оставь, и точка, во!..

Телефон в представлении Зозули имел непосредственное отношение к Красной Армии и к революции, а раз так, то его надо было тщательно охранять. Конечно, это не живой предмет, но и мертвым не назовешь. У телефона свои повадки.

Скажем, в поле ни ветерка; тогда говори в аппарат тихо, просто, как с людьми разговариваешь.

Зато, ежели ветер рвет и мечет, тогда кричи в аппарат, что есть мочи, пока тебя пот не прошибет.

Одна только беда — скучно в корчме. Среди евреев он никогда не жил и языка их не понимал.

Телефон стал единственной утехой Зозули, как бы по-душевленным другом-приятелем, к которому можно было подойти несколько раз на дню, поговорить по-хорошему, вспомнить о Красной Армии, о революции. Правда, частенько телефон походил на глухого, у которого к тому же ослабела и память. Тогда приходилось возиться с ним подольше.

Подойдешь, покрутишь ручку, и тотчас раздается: «Дзинь-дзинь!»

Прямо в ухо кричишь ему:

— Это я, Федор Зозуля! Пост номер три на сто первой версте! Громче! Что ты, не **iВ**, чи шо?

Вот уже две недели Зозуля один охранял телефон. Он спал возле него в углу корчмы, накрывшись грязной шинелью. По ночам он выходил за дверь и стрелял в воздух — пусть все знают, что пост охраняется. От скуки он перечитывал каждый лоскуток газеты, прежде чем свернуть цыгарку. Им овладевало сильное желание побеседовать с людьми, поделиться мыслями с трудовым человеком насчет того, что теперь время не такое, «чтобы, знаешь...» — и еще насчет того, что он, Зозуля, себя в обиду не даст. Правда, полк его ушел, но не за морем же — пусть-ка кто-нибудь попробует сделать такое, чего не полагается, — он, Зозуля, раз-два — и к телефону... Потому-то ему, Зозуле, и не след здесь дремать.

У Зозули всегда вертелись на языке слова, которыми он охотно изложил бы свои **МЫСЛИ**:

— Всякому хочется лучше жить,—верно я говорю?..

Но в корчме, только он заводил разговор, все словно лишались языка и как-то странно на него смотрели. А когда он смолкал и уходил на кухню, раздавался сердитый окрик по адресу молоденькой служанки:

— ЗельдаГ Где у тебя глаза?..

— Зельда, что тебе наказывали?..с

Это означало:

«Почему ты не идешь на кухню? Живей иди, присмотри за ним!»

Но в разговоре о Зозуле между собою все сходились в одном:

— Никогда чужого не тронет!

— Хоть золото валяйся у него под ногами!

И еще говорили о нем:

— Верит в их дело, как в бога!

— В том-то и вся беда!

— Красные и сами про него говорили: «Зозуля—наш.

Он в Красной Армии один из первых!»

— Скорей бы господь убрал его отсюда!..

Ц я

В корчме доживал свой век маленький сивый дед. Он плохо слышал, колени у него тряслись и подгибались, от него дурно пахло. Каждый день он взбирался на скамеечку, заводил часы и внимательно рассматривал стенной календарь: дед соблюдал по календарю посты.

Зельда, подросток с густыми черными волосами и

большими темносерыми глазами, была его внучка. Ее отца и мать убили во время погрома. Ее взяли сюда в корчму вроде, якобы, как родную, но работать заставляли больше, чем наемную служанку.

Тут же в корчме жили и хозяева — бездетные муж с женой, молчаливые люди, всецело занятые корчмарскими делами и заботой о своем участке земли. Вид у них был подавленный.

С тех пор как красноармейцы повесили здесь полевой аппарат, перестали показываться люди, пробиравшиеся за границу, кончилась выручка за самовары, постой, харчи...

Корчмарь и корчмарка часто сидели за столом нахмуренные, переговаривались между собою на непонятном для Зозули языке и сердито косились на него, когда он возился со своим телефоном. Стоило Зозуле умолкнуть, они тоже прекращали разговор, то и дело тяжело вздыхали, и только взгляды, которые изнуренная Зельда украдкой кидала на Зозулю, давали ему понять, что хозяева недоброжелательно отзывались о нем. Желая показать, что он им не враг, но и не боится их, Зозуля заговорил однажды, подмигивая на аппарат:

— Телефон, значит, название ему... Умная штука, ого!.. На пользу революции служит... Висит себе тихонько на стене, помалкивает, а все слышит... Все слышит!.. Ох, и до чего чуткий! За тысячи верст слышит, что сквозь робится!..

Корчмарь с корчмаркой переглянулись.

— Натe, радуйтесь! — процедила корчмарка, глядя на потолок. — Разговорился!..

— А тебе что? — цыкнул на нее корчмарь, сгоняя со стола муху. — Пусть болтает хоть до пришествия мессии!

Зозуля ничего не понял. Но, почувствовав, что его слова задели их, он продолжал назло им расписывать свой телефон:

— Подойдешь к нему, крутнешь, и готово! Через него, можно сказать, со всей Красной Армией разговариваешь, с революцией, с Москвой, с самим Кремлем! Да и подальше — со всеми «пролетариями всех стран соединяйтесь!» Только крикни в него: «Красноармеец в опасности!» — и сразу полки на помощь придут! Большое дело — телефон! Наше, можно сказать, красноармейское дело, для революции требуется, да!

— Осел! — пробурчала на своем языке корчмарка, потом, не выдержав, крикнула уже по-русски: — Дурень

эдакий! За границей ни одного дома без телефона не найдешь!

— Може буты,—согласился с нею Зозуля.—Только наш телефон — це дело другое. Що в наш телефон чуты, того в ихний не услышишь!

— Заткни глотку! — прикрикнул корчмарь на жену, чтобы положить конец разговору.

Глядя на мужа и жену, сидевших с опущенными головами, Зозуля чувствовал, что одна только молодая, измученная Зельда его понимает. Ее большие глаза, казалось, прятали затаенную усмешку.

Ни один новый человек не показывался в эти дни в корчме, за исключением владельца смолокурни Бучильникова, по приказу штаба возившего на своих лошадях провиант красноармейским постам. Глаза у него всегда были злые, как у человека, только что очнувшегося от дурного сна.

Едва он подъезжал к корчме, хозяева выбегали ему навстречу и начинали расспрашивать, словно посланца свыше;

— Степан Васильевич, скажите, едут же еще люди через границу?.

Внешне Бучильников оставался спокойным, но в душе его бушевала ярость.

— Едут ли? — ворчал он, не глядя на корчмаря и корчмарку. — А то как же? Едут понемножку.

— Попрежнему едут? И каждый день, Степач Васильевич?

Бучильников возился у телеги, что-то искал в ней, и, все еще не оглядываясь, отвечал со вздохом:

— А ежели через день едут, так это плохо?

— Значит окольной дорогой едут, так?

— Известное дело, окольной. Мимо кейдановской корчмы... Не по небу же им ехать, ясно...

— А много там проезжих?

Бучильников внимательно осматривал колеса своей телеги, набирал полную грудь воздуха и, отчеканивая каждое слово, сердито отвечал:

— В кейдановской корчме золотыми пятерками расплачиваются!

— Почему же про нас забыли, Степан Васильевич?

— Про вас?—Бучильников издали кинул взгляд на Зозулю.—Да ведь у вас эта напасть!

— Так он же один тут...

— Всё едино... У него эта штуковина есть, во... что звонит, когда ее покрутишь...

— А что, вообще, в городе слышать, Степан Васильевич? Что говорят?—спрашивал корчмарь, подмигивая в сторону Зозули,—Долго еще они тут пробудут?.. Длинные козырьки слышать, идут..

— Да, идут, идут, только сюда вот не дошли!

— Золотое дно была наша корчма... Что же теперь будет?..

— А кто его знает, что будет...

После его отъезда корчмарь с корчмаркой долго сидели и снова тяжело вздыхали, словно после похорон близкого человека. Звуки их непонятного языка сливались в ушах Зозули в монотонное гуденье.

Чтобы жена не грызла и чтобы не слышать, как Зозуля без конца возится со своим телефоном, корчмарь уходил в полутемную клуню и оставался там часами. Тогда корчмарка принималась точить дряхлого, наполовину из ума выжившего деда.

Сворачивая цыгарку, Зозуля искоса поглядывал на хэзяев. Ему все чудилось в их разговоре что-то нехорошее для революции и для Красной Армии, оставившей его здесь охранять пост. Выходит, он, Зозуля, и сам виноват, раз такие вещи допускает. Его и без того разбирали в последнее время досада — неужто про него совсем забыли? С ближайшего поста ему почти перестали звонить, словно не до него было. Случалось и так: телефон начинал дребезжать. Зозуля подбегал, снимал трубку, называл сзой пост, но никто не отзывался. Казалось, телефон трещит сам по себе. Прежде, бывало, тут на час — другой останавливался верховой разъезд, проходили воинские части. Теперь же — ни души.

Чтобы скрыть беспокойство, Зозуля, как бы в забывчивости, сам с собой вслух разговаривал:

— Да!.. Большие, мабуть, бои идут... Скоро, верно, и гут почуем...

Иногда ему случалось забрести в клуню, где, весь в пыли, часами копошился корчмарь. Тогда Зозуля пытался вызвать его на разговор.

— Что, хозяин, працюешь? Ну, ну, работай... Мы за весь рабочий класс, чуешь? Нам это дело представляется так... Сколько тебе хлеба треба, возьми, а вес остальное-прочее всем вместе принадлежит, потому и земля общая. Не то, что прежде... Примерно, был я батраком у помещика, працювал, значит, на него, а больше тому не

¹ Прозвище польских легионеров.

бызать, — так говорим мы, большевики. Так говорит сам Ленин, значит это верно, так говорю и я, Зозуля...

Но корчмарь в последнее время пуще прежнего злился, и выражение его лица, казалось, говорило:

«Болтай, болтай!.. Мне до этого дела мало!»

На душе у Зозули становилось все тревожнее. Он возвращался в корчму, садился за непокрытый стол, и, положив голову на руки, грустно напевал сквозь зубы, поглядывая на старого деда, который неподвижно сидел на скамье.

— Чудак же ты, дед, ей богу, чудак! — пытался он расшевелить его. — Иные старички любят всякие были да небылицы рассказывать. Как трудно жилось нашему брату, про то они дуже гарно рассказывали, или про ваших же евреев, как попы всякое про них выдумывали и народ дурачили. А ты, старичок, глаза пучишь и что-то непонятное бормочешь, и прямо от тебя, уж ты не серчай, дед, тоска смертная идет!.. Ты бы на нас, красноармейцев, поглядел и порадовался... Начали мы, можно сказать, одними десятью пальцами, доброй винтовки не было, чтобы пострелять...

Но дед все молчит и трясет дряхлой головой, будто никаких новшеств признавать не хочет.

И когда Зозуля немного погодя выходит на кухню, старик, по примеру хозяев, торопит Зельду:

— Ступай живей на кухню! Посматривай за ним!

Зозуле слышно, как Зельда огрызается. Похоже, что она заступает за него.

В корчме все чаще и чаще бранили Зельду. Корчмарка особенно донимала девушку, хотя та исполняла всю тяжелую работу по дому. Как-то, возвращаясь с винтовкой в руках после обхода поста, Зозуля увидел Зельду, стоявшую на дворе возле кухонной двери. Она прижималась головой к косяку, и плечи ее вздрагивали.

— • Вот свиньи! — выругался Зозуля. — Вот сукины дети! Изведут девку! Ну, чего ты? — обратился он к Зельде и, взяв за плечи, повернул к себе.

Девушка подняла на него глаза. Густые черные волосы казались необычайно сухими, а лицо было все мокрое от слез. Плечи, совсем еще юные, были теплые-теплые.

Вконец замучили, — глубоко вздохнув, отозвалась она.

Зрачки ее сузились и глядели куда-то мимо красноармейца.

— И пожаловаться некому! — грустно добавила она.

— То есть, как так, некому?!

Выходило, стало быть, что он, Зозуля, и сам тут чего-то не доглядел! Разве не для того оставила его здесь Красная Армия, чтобы он никого в обиду не давал? А тут еще, войдя в дом, он сразу заметил, что кто-то хозяйничал у аппарата: трубка висела не на крючке, а болталась на шнуре у самого пола.

— Это что такое? — угрожающе спросил он. — Кто трогал?

Телефонная трубка жалобно раскачивалась.

— Не трожь, говорю, телефона! — накинудся Зозуля на корчмарку.—Я еще живой!.. Я стою на посту... И вот еще — девушку вы не обижайте...

Корчмарка дала волю языку, она набросилась на Зельду, кричала на мужа: почему он никуда не пойдет, почему он ничего не предпримет? Опять в корчме зазвучала горячая, шумная, непонятная перебранка. Зозуля, махнув на все, занялся телефоном, — это была единственная связь с Красной Армией, сулившей избавление и ему и всем трудящимся на свете. Возможно, что его товарищи вынуждены были оставить тот соседний пост и перейти на другой, еще более отдаленный. Пусть в аппарат слышны только смутные далекие звуки, но и они были Зозуле ближе, дороже и милее всех других, более явственных звуков; ради них не жаль было часами стоять у аппарата и кричать что есть мочи:

— Это я, Федор Зозуля!.. Пост номер три на сто первой версте!.. Отвечайте!.. Что же вы молчите, отвечайте!

Эх, очутиться бы там, среди своих, вместе с ними погибнуть, если это потребует, биться среди сотен таких же, как он, крепко зажав в руках винтовку,—это было бы куда легче, чем изнывать здесь в тоске одному на забытом посту.

Оттого-то Зозулю особенно тянуло к телефону по вечерам, когда чудилась не то отдаленная орудийная пальба, не то крики «ура», а, может быть, и громкая песня, словно красные полки шагали под ликующие звуки горнов, барабанов и медных тарелок.

Часами простаивал Зозуля у телефона, звонил, выкрикивал до хрипоты одни и те же слова, снова звонил и твердил:

s . •

— Это я, Федор Зозуля!

Вечерами ему мерещилось, будто на него со всех сторон надвигаются гулкие болотистые леса, кишашие бандитами, а он, Федор Зозуля, остался один, совсем один. Лишь по телефону он может сноситься с другим миром, чистым и светлым, озаренным борьбой. Там с вин-

товками в руках люди бьются за свои права против напирających со всех сторон врагов. Туда вели через огромные пространства телефонные провода. Иногда оттуда отзывались, иногда молчали, все зависело от погоды и от того, насколько там люди были загружены работой. Но почему же в последнее время так донимала мысль, будто этот мир с каждым днем все больше и больше отдалается, будто там совсем забыли про него, Федора Зозулю?

Иногда вдруг начинало казаться, что с отдаленного поста отвечают уже другие голоса, чужие, умышленно невнятные, они словно издеваются над ним... И даже здесь, в корчме, тоже как будто насмешливо поглядывают на него, когда он кричит в трубку. В поздний час, когда Зозуля, совершенно замученный, уходил от аппарата, разом смолкали кругом все разговоры. Зажигали свет, никто будто и не замечал красноармейца. Только измученная Зельда время от времени вскидывала на него глаза. Зозуля отвечал ей теплым взглядом, и между красноармейцем и молодой девушкой мало-помалу установилось какое-то взаимное понимание.

III

Корчмарь и корчмарка долго возились в своей клуне. Дед, почти впавший в детство, дремал на скамье. Его дряхлое тело уже не ощущало разницы между днем и ночью. Зозуля сидел один у стола и брэнчал на балалайке — ее оставили ему товарищи-красноармейцы. Вдруг он услышал позади тихий оклик.

— Товарищ Зозуля!

Красноармеец перестал тренькать, и его вздернутый нос вопросительно уставился в потолок:

— Чего?

— Товарищ Зозуля,—просунув голову из кухни и прижимаясь плечом к косяку, спросила Зельда,—в Красную Армию можно поступить сестрой?

— А то как же, милая!—весело подмигнув, ответил Зозуля.

— Правда?

— Конечно, можно!.. Пустяковое дело!

— А я думала, трудно...

— Трудно?! Что трудного? Я и сам знавал одну сестрицу, у нас в полку служила..

— Такую... как я?

— В самый раз! Мы тогда сквозь деникинский фронт

к Чернигову пробирались... Был у нас свой бронепоезд, а с ним два эшелона. Деникинцы впереди путь разобрали. Мы из вагонов повылазили со всем нашим обозом, поставили орудия и суток семь из них по Деникину бухали. Он, в городе засел. А нас в ту пору сильно сыпняк трепал. Люди в полку были один к одному, хорошо мы все сжились. Ну, а тут, значит, то один, то другой от сыпняка валится,—словом, конфуз! К примеру, был у нас наводчик Саша Черных, парень, як бронза, песенки всякие сам придумывал... Ну, конечно, зло берет, сама понимаешь, когда такой вот помирает. Пуще всех наш доктор злился, Менделем его звали. Сурьезный был человек, строгий, да сердечный. «Либо,—говорит,—мне камфары достаньте, либо я заведующего госпиталем пристрелю, да и себя заодно!»—Вот и вызвались у нас двое, решили в город к белякам пробраться, камфары раздобыть. Одного Ионей звали, он тоже из ваших, из евреев был, молоденький совсем, а с ним и сестричка милосердная,—монашкой вырядилась. Пашей ее звали. Вот и пошли. Любо было на них смотреть — вроде как просватанные!

— И... достали?

' ' ' . *

— Та ни... Потом уже узнали... Сначала их били — так, не дуже крепко. А вот после раздели догола, углем на спине полосы разметили, так и сдирали одну за другой. Все пытали, — скажите, откуда часть пришла, сколько в ней бойцов. Одну полоску содрали, другую... Молчат.

— А дальше?

— Дальше?.. Чего уж — дальше?!.. Несмысленная ты, сестричка!..

Зельда задумалась.

— А я,— сказала она, как бы продолжая начатую мысль, — бее ждала, когда же красные снова мимо пройдут, думала, с ними уйду.

И она рассказала Зозуле, куда ее Дядя-корчмарь недавно запропастился на несколько дней.

— Он в город ходил. Сперва, говорит он, большевики поляков чуть не до Варшавы гнали, но теперь будто полякам французы помогают. Красных теснят со всех сторон. Они отступают по железной дороге и по трактам, а у нас все леса да болота, и к нам, говорит, большевики больше не придут.

— Кто так сказал?! ;

Зозуля отшвырнул балалайку и подскочил к телефону.'

— А ты не верь!—бросил он на ходу.—Собгка бре*
ше, а витек несе!

И тут же принялся вертеть ручку.

Дзинь-дзинь...

•— Это я у телефона... Ну, я, Федор Зозуля. Федор Зо-
зуля!!! Пост на сто первой версте!

Дзинь-дзинь.

— Отвечайте же, в душу—печенку вашу! Кто там у
аппарата? Да говорите же!

Дзинь-дзинь-дзинь...

Телефон часто попусту позвякивал, словно потешаясь
над Зозулей. Федор подносил трубку к уху; ему казалось,
что кто-то его зовет, хочет поведать что-то важное. Но
со всех сторон вмешивались холодные, бездушные голоса
и не давали слушать. Много звуков, слабых и сильных,
смешивались в неразбериху и не позволяли уловить тот
единственный звук, который был нужен. Как ненавидел
Зозуля эти сторонние звуки!

В корчме в его присутствии попрежнему молчали.
Только Зельда не сводила с него глаз, когда он вешал
трубку, и вся замирала — ей хотелось знать, добился ли;
он ответа. Владельцы корчмы заметно волновались и,
видимо, что-то скрывали. Они без умолку тараторили по-
своему, и нельзя было понять, то ли они чему-то раду-
ются, то ли пререкаются.

Зозуля не находил себе места. Как-то раз в корчме
совсем не зажгли света. Корчмарь и корчмарка всю ночь
пролежали, не смыкая глаз. Они притворились спящими
и чутко прислушивались к необычайному шуму, шедшему
из болотистых лесов: то ли раздавались голоса, то ли
ветер завывал в верхушках. Шум все нарастал, и к утру
уже явственно слышна была стрельба.

Зозуля часто хлопал входной дверью. Он то и дело
отрывался от телефона, выбегал из дома, прислушивался
и, вернувшись, опять бежал к аппарату:

— Это я — Федор Зозуля! Отвечайте же!..

N Телефон стал совсем глух и нем,—сколько ни надры-
вался Зозуля, ему не отвечали. Лишь один еще звук уда-
валось извлечь, один и тот же,—слабый, непонятный,
далекий, возникший, казалось, где-то в лесах. И все же
он был мил и дорог.

Зозуля бродил усталый и подавленный..?

Весь следующий день он провел у телефона, не отхо-
дя ни на минуту, все звонил и звонил, чтобы услышать
хотя бы тот единственный слабый звук, ставший ему до-
рогим и близким.

В корчме все говорили на непонятном ему языке, но он догадывался, что речь шла о нем.

— Смотрите! Как старается!

— Пусть себе кричит — покойника из гроба не поднимешь!..

— Нам-то что!

Напряженный, хриплый, надтреснутый, умоляющий, звучал голос Зозули у телефона:

— Отвечай же!.. Говори же!..

В его усталых выкриках слышна была боль, неизбывная, мучительная. «Братцы, не покидайте!.. Хоть одно слово, родные!..»

Когда Зозуля вечером, прижав трубку к уху, принялся снова кричать в телефон, он уже больше ничего не слышал, ни даже последнего, слабого звука.

Было ясно: где-то порваны провода.

Зозуля вышел на дорогу и прислушался к шуму лесов, сверля глазами в мглистую даль.

Кругом было тихо. Вернулся корчмарь и что-то шопотом стал рассказывать поджидавшей его у ворот жене. Та слушала его, вся просветлев, и косилась на красноармейца. В корчме зажгли огонь. В этот вечер тщательнее протирали ламповые стекла, громче обычного разговаривали, несколько не считаясь с присутствием красноармейца.

Назло хозяевам Зозуля опять принялся звонить.

IV

Из корчмы вынесли во двор столы и скамьи.

Хозяева суетились, как перед праздником.

Проветривались подушки, перины, одеяла.

Повытаскивали из сундуков припрятанную одежду.

Обметали стены.

Тщательно мыли топчаны и шкафчики.

Скребли полы.

Скоблили и чистили, будто ждали важных господ.

Зозуля смотрел на все с удивлением и печалью.

Из корчмы повыкидывали все, что напоминало про его пост.

— Вы что это делаете?—кричал он в сердцах.

Но его не достаивали ответом. Чем больше в корчме скребли и мыли, тем сильнее чувствовал он, что его собираются выжить вместе с телефоном.

Зозуля налитыми кровью глазами-смотрел, как убирали угол, который он занимал.

— Вот дьяволы!.. Вот гады!., Нарветесь же вы! — грозил он.

Корчмарка проворно белила стены и будто нарочно забрызгала телефон.

Зозуля вдруг еще острее почувствовал, до чего он и его аппарат одиноки и всеми покинуты.

— Сюда не лезь! — наступал он на корчмарку.— Не нужно, говорю, в углу убирать!.. Я сам приберу, слышь, ты...

Но женщина как бы и не слышала его. Она опускала швабру в ведро и еще больше марала аппарат.

— Не трожь, говорю! — вспыхнул Зозуля.

Он схватился за винтовку. На лбу у него вздулись жилы, все мускулы напряглись. Все в доме замерли. Испуганная корчмарка с воплем отскочила и смотрела на Зозулю широко раскрытыми глазами. Губы ее быстро шевелились, произнося слова, обращенные не к красноармейцу, а к мужу.

— Не трогай его! — пробурчал хозяин. — Оставь его угол, пусть его...

В корчме снова стало тихо.

Зозуля тщательно смыл с телефонного аппарата пятна, приговаривая вполголоса:

— Ну, и нарветесь же вы!.. Ну, и попадет же вам за это!...

Не оглядываясь по сторонам, он продолжал:

— Ну, вот, значит, аппарат этот... телефон, я говорю... Штука она смирная, деликатная, механизм в ней тонкий... Целая, можно сказать, машина. Ежели плохо с ней обращаться, так будто живого человека обижаешь. Мало ль что молчит... А трогать он никого не трогает...

Но возле Зозули уже никого не было, остался только дед, который, по обыкновению, сидел возле печи, распространяя вокруг себя тяжелый дух, и что-то беззвучно шептал.

— А трогать он-никого не трогает,—повторил Зозуля, крича старику прямо над ухом.

Тот смотрел на него и причмокивал.

Охваченный тоской, Федор побрел к себе в угол и больше оттуда ^,гЫХодил, ревностно оберегая телефон.

Через несколько дней приехал Бучильников. Он привез первых двух человек, чтобы отсюда доставить их к границе. Зозуля рассматривал их, стиснув зубы.

Приезжие — помещики с холеными лицами — непод-

вижно сидели в тяжелых шубах и зорко охраняли свои вещи.

Зозуля разглядывал их с яростью, со свирепым огнем в глазах.

«Вот гады! Вот пиявки! Награбили, значит, всякого добра и теперь тикают!..»

А те сидели испуганные, избегая взглядов Зозули, зовишегося у телефона. Они рвались поскорее уехать.

А на другой день появились еще телеги, приехали еще люди.

Робко и украдкой Зельда знаками вызвала Зозулю во двор. Он нашел ее за клуней, куда она понесла выколачивать матрац.

— Хозяйка говорит, провода перерезаны,—шопотом передала ему девушка. — А ты, говорит она, зря звонишь, только людей дурачишь, будто телефон работает...

— Она так и говорила?

— Да! Она сказала еще, что красные теперь очень далеко отсюда... Не успели даже сообщить тебе, чтобы и ты уходил, так шибко удирали... И потом еще, она говорит, не сегодня—завтра придут сюда поляки, и тогда тебя повесят.

— Это все она говорила?

— Она!.. Может, тебе и впрямь лучше уходить?

— Не, девонька, так не годится! По уставу — самому поста не бросать.

Омертвевшими руками Зельда снова принялась выколачивать матрац.

Зозуля сворачивал цыгарку дрожащими пальцами.

— Думка у меня одна, сестричка,—сказал он походя. — Я далеко в лес ходил, побывал и там, откуда стрельба доносится, а поляков нигде не видел. Верстах в двенадцати отсюда провода перерезаны, а дальше, к нашим, они, сдается мне, в порядке. Надо мне, видишь ли, снова связь наладить, а проволоки нету...

С минуту оба молчали.

— Вот я и задумал,—шепнул Зозуля.— Не можешь ли, сестричка, гвоздей раздобыть? Топор еще я приметил в клуне, и плоскогубцы небольшие^

С глубокой ненавистью к постояльцам, ни разу не обмолвившись с кем-либо из них хотя бы словом, Зозуля все звонил по своему онемевшему телефону. Он проделывал это всякий раз, когда в корчму наезжало много народу. Гости пугались его, кусок не лез им в

горло, они сидели, боясь слово молвить, и хозяевам приходилось их успокаивать:

— Кушайте на здоровье, кушайте и не обращайтесь внимания! Это он сдуру звонит, пусть себе звонит!

Зозуля отозвал корчмаря в сторонку:

— Вот что, земляк, я тебе скажу. Наши, красные, значит, совсем недалеко отсюда,—скоро здесь будут, сообщили мне. Вот я и говорю — телефона, значит, со стены не снимать... как висел, так пусть висит. Не вы, значит, вешали его, и не ваше, значит, дело его трогать. А ежели кто из приезжих про меня попытаться станет, то ему говори: свой, мол, человек, давно у тебя проживает. Потому ты помни, хозяин, наши, красные, вот-вот вернутся, и тогда...

Хозяева ни одному его слову не верили, но все же колебались:

— А кто его знает... Может, и в самом деле лучше с ним не ссориться.

Корчмарка все же не унималась:"

— Пусть уважение имеет! Хоть бы по хозяйству помог!

Но когда она однажды велела ему внести в корчму вещи приезжих, он цыкнул на нее, лицо его налилось кровью, и руки грозно поднялись, как бы для удара.

— Эх, вы! — только вздохнул он.

Каждый вечер Зозуля уходил в болотистый лес. За спиною мешок с инструментами, за поясом топор и всякие дощечки подмышкой. До утра пропадал, вечером снова исчезал. По ночам он снимал со столбов провода, тянувшиеся в сторону неприятеля, и чинил линию, которая вела в корчму.

У

Старый дед до тех пор смотрел в календарь в ожидании поста, пока не наступил «иом-кипур».

К вечеру корчма была переполнена. Все комнаты заняты приезжими. Они приехали накануне, и возницы привезли также много тюков и сундуков.

Все это Зозуля наблюдал с чувством горькой обиды, с невыносимой болью в душе, но жаловаться было некому.

— Вот пиявки! — бормотал он про себя.—обирают нашего брата! Добро наше увозят!

Вечером в корчме накрыли большой стол. Один молодой купец требовал, чтобы зажгли свечи.

— Кончился пост, хватит!—настаивал он.

И каждый раз пренебрежительно добавлял:

— Что, мы заплатить не можем, что ли?

Здесь, у границы, у него развязался язык—

— Плевал я на все! Благодарю покорно! Я, знаете ли, привык к шелковому белью... Сейчас такое ношу и впредь буду! Нате, посмотрите — чистый шелк!

Среди постояльцев был молодой скрипач, тихий, молчаливый. Он ни с кем не разговаривал и только берег свой драгоценный, тщательно упакованный инструмент.

Одновременно с ним приехали толстый поп, помещик и старая помещица.

Была еще среди приезжих расплывшаяся, вся в каракулях мамаша, с такими же полными тремя дочками, тоже в каракулях. Дочки все время прижимали к носу надушенные платки, боясь вдохнуть в себя спертый воздух.

Два долговязых еврея стояли у стены и без конца спорили. Они не позволяли зажечь свет в корчме до глубоких сумерек и вместе со стареньким дедом всех таскали в соседнюю комнату молиться:

— Пойдем, пожалуйста... Ну, что вам стоит?

Купец, хваставший шелковым бельем, отшучивался и смеясь, цедил сквозь зубы:

— А что я за это получу? Сколько я заработаю?

Все же и он поплелся за ними в соседнюю комнату, где перед столиком, на котором горели свечи, стоял с «талесом» на плечах один из приезжих и пел молитвы.

Корчма то и дело оглашалась причитаниями, словно покойника оплакивали.

Богатая мамаша в каракулях оставалась все время в другой комнате, но не присаживалась. Ее губы шевелились, и порою она как будто подпрыгивала на месте.

Зозуля стоял в дверях и с яростью смотрел на горящие свечи и на молящихся. За всем этим он угадывал что-то враждебное. Ввалив на спину мешок с инструментами, он снова, крадучись, вышел из корчмы и ушел в лес налаживать связь. Ему оставалось только соединить провода в нескольких местах, совсем недалеко от дома.

Весь вечер в корчме веселились. За длинным столом, накрытым белой скатертью и уставленным всякими яствами, при свете керосиновых ламп и свечей, шло пир-

шество, время от времени прерывавшееся песнопениями. Девицы в каракулях упросили скрипача распаковать свой драгоценный инструмент. Купчик, признававший только шелковое белье, решил напоить попа и возниц. Первым опьянел, однако, сам корчмарь.

Вдруг одна из девиц вздрогнула: телефон на стене, как раз позади нее, чуть звякнул.

— Это вам, должно быть, показалось,—успокаивала ее захлопотавшаяся корчмарка.—Не обращайтесь внимания!

Но среди шума и криков, наполнявших корчму, не прекращались слабые, короткие телефонные звонки.

— Зельда!—заорала корчмарка.—Возьми мешок и завесь телефон!.. Слышишь, что тебе говорят? Скорее тащи сюда мешок!

Но молодой девушки уже не было в корчме. Едва телефон ожил, она выбежала из дома разыскивать Зозулю. При свете молодого месяца Зельда мчалась в лес, не переставая звать красноармейца. Она спотыкалась, налетала на деревья, падала, снова поднималась на ноги и опять бежала.

В корчме плясал опьяневший корчмарь. Шум все усиливался, пение становилось громче, звучал веселый смех, все быстрее притаптывали каблучки. Когда Зозуля вбежал в корчму, ему пришлось выстрелить в воздух, чтобы водворить тишину.

Телефон звонил громко, настойчиво.

Зозуля подошел к аппарату, снял трубку и ласково прижал ее к уху — так прижимают после долгой разлуки близкого человека. Отчетливо и уверенно, по своему обыкновению, он кому-то рапортовал.

— Це я у телефона, Федор Зозуля! Пост номер три на сто первой версте!... Полная хата спекулянтов!... Всех задержу... Дальше воны не поедут, будьте спокойны!.. Шлите отряд.

1924 г.

ЗЛОДЕИ

На кухне у фрау Гильды Гюнтер лежит на вязаном коврикe Рольф — большой серый пес. Прижав длинную острую морду к вытянутым лапам, Рольф как будто дремлет, но стоит заглянуть в его полуоткрытые глаза, он злобно закатывает их и медленно закрывает.

А было время, когда многим хотелось заглянуть Рольфу в глаза — тогда он слыл знаменитейшим из всех шестисот тысяч берлинских собак. Про него писали в газетах, о нем по телеграфу летели сообщения по всему свету, предполагали, что его будут судить — с участием защитника, прокурора, экспертизы. Но суд не состоялся: все-таки убийца был собакой. Злодеяние принесло Рольфу мировую славу — и всё.

Хозяйка Рольфа — бездетная вдова с заплывшими черными глазками, с монументальным бюстом и тройным подбородком. Ее муж, унтер-офицер Гюнтер, пал на войне. Фрау Гильда в меру погоревала о нем, — не больше и не меньше, чем полагается. Своим добродушием она напоминает кухарку, богатые хозяева которой надолго уехали. Она говорит «ют» вместо «гут» и после каждой фразы спрашивает «nicht?» или «nicht wahr?» таким трогательным тоном, будто и впрямь интересуется мнением собеседника.

Фрау Гюнтер получает ничтожную пенсию и сдает одну из своих трех комнат — самую большую и самую темную. Сейчас у нее живет Антон Заремба, некогда волостной писарь, а затем атаман банды, громившей и грабившей Украину. На нем пестро вышитая украинская рубаха — он носит ее в ночном кабачке, где играет на балалайке. Рябое лицо всегда заспанно: по ночам он играет и пьет, чтобы собственным разгулом заражать гостей в кабачке.

Заремба живет в Берлине несколько лет. Он жестоко коверкает даже те немногие немецкие слова, которые

сумел заучить. Фрау Гюнтер только накануне сдала ему комнату. Поздно вставший Заремба сидит сейчас у нее на кухне — первые дни хозяйка всегда угощает жильца настоящим кофе и попутно рассказывает про собаку, на весь мир прославившуюся своим злодеянием.

— Собаки — что люди, — говорит она, — nicht? Это бесспорно, nicht wahr? Но кто поверит, чтобы собака была ревнива, как, скажем, муж или даже ревнивее?

Она косится на Рольфа, и ее ласковый взгляд как бы говорит: , . • ч

ч«Ох, и шельма же ты!»

Ее полные губы чуть дрожат, — кажется, она сейчас расцелует его. ~

— Но ревнует он только меня, никого больше, —*~ продолжает она, и в ее голосе звучат горделивые нотки.

Фрау Гильда протягивает короткую красную кисть с ладонью-подушечкой и говорит Зарембе:

— Попробуйте взять мою руку...

Заремба тянется к хозяйке, медленно, с ленцой, но не без удовольствия. Ему нравится эта пышная рыжая немка.

Он не успевает даже коснуться руки вдовы — Рольф открывает сощуренные, как бы дремлющие глаза, его мясистые губы обнажают влажные красные десны, а из горла вырывается хриплый, полный злобы, звук.

— Гррр... гррр... — ворчит он, не шевеля прижатой к лапам головы и уставившись на Зарембу налитыми кровью глазами. — Гррр... гррр...

— Видали?! — восклицает толстая немка.

И по лукавой усмешке в ее глазах видно, что она очень довольна — пес ее ревнует, как заправский любовник!

— Вот животное! Никого ко мне не подпускает!

Зарембе досадно — собака мешает установить интимные отношения с хозяйкой. Он так и не дотронулся до ее пухлой руки, а Заремба знает из многолетнего опыта: с этого-то и надо начинать. Огромный серый пес внушает ему невольный страх. Газетные вырезки, хранящиеся у фрау Гюнтер, подтверждают, что история про Рольфа не выдумана: из ревности к хозяйке пес перегрыз горло восьмимесячному ребенку. С утра до ночи фрау Гюнтер донимали репортеры, и каждому надо было с начала повторять всю историю. С какой жадностью ловили они каждое ее слово! Рольфа снимали и зарисовывали в десятках поз. Но прошло некоторое время, неблагодарные люди забыли про Рольфа, слава его

померкла, память о нем стерлась, как и о многих других мимолетных знаменитостях.

Рольф как будто затаил обиду против всего мира, и хозяйка, очевидно, разделяет с ним его чувства. Она с особенным удовольствием рассказывает новому жильцу, как собака отомстила за себя.

Рольф трехмесячным щенком попал к ней; это был сметливый, резвый и очень смешной песик — только и всего. Повсюду совал свой нос, терся у ног хозяйки и не переставал ей руки лизать.

Она купила его, оставшись после смерти мужа совершенно одинокой. Если она запирала его одного в квартире, он поднимал неистовый лай, а когда она возвращалась, он с буйной радостью набрасывался на нее, — разве это не мило, nicht?

Так прожил он у нее три года. Однажды в воскресный день фрау Гюнтер отправилась с приятельницами посмотреть сирот в загородном приюте. Они любовались крошками, — ведь дети тоже очень милы, — nicht?

Ей приглянулась семимесячная девочка. Малютка лежала в колыбельке, сосала пухлый кулачок и весело шепетала. Приятельницы стали уговаривать фрау Гюнтер взять малютку на воспитание. Она возражала: помилуйте, у нее есть Рольф, но те продолжали ее убеждать. А крошка была такая милая! К тому же на содержание ребенка выдавалось пособие. Она согласилась. Завернув девочку в одеяльце, фрау Гюнтер принесла ее домой и поднесла Рольфу к самому носу. Он спокойно понюхал, но когда из развернутого одеяла выглянула малютка, пес принялся бешено лаять. Пришлось на него прикрикнуть, — да, да, фрау Гюнтер даже ногой топнула и начала его стыдить:

«Фуй!.. Фуй!..»

Но это не помогло. Рольф унимался только тогда, когда она клала малютку на кровать, но едва она брала его на руки, он снова заливался яростным лаем и прыгал вокруг хозяйки.

Проходили дни, неистовый лай не прекращался. Соседи стали жаловаться, приходила даже полиция. Тогда фрау Гюнтер купила плетку — ведь она дала расписку в приюте, что вернет ребенка не раньше, чем через два года, а раз обязалась, надо выполнить, — nicht?

Как только она брала малютку, Рольф поднимал вой. Она начала его стегать — сперва легонько, потом сильнее. Надо же было его приучить!

Она била его нещадно и, наконец, приучила: когда она брала малютку, он должен был уйти на свое место! Первое время он и оттуда не спускал глаз с хозяйки и, едва замечал, что она возится с ребенком, начинал рычать — как вот сейчас, когда герр Заремба хотел взять ее руку. Мало-помалу она его и от этого отучила, и Рольф снова сделался тихой, примерной собакой. Большую часть дня он проводил на своем коврике под столом на кухне, положив голову на вытянутые лапы, с полузакрытыми, сонными глазами. Соседи, и те заметили в нем перемену и стыдили его иногда:

«Фуй! Как ты обленился, Рольф!»

Он не обращал на них внимания. Но по легкому повиливанию его хвоста фрау Гюнтер догадывалась, что он тоскует, должно быть, сильно тоскует. Она решила, что добилась своего. Но однажды...

Малютка лежала в кроватке, сосала пухлый кулачок и весело бульбулькала. Фрау Гюнтер вспомнила, что ей нужно кое-что к обеду и, затворив дверь в спальню, пошла в лавку.

Тогда и случилось это...

К ее приходу все было кончено. Рольф спокойно, как всегда, лежал на своем месте, но дверь спальни была открыта. Ребенок с перегрызенным горлом лежал на полу в луже крови...

Фрау Гюнтер подняла дикий крик. Сбежались соседи, пришла полиция, собаку увели, но скоро вернули — ветеринар не нашел у нее бешенства. Фрау Гюнтер долгое время думала, что Рольфа будут судить...

— Но суда так и не было, — как бы с огорчением заканчивает она.

На рябом лице Зарембы тупая тоска. Его мутит — и после пьяной ночи в кабачке, и от мысли о многих таких ночах впереди. Его глаза, под которыми набухли мешки, смотрят в упор на собаку. Рассказ о ребенке с перегрызенным горлом будит в нем воспоминание о городках и местечках, по которым он проходил со своей бандой и где много младенцев валялось в лужах крови.

Перед его мысленным взором проходят обезлюдевшие улицы. Окровавленные тела среди осколков стекла и бедняцкого скарба. Одно тело обезглавлено... неподалеку валяется в пыли голова с черной, с проседью, бородой... Заремба и его банда пьянствуют, убивают, дико голосят песни...

Его мутит похмелье, грызет тоска, и появляется желание поведать словоохотливой хозяйке, как все происходило....

— Nicht? — подражая ей, повторяет он после каждой фразы.

Пышнотелая немка напряженно слушает его, многое ей непонятно: в чем, собственно, провинились люди, которых он убивал? Только одно она ясно представляет себе — где-то валялись в лужах крови дети с перерезанными глотками.

— А как же суд?—спрашивает она Зарембу, страшно увлеченная, однако, его рассказом. — Суд-то был?

Но Заремба не отвечает. Фрау Гюнтер внимательно вглядывается в его изрытое оспой лицо.

— А немецких детей там не было?—беспокоится она.

Она встает и неторопливо идет в комнату.

Заремба и Рольф остаются на кухне.

Человек сидит, облокотившись на стол и положив голову на руку.

Собака лежит на коврикe, прижав голову к вытянутым лапам.

Они в упор смотрят друг на друга. У обоих в глазах тоска — и затаенный страх...

1925 г,

ДЖИРО-ДЖИРО

Богатства Нью-Йорка окружают Терезу.
Пятое авеню со многими Истами и Вестами.
Грэнд-Сентрал.
Уолл-стрит.
Сентрал Парк.
Оба Бродвея.
Океан в одном конце
Река в другом.
В самом центре Нью-Йорка живет Тереза—белокуро-
рая одиннадцатилетняя девочка.
Ее богатства:
 платице с высокой талией,
 восковое личико мадонны,
 божественный, маленький, всегда простуженный нос
и широко расставленные, светлые, как речная вода, гла-
за.
У Терезы нет бровей, нет и косичек — отец остриг
ее, как мальчишку.
Все несчастье — ее голос, горный, высокий, создан-
ный для того, чтобы забираться ввысь, чтобы петь по-
итальянски и приводить в отчаяние Нью-Йорк.
В сумерки Тереза спускается во двор, садится на
раскиданные там доски и поет в грохочущем сердце
Нью-Йорка.
Жильцы в эти минуты не пожалеют никакой монеты,
только бы девочка перестала петь.

Прилетает ласточка
Из-за моря весной,
Крылышки устали —
Они долго трепетали
Над бездной голубой.

Распахиваются окна: жильцы требуют, чтобы Тере-
за замолчала. Наступает тишина. «Некрасивая песня», —

решает Тереза и затягивает другую. Снова раскрываются окна, показываются взбешенные лица, Терезу бомбардируют шелухой от бананов, и она ерзает на досках, чтобы увернуться.

— Видели вы что-нибудь подобное?!—несется из окон.—Эдакая напасть!

Тереза отворачивает голову, еще выше надламывается ее голосок:

Джиро джиро тондо,
Джиро туто иль мондо...

На старую родину, в гористую, солнечную итальянскую Швейцарию, приехал из Нью-Йорка отец, приехал затем, чтобы позаботиться о судьбе дочери и о собственной — уже несколько лет жил он вдовцом. Никогда не забыть Терезе, как все было. Первое время отец вставал поздно, чистил сапоги, мыл голову и молча опохмелялся многочисленными бутылками пенистого Асти. Лицом он напоминал человека, умершего и вернувшегося с того света. Как мало было сходства в этом лице с висевшей у тетки Теодоры фотографией, снятой в день его венчания с покойной Терезиной мамой. После того как он сбрил усы, нос стал короче, рот шире; мускулы лба и щек были мертвенно неподвижны, правый глаз непрерывно подмигивал и казался меньше левого.

И тут оказалось:

он служил официантом в нью-йоркском ресторане, где по ночам нарушался сухой закон. От таинственных переговоров с клиентами о выпивке у него сохранилась привычка подмигивать: могу, мол, достать бутылочку...

Теперь глаз по привычке подмигивал постоянно, — нужно это было или не нужно.

Одиннадцатилетней Терезе отец привез желтые башмаки, тетке Теодоре — две пары шелковых чулок.

— Особенности чулки!

— Таких здесь и не увидишь!

Так утверждали все, кто просовывал в чулок руку и растягивал на растопыренных пальцах.

Одна беда: чулки никак не налезали на простые крестьянские ноги и чуть не лопнули, когда тучная тетка Теодора — заплаканная, вспотевшая, багровая — попыталась их натянуть.

— Надо дать ноге просохнуть...

- Всыпать тальку...-
- Вывернуть чулок и попробовать с пятки'...-
- Шелковый чулок требует терпения...

Но советы не помогли. Чулки лежали на высокой застланной кровати, как два живых американских упрямца, и, казалось Терезе, перемигивались: давай, мол, поедем обратно В Америку...

После долгих терзаний тетка Теодора спустилась с гор в курорт, раскинувшийся пестрой каймой вокруг зеленого бархатистого озера, и выменяла чулки на шейный платок.

Желтые башмаки Тереза носила в руках и, следя краешком глаза за козой тетки Теодоры и ослом дяди Титоса, пела:

Джиро джиро тондо,
Джиро туто иль мондо...

Однажды, прижимая башмаки к груди, Тереза бежала под гору по белой от пыли дороге. Четыре солнца, или, может быть, пять светили посредине неба; в этот знойный полдневный час тетка Теодора послала девочку в лавку. Горячая пыль обжигала босые ноги. Но девочка ничего не чувствовала, потому что не спускала глаз с новых башмаков.

Вдруг тяжелая рука легла ей на голову. Тереза остановилась и увидела совсем близко толстый отеческий нос патера Антонио и его лукавые, смеющиеся глазки.

— Господа богадохлый котенок! — воскликнул он. — Раз ты едешь в Америку, так с патером Антонио и здороваться не надо? Посмотри-ка мне в глаза, господа бога протухший цыпленок!

Расхохотавшись, он стал звать ее по-бабь:

— Цып, цып, цып!..

Он любил валить в одну кучу, вместе со словом «бог», такие непристойные слова, как «дохлый» и «протухший». При этом он имел привычку щекотать собеседника подмышками или посредине живота, у самого пупа. Этим он хотел только показать, что и с ним, патером Антонио, бог ведет себя запросто, не так, как с другими священниками.

, — Слушай, Тереза...

И он сразу сделался серьезным. Такое же лицо было у него по вечерам, когда первый удар колокола, звавший людей к молитве, прерывал его болтовню с прихожанами.

— Я говорил с твоим отцом, Тереза.., — он зашмы-

гал носом. — В Америке ты будешь петь в церкзи, как пела у меня.

Он выхватил у нее из рук башмаки, поднес к глазам, словно заподозрил, что одна подошва больше другой, и, перекрестив, вернул Терезе с таким видом, будто он, па-тер Антонио, дарил их ей,

— Я дал отцу письмо к моему брату, — сказал он. — У него своя церковь в Нью-Йорке, ты будешь у него петь.

Так это все и обнаружилось: Тереза едет с отцом в Нью-Йорк, она будет петь в хоре у брата патера Антонио, в его собственной церкви.

И от радости она запела, мчась вниз по выжженной солнцем дороге:

Джиро туто иль мондо..*

На пароходе пассажиры спрашивали у Терезы:

— Что ты будешь делать в Нью-Йорке?

— Я буду петь в церкви у брата патера Антонио.

Чужие люди окружили ее: она должна спеть тут же.

Тереза простудилась на пароходе. Она стала кашлять.

Щеки ее пылали под восковой кожей. Она пела:.

Не трепещи, челнок,
Маленький челнок!
Волны, что во след бегут.
Тебя в простор влекут,—
Сверкая и дробясь,
Несут в простор тебя.

Американцы играли в покер; они были недовольны, что им мешают. Они сказали Терезе:

— Не можешь ли ты выбрать местечко подальше и там петь?,

Не горюй, челнок,
Что ты — с ноготок,
Что от века морю
Края не бывало.
Я тоже в мире капля малая.
Огромен и широк
Мой мир,
Но в нем
Я далеко не сир.

Один из игроков сказал:

— У. меня такое чувство, будто по мне клопы ползают,

Потом он швырнул карты на стол, пристально посмотрел на партнера и сказал с такой злобой, словно партнером его была Тереза:

— Погоди, погоди!.. Еще немало повоешь в твоей церкви в Нью-Йорке!

В Нью-Йорке выяснилось:

брат патера Антонио давно продал свою церковь на слом. На ее месте выстроили небоскреб. В Нью-Йорке на Терезу глянули красные и зеленые, холодные и мертвые глаза светофоров. Они служили оправданием тому, кто сказал:

«У меня такое чувство, будто по мне клопы ползают».

Прошло несколько месяцев. Во время стычек с жильцами банановая шелуха дождем сыплется на голову, девочки.

Тереза живет в Нью-Йорке.

Тереза не нужна Нью-Йорку.

Нью-Йорк не нужен Терезе.

Они живут в вынужденной близости.

Тереза поет.

Нью-Йорк не хочет, чтобы она пела.

Двор, где живет Тереза, зажат между небоскребами. Они заглядывают в него золотыми куполами.

«Они украдены у бога», — думает Тереза.

Она знает, что бог любит жить под золотыми куполами.

Кто же теперь живет под ними?

Тереза задирает головку — не те ли, кто украл купола?

«Воры, — думает о них Тереза словами, слышанными От отца, — бездельники, проклятые американцы, которые ничего не боятся — ни бога, ни тюрьмы!»

С высоты смотрят на Терезу купола, смотрят блещущими окнами, из которых никто никогда ее не увидит.

Во дворе, в бывшем гараже, стоит на бетонном полу незастланная кровать. Блохи прыгают на грязных наволочках и рваной простыне. В углу чернеет ржавая газовая плита. Здесь живет Тереза.

Нью-Йорк велик.

Тереза мала.

Однажды отец взял ее за руку и повел в школу. Они долго томились в приемной вместе с другими детьми и родителями. Отец нервничал — он опаздывал на работу. Правый глаз беспрестанно подмигивал; казалось, он

сплошь залит мертвенным бельмом. Наконец их впустили-крахмальный халат стал осматривать Терезу.

В одно и то же время человек в белом халате исполнил три дела:

прочистил нос,

приказал впустить следующего ребенка,

сказал отцу Терезы:

— У девочки туберкулез. Вы говорите, она простудилась на пароходе? Отчего умерла ее мать? От чахотки? Значит, наследственное.

Правый глаз отца перестал подмигивать.

— Что же теперь будет?

Доктор чихнул и сделал рукой такой жест, словно с утра все собирался чихнуть, может быть даже всю жизнь, и вот, наконец, добился своего.

— Она заразит других детей... Мы не можем ее принять в школу.

Отец не уходил.

— Меня оштрафуют за то, что она не ходит в школу. Дайте мне справку.

Доктор ответил из-за спины следующего ребенка, которого выслушивал:

— Не могу... Обратитесь к другому врачу.

Отец взял Терезу за руку и ушел.

Лил грязный маслянистый нью-йоркский дождь.

Тереза остановилась:

— Я забыла там пальто.

Отец, опустив голову, тащил за собой Терезу, как тащат пустую тележку, и ругал патера Антонио:

— Скотина! Грязная собака! Он-то хорошо знал, что брат продал церковь на слом! Ему бы только похвастать!

Дома Тереза вспомнила про оставленное В школе пальто и заплакала. Она плакала долго. Потом что-то в ней задумалось, задумалось глубоко внутри и неожиданно запело:

Джиро джиро тондо,
Джиро туто иль мондо...-

Каждое утро, чуть светает, Тереза просыпается на своей низкой широкой койке в бывшем гараже.

Она видит:

отца уже нет.

Она слышит:

на дремлющих улицах шелкают бичи. Они гоняют кого-то, как гоняют зверей на арене цирка. Все злее и лихоче.

радочнее их свист. Множество людей, миллионы сыплются из-под земли, стекаются со всех концов.

Холод пробегает по спине Терезы. Наверное есть среди них один такой, что не добежит. И другой, который опаздывает. Многие упадут, не пробежав.

Чаше, суше хлопают бичи. Выброшенные в пространство неведомой рукой автомобили в три-четыре ряда замирают перед невидимым шлагбаумом. Впереди них, готовясь удрать, лежит пустота, укатанная, призрачная, и светофор безжизненно глядит на остановившихся. «Поздно!» — говорит его красный глаз.

Мертвый, он закатывается и смотрит другим — зеленым. Пустота срывается с места и бежит по улице. Автомобили на мостовой, пешеходы на тротуарах — все кидаются следом, вдогонку, пока их не пригвоздит к земле новый, налитый красным, глаз:

«Поздно!»

Многоголовый страх окутывает город. Туман смотрит из мелькающих мимо глаз. Толпы, словно черный песок, сыплются из-под земли, из туннелей и поездов. В тумане кривляются световые рекламы, мигают пестрыми холодными огнями — они кричат все о том же, о чем воют на улицах громкоговорители. Глухой рев и воющая электрода — вот голос Нью-Йорка. В нем сплелись серенада и грубая отрывка мира. Общим хором — без неба, без языка, без голоса — они вопят:

«Хв'атайте доллары!»

«Хватайте деллары!»

В бывшем гараже, где живет Тереза, отзвуком бегающих под землей поездов гудит бетонный пол. Из соседнего подвала, глубокого, как колодец, доносится грохот ротационных машин, непреодолимая дрожь типографских чудовищ. Они довели Терезу до нервного тика, до конвульсий. Ей кажется, что она все еще плывет в океане. Подступает тошнота, кашель...

А уж если кашлять, так с долгим, протяжным стоном: тогда перестает колоть в груди. Зато начинает колоть в ушах и болит голова. От рвоты у Терезы одно средство — лежать, не шевелясь.

Отец говорит:

— Прогонят нас отсюда из-за твоего кашля...

Поэтому Тереза лежит на низкой грязной койке, плотно сжав губы, прикрыв глаза. Чтобы не думать о судороге, сжимающей горло, она считает, сколько раз за день проезжает пожарная команда по Лексингтон-авеню. Как только раздастся **БОЙ** сирены, она вытаскивает из сва-

лявшего тюфяка соломинку и откладывает в сторону. К концу дня счет сходится.

Как и вчера, — тридцать соломинок.

Кашель" прошел. На ржавой газовой плите стоит приготовленная отцом еда; она пахнет прокисшими помидорами. Тереза пробует есть, подступает тошнота. Тогда она берет свой старый платок, подарок тетки Теодоры, завязывает его крестом на груди и идет во двор. Она выполняет наказ отца:

каждый день сидеть два часа на свежем воздухе...

Рядом с небольшим двором — небоскреб.

В высоте покачивают хоботами экскаваторы, вгрызаются в землю, перетаскивают камни. Г разноголосым визгом мчатся тачки. Динамит рвет недра. Пневматические дрели сверлят металл, вгрызаются в стальные балки, захлебываются в высоте тридцатых, сороковых этажей, — захлебываются, как дети при коклюше.

И в середине урагана — Тереза. Она сидит в углу на груди щепок. Она вспоминает пальтишко, оставленное в школе. Сердце тоскует — не столько по пальто, сколько по прорехе на левом рукаве.

Ей приходит на память коза тетки Теодоры, ослик дяди Титоса, белый зной, сияние солнц, трех или четырех в одном небе. Перед ней — извилистая тропинка, обжигающая ступни, и вдруг ее тонкий голос врывается в лязг и скрежет растущего небоскреба. Итальянскими словами, высоко-высоко, заливается она, как у себя на родине;

Джиро джиро тондо,
Джиро туто иль мондо...'

Она не видит, как раскрываются окна, как ей грозят оттуда:

— Перестань?..

— Сейчас же прекрати!..

— Сию минуту!

Тереза поворачивается к ним спиной. Она поет.

За окнами в четырех узких этажах живут не совсем обыкновенные нью-йоркские люди. Каждый из них отмечен какой-нибудь странностью. Если бы не это, у них были бы свои семьи, они не жили бы тогда в меблированных комнатах.

Самая молодая обительница дома — хозяйка меблированных комнат, миссис Робине. Это — чересчур рослая женщина, чересчур пылкая, чересчур накрашенная и напудренная, с возбужденным худошавым лицом,

длинноватым носом и гневно-красными от слез глазами. Стоит незнакомому человеку заговорить с ней, ему тотчас покажется, что она хочет затеять с ним ссору. С недавнего времени она не живет с мужем. Муж изменил ей, потом раскаялся, искренне, от чистого сердца. В дело вмешались друзья, пытались их примирить, сводили в условленных местах. И тогда оказалось: муж согласен мириться, но вместе с тем не согласен. Что же до миссис Робине, то она тоже соглашается, но вместе с тем отказывается. Оба скорбят о случившемся, но, с другой стороны, никогда этого не простят друг другу. Они без ума один от другого, но и ненавидят друг друга безгранично. Миссис Робине — с длинным носом, заплаканными глазами и возбужденным лицом — хочет прежде всего проучить мужа. Он же хочет только одного: сделать так, чтобы жена всю жизнь его помнила. Она сняла и обставила этот дом и сдает комнаты, сдает их со злобой, с отчаянием, с перепудренным и перекрашенным лицом и вносит в это незатейливое дело столько желчи и страсти, словно с каждой сдаваемой комнатой говорит мужу сквозь стиснутые зубы:

«На, любуйся — без тебя могу прожить!»

Живут у нее:

братья Джейкобсон — два веселых, здоровенных парня, поссорившиеся с родителями, братьями и сестрами. Друг за друга они готовы в огонь и в воду. Возвращаясь с работы, они включают радио, отыскивают станции, передающие «шимми», и танцуют, как кавалер с барышней.

Живет у нее:

мистер Мэкой — человек с совершенно голой головой, с приплюснутым носом, с выпяченной, как у негра, нижней челюстью и темными сверкающими глазками. Он — «каунт», специалист по проверке запутанной бухгалтерии. В специальном журнале была когда-то напечатана его статья. В ней говорилось: «Единственные счастливые минуты в жизни те, когда имеешь дело с цифрами». Еще там говорилось: «Жизнь однообразна, и если бы не работа с цифрами, человеку с головой на плечах оставалось бы только повеситься...». Критика одобрительно отметила эти места. Тогда мистер Мэкой поверил, что жизнь на самом деле скучна и однообразна.

От страха перед смертью, из боязни повеситься, как только он перестанет считать, мистер Мэкой сидит непрестанно над цифрами.

i У миссис Робине живет мистер Дэвис — помощник кинорежиссера, высоченный мужчина; он застыл на сорока четырех годах и больше не старится. После работы он часами простаивает у телефона и разговаривает с любимой девушкой. Та требует, чтобы Дэвис прежде Ёсего обещал ей по телефону не пить. Она просит долго, преданно, многословно. Она хочет, чтобы он дал ей честное слово. Мистер Дэвис отвечает, что он готов дать честное слово, что он и сам был бы рад не пить. Впрочем, нет, он не то хотел сказать. Ему нужно сделать над собой огромное усилие, чтобы узнать, хочет он этого или не хочет. Нет, опять не то. Прежде всего он должен выяснить у себя самого, хватит ли у него сил сдержать слово, если он его даст. Нет, снова он не то сказал. Сил, он чувствует, у него хватит: он их черпает в ее трогательном к нему отношении, в том, что она согласна увидеться с ним завтра вечером, если он сегодня ночью не будет пить. С другой стороны, он так жаждет увидеть ее, что не уверен, — он боится, что не сможет убить время до завтрашнего вечера, что будет вынужден нарушить слово и сократить томительные часы ожидания, пропьянствовав всю ночь, и тогда он пропьет свое честное слово, пропьет из-за нее, из-за того, что страстно хочет ее видеть.

После столь долгого разговора мистер Дэвис, бледный, лежит у себя в комнате на диване и действительно начинает пить, методически и не торопясь. Пьет много и не пьянеет, заводит патефон, потом вспоминает о табличке на дверях — «меня нет дома» — и останавливает патефон. Около часу ночи он звонит миссис Робине и просит ее зайти к нему. Даже если она легла, он просит ее скорей одеться и зайти к нему, потому что из-за этой истории с любимой женщиной... Одним словом, в голову приходят ужасные мысли, он не ручается ни за что, если останется в этот час наедине с собой. Наспех одевшись, миссис Робине заходит к нему. Дверь она оставляет приоткрытой... чтобы квартиранты не подумали чего, и для того еще, чтобы они рассказали обо всем мужу. Он-то пусть думает! И действительно: кто-то из запоздавших жильцов долго стоит в темном коридоре и, затаив дыхание, подслушивает.

Миссис Робине упрощает мистера Дэвиса":

— Перестаньте пить, проявите силу воли... Она вас так любит... Как вам не стыдно!.. Она просит об одном — не пить... О, мужчины!..

На это мистер Дэвис отвечает: прежде всего, **ятобы**

миссис Робине могла сколько-нибудь его понять, она должна с ним выпить — хоть полрюмки, хоть каплю...

— Потому что, — говорит он, — здесь дело запутано и очень интересно запутано. Здесь фильм, миссис Робине, из ряда вон выходящий фильм. Меня не обманешь, — я знаю толк в фильмах. Совсем напротив, дорогая, я бы сам хотел обмануться. Уж сколько времени я живу у вас. Я чувствую себя здесь, как у сестры. Помогите мне обмануться, прошу вас. Люблю ли я ее?.. Разве это не видно, — ребенок вы, что ли? Я часу без нее не могу прожить! Вы думаете, я не мог бы ради нее бросить пить? Вздор! В любую минуту могу бросить. Но я не делаю этого — и не сделаю. Почему? Потому что она меня не любит. Она уговорила себя, что вот она, с ее красотой, с ее очарованием, может взять мистера Дэвиса в руки, сделать так, чтобы он не пил. Ошибиться в этом — значит для нее ошибиться в себе самой, в силе своей красоты. Стоит мне перестать пить, и все кончено — она добилась своего, конец роману. Нет! Я пить не перестану! Я ее из рук своих не выпущу!

Лучшие часы мистера Дэвиса — это сумерки, когда он, придя с работы, говорит по телефону со своей возлюбленной. Тогда он творит, наслаждается тем, что не дает ей ускользнуть. Но как раз в эти часы начинает петь Тереза. Она врывается в разговор своим высоким голосом, разбивает вдохновение мистера Дэвиса, доводит его до того, что, разговаривая с девушкой, он топает ногами, стучит кулаком по столу, скрежещет зубами...

...И вот, касатка серая,
Нет у тебя гнезда,
Его снегами замело,
Его ветрами разнесло.
Куда теперь своих
Птенцев схоронишь?
И голову свою
Куда приклонишь?

Братья Джейкобсон вынуждены тогда выключить радио и прервать свой танец кавалера с барышней, танец разрыва с отцом и матерью, с братьями и сестрами, танец вызова всему миру. Пение Терезы нарушает ритм «шимми». Они заворачивают в бумагу остатки пищи и дружно бомбардируют Терезу. Они помирают со смеху, они довольны своей меткостью и сознанием своего озорства.

Терезу душит кашель. Оя стал в последнее время

суше и резче. Лоб у нее пожелтел и увеличился. Она увертывается от «бомб», кашляет и поет;

Не горюй, челнок,
Что ты — с ноготок,
Что от века морю
Края не бывало...

Тогда вскипает мистер Мэкой-каунт. Он бросается к окну и чуть не ломает при этом вечное перо, занятое всегда одним и тем же — подсчитыванием. Лысая голова, приплюснутый нос, негритянская челюсть, темные сверкающие глазки — все наливается бешенством. Голос его покрывает гром и скрежет строящихся небоскребов;

— Погоди — кричит он. — Я тебя поймаю...

Мистер Дэвис, помощник режиссера, в этих случаях ведет себя по-иному. Он только что вернулся с работы, лицо у него бледно, голова только что вымыта и от боли обмотана полотенцем, халат растегнут. Мистер Дэвис подходит к окну, если только он не занят телефонным разговором со своей девушкой, протирает к Терезе обе руки, склоняет набок голову, делает умильное лицо и просит о милосердии. Слов его из-за шума не слышно. Тогда он хватается рупор, прикладывает ко рту и кричит Терезе:

— Золотая, дорогая, прошу тебя, умоляю, предупреждай меня, когда ты собираешься петь. Я буду уходить из дому на это время!

Это он прозвал Терезу «Джиро-Джиро» — первыми словами ее любимой песенки — «Джиро джиро тондо, джиро туто иль мондо...».

Теперь весь двор ее так называет. Услышав ее голос, все бросаются к окнам:

— Она уже здесь! I

— «Джиро-Джиро»!..

Несколько дней Тереза не показывается во дворе, несколько дней не слышно ее песен. Вместо нее на досках сидит отец. Время от времени он сплевывает, за плевком следует проклятие. На сердце у него тяжело. Ребенок болен, ухаживать за ним некому, увезти некуда, и потом... в нескольких ресторанах бастуют. В его кабачке до этого еще не дошло, но официанты о чем-то шепчутся... к нему подходят во время работы, незаметно делают знаки:

«Идем... в пикет...».

А пикет — это такая штука... Очень хорошо, что пикеты существуют, но... он боится их и стыдится своего

страха. Вот и сиди на досках и отплевывайся, потому что эта штука и радует тебя и пугает. Обманывай сам себя:

«Как я пойду? У меня ребенок болен».

В один из таких вечеров его увидел из окна мистер Дэвис. В этот вечер сн не говорил по телефону, но ему нужно было оградить себя на завтра, на послезавтра... Поэтому он вышел во двор к Терезиному отцу:

— Это твоя девчонка? — кивая в сторону раскрытого гаража, спросил он.

Отец не торопился с ответом. Он сплюнул сначала. Казалось, он не решил, стоит ли отвечать.

— Хотя бы и моя... Что дальше?

С минуту они разглядывали друг друга.

— Дорогой мой, — наставительно произнес тогда мистер Дэвис, — нельзя ли так устроить, чтобы девочка не скулила по вечерам?

В это мгновение он что-то подметил в лице Терезино отца, в его непрестанно подмигивающем правом глазу, и добавил мягче:

— Я, понимаешь, как раз в это время прихожу домой, хочется, понимаешь, отдохнуть. Я работаю на кинофабрике, знаешь — звуковое кино... Весь день мелькают в глазах прожекторы, гудит музыка. Тысяча раз одно и то же. Некоторые и месяца не выдерживают: начинают дергаться плечи, лицо, некоторые становятся даже эпилептиками. А тут у меня, понимаешь, личные дела, неприятности... Одним словом, хотелось бы, чтобы ты меня пенял.

Отец Терезы слушал, понутив голову. Он сделал какое-то движение инертно повисшими руками.

— Ребенок, — сказал он, — она же ребенок... Она больна... Она оттуда — из итальянской Швейцарии... Там ребенка хлебом не корми, позволь только петь...

Он поднял голову, огляделся, вздохнул:

— И потом — этот ад... С одной стороны строят, с другой стороны строят. Ни минуты покоя. Вот, послушайте... И это вам не мешает?.. Уж я не знаю: если это вам не мешает... Ну, запоем ребенок...

Тут мистер Дэвис забыл всю свою сдержанность,

— Скажи мне, пожалуйста, голова у тебя на плечах или кочан капусты?

И он стал размахивать кулаками перед его носом:

— Ведь это же стройка!.. Дома!.. Дела!.. Ребоскребы!..

Тереза лежала в бывшем гараже с пылающим восковым личиком. Светлые глаза ее, цвета речной воды, все ширились, руки стали сухи и горячи. Ей чудилось, что

большая тяжелая муха ползает по ее нижней губе, но прогнать ее не было ни сил, ни желания. В ушах засело неясное непрерывное жужжание, в глубине этого бесформенного шума кружились песни, которые она слыхала и пела в своей жизни.

Тереза умерла днем, когда в гараже никого не было.

Вечером пришел отец, зажег у изголовья свечи. Они * догорели, погасли. Отец ушел, принес гроб, привел людей. Они положили Терезу в гроб и унесли из гаража.

Вечером мистер Дэвис долго говорил со своей девушкой, а миссис Робине прилегла вздремнуть, чтобы ночью посидеть подольше у мистера Дэвиса и этим возбудить в муже ревность. Братья Джейкобсон, включив радио, танцевали, как влюбленная пара. Они отыскивали станции, передававшие «шимми». Приемник издавал иногда воющие визгливые звуки, они доходили даже до комнаты мистера Мэкой. Он решил, что опять Тереза поет, и в бешенстве рванул окно:

— Это снова ты, «Джиро-Джиро»?! Вот поймаю! Я тебе...

Во дворе на досках сидел отец Терезы. Он поднял глаза на бухгалтера, подумал, сплюнул, стиснул зубы и пошел. Куда мог он пойти в этот час? Кое-где были еще открыты кабачки, кое-где расставлены пикеты.

Красные глаза светофоров смотрели с перекрестков/Люди сыпались из нор, из подземелий, из поездов, летающих над домами. В воздухе кривлялись светящиеся рекламы, хрипели громкоговорители, сплетаясь с голосом Нью-Йорка, с его глухим ревом и воющими электроламп. Без языка, без голоса, без неба его серенады, его ворочающаяся утроба — все твердило об одном:

«Хватайте доллары!»'

«Хватайте доллары!».

1929 г.

ВЕЧНЫЙ РАБ

Луна покажется не скоро, — вероятно, не раньше десяти. Немного свежо, как и всегда вечером в самом конце лета. Ветер суетливо мечется по базарной площади, вздымает пыльные вихри, потом вдруг обрушивается на старые акации перед большим старым домом, и они шуршат, как сухие веники. Пахнет дыней.

Жители городка — кустари, огородники и горсточка служащих — после трудового дня торопятся на собрания. Изредка слышны голоса, хрипловатые, раздраженные: на этот вечер назначены сразу три долго откладывавшиеся собрания. Считают по пальцам:.

в горсовете — раз,
в промкооперации — два,
родительское собрание — три.

Чертовски досадно — угораздило инспектора Облоно приехать как раз сегодня! Хоть разорвись! Не мало нареканий будет сегодня высказано. Люди уходят из дома, хлопая в сердцах дверями. Женщина кричит вдогонку мужу:

— Поел бы сперва!
Тот не отзывается.

Густыми тенями подкрадывается ночь. Из недалекого леса и с лугов тянет сыростью и запахом трав. Где-то скулит пес, словно и он тоскует по ушедшему лету. Нэ вот замерли и последние звуки — все на собраниях. Все плотнее надвигается тьма, с трудом различаешь вывески, крыши и двери.

Только один человек бродит по обезлюдевшей улице — худой, с иголочки одетый молодой человек. Он с каким-то ожесточением курит коротенькую трубку, распространяя вокруг себя сладковатый запах незнакомого табака. Это турист из Америки, Нохем Гливер.

На нем новый мешковатый костюм. Над темными глазами густые, сросшиеся на переносице, брови. Слегка гнусавая речь, толстая трость подмышкой, железный

перстень с печатью на левой руке — здесь, в городке, все это кажется еще более странным, более далеким, чем чужие заокеанские земли.

Близики у Гливера здесь уже нет — кто уехал, кто умер. Тем не менее, он, как турист, воспользовался случаем, чтобы посетить родные места. Никого его приезд не обрадовал, никто не будет огорчен, когда он уедет. Уже несколько дней он слоняется без дела, ожесточенно пытаясь трубкой, и, по всему видно, его что-то гложет, —* он отсюда не уедет, пока не выложит! кому-нибудь того, что у него на сердце.

Обуреваемый страстным желанием излить душу, он и сегодня бесцельно бродит по улицам. Каждый раз, когда вспыхивает спичка, которой он то и дело раскуривает гаснущую трубку, на несколько секунд озаряется его лицо — бритое, угловатое. Можно подумать, что он единственный, кто не пошел в синагогу в канун «иом-кипур», и терзается сознанием, что совершает большой грех, зажигая спичку в такой день. Не потому ли у него дрожат руки, когда он раскуривает трубку?

У дома Фроима Теплицкого сидит на завалинке пятнадцатилетняя Рохл. Ей нельзя уйти из дома: после смерти матери девочка ведет все хозяйство.

— Ал-ло! — по-американски бросает ей молодой человек.

Его приветствие звучит довольно радушно, но сам он остается холодным, озабоченным. Он протягивает Рохл руку, странно тыча ее, и присаживается на завалинку.

— А где отец? Еще не пришел из кооперации?

— Как вы здорово угадали! — смешливо отзывается девочка.

Ей стыдно за свою взъерошенную голову, старую юбочку, кофточку с протертыми локтями.

— Он главный бухгалтер, — добавляет девочка, как бы надеясь отыгаться на этом. — Сегодня он отчитывается...

— • А когда вернется?

— Поздно. Дай бог, в двенадцать.

Нохем Гливер снова чиркает спичкой и подносит к трубке. Он делает это с одной лишь целью — убедить себя, что сегодня и впрямь не канун «иом-кипур». При вспышке огня Рохл замечает массивный железный перстень и не может оторвать от него глаз.

— Послушайте, — решается она, наконец, спросить, конфузаясь своего любопытства, — правда, что в Америке в'ы... фельдшер?

— Ноу,¹ — с безразличным видом отвечает Гливер, мотая головой.

И погода спрашивает:

— Почему фельдшер?

•— Я подумала... ваш перетень!..-

Поняв, что сболтнула глупость, она вся заливается краской и хочет поправиться.

— Когда мама заболела, мы вызвали либединского фельдшера, так у него на руке тоже был перстень... совсем такой же...

— Ноу,—перебивает ее американский турист,—я — менеджер².

Некоторое время Рохл молчит.

— Вы не будете надо мной смеяться?.. Что такое «менеджер»?

— Что такое менеджер?

Нохем Гливер вынимает изо рта трубку, смотрит в сторону, затем начинает объяснять, медленно и пространно. Девочке надоедает слушать.

— Скажите лучше, сколько вы зарабатываете?

— Гм!.. Сколько... Я получаю семьдесят долларов в неделю.

— Ого! — весело восклицает Рохл, заворачивая руки подолом своего старого платья. — Теперь понятно. Вы спец, — так?

— Ноу...

Гливер закладывает одну руку подмышку, другой запрокидывает голову с торчащей во рту трубкой и замирает в такой позе, словно увидел среди звезд что-то занятное. Рохл тоже откидывается назад — на что он так загляделся? Она видит густо вызвездившееся небо, темное, суровое. Она ждет — когда же, наконец, он перестанет смотреть вверх? Вдруг он задает ей вопрос:

— Не знаете ли вы, где теперь Авербухи?

Его голос звучит как-то сонно.

— А какие Авербухи?

Не глядя на девочку, Гливер долго жуёт табачный дым. Наконец он отвечает:

— Ну, Шолом Авербух — потомственный почетный

¹ По-аиглийски — нет*.

² Управляющий, заведующий.

гражданин... купец первой гильдии... Выезд у него был с колокольчиком на дышле. Никому другому не разрешалось ездить с колокольчиком на дышле, только у исправника и у него были такие выезды... Они жили в высоком особняке на базарной площади. Дом почти развалился... все ставни разбиты...

— Ставни! — подхватывает Рохл. — О, их сочинят! Весь дом отремонтируют — ведь там теперь наша школа! Из-за этого было не мало шума. В Облоно еще в прошлом году обещали денег на ремонт. Их уполномоченный как раз сегодня приехал — зададут ему перцу на собрании, этому кривому инспектору!

Нохем Гливер не смотрит на нее, не слышит, что она говорит, терпеливо ждет, пока она кончит.

— Чуть ли не миллионеры были эти Авербухи, — продолжает он свое. — Крупные богачи!

— А! — восклицает Рохл. — Буржуи, значит? Папа часто рассказывает, как служил у буржуев.

Гливер открывает рот и задумчиво постукивает черенком трубки по зубам.

— Вместе с Глинскими, своими двоюродными братьями, — продолжает он, как бы беседуя с самим собой, — Авербухи имели наверное около миллиона...

— Глинские? — снова оживляется Рохл. — Должно быть, Исроэль Глинский, председатель горсовета. У него недалеко от дома молодой виноградник... Потеха с ним, с Глинским, — помешался на своем винограднике! Он может крышу красить, — он ведь маляр, — но пусть увидит, что приехал чужой человек, так соскочит и побежит показывать свой виноградник! Что ни заработает — все в свой виноградник ухлопает, а потом идет занимать несколько рублей. Встретит агронома и кричит ему: «Вы и представления не имеете, что такое виноград!» Агроном хохочет, да и все за бока держатся. Да, конечно, Исроэль Глинский...

— Ноу! Ноу! — недовольно кривясь, прерывает ее Гливер. — Этот Глинский голоштанник, и отец его был такой же. Что общего у него с настоящими Глинскими? Я говорю про больших Глинских — подрядчиков... У Авербухов всегда были студенты-репетиторы и бонны, дети учились в гимназиях...

Все больше и больше оживляясь, Гливер рассказывает, как эти гимназисты и гимназистки приезжали домой на летние каникулы. У них была собственная купальня, и каждый день, под вечер, они ездили на реку в экипажах, запряженных вороными конями.

— А, понимаю! — снова прерывает его Рохл. — Нам рассказывали, что когда-то жили разные господа — графы и князья, которые ничего не делали. Но им пришел конец, как только на них перестали работать! Я не раз говорила папе: «Вот уж я не пойму, зачем люди на них работали!» А папа отвечает: «Ты глупая!»

Нохем Гливер не слышит ее. Его голос звучит мечтательнее с каждой минутой.

— У Авербуха была дочь Женя... Жгучая брюнетка, всегда в шелках, вся бриллиантами увешанная, так и сверкала...

— А красивая?

— Я бы не сказал... зато — огонь!.. С кем только не валандалась! Говорили, что и кучерами не брезговала. Со всеми шашни заводила...

— И с вами тоже? — спрашивает Рохл.

— Ноу! — отвечает Глизер и сердито мотает головой. — Со мной! Куда мне! Я был сыном бедной вдовы. Мать иод праздники в богатых домах фитили для восковых свечей крутила и молитвы при этом произносила, ей за это платили. «Нюка, сын фитилыщицы», — вот как меня авали. У матери не было денег, чтобы платить мела-меду, так что я без дела болтался... целыми днями в аптекарском магазине торчал — я там пузырьки мыл, просто так, даром, и страшно этим гордился. Можно было подумать, что я обучаюсь аптекарскому делу. Особенно приходилось стараться, когда покупатель был из Авербухов. Даже когда они присылали за минеральной водой, надо было обязательно обмыть бутылки снаружи. Я раз отнес туда несколько бутылок «Виши», и Женя Авербух увидела меня. Как посмотрит на меня — прямо впилась глазами! Я был парнишка хоть куда... Потом спросила, хочу ли учиться у нее русскому языку, и велела завтра же притти...

— Она долго занималась с вами? — с наивным любопытством спрашивает Рохл.

— Ноу!.. Дня три, не больше. — Легкая усмешка пробегает по лицу Гливера. — Потом она заявила, что ей надоело, у нее голова болит,, лучше она будет платить за меня репетитору.

— И она платила?

— Ноу... Хотя один месяц платила.. Скоро она уехала... А мне прислали шифскарту, и я тоже уехал.

— Куда?

— В Америку.

Гливер принимается рассказывать о своих мытарствах в Америке в первое время. Но мало-помалу он начал зарабатывать и даже откладывать. Свои сбережения он постоянно сравнивал с капиталами Авербухов и Глинских в Старом Свете. Он жил "единственной мыслью — побольше накопить. Ему даже в голову не приходило жениться. У него была одна мечта: по приезду в родной город зайти перво-наперво к Авербухам и Глинским...

И вот он приехал, но, вместо Авербухов и Глинских, нашел исполком, промкооперацию и школу-семилетку... Выходит, пожалуй, что он попусту копил деньги, зря носился со своей мечтой... Напрасно не женился там, в Америке. И зачем только он сюда приехал? Только и остается — курить трубку и втихомолку приглядываться к тому, что в городке делается... Жалкий в общем городишка какой-то — без богатых людей...

— Скажите сами, — горячится он и выколачивает трубку о завалинку, — что такое город без богатых? Ну, как бы вам объяснить. Сплошные будни без единого праздника... Вы понимаете, что я хочу сказать?

Рохл больше не перебивает его и смотрит на него несколько испуганно. Ей пятнадцать лет, на ней старенькое платье, она думает о том, что рядом с ней на завалинке сидит американский гость и говорит глупости. Должно быть, там в Америке все такие... все говорят глупости. Просто "в толк не возьмешь, что он хочет сказать! Нет, — мысленно делает вывод Рохла, — вот она, например, ни за что не поехала бы в Америку!

Луна давно взошла над сонным городком. Почти одновременно высыпали люди с закончившихся собраний. Они и на улице не прекращают споров, собираются кучками, перекликаются.

К завалинке, на которой сидят американский турист я Рохла, приближается высокий сухопарый человек. У него вытянутое лицо, впалые щеки, небольшая борода. Это отец Рохла, Фроим Теплицкий, главный бухгалтер промкооперации. Он останавливается, слушает, как Нохем Гливер разглагольствует об Авербухах и Глинских, и с каждой секундой его лицо выражает все большее раздражение.

— Послушан, ты, — перебивает он его, наконец, — спросил бы лучше про свою сестру Хаю — она в свое время немало горя натерпелась. А теперь, я слышал, ей живется неплохо, она с детьми в Одессе... Пойдем, Рохла.

Рохл послушно идет домой кормить отца ужином. Гливер некоторое время остается в глубоком раздумье на завалинке. Потом встает и медленно идет по залитой лунной улице. Он чиркает спичками и тычет ими в гаснущую трубку. Руки его при этом заметно дрожат, в голове все вертится:

«Что такое город без богатых? Ну, как бы вам объяснить? Сплошные будни без единого праздника... Вы понимаете, что я хочу сказать?»

1926 г.

БИРОБИДЖАНСКИЕ МОТИВЫ

Веселый ветер

Как горячие кони, проносились предоктябрьские дни над деревнями и селами, раскиданными на краю тайги, по горным склонам, у подножья гигантских утесов. Они Вернули Малому Хингану летнее тепло и синеву неба, они в каждого вселяли желание вскочить на них, крепко ухватиться за гривы и мчаться, мчаться...

На бурном заседании горсовета выяснилось: нет достаточно вместительного здания для празднования октябрьской годовщины.

Строители — сорок с лишним человек — вынесли решение:

— Будет помещение!

На рассвете, за тринадцать дней до праздников, заступ впервые вонзился в землю на одном из пустырей. Поздно вечером был готов котлован. На другое утро выложили из камня и промазали глиной с известкой фундамент. На солнце сушились сформованные ловкими женскими руками глиняные блоки, росла гора шлакобетонных кирпичей и лесных материалов. Из реки доставляли бревна, с соседних сопок — камень. Стремительный темп строительства заражал и тех, кто был занят на другой работе.

В небе, совсем как в июле, светило ослепительное солнце.

Бригадир плотничьей артели Велвель Грайвер был светловолосый крепыш с зеленоватыми смеющимися глазами и круглым сдобным лицом. Его прозвали «Веселый ветер». Двадцать семь лет его жизни складывались из работы подмастерьем у столяра в родном Хашеватом, службы в Красной Армии и работы в Биробиджане, куда он прибыл четыре года тому назад гол, как сокол, в надежде на все радости жизни, да еще — из чистой любви к одной девушке в том же Хашеватом.

В Биробиджане ему случилось однажды взяться за оружие, чтобы плечом к плечу с красноармейцами дать отпор нарушителям границы.

Орудя пилой и топором, «Веселый ветер» возводил леса, и, по мере того как дом поднимался, в нем крепло ощущение, что это в сущности не работа, а одно удовольствие. Иногда, вполне уверенный, что рука и сама ров'но поведет пилу, он смотрел на копошившихся внизу мужчин и женщин, рывших землю, таскавших кирпич и доски, и от избытка радости кричал:

• — Живее, евреи! Пошевеливайтесь!..

Человек не слишком развитой, Велвель забывал, что обращается к пожилым людям, которых всю жизнь носило по белу свету, из одной страны в другую. Он не мог также объяснить, что его привело сюда вместе с ними на Малый Хинган. С высоты лесов он видел черные пятна сопок, белые шапки горных вершин, серебристую ленту реки, и на душе у него делалось хорошо. Но под ложечкой посасывало: даже тогда, когда он, глядя сверху на подносящих материал людей, весело кричал им:

— Живее, евреи! Пошевеливайтесь!..

Очень недоставало той девушки из Хашеватого

Среди тех, кто приходил любоваться, как быстро растут стены, был и прикомандированный райисполкомом товарищ Бинем, силач лет сорока с приятным, почти юношеским лицом, с проседью на висках, с пепельно-серыми глазами, в которых можно было прочесть живость мысли и настойчивость. Все знали его, всех влекло к нему. Не раз уже Велвель кричал ему сверху:

— А! И ты здесь? Вот хорошо, мне нужно с тобой поговорить!..

Раза три Бинем сам лазил к нему наверх и, улыбаясь, спрашивал:

— Когда же ты, наконец, скажешь, о чем тебе надо со мной говорить?

И Велвель каждый раз отвечал:

— А где я с тобой говорить буду — неужели здесь, среди стука и гама?.. Нет, нет, у меня личное дело... и деликатное. В-ва! Очень деликатное!

— Ах, чтоб ты скис! — улыбался Бинем.

— • Живее, ев'реи! — опять кричал, больше не глядя на него, Велвель. — Пошевеливайтесь!

Молодой таежный город перестал спать по ночам. Костры вокруг стройки напоминали ночные пожарища, и,

как венец мироздания, из огней глядели на строителей, торопя их, предстоящие октябрьские праздники'.

Сутками не смыкал глаз и Велвель.

В самый канун праздника Бинем столкнулся с ним. Велвель мчался с огромным портретом Сталина в одной руке и с ножевкой — в другой.

— Постой! — с лукавой усмешкой в пепельно-серых глазах остановил его Бинем. — Тебе же хотелось со мной поговорить... Стройка, я видел, почти закончена.

— Да! — запыхавшийся Велвель просветлел. — Почти готова. Но... видишь ли, у меня к тебе деликатное дело... В-ва!.. У меня, понимаешь ли, есть девушка в Хашеватом... Хотелось бы, чтобы она была в праздники со мною. Но теперь уже поздно.

— Почему поздно? — воскликнул Бинем, хлопнув его по плечу. — Дай ей телеграмму! Она, что, тебе только на праздники нужна?

Пальцы Велвеля нервно теребили пуговицу на пальто собеседника.

— В том-то и беда, — полушепотом ответил он. — Я ей ни разу за все время не написал... А тут подошли праздники... В-ва!

Шолом Бубес

I

Тяжело, как первые роды, дается приамурской тайге переход от осени к зиме...

В ноябре 1932 года стон стоял в тайге: те же вопли, вой и скрежет, что сотни, тысячи лет тому назад перед первым снегом.

Ветер свалил семафор на маленькой станции Тихонькой, недавно переименованной в «Биробиджан».

Оставалось меньше часа до прихода поезда с востока.

Путевой сторож побежал вперед, чтобы флажками задержать его и не пропустить на занятый путь.

Распахнулась дверь крохотного деревянного вокзала, и, ворвавшийся ветер словно вышвырнул оттуда в снег и вьюгу и начальника станции, и телеграфиста. Они бросились искать людей, которые помогли бы поставить на место семафор. Раскачиваясь под напором ветра, они то вертелись, чуть не пляша, на месте, то стремительно кидались вперед, не переставая озираться по сторонам. У второй — запертой — двери вокзальчика стоял здоровый

малый, смуглый, как цыган, в коротком полушубке и в новехоньких сапогах, от которых сильно пахло юфтью. Он только что опустил в обшарпанный почтовый ящик письмо.

Начальник станции, с проседью в волосах и на небритом лице, был неприветлив и неряшливо одет. Город, зарождавшийся на берегу Биры, у подножья гор и сопок, был так далек ему, точно находился за тридевять земель от него. Неприятно морщась и жуя губами, он шагнул к почтовому ящику и поймал на себе взгляд черных, глубоко сидящих и сверкающих, как толстые линзы, глаз молодого здоровяка. Лоб у него был узкий, лицо—полное, нос—солидный, как стране на посту, на верхней губе—черные колючки, в углах рта что-то необузданно упрямое.

Опередив начальника станции, к нему подбежал, с кислой миной на лице, телеграфист и, приложив руки рупором ко рту, гаркнул:

•— Пойдем!.. Поможешь нам...

Но ветер отнес его слова в сторону.

Выпятив грудь и с такой гримасой, словно все это ему бесконечно надоело, начальник станции крикнул, указывая на упавший столб:

— К семафору...

Черноглазый человек скорее догадался, чем расслышал. На губах его заиграла усмешка, будто он хотел сказать:

«Так и знал: придешь сюда, даром не отделаешься!»

Г той же усмешкой он взял у телеграфиста кирку и лопату, привычным движением землекопа забросил инструменты на плечо и направился к поваленному семафору. Ветер его подталкивал сзади. Издалека, с горных вершин, низвергалась со всей своей лютостью таежная вьюга, и чудилось, что из темной выси на землю сейчас упадут замерзшие сгустки неукротимой ярости.

II

По другую сторону полотна, в молодом городе с сырыми, промерзшими, недостроенными домами, ветер взвихрил сухой снег, поднял над крышами и снова рассыпал. Опять светлее стала длинная улица с глубокими следами в заледеневшей грязи. Казалось, их оставили гигантские сапоги, шагавшие сами, без помощи ног.

В самом конце улицы, в залитой солнцем строительной конторе, загорелись, будто озаренные изнутри, окна. Было одиннадцать часов утра.

Из конторы вышел человек в стеганом ватнике, какие носят и мужчины и женщины, с шапкой на затылке. На крыльце ему попался Велвель — «Веселый ветер»; он посмотрел на него исподлобья и спросил:

— У тебя есть дело ко мне?

Пухлое лицо Велвеля засветилось такой же радостью, какая была у него в глазах.

— Я хотел бы домой съездить, — ответил он.

— Домой?!

Будто вспомнив о чем-то, человек в стеганом ватнике посмотрел на молодого плотника, сказал:

— Зайди ко мне! — и прошел в свой чистый, хорошо убранный кабинет. Он никому не позволял там курить и сорить. Велвель потоптался в коридоре. Чувствуя, что из его дела ничего не выйдет, он так свирепо насупился, точно, забивая гвоздь, со всего размаха хватил молотком по собственным пальцам.

— В-ва! — произнес он и шагнул к открытой настежь двери другой комнаты — без окон, еле освещенной горевшей в полнакала лампочкой, с небольшой буфетной стойкой в углу. За столом прежде всего бросались в глаза красные жилистые руки, обхватившие стакан с чаем. Это были руки Бинема, сидевшего в пальто и в шапке. Его окружало несколько человек. Они все вышли сюда на время перерыва в заседании.

— • А! Велвель!.. — воскликнул Бинем. — Девушке своей написал?

Велвель не успел ответить — кто-то потянул его за рукав:

— Тебя зову!

Молодой плотник вошел в комнату, где сидел человек В в стеганом ватнике.

— Мы скоро открываем курсы, — услышал он. — Ты сможешь получить...

— Я слышал, — живо перебил его Велвель. — Но у меня, видите ли, маленькое личное дело... В-ва!.. Скажу прямо: мне хочется использовать сейчас свой отпуск и съездить в Хашеватое... только туда и обратно...

Заметив, как нахмурился сидевший за столом человек, «Веселый ветер» сообразил, что сморозил глупость. Эх, во всем были виноваты недавние октябрьские праздники... и та девушка, к которой он питал самые чистые чувства! Все вместе так разволновало его, что никакими словами не расскажешь...

Человек в стеганом ватнике слегка поклонился ему, словно хотел сказать: «Рад за тебя!» — затем, посмотрев

рев на него прищуренными и несколько удивленными глазами, сказал:

— Съездить в Хашеватое и обратно?.. Как раз теперь, в самый разгар работы?..

— Вот в том-то и дело... Вопрос личный..

Долгая пауза.

— Может, и мне поехать с тобою, Велвель?

Снова пауза.

— У меня тоже найдется личное дело. Г поста ты бы тоже ушел по личному делу?..

Поняв по лицу Велвеля, какое впечатление произвели его слова, он кинул ему, как своему человеку.

— Скажи-ка там в буфете, что хватит прохлаждаться.

Велвель вышел. Человек в ватнике посмотрел ему вслед. Дверь отворилась, и вошел светловолосый долго-вязый человек в расстегнутой дохе поверх пальто. На его бледном лице реяла кривая усмешка; он, казалось, был немного сконфужен: приходится ему, такому известному лицу, самому называть свое имя. Неторопливо сняв очки, он вытер их замшей, потом надел, заправил оглобли за уши и крепко зажмурил глаза, чтобы очки хорошо сели на место. Со стороны могло казаться, будто надел ему их кто-то другой, а он только благосклонно позволил это сделать. Пожевав сперва тонкими, чуть скривившимися губами, он сказал, подходя к столу:

— Я — экономист Прус. Однажды был уже у вас.

Так же неторопливо он сел и протянул несколько исписанных листов.

— Это план, который я везу в Москву, — сказал он, обводя глазами стены и потолок. — В Нью-Йорке меня знают как специалиста по вопросам колонизации... Я провел некоторое время на Тунгузке близ колхоза «Икор», где живут американские переселенцы. Про меня распустили всякие слухи...

Предоставив человеку в ватнике пробежать глазами листки, он добавил, снова кривя тонкие губы:

— Я же говорю открыто то, что хочу сказать.

В его чуть напевном американском говоре все чаще проскальзывали нотки обиды.

— Я полагаю так... Клочки земли, которые здесь обрабатываются среди болот, ровно ничего не стоят... Курам на смех! Америка позволяет себе оставлять невозделанными огромные пространства и ввозить хлеб из Канады. Аляска, при всем, ее богатстве, долго не имела своей продовольственной базы. Я не раз говорил: надо перебросить колхозников на строительство мебельной фабрики.

Дайте мне возможность поставить на Амуре одну-две фабрики, которые работали бы на экспорт, и я весь край наводню маньчжурским хлебом. Я хотел бы дать вам некоторые объяснения...

Ему стало жарко. Глаза забегали по комнате, высматривая, куда бы положить доху. Он уже начал разоблачаться. Но тут он заметил, что ему протягивают его исписанные листки, и услышал:

— Возьмите!.. Можете их себе оставить! Нам с вами же по дороге.

III

Чернявый здоровяк в новых сапогах, и полушубке помогал устанавливать упавший семафор с опытностью и ловкостью заправского землекопа. Предварительно расширив киркою яму, он размельчил промерзшие куски глины. От мороза и ветра его лицо постепенно принимало цвет кровавой раны. Глаза стали больше и как будто сидели уже не так глубоко. Из ворота наглухо застегнутого полушубка выглядывала багровая шея. Лишь после того, как столб был поставлен на место, он выпрямил спину, смерил глазами расстояние до ближайшего колодца и сказал:

— Неплохо бы налить в яму несколько ведер. Вода замерзнет, и столб будет стоять надежнее.

Тут он заметил, что телеграфист уже исчез.

— А я, видите ли, сейчас вроде в отпуску, — добавил он почти сконфуженным тоном, обращаясь к начальнику станции.

На обратном пути к вокзалу у них завязалась беседа.

Ты, сдаётся мне, из тутошних будешь, — сказал начальник станции. — Не ты ли приставал ко мне постоянно насчет пропусков на проезд в товарных вагонах?

— Во-во! — почти обрадовался тот. — В самую точку!.. Как же тебе не помнить меня — Бубес мое имя, Шолом Бубес. Ты даже жаловался на меня в райком: за то, что я просил разрешения провозить переселенцев с их барахлишком в товарных поездах.

— Так-так! — вспомнил начальник станции. — Так это ты самый? А я уж думал, что избавился от тебя.

— Не-ет! — не без гордости ответил Бубес. — От меня избавиться не так легко... Просто я в колхозе был.

— Что же ты там делал?

— Что делал? — с усмешкой переспросил Бубес. — Я гам председателем был.

— Неужели никого другого не нашли?

— Тебе смешно... Представь себе, к моему приезду колхоз был накануне развала.

— Ну, еще бы!.. А говорили: через два-три года Дальний Восток расцветет, не узнать будет края!

— В два-три года?! А ежели в десять-пятнадцать лет, так дело, думаешь, того не стоит?

Начальник станции покосился на Бубеса. Когда в тайге, вот, встречаются два человека, они, — так уже водится, — хотят узнать, кто сильнее — хотя бы в уменье поддеть другого словом. Начальник станции заметил, что у его спутника правая рука немного согнута в локте и крепко прижата к боку.

— Почему ты так странно руку держишь? — спросил он,

— Просто так... Привычка. Я много лет подмышкой кнут держал. С шестнадцати лет биндюжником ездил.

Этот парень, оказалось, видывал виды и где только не побывал! На прокладке дорог работал, на лесных работах, на рыбозаготовках, на мелиорации, даже целину поднимал. А если верить ему, он с недавнего времени стал председателем колхоза «Икор», того, что недалеко от Волочаевки, на берегу реки Тунгуски, где строятся в последнее время поселенцы — и свои, и американские. Они там мебельную фабрику затеяли, целый город создать хотят вокруг сопки.

— Ах, да, — вспомнил вдруг начальник станции. — Мне говорили, у вас люди разбегаются.

— Кто разбегается, а кто остается, — равнодушно ответил Шолом Бубес.

Они молча шагали навстречу свирепому холодному ветру, низко опустив головы, будто тянули тяжелый плуг. Кругом в сумасшедшей пляске, предвещавшей ярость таежной вьюги, метались снежинки, реденькие и беспокойные. Начальник станции вдруг легонько толкнул Бубеса в бок и куда-то показал глазами:

— Вон, гляди..,

Шолом Бубес и сам смотрел туда. В глазах блеснул недобрый огонек. На станционной платформе, в том месте, где останавливался обычно мягкий вагон, сутились два человека: долговязый американский экономист Прус и его жена Роза. Молодая женщина без конца переставляла баулы и чемоданы. Их было множество; они относились к того рода багажу, который люди берут с собой, отправляясь а* дорогу «всерьез и надолго».

Начальник станции крикнул Бубесу в ухо:.

— Вот, изволь!.. Насыпь им соли на хвост!
— Теперь ты меня опять будешь часто видеть, — только сказал Бубес, будто и не расслышав.
— То есть, как?.. Снова будешь приставать?
— Еще как! Я уже начинаю: мы ждем не сегодня-завтра одну американскую семью. У них, вероятно, будет много вещей. Я потому и наведываюсь часто на вокзал... Ты мне разрешишь, я надеюсь, проехать с ними в товарном поезде?
— Надейся, мил-человек. Ты молод и полон сил, можешь надеяться!

И, не оглядываясь больше, начальник станции пошел к себе в жарко натопленную и насквозь прокуренную комнатку — закуток, наполненный телефонными звонками, треском телеграфного аппарата и воплями дежурного по станции. Прежде чем он успел притворить за собой дверь, оттуда, вместе с волной теплого воздуха, вырвался тоскливый вой, словно кто-то старался вызвать к жизни покойника в далекой тайге.

— Отвечай!
— Диспетчер!

Шолом Бубес остался один на морозном ветру, который с возрастающей силой набрасывался на голый деревянный вокзальчик. Шолом часто щурил глаз, будто его раз за разом били по лицу. Другой глаз наблюдал за готовившейся уезжать четой американцев, стоявшей сейчас на платформе. В коротеньком полушубке, сапогах и надвинутой на глаза шапке у Шолома Бубеса был вид человека, которому не раз уже приходилось только терпеливо ждать.

IV

Снова ветер поднял снежную пыль во всем городе, понес на крохотный вокзал и, казалось, прихватил с собой маленькую женщину, изящную и смуглую. Расфуфыренная, похожая на спешившую к поезду обитательницу шикарного курорта, она подошла к стоявшим на платформе супругам Прус.

По зимнему пальто цвета бордо с узкой скунсовой оторочкой все узнавали иностранную докторшу Шрагер из колхоза «Икор», что на берегу Тунгузки, близ Волочаевки, — самую разбитную бабенку во всем Биробиджане. Сейчас она приехала проводить своих друзей и, стоя возле них, словно стерегла их багаж, время от времени бросая тревожные взгляды на Бубеса.

Жена экономиста Пруса уже несколько раз кричала мужу:

— Нечего туда ходить! Не имей с ними дела, и все!

Все же тот с обычной медлительностью подошел к Бубесу и, глядя на него грустными глазами сквозь огромные роговые очки, заговорил, едва шевеля вечно обиженными губами:

— Вот уже действительно метель — И в тайге, и в головах у многих! К кому бы из здешних работников я ни обратился со своим планом, все от меня шарахаются, как от прокаженного.

Рядом с Бубесом стоял сейчас молодой заведующий Домом переселенца Арье в облезлом полушубке и стоптанных сапогах. Как всегда, он смеялся, но не лицом, а светлосерыми, с узким разрезом, глазами.

— А вы чего ожидали? — отозвался он на слова Пруса. — Что вам на шею от радости кинутся? Вы всем говорили, зачем, мол, делать мужиков из такого одаренного народа, как евреи! Я сам слышал от переселенцев: «Прус говорит — взяли взрослых людей и надели на них детские штанишки!»

Не удостоив Арье вниманием, Прус только бросил небрежно:

— Надо понимать, что другой гов'орит.

Посмотрев через его голову на покосившуюся вокзальную крышу, словно к ней обращаясь, он продолжал:

— В конторе мне сказали: «Обойдемся без ваших объяснений»... Что ж, на то здесь и тайга, Везде в мире кричат во всю силу легких... Попытаюсь изложить свой план в Москве, надо п мне научиться кричать.

Заметив, наконец, как холодно смотрит на него Бубес, он захотел узнать — понял ли тот его, расслышал ли его слова в этой вьюге.

— Вы всеми мерами хотите доказать, что способность мышления у Вас идет не от головы, а от мускулов. Не пойму, какое это вам доставляет удовольствие!

Выждав несколько секунд, он гордо выпятил грудь, забыв, что ветер в любую минуту может сорвать с него доху, и, не торопясь, отошел.

— Как ты думаешь, — спросил Арье будто ровно ничего не произошло, — приедут сегодня наши американцы?

Издали оба видели, как Роза Прус, опустив на платформу вещи, которые держала в руках, что-то крикнула возвращавшемуся мужу. А потом эта изящная женщина,

в коротком меховом жакете, быстро подошла к Бубесу, красиво покачиваясь на ходу. Ветер обвивал вокруг ног юбку из плотного сукна с зелеными пуговками сбоку, рвал с ее головы пестро разрисованный бархатный берет, — точно такие она делала в Нью-Йорке по заказу одного шикарного магазина. На ногах у нее были фетровые, тоже разрисованные, ботинки. Как будто желая за что-нибудь ухватиться, она вынула из теплой муфты руку и протянула ее, но встретила только ледяной взгляд Бубеса. Рука повисла в воздухе, потом опустилась.

— Послушайте...

Женщина тяжело дышала от волнения.

— Послушайте, я должна вам сказать, что у меня на душе! Из любой страны можно уехать когда угодно, только здесь это называется дезертизмом...

С каждой секундой ее лицо все больше искажалось от злости; оно стало почти зеленым, полные бешенства слова вылетали из ее рта, тень легла Еокруг губ, и невольно казалось, что смотришь на извивающуюся змейку.

Бубес смотрел на нее прищуренными и сверкающими глазами.

— Хорошо! • — отрезал он. — Можете жаловаться американскому консулу!

Несколько секунд они молча стояли и в упор глядели друг на друга.

— Как вам не стыдно! — почти прошипела молодая женщина. — Вы, Шолом Бубес, можно сказать, друг...

Сгоряча она не замечала, какими влажными стали ее губы. Чуть вздрогнув, она спрятала руку в муфту. Из груди вырвался звук, похожий на заглушённое всхлипывание. Она кинулась назад к мужу.

Ветер начал стихать, снег повалил гуще, снежинки повисли на длинных ресницах Арье.

— Навсегда потерял друзей! — сказал он, блеснув смеющимися глазами.

Парню было весело — хотя бы просто оттого, что снег падал такой густой, как нигде в мире. Хорошо бы сейчас с кем-нибудь побороться тут же в снегу!.. Он слегка ткнул Бубеса в бок, чтобы его расшевелить:

— Уйди ты от меня! — оттолкнул его Бубес,

Докторша Шрагер ни на шаг не отходила от Прусов и все твердила экономисту, как ему вести себя в Москве.

С востока донесся шум приближающегося поезда.

Бубес сделал несколько шагов и остановился возле

молодой изящной женщины, стерегшей свои вещи. Едва поезд показался, он наклонился, выбрал два самых тяжелых чемодана и, не спеша, вскинул себе на плечи. Его движения говорили о долгом опыте носильщика или ломового извозчика. Прусы уже прощались с докторшей. Стройная и изящная Роза несколько раз пыталась заговорить с Бубесом, но тот не отвечал. Из-за пыхтения паровоза он и не слышал ее. Он слегка сгорбился под тяжестью чемоданов, лицо его побагровело.

Как только поезд остановился, он поставил чемоданы в узкий проход мягкого вагона и так же неторопливо вернулся к тому месту, где его ждал Арье.

— Опять не приехали наши американцы! — встретил его Арье. — Снова придется бегать из-за них на вокзал.

Параллель—по-русски параллель

Поздний октябрь, расцвеченный красками увядания, бродит ошалело по опаленным солнцем горам и долинам. Горький и дразнящий запах полыни, бурная дикость нетронутого леса биробиджанской тайги, уходящей в горы под самый край нависающего неба...

Я возвращаюсь пешком с Теплого озера в горный поселок, еще носящий старое тунгусское название — Лондоко. Евреи-переселенцы заканчивают здесь строительство большого известкового завода. В этом диком горном уголке, куда и по сей день заглядывает уссурийский тигр, я только что присутствовал на лекции «О методах разведения рыбы». Я изнываю от жары. Голова устала от двухчасовой лекции.

Итти приходится звериной тропой. Она ведет меня то вверх, то вниз. Я размяк от зноя. Кругом бескрайние пространства, куда еще не ступала нога человека. Они уходят во все концы мироздания. Стрекот кузнечиков в траве утомляет и расслабляет, как монотонные напевы.

Вывела меня из этого состояния неожиданная встреча. На крутом повороте тропы передо мною очутилась заведующая еврейской школой в Лондоко. Я сразу очнулся. Вернулось чувство реальности. Я снова стал постигать, что тут же, на этих необъятных первозданных пространствах, пробивается, подобно подземному потоку, молодая, трудовая и радостно-напряженная жизнь. Сама заведующая школой—струйка этого потока. В далеком горном поселке она оборудовала прекрасную школу. Сверкающие чистотой окна глядят на расцветающий

поселок радостно и бодро, как детские глаза. Заведующая уже не молода. Говорит она медленно, нараспев. Так говорят у нее «а Волыни. Я сразу представил себе ее мать, местечковую еврейку в старомодном парике.

— Куда вас несет в такую жару? — спрашиваю я.

— Именно — несет! — подтверждает заведующая.

Она защищает ладонью г^аза от солнца и хмурится на русское селение у подошвы горы.

— Не только несет, — прибавляет она, — а разносит! Прямо распирает!

Она кивает на селение:

— Я им сейчас такое спою, чего они еще никогда не слыхали!

— Что случилось? — удивляюсь я.

— Не спрашивайте. Горе — и только! Сама же виновата. Глупость сделала!

— Что случилось? — снова спрашиваю я.

— Эх! Мы своими руками дали им учителя взаймы!

— Как? Взаймы?!

— Да. Русским товарищам в этом селении мы дали учителя взаймы.

— Что, что? Вы им дали взаймы! — переспрашиваю я, не веря ушам.

— Ну да, — повторяет она, — учителя. Учителя Математики.

— Учителя?!

— Да, настоящего, живого учителя. Что вас так удивляет?

— Нет, — говорю я, — ничего... Я думал, взаймы можно дать деньги, ухват, ну, корыто для белья, что ли. Но давать взаймы учителя, — этого я что-то не слыхал...

— Вполне согласна, — говорит заведующая. — Разве можно дать взаймы свой собственный глаз? Вы думаете, у нас тут лишние учителя валяются? Самим нехв'атает! Но что поделаешь, когда люди изо дня в день ходят, просят, кланчат. Как-никак соседи. В праздник — вместе. Чуть у кого беда — на помощь друг другу. И вот надо людям учебный год начинать, а к ним еще учитель математики не приехал. Срывается учеба! Вот мы и дали им взаймы учителя. Уговорились на десять дней, не больше. А они его уж скоро три недели держат. И не видать, чтобы вернуть собирались! Пришлось сегодня все дела бросить и потащиться к ним. Я им такую нахлобучку задам, что долго меня помнить будут!

— Пожалуй, и я с вами пойду, — говорю я.

Мне любопытно посмотреть, что это за учитель, ко-

торого отдают взаймы, и как станет моя заведующая взыскивать «недоимку», и как она поведет домой сйое живое добро.

Жителей таежного русского селения мы застали за работой. Вспотевшие на солнцепеке до соли на рубахах, они обтесывали толстые бревна. Работал и председатель сельсовета — высокий статный сорокалетний мужчина с красноармейской выправкой.

• — Ни стыда, ни совести у тебя нет, Павел Александрович! — сразу перешла в наступление моя заведующая. — Ты нас подвел! Сделали мы вам одолжение, дали учителя взаймы... Уговорились на десять дней. А ты что? Держишь его три недели!..

— Постой-ка, постой! — у председателя оказалась похвальная привычка подумать малость, прежде чем отвечать.

Он медленно повернул голову сперва вправо, потом влево и только тогда сказал:

— Постой, погоди! Вы, говоришь, сделали нам одолжение? Учителя взаймы дали?

Он вытер лицо, подумал и посмотрел заведующей в глаза.

— Ну, а мы? Так-таки ничего вам взамен за ваше одолжение не дали? А это что?

Он показал на незастекленные окна большого здания неподалеку, на котором красовалась надпись «Клуб».

Моя спутница и председатель продолжали спорить. Я узнал, что заведующая еврейской школой в Лондоко нуждалась в стекле для зимних рам. В русском селении ожидали стекла со дня на день, и, чтобы выручить соседей, вынули стекла из окон клуба и отдали им. Со своей стороны, еврейская школа отпустила к русским соседям своего учителя математики.

— Ну, хорошо — вынуждена была признать заведующая. — Допустим. Но уговор-то был, что мы вам уступаем учителя только на десять дней? Был такой уговор?

— Что верно, то верно, — признал и председатель. — Был такой уговор: десять дней, и не больше. Но ведь учитель-то ваш говорит, что он в русском языке не силен, и просил учительницу к нему приставить. Она с ним заучивает разные там названия по-русски. Как выучится, он и позаймется с ребятами—десять дней, не более. Тогда и вернем. А ты уж думала, мы вас ограбить собираемся, так, что ли?

— Боже! — всплеснула руками заведующая — Три

недели чтобы заучить названия? А ведь он говорит по-русски. Где он?

— Вон там, — показал председатель на школу, — сходи к нему, сделай милость. Может, он тебя послушает. Женщина ты солидная. Убеди его, пусть маленько поторопится!

Павел Александрович снова взялся за топор.

В школе уборщица подметала и поливала пол из большого чайника. Окна были по-летнему раскрыты. Горный ветер приносил острые запахи, сливавшиеся с запахом оседавшей пыли.

В одном из классов оживленно разговаривали. Кто-то весело смеялся. Мы вошли. За партой сидел молодой еврейский парень с густой шапкой черных волос. Спиной к окну стояла русая девушка лет девятнадцати, стриженная, как мальчик. Узкий синий поясок стягивал тонкую талию. Нос был слегка вздернутый. Глаза, светлые, прозрачные, большие, как крупные виноградины, смотрели задорно и весело.

Увидев нас, парочка смутилась. Девушка повернулась к окну. Теперь мы видели только ее спину. Паренек с минуту сидел неподвижно. Вдруг он схватил лежавшую перед ним тетрадь и, упершись локтями в парту, принялся усердно зубрить:

— Трапедие — по-русски трапедия; квадрат — квадрат; пирамиде — пирамида.

Заведующая пристально посмотрела на молодую учительницу. Потом медленно повернулась ко мне, прикусила нижнюю губу и тихо шепнула мне:

— Она очаровательна!.. Теперь все ясно! Вы поняли?..

С минуту она смотрела на парня. На этот раз, кажется, даже с уважением. Потом снова обратилась ко мне:

— Ну, что теперь делать? Будьте умным, посоветуйте. Как поступают в таких случаях?

— Радиус — по-русски радиус, — долбил парень, — параллель — по-русски параллель; диагональ — диагональ; перпендикуляр — по-русски перпендикуляр.

У заведующей был озабоченный вид. Она молчала.

— Послушай-ка, паренек, — сказала она, наконец, — я останусь здесь дня два-три и сама помогу тебе выучить.

1934 г.

Время от времени кое-кто из партизан, набившихся в лесную землянку, пытался привлечь к себе ее внимание и окликал:

— Жанна, а, Жанна!

Но Жанна была погружена в созерцание летчика Бирюкова, только что прилетевшего сюда в первый раз с Большой земли, несмотря на жестокий мороз: он был самый высокий и широкоплечий из всех, кого она видела на своем веку.

Стукнув кулаком о стол, Бирюков потребовал, чтобы ему принесли кружку «согревательного». Видно было, что, наряду с недюжинной силой, у этого человека довольно бурный темперамент.

Но и его Жанна покорила, можно сказать, первым же взглядом своих черных, как уголь, круглых глаз. Поймав на себе этот взгляд, Бирюков примолк и сидел неподвижно, как статуя. Он был удивлен: «И откуда такая сила в человеческих глазах?»

Надо сказать, что все остальное, составлявшее Жанну, — в том числе ее руки и ноги, — производило впечатление слабости, даже беспомощности. Но такое впечатление у Бирюкова создалось потому, что Жанне, которую он сейчас в первый раз увидел на руках у ее матери, партизанки, было ровно два года и пять месяцев.

Как человек горячий и необузданный, Бирюков не выносил ничего, насильственно ему навязанного, хотя бы это был только взгляд.

— Ты чего? — нахмурился он, пробуя пугнуть Жанну. Но это не подействовало. Подняв кудрявую головку, Жанна важно, как королева, восседала на руках матери и попрежнему не сводила глаз с гостя. Она даже не моргнула, и в ее круглых черных глазах светилось все такое же жадное любопытство.

— Ты на меня лучше не гляди! — сказал Бирюков басом. — Я дядя сердитый! Ох, сердитый!

Но на это грозное предупреждение Жанна неожиданно ответила каким-то неопределенным радостным звуком и слабым подобием улыбки, чуть тронувшей черты ее смуглого, гладкого, как атлас, личика. И эта улыбка говорила, что Жанна, уже не раз видевшая на партизанской базе и раненых и убитых, все же не верит, что на свете есть злые «дяди». Бывает, иной из них и делает сердитое лицо, прикидываясь злым, но это только забавляет, — это очень смешно!

— Зачем вы держите здесь девчонку? — спросил Бирюков, на этот раз уже и в самом деле сердито.

— Ну, как зачем?

Ему рассказали, что Жанна вместе с отрядом выдержала уже не один жаркий бой. Года два тому назад ее мать, энергичная молодая еврейка, спаслась в лес к партизанам с дочкой, тогда пятимесячной крошкой. Кто же решился бы тогда сказать ей: «Уходи»? Или потом, когда приходилось с боями перебираться с одного места на другое? Ведь не скажешь же матери: «Брось свое дитя!» А женщина эта стала настоящей партизанкой, полезным членом отряда. Научилась недурно стрелять, умело проводила политическую работу в отряде. Так-то... Да и к девочке все в отряде привязались... Здесь уже стало обычаем перед опасной вылазкой приходиться к Жанне: «Ну, Жанна, давай руку на счастье, а мы за тебя постоим». И Жанна милостиво протягивала ручонку. А раз, когда меняли стоянку, пришлось укрыть девчонку в яме и, обороняя ее, принять бой с немцами... Ох, и дрались же все в тот раз!

Дождь лил без передышки, под ногами хлюпала грязь. Путь в несколько километров, который нужно было пройти от пригородной станции под Москвой до детского дома, куда я направлялся, показался бы мне гораздо длиннее и труднее, если бы рядом со мной не шагал летчик Бирюков — светловолосый великан с широкими плечами и душой нараспашку. Он из тех русских людей, которые, если им кто пришелся по сердцу, сразу же начинают обращаться с ним, как со старым другом, переходят на «ты», а если едешь с ними в одном купе, делятся с тобой провизией и рассказывают случаи из своей жизни. Если откажешься выпить с ним, он отставляет в сторону стакан. И куда бы он ни отправлялся, он зовет тебя собой.

По дороге в детдом Бирюков рассказывал мне, как

трудно было ему увезти Жанну из партизанского отряда. По правде говоря, партизанам не очень-то хотелось ее отпускать, — не только партизанам, но даже матери! Что ж, ее чувство в этом случае легко понять... Неглупая женщина и энергичная такая, — из тех, что с пионерского возраста росли в атмосфере, созданной партией. Тревожные тени то и дело пробегают по ее молодому миловидному лицу, и лоб всегда наморщен, словно она беспокоится, не упустила ли она что из своих многочисленных обязанностей в отряде. Муж ее, — не то актер, не то режиссер колхозной труппы, — по всей видимости погиб в Белоруссии. О родителях, оставшихся в Витебске, говорить не приходится. Оставалась у нее только где-то в эвакуации свекровь, дряхлая старуха, — как ее разыщешь? Конечно, матери хотелось отправить дочку на Большую землю, где она будет в безопасности. Но к кому же ее отразить, спрашивала она, и как расстаться с нею? Она было ухватилась за предлог: на выезд из занятой врагом местности на Большую землю требуется разрешение соответствующих органов. — «Да ладно! — возразил ей на это Бирюков, — повезу и так- авось не выщут!» — Нет, на это она не соглашалась.

Наконец в свой второй рейс к партизанам Бирюков привез разрешение. Кажется, что ей еще? Так нет, задала: к кому отправить девочку? «Ясно, к кому, — убеждает ее Бирюков, — к бабушке, к отцовой матери».

Какая там бабушка, когда неизвестно, куда ее эвакуировали! Знает это разве только старухина племянница, работающая в какой-то московской аптеке... Племянница в Москве? Чего же лучше! От нее Бирюков обещал узнать адрес и доставить Жанну бабушке в собственные руки. Он дал честное слово, что разыщет старуху во что бы то ни стало, и сдержал обещание. У него лежал в кармане пропуск для старухи в Москву, извещение о высылке ей денег на проезд и письмо из детдома, в который мы шли, с предложением бабушке притти на свидание с внучкой. Как только мы вошли в детдом, он показал мне все эти бумаги: они были возвращены ему по почте из Бузулука с припиской, из которой явствовало, что... у Жанны больше нет бабушки.

Бирюков показал мне еще один документ: письмо матери Жанны, которое должно служить справкой о происхождении девочки, — своего рода метрика, которая начиналась словами:

«Тех, в чьи руки попадет моя дочь, прошу не забывать, что она дочь партизанки».

— Кому же оно писано, это письмо? — любопытствовал я.

— Кому писано? — Бирюков, усмехаясь, положил письмо в верхний карман куртки и заботливо застегнул пуговицу.

— Должно быть, тому, у кого оно находится.

В детдоме только что зажглись огни, хотя было еще рано.

В большой комнате, куда нас ввели, пол был покрыт хорошо навоощенным красноватым линолеумом. За низенькими столиками сидело десятка полтора детишек, прилежно занимавшихся едой. Мы остановились у дверей.

— Вот она! — Бирюков указал мне глазами на одни из дальних столиков, где под наблюдением зевавшей няни трое детей ели из блюдец кисель. Видимо, это были самые младшие. /

Спиной к нам на низенькой табуретке сидела миниатюрная, но крепкая на вид девочка с тонкой шейкой. Несмотря на то, что она была коротко острижена, ее волосы, черные и блестящие, уже начинали виться.

— Жанна! — позвал Бирюков. Он выжидательно смотрел на нее, полуоткрыв от нетерпения рот. Она сперва не расслышала и спокойно продолжала есть. При втором оклике она быстро повернула голову в нашу сторону, но осталась довольно равнодушной, готовой снова приняться за кисель. У нее и в самом деле были совершенно круглые глаза, и такие черные, что казалось, — если до них дотронуться, на пальце останется след.

— Не узнает! — дрогнувшим голосом промолвил Бирюков. Я посмотрел на него. Лицо его сразу потемнело, как будто человек увидел занесенную над ним для удара руку. Он застыл в позе недоуменного ожидания.

— Жанна! — повторил он настойчиво, почти гневно. — Жанна!

Девочка всмотрелась в него уже внимательно. Казалось, глаза ее первые узнали Бирюкова: в них заблестели огоньки живого интереса, они все более разгорались. Глаза заулыбались, улыбка осветила смуглое личико, и у Жанны вырвался глубокий, грудной, радостный вопль:

— Дядя!

Сидя у Бирюкова на коленях, она с какой-то своеобразной грацией приняла от него принесенную плитку шоколада.

— • Сейчас увидите, как разумно эта крошка будет его есть! — шепнул мне Бирюков. И в самом деле, Жанна ела «с толком». Откусив кусочек, она не торопилась разжевать его и держала его во рту, медленно закатывая от удовольствия глаза. Ясно было, что она основательно исследует новое ощущение.

— Знаете, — сказал я Бирюкову, когда мы шли из детдома к станции, — я заметил, что вы даже переменились в лице, когда Жанна вас не сразу узнала.

— Ясно, — медленно ответил он, останавливаясь посреди лужи, через которую мы перебирались, — нужно, чтобы у нее был хоть один человек свой, кого она узнает. Это очень важно!

И, посмотрев на меня сурово, закончил:

— Ведь мать-то погибла!

Мы шлепали в темноте по грязи, ежась от резкого холода. Дождь лил еще сильнее, чем днем, и путь до станции показался бы мне, вероятно, очень долгим, если бы не было со мной этого сильного, широкоплечего русского парня. В ушах моих звучали слова: «Это очень важно».

1943 г.

В УЩЕЛЬЕ

I

Постепенно они теряли друг друга в лабиринте; Кавказских гор. Те из них, которые отставали поодиночке или маленькими группами, больше уже не возвращались.

А вокруг, сползая с гор, все таял и таял снег. Со всех в'исот, ближних и дальних, отовсюду стекали сотни и тысячи ручьев и ручейков. Потоки воды, сбегая вниз, становились прозрачнее, шумели, рокотали, бодро перекликались, точно торопясь на большой праздник. И все громче, все звонче становился их веселый говор. Казалось, это смеются горы.

• Их было тридцать с лишним матерых вооруженных немцев, когда они оторвались от своей потрепанной, быстро отступавшей дивизии. Сюда, в ущелье, добрались только: шофер Герберт Лимке, редактор прифронтовой газеты Ганс Мессер, обер-ефрейтор Вилли Брейтшейд и... двадцатичетырехлетний горец Годашвили, которого они захватили в последнем ауле евреев-горцев, куда ворвались под вечер.

В первой же сакле они стали избивать хозяина, отказавшегося вывести их из гор. Прикончив его, начали бить его жену, требуя от нее того же. Тогда-то, Внезапно и бесшумно, появился в сакле этот юноша в черкеске. Его стройный стан был до того тонок, что, казалось, его можно обхватить пальцами одной руки.

— Пойдемте! — жестом показал он, — я выведу вас.

Когда выходили на улицу, немцы заметили, что он чуть прихрамывает. В вечерней темноте он натолкнулся на старушку в черной,шали.

— Манана! — позвал он ее и взял ее руку, чтобы проститься. И, раньше чем немцы окрикнули его, он успел шепнуть ей что-то на ухо.

Он водил их всю ночь. По извилистым краям пропастей, то узких, то широких, вызывавших у путников не-

вольную дрожь в ногах, он все шел и шел впереди такой уверенной походкой, словно не на него было направлено дуло автомата.

На рассвете, в глубоком ущелье, он начал вдруг приглядываться к местности, точно пере'стал ее узнавать.

В зеленоватом отливе его матово-смуглых щек, побледневших от бессонной ночи, было что-то от колорита окружающих мест. Темный пушок на верхней губе напоминал бархат поросших мхом скал. На вид изнеженный и хилый, настоящий «маменькин сынок», он, однако, производил впечатление человека, в котором много упорства и внутренней силы.

С неожиданной решимостью он уселся на камень.

Как ни пытались немцы внушить ему что-то. угрожающими жестами, его взгляд из-под сердито нахмуренных бровей оставался все так же неподвижен. Не спуская с него глаз, немцы начали советоваться между собою. Усиленной жестикуляцией они добились, наконец, того, что он понял их приказ.

— Веди дальше!

Тут неожиданно и сурово, чуть не как команда, прозвучал его ГОЛОС:

— Нет! Стоп!

Тогда они обыскали его еще раз. Из-за пазухи вытащили тетрадку с аккуратными записями студента третьего курса исторического факультета.

Уже по тому, что он носил эту тетрадку с собою, было видно, как она ему дорога. На первой странице было записано латинским шрифтом:

Grote. History of Greece,
Niebuhr. Romische Geschichte.

В той же тетрадке немцы нашли цитату на немецком языке.-'

«На Корсике и в Сардинии римляне охотились за людьми. Они пользовались охотничьими собаками, чтобы вылавливать туземцев, и продавали их затем на невольничьих рынках» (Моммзен).

Значит, он скрывал, что . понимает по-немецки! Все время следя за его движениями, немцы снова начали советоваться, как с ним поступить. А он как будто и не замечал этого. Подперев обеими руками коротко остриженную голову, лежал он неподалеку, ничком, в траве. Его сросшиеся угольно-черные брови были сурово сдвинуты, из-под них раскосые миндалевидные глаза глядели неотступно вверх, на вершины скал. Казалось, он

ждет оттуда какого-то знака. Не подсказывало ли ему чутье, что тут, рядом, решается его судьба?

Жуя маленькими дозами еду из того скудного запаса, который каждый из них захватил, немцы то и дело поглядывали на юношу, проверяя, как это на него действует — ведь у него не было с собой ни крошки. Но первым делом им надо было установить, кто он такой: сын ли убитого ими еврея-горца или, быть может, просто его сосед и даже не еврей? Потихоньку они сговаривались между собою, как поступить с ним.

Вот он медленно приподнялся и сел. Между зеленоватых замшелых камней, тут же рядом, весело журча, бежали мимо ручейки. Жидким хрусталем стекали они сюда из пенистых водопадов и искрились тысячами алмазных брызг в лучах юного солнечного дня. Медленно погрузил он в воду руку и, снова подняв ее, гневными глазами следил за падающими с пальцев каплями, — столь дорогими ему, жителю этих гор, и столь чуждыми им, немцам.

К концу дня один из немцев подошел к нему с направленным на него автоматом и жестко приказал встать и идти. Он подумал и встал. В зеленом отсвете его смуглых щек почудилась затаенная улыбка.

Впереди него шли два немца, а третий — сзади, с автоматом в руках.

Всю вторую ночь они то спускались, то карабкались вверх*по горным тропам у самого края глубоких пропастей, а на рассвете снова очутились у вчерашнего ущелья.

С гневными гортанными выкриками и свирепыми жестами они допрашивали студента:

— Почему так вышло?

С запекшимися после полутора бессонных суток, напоминавшими цветом сухие миндалины, губами он молча стоял перед ними. Разорвать его на куски значило уничтожить последнюю надежду на спасение. С тетрадкой в руках на него наступал один из немцев:

— Ты ведь понимаешь по-немецки — вот! Почему же ты не отвечаешь? Говори!

Сильный толчок, которым он вдруг отпихнул от себя немца, был совершенно неожидан и мог означать только одно:

— Вы мне противны, и ваш язык тоже! Не буду я на нем разговаривать!

Жестами он объяснил немцам, что он красноармеец.

— Ранен в ногу. Вот! Дрался с такими, как вы... Я представляю одну сторону, вы — другую. Без меня вы

отсюда не выйдете, а я вас выводить не буду. Вас трое, я — один. Игра окончена. Я предлагаю вам прикончить меня здесь, сейчас, если у вас хватит на это духу. Ну?

Почти с насмешкой он наблюдал за немцами. Каждого из них обуревало неудержимое желание броситься на него, но они силой удерживали друг друга от этого.

Ему не позволили напиться и начали его стеречь, чтобы он, мучимый жаждой, не воспользовался изобилием окружавших его источников.

И вновь им почудилась затаенная улыбка в зеленоватом отсвете его щек.

Лишь теперь немцы разглядели окружавшее их глубокое ущелье. На этот раз оно показалось им еще неприступнее и опаснее. Каждый шаг они делали осторожно, нехотя, с тем внутренним содроганием, с каким ступал бы ногой человек в свежевырытую могилу.

Сквозь шум горных вод к ним доносились временами отраженные где-то и многократно повторенные глухие взрывы, и, как вчера, нельзя было понять, бушует ли это гроза за горами или грохочут где-то пушки. Веселый гул текущих вниз горных потоков все сильнее и сильнее действовал на взвинченные нервы немцев. В причудливой игре утреннего света на ближних и дальних вершинах снеговых гор чудилось им торжество, насмешка над их бедой. В нагромождении окружавших их скал они видели только выросшую перед ними помеху, созданную для того, чтобы они отчетливее почувствовали свое бессилие перед этим молодым голодным горцем, к истязанию которого они решили приступить.

II

Насчет того, следует ли начать его истязание немедленно, — немцы расходились. Их мнения вообще все чаще и чаще расходились. Как только исчезла необходимость подчиняться кому-то старшему, каждый начал обнаруживать свои личные особенности и характерные черты того круга, к которому он принадлежал у себя на родине. Долговязый шофер Герберт Лимке, обросший щетиной, казался еще рыжее, чем был на самом деле. В его маленьких глазках таилась хитрая улыбочка, свойственная немецкому крестьянину, который ведет обособленное хозяйство и терпеть не может, чтобы кто-нибудь вмешивался в его дела и заглядывал в его горшок. Своими мыслями о спасении или гибели он ни с кем не делился. Внезапно остальные два немца заметили, что он пытается

ся обеспечить свой автомат лишним запасом пуль, когда на троих их уже оставалось немного,

— Но, но! — покрикивал на него в таких случаях обер-ефрейтор Вилли Брейтшейд.

И в этих окриках все чаще и чаще давало себя знать своеволие его отца, хозяина небольшой лейпцигской фабрики, уверенного в том, что он выпускает самые лучшие клинки, хотя его покупатели ничем этого не заслужили.

Словно говоря себе самому: «спешить уже незачем», почти как посторонний, следил за обоими флегматичный тридцативосьмилетний Тане Мессер — шваб, с редкими, темными волосами, с широким и злым лицом бабы-яги. Он отличался от молодых пруссаков, Лимке и Брейтшейда, не только внешним видом. Полужурналист, полубездельник, типичный лентяй, он рано и навсегда оторвался от своих родителей — хозяев небольшой табачной лавчонки в Баварии, которые мечтали из него сделать пастора. Когда и каким образом он стал неопытным старым холостяком — он не помнит. В годы «Веймарской республики» он, неудавшийся богослов, проводил дни и вечера в двух-трех берлинских кафе. Собиравшиеся там шумные остряки и пылкие спорщики, знакомые журналисты из различных демократических стран, бывало, ссужали его несколькими марками, необходимыми для расплаты в кафе. Он сидел среди них сонный, с неизменной, усмешкой, точно постоянно собирался сказать:

— Я начитан и осведомлен не меньше вашего, но зачем мне тратить энергию на споры с вами?

Ему лень было ругать газеты и журналы за то, что его так редко печатают, и выражать недовольство всеми тогдашними порядками, — недовольство, унаследованное от отца. Полусонным наблюдателем был он в те годы, вот и все. Разбудил его фашистский переворот. Высказанное им в печати пожелание, чтобы бисмарковский принцип «железом и кровью» был обновлен, усилен и применен ко всему миру, открыло ему дорогу — после этого его охотно начали печатать во многих газетах и журналах. «Нацизм требует от тебя лишь одного, — чтобы ты согласился с основным его принципом, дальше ты уже сам пойдешь за ним шаг за шагом» — кто это писал?

Ганс Мессер не может вспомнить. Быть может, он сам это написал когда-то как вывод из собственной практики? Шел за ними на поводу: уничтожать народы? — Да, уничтожать. Тотальная война? — Да, тотальная война. Оглядываться не было времени..

Но вот они, три немца, заперты здесь, в Кавказских горах. Война пошла не так, как ожидали. Он, Ганс Мессер, один из тех, кто это сознает. Он, Лимке и Брейтшейд оказались во власти. Вот этого молчаливого, спокойного кавказского юноши.

Юношу можно, конечно, раз-два и — прикончить. Но что пользы?

Они ушли от судьбы, ожидающей их потрепанную, Отступающую дивизию, значит, каждый из них здесь подчинен лишь самому себе.

— Nichts zu machen!¹ — махнул рукой Ганс Мессер.

Вместе с его дофашистской апатией к нему вернулась и способность самостоятельных суждений, и страдал он от этой «бесполезной продукции», как от давней боли, вернувшейся, когда он о ней уже успел прочно позабыть.

— Zum Teufel!² — ворчал он, брезгливо кривя лицо, — к чорту!

Все время, когда он не спал, он занимался наблюдением за окружающим. По его представлениям, здесь, в узком замкнутом ущелье, повторялось все то, что в широком мире происходило теперь в невиданных масштабах. Он, Брейтшейд и Лимке, установители немецкого господства по принципу «железом и кровью», должны во что бы то ни стало сломить волю кавказского юноши-большевика и выйти отсюда. Он, Ганс Мессер, хочет остаться в живых, и он, Ганс Мессер — всё. Ничего более важного под небом нет. Он видит, что Брейтшейд и Лимке хотят немедленно приняться за истязание юноши. Они не более, как автоматы, и никогда ничем иным не будут. Вилли Брейтшейд прекрасно владеет одним приемом: от одного удара, который он наносит кулаком прямо в лицо, кровь начинает литься одновременно изо рта, носа и из обеих ушей, и жертва падает без памяти. Специализировался он на этом еще в те годы, когда состоял членом «союза гитлеровской молодежи». Тогда он тренировался в этом приеме на лицах одиноких рабочих, которых, бывало, нарочно подстерегал по вечерам в узких закоулках города Лейпцига. С этого он и сейчас хочет начать. Он уже сжимает кулак. Ганс Мессер вынужден Прикрикнуть на него:

— В голове у тебя ливер, а не мозги!

Здесь, в ущелье, в этом уголке мира, Мессеру приходится брать на себя все функции «мыслящего аппарата».

¹ Ничего не поделаешь (нем.).

² К чорту! (нем.).

Он, тридцативосьмилетний Ганс, успел еще до нацистского переворота кое-что самостоятельно продумать.

— Дадим ему хорошенько поголодать и помучиться, от жажды, — настаивает Ганс Мессер, — тогда он немного размякнет.

Ганс Мессер согласен, чтобы немедленно приступили к допросу горца, но пока что «всухую». Не следует забывать: его надо сохранить в таком состоянии, чтобы он был способен вывести их отсюда.

В самом чистом ключе зачерпнул он полную кружку воды и вместе с Брейтшейдом и Лимке подошел к молодому проводнику. Тот продолжал молча сидеть на камне и не торопился принять протянутую кружку. Не началось ли это, что его интересует прежде всего, чего от него за это потребуют?

Словами и жестами немцы дали ему понять, что за это он должен признаться лишь в одном:

— Что он в ауле при выходе из сакли сказал старушке в черном платке?

Нетерпеливо и с беспокойством Вглядывались в него все трое. Неоднократно повторяли вопрос, но горец не спешил с ответом. На секунду с его лица сошло выражение гневного напряжения. Он поднял на немцев свои удлиненные глаза — темносерые, немного грустные, усталые, но все же горящие. Его зрачки, казалось, стремились укрыть под темными веками пылавший в них огонь.

Пересохшие губы дрогнули и все же не раскрылись. Припомнилось ему, как всхлипнула старушка в черной шали, когда услышала его короткие прощальные слова: «Манана! Помни... здесь остается мама». Вспомнил он об этом и... нестерпимой стала боль при мысли о матери.

— Ага!.. Молчит!

К нему рванулся Вилли Брейтшейд:

— Почему ты так тихо говорил со старухой?

Студент Годашвили подумал: «Еще бы... Когда при таких обстоятельствах произносишь слово «мама», — кричать не станешь. Но могут ли такие это понять?..»

Сколько раз ему ни приходилось сталкиваться с «такими» на фронте, как близко он «их» там ни наблюдал, никогда еще так сильно не доходила до его сознания их подлость. Его глаза, обращенные на стоявших перед ним немцев, засверкали гневом. Он привстал. Герберт Лимке не успел шепнуть: «Вилли, готовь кулак!», как горец коленом раненой ноги ударил Брейтшейда в живот и свалил его с ног.

— Стойте! — предупреждающе вскрикнул Ганс Мессер и распростер руки, чтобы не допустить товарищей к горцу.

Немного раньше, когда он с полной до краев кружкой стоял против юноши и вглядывался в его лицо, он под тенями усталости вдруг заметил что-то такое, что зародило в нем надежду: парня можно сломить. Мы его заставим согласиться вывести нас на дорогу, но нужно хорошенько взглядеться в эти глаза, определить, что такое таится в них.

— Постой, постой, — шептал он, не опуская распростертых рук.

Но Брейтшейд, как автомат, уже успел подскочить и размахнуться сжатым кулаком. Из-за плеча Мессера он нанес удар, и юноша упал без памяти с окровавленным лицом.

Ганс Мессер долго и сердито пилил потом Брейтшейда.

— Эх, ты, тупая башка! Такому не дают того, что он хочет, даже — удара... Понял?

И весь остальной день он ломал себе голову: что это такое мелькнуло в глазах кавказца и породило в нем надежду, что его удастся сломить?

III

Очнувшись от беспамятства, Годашвили не торопился открыть глаза. Вернуться к жизни, которая допускает существование вот этих немцев, было не менее тяжело, чем помириться с мыслью об уходе из этой жизни.

Не мало есть молодых людей, которые гордятся своими отцами. И каждому из них представляется, что именно ему выпало счастье иметь лучшего из отцов. Годашвили знал много таких юношей. И все же это нисколько не уменьшало его уверенности в том, что именно его отец — этот опытнейший садовод в ауле — и есть самый почтенный и самый милый: другого такого отца нет не только в их ауле — во всем мире!

Его отец был еще немного религиозен, строг и сдержан даже при проявлении самых теплых отцовских чувств. Бороду он не брил, а подстригал — черная, жесткая, колючая борода, и все же в детстве было большим удовольствием потереться о нее щекой. Прикоснешься к ней, и тебя наполнит такое чувство, будто ты прикоснулся к чему-то постоянному, незыблемому, чуть-ли не ко всему тому, ради чего на свете живут люди. Сыну, приехавшему на побывку с фронта и застрявшему дома, он

приказал уйти из сакли, как только немцы ворвались в аул. Он буквально выгнал его:

«Скорее! Я, отец, требую от тебя этого. По твоей раненой ноге они узнают, что ты пришел с фронта».

В первый день войны он написал сыну:

«И было это, когда за столами, полными яств, сидели сыновья и дочери, и с трех сторон напал враг. Так придумано было в старину лишь для того, чтобы описать этим великое горе Иова, а свершилось оно теперь».

Это письмо пришло к студенту Годашвили в Москву, в институт, где он учился. Там, среди студентов, было не мало таких же, как он — каждый из них был уверен, что именно его несколько ближайших товарищей по институту самые умные и самые лучшие из всех студентов. И он считал, что самые лучшие, самые милые во всем институте трое его ближайших друзей: высоченный Гусев (когда он шагал по тротуару своим обычным шагом, его подружка еле догоняла его на велосипеде), остряк Костя и уже немолодой сын колхозника, акробат Аксентьев, приехавший в город изучать историю.

Вместе с ними Годашвили в первые же дни войны ушел на фронт. И там они все четверо держались вместе,—их воодушевляла общая любовь к родине и ненависть к врагу. Они заражали этим многих во время самых ожесточенных боев. Их группа разрасталась. И так как двое из них носили имя «Лев», то командир части шутя называл всю их группу «львы».

Постепенно они потеряли друг друга в боях.

И все нарастала тоска по дому, по прежней жизни. Но каждый раз новая волна ненависти к врагу разгоняла эту тоску.

От многого и многого отрезвили его эти одиннадцать месяцев непрерывных боев.

С орденом на груди и с недоленной раной его отпустили на побывку к родителям, но уже трудно тогда было добраться к ним в горы. Не успел он прибыть туда, как немцы начали наступление на Кавказ. Вернуться на фронт уже не было возможности. И случилось то, что случилось: трое отступавших немцев ворзались в отцовскую саклю. Со зверской жестокостью они буквально за несколько минут уничтожили, растоптали все, что Годашвили с детства привязывало к жизни.

И они же еще требовали, чтобы он вывел их из улья, куда он завел для того, чтобы погибнуть вместе с ними! И они рассчитывали добиться этого от него! От них смердит преступностью, как от гиены падалью.

На фронте ему приходилось смотреть таким в глаза. Он немного знал немецкий язык, и ему часто поручали допрашивать пленных. И всегда он делал это с чувством гадливости и уходил потом, убежденный, что с «ними» не может быть другого языка, кроме оружия. Вот он сказал этим трем в ущелье: «Карты открыты! Я — горец. Вот! Три ваших жизни — за мою жизнь». Самый подлый в таких случаях пасует. Но эти все еще не теряют надежды вывернуться если не силой, так низостью. Их подлость, поистине, — пропасть без дна!

Студент вспомнил, что немцы уже не раз спорили между собою, и в душе его мелькала надежда спастись, опять очутиться на фронте и опять отнимать у таких вот жизнь. Он подумал: «Неужели это еще возможно?».

Тонкие золотистые лучи лунного света уже пронизывали вечернюю синеву, когда Годашвили окончательно пришел в себя. Луна стояла над глубоким ущельем, и эти светлые стрелы вонзались в стальной блеск текущей рядом воды и ломаными зигзагами тонули в ее глубине. До его слуха раньше всего дошло непрерывное журчанье студеной воды, и с минуту он вслушивался, прежде чем вспомнил о крови, запекшейся на его лице.

— Довольно! — донесся до него раздраженный крик одного из немцев.

Повременив немного и все еще не зная, относится ли это к нему, он только теперь по-настоящему ощутил боль! в разбитом лице. А к нему рвался Брейтшейд, которого силой удерживал Ганс Мессер.

— Пусти меня к нему! — бесновался Брейтшейд, — Не сломить вот этого?! Целый мир поставили на колени!

Ощущение страдания на мгновение снова притупилось, когда Годашвили услышал эти слова. Он подумал, что один из этого «целого мира» был его убитый отец. И при воспоминании об отце так заныло сердце. Отчетливо всплыл в памяти образ отца, выражение его лица, когда немцы его били, требуя, чтобы он вывел их на дорогу. Он этого не сделал. Они его убили, но на колени не поставили. «Неправда! — думал студент. — И так же весь мир... Они сеют в нем смерть, но на колени перед собою не поставят. Неправда! Неправда!»

Эта мысль успокаивала, подобно тому, как в детства успокаивало прикосновение к отцовской бороде. Не двигаясь с места, где лежал, он стал прислушиваться. О чем это опять спорят между собою немцы? И снова в нем затрепетала какая-то надежда. ,

М

Вилли Брейтшейд готовился уйти ночью и разве-
дать, — нельзя ли без посторонней помощи как-нибудь
выпутаться из лабиринта гор. Он один приступил к ве-
черней трапезе, жалея о каждом проглоченном куске и
ставя Лимке на вид, что тот нарочно сразу сожрал все
свои запасы:

— Рассчитывал поскорее приступить к запасам в мо-
ем рюкзаке? Не так ли?

Лимке с ненавистью поглядел на Брейтшейда и под-
толкнул Ганса локтем:

— Слышишь, слышишь?!

Гансу Мессеру было выгодно не показывать, на чьей
он стороне — пусть раньше выяснится, как Брейтшейд бу-
дет вести себя по отношению к нему, Гансу: мешок Ган-
са тоже опустел — все запасы были съедены.

— А в дороге об охоте даже и не помышляй, — на-
путствовал он Брейтшейда, — одним выстрелом ты, того
и гляди, приведешь сюда партизан или красноармейцев.
Если придется напасть на кого-нибудь, действуй холод-
ным оружием.

Да, все-таки, черт побери, он среди них играет роль
«мыслящего аппарата»! Но вот Брейтшейд в самую по-
следнюю минуту перед уходом плотно завязал свой рюк-
зак и с подчеркнутой торжественностью отнес его в сто-
рону — ясный намек на то, что никто не смеет прикос-
нуться к его еде. Ганс Мессер решил, что пока не сле-
дует рассказывать ему о том, что он заметил в глазах
молодого заложника и что возбудило в нем какую-то
надежду. Если он до чего-нибудь додумается, то это бу-
дет только его, Ганса, достоянием, точно так же, как
еда в мешке Брейтшейда — достояние только Брейтшей-
да. После ухода Брейтшейда он с раздражением унимал
ворчавшего Лимке:

— Заткни глотку!

- Затем оба немца, точно ничего не случилось, приня-
лись по очереди стеречь юношу, чтобы он не удрал и не
напился воды. Оба делали это серьезно, добросовестно,
точно стерегли они здесь -все то, ради чего они за тыся-
чи миль пришли сюда, В горы.

С озлобленным видом сидел Ганс Мессер на камне и
повторял сквозь стиснутые зубы: «Zum Teufel!»

Его раздражали голод, опасность их положения и да-
же причудливое вечернее освещение в этом проклятом
ущелье, из которого нет выхода. Луна, чорт бы ее по-

брал, освещает горы так, будто в мире давно уже нет ни войны, ни немцев, ни их мирового господства! Сидишь, вот, здесь, глазеешь, думаешь и все без пользы.

«Глаза служат настоящему арийцу, — вспоминает он из какой-то книги или лекции, — лишь для того, чтобы ими глядеть, подобно тому, как уши служат лишь для того, чтобы ими слушать, тогда как у представителей низших рас все чувства Выпирают из глаз, и они стоят перед тобою, как голые, все их самые интимные переживания наружу. Пример — глаза евреев».

Все эти мысли возвращали его к выражению глаз, которые он подметил давеча у горца. Почему оно породило надежду, что этот мальчик согласится-таки вывести их отсюда? Нечто подобное Ганс Мессер заметил когда-то во взгляде одного иностранного журналиста в том самом кафе, где в годы «Веймарской республики» он, бывало, лениво коротал дни и вечера. Тот был еврей — остроумный, небольшого роста, очень известный и очень деловой человек.

«Вы, я вижу, тоже стали завсегдатаем этого кафе, — сказал ему как-то вечером Ганс Мессер, — сегодня с самого утра вы сидите один здесь в углу, на диване. Что вы здесь делаете?»

«Что я здесь делаю? — журналист с минуту глядел на него. — Понимаете ли, господин Мессер, пять марок на шницель вы вчера заняли у меня. Вот я и сижу здесь: мне интересно знать, у кого вы возьмете их сегодня?»

Он вынул бумажник и раскрыл его перед Гансом.

«Сколько вам, господин Мессер, нужно для того, чтобы всю нынешнюю ночь быть счастливым? Берите, пожалуйста, и не обижайтесь на меня. У меня дома, знаете ли, большое семейное горе: моя единственная дочь... Очень, очень хорошая дочка была у меня...» — и в его глазах что-то зажглось, сильнее, чем боль, больше, чем страдание, — то, чего в глазах гитлеровцев никогда не увидишь...

И вдруг Ганс Мессер понял, что было в глазах молодого горца. В них светилось чувство, которого нет ни у Брейтшейда, ни у Лимке, ни у него, Ганса, и ни у кого из тех миллионов немцев, которым дорога «третья империя», — в задумчивом его взгляде сквозит любовь к людям, сострадание. Это и может спасти его, Ганса. Никаких других возможностей спасения не предвидится, и эта возможность является его, Ганса, находкой, потому что он открыл ее в глазах юноши.

Сменив Лимке, который сейчас же уснул, Ганс на

этот раз не стоял уже возле горца с револьвером наготове — пусть у паренька создается впечатление, что Ганс менее суров и груб, чем остальные.

Прошло больше часа, а он все сидел здесь на своем камне и все впивался взглядом в глаза горца. Изредка он нарочно прохаживался мимо, чтобы иметь Возможность лишний раз заглянуть ему в глаза. — не погасли ли в них эти задумчивые огоньки, давшие ему, Гансу, надежду на спасение? Нет, не погасли!

Медленно тянулась ночь. Луна продолжала заливать светом ущелье с такой щедростью, будто светила в первый раз и будто мир не существовал до сегодняшнего дня. Сине-желтое сияние лилось на затемненные скалы, — большие и маленькие, отражаясь от них, как от многогранных кристаллов, и от этого Ганса начинало неужелижно клонить ко сну, — все сильнее, как от большой дозы снотворного. На одно лишь мгновение он позволил себе закрыть глаза.

Открыв их, он торопливо нащупал камень, с которого соскользнул во сне.

Желто-синие дымки спустились ниже, и в их свете, подобном рассеянному свету многогранного кристалла, он увидел, как молодой горец, отползавший от журчащего рядом источника, заметив его, Ганса, порывисто приподнялся на обеих руках. Все пропало — он напился воды! Оба на секунду застыли на месте, — юноша, приподнявшийся на вытянутых руках, и немец с направленным на него револьвером.

— На место... назад, туда! — приказал немец жестом, которым приказывают собаке.

Спрятав револьвер, он очень медленно приблизился к юноше и, нагнувшись, заложив руки за спину, поглядел на него, как человек, решившийся рассказать о ловкой тайной проделке.

— Я видел... Ты напился! — сочувственно подмигнул он, — своим не скажу, будь спокоен.

Да! Ему, Гансу, смекалки не занимать! «На Корсике, — записал этот паренек в тетрадке, — римляне занимались охотой на туземцев». Уж, верно, записывал он это с чувством сострадания к туземцам, которых римляне вылавливали и продавали на невольничьих рынках.

Быть может, пареньку этому неизвестно, что у древних римлян сочувствие еще являлось фактором человеческих взаимоотношений. Но он, Ганс Мессер, это знает. Римлянин мог сказать своему рабу: «Будешь мне хорошо служить, так я освобожу тебя когда-нибудь». А это

означает: относись ко мне по-человечески, и я тебе отвечу тем же. Но немцы «третьей империи» так поступать не могут. Да и не только немцы «третьей империи». Ганс Мессер помнил, как он однажды, еще школьником, проходя по городской площади с отцом, бросил в протянутую шапку слепого грош и тут же получил от отца звонкую пощечину и приказ: «Сию же минуту вынь монету обратно из шапки!» Ганс Мессер протяжно зевнул, вспоминая, как он вынул тогда этот грош из шапки слепца.

«Да, так оно было, так оно и есть».

Он разбудил Лимке, передал ему охрану пленника и лег спать с сильным желанием хоть час-другой не видеть этого причудливого света, заливающего проклятое ущелье, и не ощущать постоянного, ноющего голода.

V,

Опять Лимке стоял на часах в ущелье и стерег молодого горца по всем правилам военной службы. Разговаривать в таких случаях запрещено, а рыжий Лимке не из тех, кто станет нарушать установленный порядок. Другое дело размышлять, — это дозволяется. «Еще немного времени, и этот гад будет здесь валяться вверх тормашками».

Думает ли о чем-нибудь пленник, — это Лимке ни в какой мере не интересовало. Кто хозяин, тот и думает. Так, по понятиям Лимке, построен мир. С таким мировоззрением Лимке, годиков десять тому назад, прибыл из деревни в город, чтобы поступить на службу шофером. Думал богатый фабрикант, доктор Грецингер, думала жена фабриканта, фрау-доктор, думали ее дети и гости, которых Лимке частенько возил из роскошной виллы В город, а ему, Лимке, полагалось только смотреть, чтобы ценная машина служила хозяевам как следует. О чем они думали? Кто их знает! Лимке этого не знал, да и незачем ему было знать это. Хозяин, доктор Грецингер, был еврей. Лимке это не трогало. Наоборот, быть может, именно потому, что хозяин был еврей, он обходился с Лимке лучше, чем обходятся со своими шоферами настоящие немцы: предоставил ему на своей Вилле отличную квартиру, хорошо обмундировал его, часто совал ему лишнюю пару марок. Хозяин — приземистый, тучный, уже седой, но все еще подвижной, любил иной раз сам вести машину и поболтать с шофером, сидя с ним рядом.

— Перед смертью, — однажды сказал он Лимке, — я

прикажу подать себе полное блюдо зернистой икры и буду пожирать ее столовыми ложками, да, столовыми ложками!

С той поры Лимке приблизительно представлял себе, о чем может думать хозяин.

Все это происходило тогда, когда власть была уже захвачена Гитлером. Знакомые шоферы подмигивали Лимке, кивая на его хозяина-еврея. «Скоро, как видно, придется ему убраться отсюда». Лимке обнаруживал некоторое беспокойство. «Как же будет с моей квартирой?» Ему разъяснили: «Ну, и дурень! Почему ты полагаешь, что квартирка не останется за тобою?» Тогда-то Лимке и осознал по-настоящему, что о Фюрере недаром говорят: «Фюрер — что надо!» Да, это великий человек! Он хозяин — он думает и приказывает, а Лимке слушается и выполняет. Если как раз в тот день, когда велено было избивать евреев на улицах, Лимке отвозил на машине еврея, доктора Грецингера, с семьей на вокзал, да еще при этом сам таскал его чемоданы, то это случилось лишь потому, что Лимке, при всем послушании, в обиду себя не даст. Сердце его чуяло, что от чаевых, которые оставит ему еврей-фабрикант, он получит больше пользы, чем от того, что он избьет каких-то двух-трех незнакомых евреев на улице.

Лимке считал, что будет лучше, если на войну пойдет не он, а другие. Иное дело, когда победа заранее наверняка лежит у тебя в кармане и твое участие в войне может принести тебе только пользу. Не такой Лимке человек, чтобы отказываться от собственной выгоды! ^в

После постоянного многолетнего подчинения всем этим писанным и неписанным «строго воспрещается» у Лимке накопилась сильная потребность разгуляться. Ах, как по сердцу были ему все экзекуции здесь, в чужой стране, где ему, Лимке, все позволено. Другой расстреливал толпы людей у края танкового рва, сохраняя серьезный вид, а рыжий Лимке вталкивал в ров живых людей, ни на секунду не расставаясь со своей привычной улыбочкой, — эта работа была для него забавой.

— Ты — носитель чисто немецкой философии, — однажды подмигнул ему Мессер, похлопывая его по плечу. — Так говорил Ницше: «Падающего толкни».

Ганс Мессер вообще взял себе в привычку подтрунивать над Лимке. В листовках, сброшенных советскими самолетами, предупреждали, что все немцы будут в ответе за свершаемые злодеяния.

— Вот что, Лимке, — попробовал раз Ганс его напу-

гать, — знай, что в глазах каждого, как в фотоаппарате, заключено нечто вроде негатива — все там запечатлевается. Опытные убийцы стараются, чтобы у их жертвы глаза были закрыты в тот момент, когда они ее приканчивают: чтобы оттуда нельзя было получить их изображение. Это тебе не шутка, рыжий дурак, — если русские победят, они смогут увидеть отпечаток твоей рыжей морды в глазах всех тех людей, которых ты здесь прикончил.

— Э, ерунда! — холодно отозвался на это Лимке.

Он, во-первых, не верил, что дело обстоит именно так, как утверждал Ганс Мессер. Во-вторых, тут требовалось найти какую-то связь между вчерашним и завтрашним днем, а это значило, что снова придется столкнуться с вопросом о том, не был ли прав тот Лимке, который говорил себе: на войну пусть лучше пойдут другие. Чем больше затягивалась Война, тем меньше Лимке думал о подобных вещах.

Вот и теперь, стоя ночью на дежурстве здесь, в ущелье, он, Лимке, интересовался лишь тем, что попал впросак. С каждым часом его все сильнее мучило от голода. А Брейтшейд, грязная свинья, заслужил, чтобы ему всадили пулю... запрятал всю еду в своем рюкзаке... А Ганс Мессер, чорт его дери, притворяется, что это ему нипочем. Он же, Лимке... разве он еще долго сможет продержаться здесь на ногах — при таком голоде?... Кто будет есть, тот и спасется, а кто не будет есть, тот останется здесь валяться падалью рядом с вот этим.

С каждым часом он, Лимке, будет слабеть. Сил уже не останется больше даже для того, чтобы подраться с этой свиньей, Брейтшейдом, — вот в чем дело. Ганс Мессер не дал ему вчера набить морду этому Брейтшейду, а к утру, когда Брейтшейд вернется, он, Лимке, еще больше ослабеет. Тут надо спешить. Гансу, Брейтшейду и ему, Лимке, все равно придется здесь грызться из-за каждого куска. В таком случае нельзя терять ни минуты. Сейчас Брейтшейда нет, но здесь неподалеку лежит на камне его рюкзак, набитый едой, вот он! Черными заплатками кажутся на нем все складки, в которые не проникает свет луны. В этом же лунном свете медными кажутся те места на лице горца, которые не покрыты запекшейся кровью. Он спит. Это хорошо. Как раз только что уснул и Ганс у своего камня.

До камня, где лежит мешок Брейтшейда, не больше двадцати шагов. Лимке их делает. В мешке он нащупывает большие куски сахара и много плиток шоколада.

Вот он вытягивает оттуда несколько кусков сахара и штук пять шоколадных плиток и застывает с драгоценной добычей в руках. Он уже успел снова завязать мешок. Он судорожно вгрызается в одну плитку, и в это же время глаза его блуждают вокруг, высматривая, куда бы укрыть добычу. Самое лучшее спрятать ее где-нибудь неподалеку от горца. Разве придет кому-нибудь в голову, что тот в состоянии сделать что-нибудь подобное?

Лимке выбирает место совсем рядом со спящим, направляется к нему. Он уже у камня. Нагнувшись, он торопливо засовывает под него краденый сахар и шоколад, медленно выпрямляется к тут вдруг замечает, что за ним следят глаза горца. Быстрые, как ртуть, они провозажают каждое его движение. Проснулся он только что или следил за Лимке все время исподтишка? Весь гнев Лимке сразу обращается на юношу. В своей растерянности он невольно крикнул сквозь стиснутые зубы:

— Признавайся, что ты видел?

Но лежащий рядом юноша молча закрывает глаза. Лимке охвачен бешенством.

— Встать!.. Встать, слышишь!

От крика проснулся Ганс Мессер.

— Что тебе взбрело в голову, рыжий чорт! — сердито заворчал он и заставил Лимке оглянуться.

Опоздай он на одно мгновение, — Лимке успел бы отправить на тот свет молодого горца, а с ним и надежду, что ему, Гансу, удастся выбраться отсюда. Отослав Лимке спать и сменив его, он до самого утра ходил мимо пленника, то и дело косился на него и, в конце-концов, поймав на себе его взгляд, подмигнул в сторону Лимке.

— Он бы тебя прикончил... Да, да! Капут! Я видел: он уже нацелился на тебя вот этим...

На мгновение взял его на прицел. Затем опустил ружье и рассмеялся негромким, лукавым смешком.

VI

Как ни был Годашвили удручен и измучен, какими ужасными ни казались ему переживания последних суток, сильнее всего его сейчас раздражали подмигивания и улыбочки немца.

Когда ему стало ясно, что этот немец Ганс, с гримасничающим бабым липом и злыми, тонкими губами, задает здесь тон, он вспылал к нему еще большей ненавистью, чем к остальным, подобно тому как голова

змеи вызывает к себе чувство гадливости в большей мере, чем все ее остальное туловище. Ненависть все время нарастала, и именно она беспрестанно усиливала в нем упрямое желание спастись. Остаться в живых теперь уже имело единственный смысл: пережить немцев.

Еще в сумерки, когда один из них уселся в одиночку с едой и остальных двух не подпускал к своему мешку, Годашвили, при всем его тяжелом состоянии, испытал от этого какое-то неясное чувство удовлетворения.

Осознать это чувство он смог лишь потом, когда на его глазах рыжий немец украл шоколад и сахар из чужого мешка и припрятал краденое тут же рядом, под камнем. Не проснись немец с бабым лицом, рыжий убил бы его, чтобы не оставить свидетеля. Но чего так боится рыжий?.. Почему за него, Годашвили, заступился тот, с бабым лицом?.. И чего он добивается своими подмигиваниями и улыбочками? Над всем этим Годашвили ломал голову б ту ночь, когда мучительный голод не давал ему ни на минуту уснуть. На рассвете — он только что впал в тревожную дремоту — его разбудили возбужденные голоса. Он сразу приподнялся и увидел, что в ущелье вернулся тот, который ударил его по лицу.

— Зря всю ночь проваландался, — гремел он, — и это всё!..

Он раздраженно передразнил Мессера:

— Причем тут компас?.. Какой там компас!.. Всю ночь ходил одной и той же тропой и б одним направлением и вот — вернулся обратно в то же ущелье. Проклятое место!

Но немцу с бабым лицом все это, как видно, доставляло только удовольствие. От голода он весь уже скрючился, лицо его стало чернее земли. Его ослабевшие тонкие ноги с трудом шагнули по направлению к вернувшемуся Брейтшейду.

— Эге, — насмеялся он, негромко посмеиваясь, — Вилли, я вижу, начал верить в чудеса. Хи-хи-хи, и-хи-хи-хи...

— Перестань пищать, как мышь, — сердито наступал на него Вилли Брейтшейд.

Но шваб не унимался:

— Хи-хи-хи, и-хи-хи-хи... Еще больше я бы смеялся, Вилли, если бы я вчера поел так же хорошо, как ты... хи-хи-хи...

Рыжий приподнялся со своего камня и указал рукой на горца:

— Он нас завел сюда. Пусть и выводит, или — прикончить его немедленно.

— Вот как!.. — пожевал губами, косясь на него, шваб. — Послушай-ка ты, Лимке!..

На ослабевших ногах подошел он к рыжему и скривил свое лицо:

— Лимке, молчи!

Подмигнув в сторону Брейтшейда, который направился к своему мешку, он предупреждающе повел пальцем перед самым носом рыжего:

— Слушай, ты, чорт... не поддакивай ему. От того, что русского убьют сейчас, а не позже, у тебя в желудке кошки не перестанут скрести. Понял?

Горец нее это наблюдал со стороны. Все в нем было напряжено, жаждало уцепиться за малейший порожек, отделяющий жизнь от смерти. Но никакого порожка и не было, — разве только немец с бабым лицом, который уже еле держался на ногах и все же имел тайное намерение использовать его, Годашвили? Но в его намерении может скрываться нечто худшее, чем смерть. Именно эта мысль заставила Годашвили напрячь до предела слух, чтобы понять смысл незнакомых слов в снова разгоревшемся споре немцев.

— Кто?! — вопил Вилли Брейтшейд. — Я спрашиваю: кто посмел?!

Указывая обеими руками на свой раскрытый мешок, он с ревом накиннулся на горца:

— Отвечать!

— Идиот! — услышал он голос Мессера и быстро обернулся к нему.

— Кто это сказал?

— Я.

Шваб высокомерно оглядел его.

— Если бы я и Лимке хоть на минуту перестали за ним наблюдать, — он указал на студента, — у него хватило бы ума воспользоваться этим для побега, а не для того, чтобы красть твою еду.

— Кто же, если не он?

Шваб слегка хлопнул себя ослабевшими руками по ляжкам и, наклонив голову, медленно достал изо рта протез — с полдюжины вставных зубов — и два подбросил его на ладони, как бы взвешивая. Так же медленно соскреб запекшуюся пену с одного золотого крючка, с другого, заправил протез обратно в рот и вдруг высунул белый язык:

— На, гляди, — засмеялся он своим тоненьким смеш*

ком, — или, возможно, этого тебе недостаточно, так нт вот, щупай... щупай мой живот!

Этим он, собственно, выдал Лимке. Рыжий пропустил это мимо ушей, наблюдая в стороне, как руки Брейтшейда сжимаются в кулаки.

— Немец украл у немца?! — заревел Брейтшейд.

Рыжий не ждал, пока тот к нему подойдет. Припратавши глаза под коротким, выпуклым лбом и выгнув шею, как бык, собирающийся бодаться, он медленно приближался к молодому обер-ефрейтору. Его правая рука кое-что заготовляла в кармане. Его покрытое пятнами лицо, казалось, состояло сплошь из струпьев. Невозмутимо, как невозмутимо, бывало, он сталкивал в ров людей, чтобы засыпать их живыми, он со своей стороны задал вопрос:

— Немец прячет еду от немцев? Немец умерщвляет немцев голодом, — это ему дозволено?

Чем сильнее разрасталась между немцами ссора, тем спокойнее дышал студент. Отрезвившись от последних следов удрученности, он лишь теперь по-настоящему ощутил, как терзает его голод. Чтобы хоть на минуту забыть об этом, он закрыл глаза и вызвал в своей памяти родную саклю. В его далеком детстве был один знойный день. Отец, возившийся в винограднике, постился. Это был один из тех постов, которые переносят в глубокую иудейскую древность. Во всей семье постился только отец, и все же казалось, что и все вместе с ним постятся — постится сама сакля с маленькой кухонькой и с обеими просторными комнатами. Чем знойнее становился день, тем прохладнее было там, за толстыми стенами, среди старой, наследственной, облупленной мебели. Мать лепила что-то из теста к ужину. А возле нее сидела старая соседка, Манана. Она — коврощица и умеет так славно расхваливать всякое крашеное рядно, что лежит на полу, всякий старый коврики, что висит на стене:

— Какая хорошая ткань. Какой славный узор. Разве теперь так хорошо работают? Дайте вспомнить, где это у нас, на Кавказе, так ткот?

И от всего этого начинало казаться, что каждый дрянней коврики преисполнен чувства собственного достоинства и что в родной сакле действительно так уютно, как нигде больше.

Близкий выстрел заставил Годашвили сразу забыть все, о чем он думал и что переживал минуту назад. Не-

подалеку от него, обливаясь кровью, лежал на траве рыжий Лимке.

— Ты его убил, — с содроганием пробурчал Ганс Мессер, — ты его убил!

— Ja wohl!¹ — прохрипел, пряча револьвер, Вилли Брейтшейд. — По закону военного времени!

— Нет, он требовал, чтобы ты поделился с ним едой. Да, Вилли, он требовал.

— Так попробуй и ты потребовать... Ну, попробуй!..

Их ссора затянулась до позднего вечера. Извергая множество гортанных звуков, они то и дело накидывались друг на друга, угрожая кулаками. Студенту далеко не было ясно, в чем тут дело. Их перебранка доходила до него, как мерзкая отрыжка всего того, с чем они пришли сюда и что творили здесь, в его стране.

Навьюченный мешком и автоматом, обер-ефрейтор Вилли Брейтшейд покинул ущелье после полуночи — ушел, не оглянувшись ни разу на шваба, который все еще чего-то требовал и ворчал ему вслед. В ущелье после захода луны стало темно и тихо.

Горец, ослабевший до того, что ему уже трудно было сгибать и разгибать пальцы, все еще не переставал вслушиваться в тишину. Его лоб и брови были слегка нахмурены, как у больного, когда к нему впервые возвращается сознание, и его хватает только на то, чтобы подумать о себе и о своей болезни. Наконец он, собрав последние силы, стал подползать к близлежащему камню. Передохнув с минуту, он снова сделал над собой усилие. Пригреб к себе из-под камня еду, спрятанную там вчера рыжим Лимке, жадно впился зубами в кусок шоколада и начал жевать, жевать,

VII

На рассвете к студенту приковывал на ослабевших ногах Ганс Мессер и указал в ту сторону, куда ушел Брейтшейд.

— «По закону военного времени», хи-хи-хи!

Непринужденно подсев к горцу, как к своему человеку, он начал таким тоном, словно был лишь посторонним свидетелем всего здесь происшедшего:

— Да, да... Вот лежит наш Лимкё,[^] на окровавленной траве. Ему вдалбливали в голову учение фюрера: «Тебе

¹ Так точно.

дозволено всех обворовывать, грабить и убивать всех, но не немца, — понятно, Лимке?» О! Лимке, можно сказать, усвоил урок основательно. Другое дело, если Лимке издыхает с голоду, а другой немец прячет от него вкусную еду. Хи-хи-хи, хи-хи-хи... Лимке тогда сам становится теоретиком и доводит учение фюрера до логического конца — не так ли?..

Заметив, что студент ни разу на него не взглянул, он с минуту сидел удивленный: что же это такое? Разве он не говорит именно то, что горцу должно быть по душе?

— Брейтшейд, — продолжал он, — пруссак, пруссак... Забрал на рассвете свой рюкзак с едой и ушел в надежде перебраться через горы и догнать своих. Вся его сила в ногах... Был он один из лучших альпинистов Германии, лазил по горам, по горам... А тебя, русс, он перед уходом хотел пристрелить... Хи-хи-хи!..

Горец все еще не поднимал глаз. Подмигивая и улыбаясь, немец фамильярно подтолкнул его локтем.

— Да, да... Хотел пристрелить... Можешь мне повесить.

Лишь теперь Годашвили осознал, что от него чего-то хотят, и поднял голову. Прежде всего он увидел возле себя жестикулирующие руки немца, потом — его бабье лицо, искривленное усмешкой.

— Отстань! — крикнул горец.

То было первое слово, произнесенное им здесь без помощи жестов. Немец встретился с ним взглядом, и его обуял ужас: в глазах студента не было и следа того, на что Ганс Мессер все время надеялся, как на силу, которая спасет его от гибели в ущелье.

Окончательно растерявшись, Мессер хихикнул уже без улыбки. Он чувствовал, что чем-то напортил себе, и, еще не поняв, чем именно, пытался это загладить.

— Хи-хи-хи...

— Отстань! — повторил горец громче и с еще большим раздражением.

Ненавистью были полны его горящие зрачки, ненавистью яростной и безграничной. В них уже не было следа того, что называется состраданием, сочувствием, жалостью. На немца, к его бесконечному ужасу, смотрели глаза, которые ничего, кроме ненависти и презрения, не выражали. «Глаза немца! — с дрожью подумал Ганс Мессер. — Что же теперь будет со мною?»

Горец видел, как рука немца, готовая схватиться за револьвер, лишь шевельнула пальцами.

Сгорбившись, с дрожащими ногами, еле державшими ослабевшее тело, Ганс Мессер отошел от него и сел на камень, опустив руки между колен: «Застрелить русского?.. Да, это еще возможно. Что же дальше?» Человек, насколько Гансу Мессеру известно, может переносить голод дней двадцать, — немного больше... Ну, а потом? Ганса охватывает ужас, когда он представляет себе, что, после того как он застрелит студента, ему придется остаться одному в этом ущелье, чтобы в нем и погибнуть. Медленно, медленно подползет смерть, с каждым днем чуточку ближе... Как это покажется ему, одинокому, здесь, возле трупов Лимке и русского.

Его обуревают страх при мысли о бесконечно длинной, одинокой агонии. Он, понятно, мог бы застрелить раньше горца, потом себя — последнего немца здесь, среди чужих гор... последнего или не последнего, что ему до этого? Все несчастье в том, чорт побери, что этот русский заставляет его, бывшего богослова, опять почувствовать склонность человека поразмыслить перед смертью. Вот как расплачивается с ним русский! Он, Ганс Мессер, вынужден теперь сидеть здесь на камне и размышлять. Не все немцы были вполне уверены, что им удастся завладеть миром, — и все же они шли за остальными. На что же они надеялись в случае проигрыша? Он ведь знает многих таких, он — один из них. «Ведь русские и другие, — так он рассчитывал, — не убийцы, не всех же немцев они уничтожат». Он и теперь еще так думает: мир не без жалости. Многие немцы останутся в живых. И он, Ганс Мессер, так жаждет быть одним из них. Он должен добиваться этого всеми средствами. Он на все пойдет, пока еще есть хоть маленькая надежда. Он подождет. Возможно, что в глазах горца, хоть на одно мгновение, снова вспыхнут задумчивые огоньки, отражение того душевного состояния, на котором он, Ганс Мессер, с самого начала строил все свои надежды... Он подождет... Он подождет...

Держа правую руку так, чтобы в любой момент можно было сразу вытащить револьвер, Ганс Мессер со своего места не переставал настороженно следить за студентом, наблюдать за тем, что целиком принадлежало ему, немцу. До самого утра всеми силами старался он отогнать от себя постоянное ощущение тошноты, мутившее его от долгого голода и бессонницы. Глаза слипались, хотя он и слышал вдруг приближавшиеся шаги. Он делал все, чтобы не впасть в забытие, которое овла-

девало им больше и больше, и в конце-концов все же впал в него.

Когда он очнулся, утреннее солнце попрежнему ярко светило между верхушками гор. Одежда жгла, точно вынутая только что из-под накалившего утюга. Он изумился той большой перемене, которая, как ему показалось, произошла не только здесь, в ущелье, но и во всем мире. Возле него стоял горец и настороженно следил за всеми его движениями, — так же, как он, Ганс, Брейтшейд и Лимке следили раньше за ним.

— Огдай револьвер! — сердито потребовал Годашвили, протягивая руки к шее немца.

Энергия, с которой изголодавшийся горец заставил его отдать оружие, удивила и испугала немца не меньше, чем ненависть в его глазах.

Теперь он в первый раз увидел эти горящие зрачки так близко от себя.

— Встать! — приказал студент.

Заглянув в барабан отнятого заряженного револьвера и заметив, что там недостает всего одного патрона, студент постоял в раздумье. В его памяти снова всплыла родная сакля в тот момент, когда он ее оставил: на полу отец с раной в виске, а из раны сочится длинный, тонкий ручеек крови, тянется до края ковра, и ковер намокает все больше и больше. Все это он словно наяву увидел в пустом отверстии револьверного барабана — такое у него было ощущение.

«Неужели? — думал юноша. — Неужели как раз этой недостающей пулей он его убил?»

И в поднятых глазах юноши немец на миг снова увидел задумчивый огонек.

— Ну, вот! — почти с радостью пробурчал немец. — Знал же я...

— Встать! — сурово приказал студент.

Немец попытался подняться и не мог, — страх и отчаяние исчерпали остатки сил,

— Встать! — услышал он снова.

Он повиновался. Очень медленно, точно парализованный, пытался он приподняться на руках и встать на колени, но тут же свалился на землю,

— Не могу! — пробормотал он, — сам видишь, — не могу...

— Не можешь?

Горец подумал. Огляделся вокруг.

— Ну, так полезай ко мне на спину.

— Знал же я... Надеялся,— кряхтел немец, взбираясь на спину нагнувшегося студента, — у тебя есть сострадание, знал это я... у тебя есть сострадание.

— Да, — выдохнул из себя студент, тащась на гору с тяжелой ношей, — от сострадания ко всем тем, которых ты загубил, несу я тебя вот туда, к тропе. На твоём языке говорю я тебе это, чтобы ты понял.

Сбросив с себя тяжёлую ношу прямо в снег, лежавший в складке горы, Годашвили отер с лица пот.

— Недельки через две, — сказал он, — когда растает снег, тут будут проходить люди. Здесь ты околеешь, и, проходя, люди будут чувствовать, как ты смердишь. Это хорошо. Надо, чтобы о твоем зловонии люди подольше помнили — это полезно!

И, не оглядываясь больше, Годашвили зашагал по тропе, которая вилась у самого края обрыва и сулила выход к родному аулу. Образ матери встал перед его глазами. Все его мысли, все чувства уже вращались лишь вокруг того опустошения, которое ждало его дома, и ему уже не казалось удивительным то, что из этой борьбы с немцами целым вышел он, а не они — иначе ведь и быть не могло!

1943 Г.

СВИДЕТЕЛЬ

I

В широком проломе — разрушенном подъезде уцелевшего, но сильно потрепанного дома — стоит старик легше-шестидесяти. Все, что на нем надето, так и просит, чтобы его заменили чем-нибудь поновее. Над его головой висит вывеска, на которой можно прочесть только начало слова: «Маш...», остальное стерлось. Старик стоит совершенно неподвижно, и со стороны может показаться, что он не живой, что он только нарисован на темном фоне зияющего пролома. В лине его как будто не хватает чего-то, как нехватает конца у слова «Маш...» на вывеске.

Улица недавно освобожденного большого города освещена зимним солнцем, выглянувшим из-за туч. Под его лучами еще белее кажется выпавший ночью снег, и блеск ледяных кристаллов слепит глаза прохожим.

Белая стена, торчащая напротив, среди развалин, ярко освещена, и оттого сегодня как будто еще громче вопит сохранившаяся на ней надпись:

«Хану увели из гетто 27-го рано утром».

Время близится к двум. Наступает час обеденного перерыва во всех городских учреждениях. Улица оживает. Только старик в разбитом подъезде, кажется, и не думает двинуться с места. Множество людей торопливо проходит мимо, не обращая на него внимания. Но вот подле него остановилась немолодая девушка в легком, чуть ли не летнем, пальто. На шее у нее старая лисья горжетка, явно уже не раз переходившая по наследству, из-под белой вязаной шапочки видны светлые, гладко причесанные волосы, уже слегка тронутые сединой.

— Вам что-нибудь от меня нужно? — спрашивает она у старого еврея. Ей показалось, что он ее окликнул. И при первом взгляде на него она подумала, что он сле-

пой — наверное, хочет, чтобы кто-нибудь проводил его через улицу.

— Что? — переспрашивает равнодушно старик.

Он неторопливо отводит застывший взгляд от стены с надписью и на одно мгновение останавливает его на лице девушки.

— Да... может быть, вы-то мне и нужны.

Он что-то соображает, глядя уже не на нее, а на свои ноги в кое-как завернутых обмотках и в расхлябанных, искривленных башмаках. Торчит, как резаная солома, грязно-белая жидкая борода. И по множеству морщин, как по глубоким канавкам, растекается какой-то мертвенный, тусклый мрак и вливается в черные впадины под старчески прищуренными глазами.

— Если насчет обуви или платья, — спохватывается девушка, — так вы приходите ко мне в горсовет. Я там работаю. Спросите Дору Аронскую.

Но вдруг она чувствует, что слова слишком быстро слетают с ее губ. Лицо и глаза старика выражают еще большее равнодушие.

— Нет — говорит он, наконец, словно просыпаясь. — Одежда? Нет.

Медленно подняв руку к вывеске, он добавляет грустно:

— Я только что сговорился тут насчет работы. Я же-стияник. Из Западной Украины.

Речь его попрежнему нетороплива, отрывиста.

— Так что мне дадут какую-нибудь одежонку...

Он говорит словно про себя:

— А?... Да, мне уже обещали.

И вдруг тяжело вздыхает:

— Не в этом дело...

Только сейчас он в упор посмотрел на девушку. Медленно-медленно глаза уходят под вздрагивающие брови, и он произносит резко:

— Я — свидетель.

Пауза.

— Свидетель?

Девушка силится понять, что хочет сказать этот старик. Она зажмурилась, как от боли в висках, — глаза у нее синеватые, немного выцветшие и добрые — такие глаза не лезут без спросу в чужую душу. У ноздрей короткого носа красноватые жилки говорят об ушедшей молодости.

— Да, я один остался... Единственный свидетель — вот как вы меня видите...

— Ага, понимаю...

Девушке кажется, что она уже догадалась, о чем идет речь.

— О, господи, — пытается она утешить не то этого старого еврея, не то самое себя, — кто же теперь не свидетель? Кто не остался один? Вот и я тоже — потеряла всю семью, восемь человек...

— Да вы сначала выслушайте! — неожиданно рассердился старик.

Он начинает что-то объяснять о «лагере смерти» около Львова. Он делает два шага вперед и хв'атает девушку за отвороты пальто так крепко, словно хочет трянуть ее. Из дальнейшего разговора выясняется, что в этом лагере один он уцелел, а погибло больше миллиона... И нужно бы, чтобы кто-нибудь записал с его слов все, что он там видел.

— А я совсем ослабел... — жалуется он. — Что вы там болтаете насчет одёжы? Я вас спрашиваю: хотите записывать или нет?

Растерянная, почти испуганная, стоит перед ним Дора Аронская. Ей пора бежать на работу, в горсовет, она думает о том, что в коридоре у дверей ее маленькой канцелярии всегда толпится в ожидании больше посетителей, чем у соседних дверей. Уже вряд ли слыша, что говорит ей старик, она смотрит на белую стену напротив, одиноко стоящую среди развалин. Солнце ярко освещает бесполезную надпись: «Хану увели из гетто 27-го рано утром». И Доре начинает казаться, будто отовсюду, со всех уцелевших стен города вызывают к ней бесчисленные, ненужные надписи:

«Хану увели из гетто 27-го рано утром»...

П

Старик стал каждый вечер приходить к Доре Аронской домой.

Он рассказывал, она записывала.

Квартира Аронских в полуразрушенном доме «Химтреста» вся была завалена обломками, засыпана мусором. Некому было очистить и проход к ней: из всей семьи в восемь человек осталась в живых одна Дора. Все знакомые либо были убиты здесь, в городе, либо еще не вернулись из эвакуации. Комнаты были пусты — мебель растащили. Отыскался только старый круглый стол, за которым, бывало, сживала вся большая семья. Он совсем разваливался, но Дора трудилась над ним в поте лица, пока не вернула ему частицу жизнеспособности.

Теперь стол стоял уже на старом месте в просторной столовой. Дора покрыла его единственной сохранившейся у нее скатертью — ветхой тканой скатертью густо шафранного цвета, с короткой пышной бахромой, и круглый стол сразу принял свой прежний почтенный вид, а вокруг, на облупленных стенах, кое-где заиграли те места, где уцелела масляная краска «под дуб». Краска была прочная, и вся квартира отличная—ею когда-то «Химтрест» премировал своего лучшего химика Мордуху Бенционовича, отца Доры, бодрого, полнокровного старика. Когда немцы повели его вешать вместе с его соседом, русским, профессором Бирюковым, люди в городе говорили между собой, что немцы вздернули на виселицу самых ценных людей «Химтреста».

От люстры, висевшей над круглым столом, остался только металлический остов. Дора задрапировала его своей пестрой шелковой косынкой. Она немало потратила сил на то, чтобы отмыть пол горячей водой с мылом. И в столовой Аронских в эти зимние вечера снова стало уютно.

Но в тишине, за накрытым столом чувствуется всегда какое-то тоскливое ожидание. Чем чище уберешь комнату, тем тоскливее ожидание. Горсовет поставил Доре телефон. Аппарат висит в дальнем углу большой пустой столовой и еще не действует. Бесчувственный, всегда безмолвный предмет. Кажется, от него тянет холодом. В этой, когда-то такой шумной, комнате,—а до войны здесь телефон ни минуты не оставался в покое.

Случается, что в тишине вдруг шевельнется телефонная трубка между двумя никелевыми лапками и как-то неохотно издаст дрожащий тихий звон. Дора знает, что это на центральной станции тронули провода. И все-таки сердце у нее замирает, как будто слышит зов прежней жизни, и ждет, что вот сейчас вернется ее веселый шум. С начала войны нет никаких вестей от двух младших братьев, Гени и Бори, близнецов, которые жили в одной комнате, всегда вместе готовились к экзаменам (они и в университете учились на одном факультете), вместе ушли на фронт. И Дора думает: «Авось, случится чудо—уцелеет хоть один». Она вздрагивает, как будто вот-вот услышит в телефон: «Жив!»

Однажды вечером — Дора и старик только что сели за стол — раздался стук в дверь и вошел высокий, худой юноша. Он казался очень стройным в военной форме, которую он все еще носил по привычке.

Добрую минуту Дора стояла, как окаменелая, потом

бросилась к нему на шею. Старик наблюдал, как молодой человек пытается успокоить Дору. Из их разговора ему стало ясно, что это в'ернулся с фронта самый младший сын профессора Бирюкова, Кирилл. Значит, он не брат и даже совсем не родственник Доре! Но отцы их повешены немцами, обвиненные в одном и том же, — может быть, даже на одной виселице... Как тут не сказать, что Дора и Кирилл — близкие люди, ближе быть нельзя.

Огонек единственной электрической лампочки едва-едва просачивается сквозь тонкий шелк, и при этом свете, скудно озаряющем холодную пустоту вокруг, Дора целыми вечерами сидит против незнакомого старика-еврея, жестяника с Западной Украины, и записывает все, что он рассказывает о «лагере смерти» под Львовом.

Рассказы этого «свидетеля» гораздо страшнее смерти. Немцы отбирали из ранее привезенных евреев несколько человек с располагающей к доверию наружностью, хорошо одетых, и приказывали им Встречать новые эшелоны и уверять прибывших:

— Теперь можете быть спокойны. Здесь уж вы остаетесь,

— Слава богу, — отвечали вновь прибывшие.

— Не сомневайтесь. Здесь вам будет хорошо.

Дора записывает добросовестно, не торопясь, и особенно старается хорошо перевести на русский язык то, что рассказывает по-еврейски старик. Она пишет целыми часами, терпеливо согнувшись над столом, так же, как весь день гнется над бумагами в горсовете. Она трудолюбива и усидчива — наследие отца-ученого и дедов-книжников. Ей в сущности не совсем ясно, кому нужен этот утомительный труд по вечерам и что из него выйдет. Но какой-то голос внутри говорит ей, что этого требуют пропавшие без вести Геня и Боря, повешенный отец, погибшая семья, все ее знакомые и близкие в этом городе, из которых в живых осталось только несколько человек. Она вспоминает то, что ей рассказали об отце: утром, перед тем, как немцы его повесили, они запрягли его в телегу, как лошадь — с хомутом и дугой, — и заставили возить на ней по главной улице бочку с водой.

С сосредоточенным видом читает она старику вслух по-русски некоторые места своих записей и спрашивает затем, так ли она перевела.

— Да, — хмурясь, кивает головой старик и, подумав с минуту, добавляет: — Да, Должно быть, так.

Темное лицо еврея напоминает Доре головешку, вы-

хваченную из огня. От него как будто исходит, запах жженных костей. Дора примостила к столу длинную скамейку, чтобы ее гость мог диктовать полулежа. Он так слаб, что едва шевелит губами. Рассказывает он все еще об одной из первых партий, отправленных в газовые камеры и в печи, — а ведь таких партий там в лагере погибло много, много, не сосчитать. Но он убежден, что ни одной не пропустит, потому что в каждой запомнилось что-нибудь такое, чего забыть нельзя.

— В одном эшелоне, — рассказывает он, — привезли молодую женщину, писаную красавицу, другой такой я в жизни своей не видывал. И был в той же партии молодой художник. Так немцы ему приказали нарисовать ее красками в чем мать родила. Он, бывало, сидит, рисует и плачет. А она надеялась, что ее оставят в живых — за красоту. Но потом, когда ее повели со всеми в камеру...

Дора пишет быстро-быстро, совсем забыв, что нужно проверять перевод. Старик перестал диктовать... «Наверное, ослаб, пусть передохнет», — думает Дора и ждет, не поднимая глаз от только что написанных строчек. Но вдруг она слышит тихие всхлипывания, они перемежаются еще более тихими вздохами. Заунывная жалоба, монотонная, как жужжание мухи, которая бьется о стекло, ища Выхода. Дора поражена: у него хватило мужества рассказать о стольких ужасных смертях, — а теперь он плачет. Слезы, одна за другой, текут по его лицу, по глубоким морщинам, застревают в реденькой бородке.

— Что с вами? — спрашивает участливо Дора. — Вы плачете?

— Да, — с трудом отвечает он сквозь всхлипывания. — Такая красота... а они сожгли, не пожалели. Всякий раз, как вспомню... очень уж за сердце хватает...

Видно, и Дору «схватило за сердце». Она вдруг падает головой на стол. Чем больше она старается сдерживать рыдания, тем сильнее трясутся ее плечи. Всем сердцем чувствует она разверзшуюся навсегда пропасть, отделяющую ее от прежней жизни, широкую, как океан. Оплакивает погибшую радость, убитую красоту... О, боже, сколько красоты они уничтожили...

Успокоившись немного, она замечает, что измученный старик задремал. Заплаканными глазами вглядывается она в дальний угол с таким выражением, как смотрят в пустоту. Проходит минут пять или больше... Доре почему-то сверлят мозг слова, которые написаны

там, на уцелевшей стене... И рука машинально записывает на обороте последней исписанной страницы:

«Хану увели из гетто 27-го рано утром».

А старик все еще дремлет, полулежа на скамье, придвинутой к столу. По глубоким желобкам его морщин растекается мертвенный мрак, вливаясь в черные впадины под закрытыми глазами. И в слабом свете лампочки, проходящем сквозь тонкий шелк, лицо его — как восковое лицо мертвеца в гробу. Доре вспоминается кирпично-красное лицо ее отца, здорового, широкоплечего старика — одного из тех, которые до смертного часа сохраняют энергию и живость. Сколько ума скрывалось в каждой складочке этого лица... И неожиданно для самой себя девушка пишет на обороте страницы.-

«...А мама... она прожила с ним долгую жизнь, всегда оберегая его так, как будто считала это главным делом своим на земле. Она была уроженка Бессарабии, еще такая крепкая и бодрая, несмотря на годы... Никто из нас, детей, не помнил, чтобы к ней когда-нибудь звали Врача. Мне рассказали люди- в то утро, когда она узнала, что немцы запрягли отца в телегу и заставили возить воду по главной улице, она тайком выбралась из гетто, повязанная платком по-крестьянски, и побежала помогать отцу. Немцы отгоняли ее, а она опять бросалась к телеге и подталкивала ее сзади. Ее повалили на землю и так избили, что она лежала в луже крови, но через минуту поднялась, собрав последние силы. Кровь текла с ее лица, растрепавшиеся волосы слиплись от крови, а она все толкала сзади телегу. Так, по-своему, она воевала с немцами, ибо не только винтовки и снаряды были оружием в борьбе с ними: с ними боролись и их победили благородной стойкостью и высокой человечностью».

Ш

В те вечера, когда Дора и старик засиживаются за работой поздно, к ним иной раз заглядывает Кирилл. Ходить ему еще трудно — нога у него после ранения немного согнута в колене, и еще неизвестно, пройдет это или нет. Застав Дору за работой, Кирилл хочет сразу же уйти, но Дора уверяет, что он им не мешает, и он остается.

Кириллу спешить некуда. Вся его семья убита. Квартиру отца — на том же этаже, где квартира Аронских, он нашел заколоченной, пустые комнаты затканы пауги-

ной, засыпаны штукатуркой и обломками, как была квартира Дорь! три недели тому назад. Он сидит у стола и молчит, украдкой поглядывая на старика. В юном лице Кирилла, в его серых глазах заметна какая-то сосредоточенность, даже напряжение, — как будто он пытается до конца понять что-то, не совсем ему ясное. С детства он здесь, в родном городе, встречался с евреями, некоторых знал близко. Но совсем не таким, как они, кажется ему этот старик, который, по словам Доры, один уцелел из миллиона. Пережитые страдания и полное физическое изнеможение словно отодвинули его назад на два тысячелетия. Он диктует нараспев и тихонько раскачивается всем телом, как древний «сын Израиля» за молитвой. Кирилл пробует вслушаться в речь старика. И, так как он не понимает по-еврейски, ему кажется, что тот говорит что-то очень мудрое и сильное. Рассказы о лагере смерти подо Львовом, слова о миллионе отнятых жизней—не пустяк!

Кирилл из тех, которые, если над чем задумаются, то задумаются глубоко. И, как всякий советский юноша, он каждый миг жаждет сделать что-нибудь для людей, придумать, чего еще никто не придумывал. Может быть, имело бы смысл возить этого еврея по городам и селам, из страны в страну... и пусть он всем расскажет... всем...

Война с фашистами представлялась Кириллу грандиозной борьбой между добром и злом мира. И в словах еврея, наверное, есть что-нибудь об этом. Кирилл чуть не с благоговением смотрит на исписанные листки, лежащие на столе перед Дорой. Ему вспоминается один вечер лет десять тому назад, когда отец в первый раз привел к ним в дом отца Доры, — вероятно, из лаборатории «Химтресга», — где профессор Бирюков проводил тогда свои опыты превращения какого-то весьма зловонного вещества в ароматное. Оба вошли, продолжая оживленный спор.

— Я знаю одно, — говорил Аронский полушутя, полусерьезно, — что пока и в лаборатории, и во всех помещениях вокруг нее воняет нестерпимо, я и пяти минут не могу усидеть у себя в кабинете. А выйдет ли из этого что-нибудь ароматное, — еще большой вопрос. Я не очень верю в это... Да и к чему? Было бы достаточно, если бы люди не мешали благоухать тому, что природа наделила ароматом.

— Ого! — засмеялся профессор.

Все это вспомнилось Кириллу в то время, как он смотрел на старика и слушал его голос.

— Знаешь, — сказал он тихо Доре, когда прилегший на скамье старик задремал от слабости, — знаешь, Дора, что мне пришло в голову?

Он сидит минутку с опущенной головой и, наконец, говорит, смущенно улыбаясь:

— Можно бы здесь, в твоих записях, рассказать и про наших старичков—моего отца и твоего. Понимаешь, ведь они на старости лет оказались комсомольцами...

Он забыл про больную ногу и, хромая, шагает взад а вперед, останавливаясь у стула Дары. Он говорит, по своему обыкновению, короткими, отрывистыми фразами, с большими паузами, во время которых упрямо сжимает тонкие губы, словно решив никогда более не раскрывать их. Иногда же прелестная, детски-застенчивая улыбка чуть трогает его губы, над которыми показывается уже темный пушок. Кирилл говорит так, как будто после каждой фразы его кто-то подгоняет: «ну, дальше, дальше!» Речь его подобна утихшему морю, ритмично, медленно набегающему на берег, но способному каждую минуту грозно зашуметь.

— Да, да. Комсомольцы... Шестидесятипятилетние комсомольцы!

И он рассказывает Доре то, что узнал от остававшихся в городе друзей.

— Валю помнишь?

— Валю?.. Это та хорошенькая девочка, с которой я тебя часто Встречала в театре и кино?

— Ну, да...

Эта самая Валя в один из первых дней немецкой оккупации пришла к отцу Кирилла, профессору Бирюкову, и объявила, что ей надо поговорить с ним с глазу на глаз.

— Мы решили, что вы будете в одной из лабораторий «Химтреста» готовить ручные гранаты, а мы — доставлять их партизанам.

— Вот как! А кто это —«мы»?— удивился профессор.

— Подпольная комсомольская организация.

— А со старшими вы связались?

— Будьте покойны.

Профессор посоветался с Аронским... И вышло, что оба, на седьмом десятке, оказались членами подпольной комсомольской организации...

Кирилл вздергивает плечи и умолкает.

Дора молчит тоже. Она смотрит на Кирилла с таким выражением, как будто у нее все сильнее и сильнее ломит в висках.

IV

Подойдя вечером к дверям квартиры Аронских, Кирилл услышал душераздирающий истерический крик Доры:

— Помогите!

Так кричит человек, на которого во мраке ночи внезапно напали на пустынной улице. Уверенный, что увидит в столовой нечто ужасное, Кирилл не вошел, а ворвался туда, но, к его удивлению, в пустой, чисто прибранной комнате все было, как обычно. Только старый еврей на скамье, придвинутой к столу, лежал на этот раз вытянувшись на спине. Руки были сложены на груди, и при скудном свете единственной лампочки веки закрытых глаз блестели мокрым блеском — видно было, что на него брызгали водой. Заплаканная Дора кинулась к телефону в углу и что-то кричала в трубку. Кирилл, несмотря на растерянность, почти насильно оттащил ее.

— Да ведь телефон не работает. Что ты, опомнись...

— Ах, да...

Дора шумно вздохнула, как бы просыпаясь от кошмара.

— Боже мой, боже мой, он умирает... может быть, уже умер!.. Что делать?

Накинув на плечи пальто, она умчалась искать какой-нибудь исправный телефон, чтобы вызвать «скорую помощь» или знакомого врача.

Выбегая из комнаты, она с силой захлопнула за собой дверь. Остов люстры над столом закачался. Мигнула лампочка под шелком, словно собираясь погаснуть. И в комнате сразу наступила глубокая тишина. Кирилл почувствовал себя, как человек, одиноко стоящий в почетном карауле у смертного одра другого человека. Но этот другой еще не умер, он умирает — и, может быть, принять его последний вздох следовало бы кому-нибудь более близкому...

В лице с заострившимся носом и закрытыми глазами было какое-то тоскливое напряжение — как в лице человека, который долго и горячо стремился к чему-то, но

остановился на полдороге. Рядом на столе лежали недо-
конченные записи, свидетельство гибели миллиона—мил-
лиона! — беззащитных людей в лагере смерти. Кирилл
говорил себе, что у него на глазах умирает один из тех,
чья утрата ничем не измерить.

Кирилл подсел к столу. Перебирая исписанные листки,
он смотрел на них теперь иными глазами, как смотрят на
последнюю работу человека, которую смерть помешала
докончить.

Ему смутно казалось, что он прочтет сейчас что-то
такое, чего никто еще не говорил миру. А между тем он
читал простые, обыкновенные слова. Сухо, почти прото-
колно, на одной странице сообщалось, как убивали на
краю ямы множество голых людей всех возрастов и сре-
ди них — женщину, у которой начались роды.

«Когда одна из пуль пробила ей голову, она уже ус-
пела родить. Ее столкнули в яму, а за нею в пыли воло-
чился ребенок на неотрезанной пуповине».

Прочитав это, Кирилл сидит с искаженным лицом,
как будто ему только что вырвали зуб.

На обороте другого листка он читает подробности
смерти Мордухая Аронского, записанные Дорой. И упо-
мянутое там несколько раз имя «Бирюков» будит в нем
острую щемящую тоску по отцу. Здесь, рядом с умира-
ющим незнакомым евреем, он вспоминает эпизод своего
детства, когда он вместе с другими ребятами во дворе
дразнил еврейского мальчика. В это время пришел с
улицы его отец и позвал его, Кирилла, домой. Тон у от-
ца был суровый, и Кирилл ожидал, что его сейчас нака-
жут, но, войдя в переднюю, отец вспомнил о каком-то
неотложном деле и торопливо ушел к себе в кабинет.
Только вечером он позвал сына, запер дверь и сообщил
ему по секрету, что он, профессор Бирюков, на самом
деле... да, да... он еврей. Настоящая его фамилия — Аб-
рамсон.

И некоторое время отец оставлял сына в убеждении,
что он — еврей. Так Кирилл излечился от того, чем за-
разился от уличных мальчишек.

Воспоминания теснились в нем — и все сильнее сжи-
мала сердце тоска по отцу и требовала какого-то исхо-
да. Он и сам не заметил, как взял в руки перо и стал за-
писывать на чистом листке свои последние воспомина-
ния о погибшем отце.

Вдруг Кирилл почувствовал, что он — не один в ком-
нате. Торопливо повернув голову, он увидел, что старик

уже не лежит, а сидит, упираясь обеими руками в стол.

Ощутив на плече руку подбежавшего Кирилла, старик вздрогнул и шире открыл глаза.

— Что? — сказал он с недоумением. — Вы подумали, что я уже умер?

Медленно опустились дрожащие веки, и он сказал, почти не шевеля губами:

— Разве мне можно умереть? Ведь я же свидетель!
1945 г.

Вокруг, насколько хватает глаз, дремлют болотистые луга. Они поросли высокими стеблями осоки, а на востоке окаймлены вечно зеленым редким кустарником. Дальше, на горизонте, уступами подымается густой лес, одевая хмурой синевой гряды высоких гор.

В ветреные дни колыхнется, гнется осока, качая бархатными головками. Слово высокие волны ходят в безбрежном темно-зеленом океане. А в белой предутренней мгле возникают контуры зеленого корабля с надувными парусами. Корабль плывет быстро, непрерывно ныряя и взлетая в волнах белесого тумана. Несясь навстречу ветру, он ложится то на один бок, то на другой, и, постепенно расплываясь, превращается, наконец, в облачко дыма. Это—дымок поезда, проходящего вдалеке по насыпи.

Зеленый корабль— фантазия Меера Шлаина. Сонное видение, тающее при свете дня...

Ранним утром Меер выходит на полотно железной дороги. Душа его еще погружена в сны прошедшей ночи, в голове все еще бродит воспоминание об исчезнувшем корабле,—корабле, который существует только в его воображении. Он шагает, томясь смутной тоской по отливающим зеленым шелком тугим парусам... Это тоска по родным местам, откуда угнала его война. Меер бессознательно тянется домой, как тянется сонный младенец к налитой молоком материнской груди...

Меера Шлаина, бондаря, работавшего в большой артели, в первые же месяцы войны забросило сюда из гавани большого, оживленного портового города на юге. От рук его, кажется, все еще пахнет распаренной в кипятке дубовой клепкой. Неторопливо (Меер всегда работал истово и добросовестно) набивая обручи на бочки, он много лет видел перед глазами море. Набегали и убе-

гали волны, приходили и уходили корабли... Вот почему зеленые волны осоки так напоминают ему море, вот почему часто ему снится корабль на волнах, который увезет его домой.

Здесь, на тысячи миль вокруг,—суша. На запад и на восток, куда ни глянь, тянутся болотистые поля осоки, и только мираж — зеленый корабль — возникает вновь и вновь, напоминая о дорогом сердцу южном городе:

«Не забывай меня, сделай для меня что-нибудь».

Меер не забывает. И здесь, вдали, делает все, что в его силах.

II

Отправляясь в обход своего участка полотна, Меер каждый день встречается со старожилом, почтенным стариком Макаром Емельяновым, обходчиком соседнего участка. От жилья Макара до будки, где поселился Меер, ходьбы не больше часа, но по дороге каждый из них находит столько работы, что времени на обход требуется гораздо больше.

Свистит и воет ветер. Сечет поросшие осокой луга. Целые дни и ночи поливают их осенние дожди. А там приходит зима, полегают высокие травы под суровыми зимними морозами, и сыплется на них снег, как на замерзшее море. Во всякую погоду, каждый день, надо внимательно осматривать рельсы — где закрепить ослабевшую гайку, где поставить новую. Проходящие мимо поезда нужно всегда, даже в самые сильные бураны, встречать с зеленым флажком в руке. Правда, около жилья за Макара и Меера поезда встречают их жены или дочери.

Разминуться на насыпи Макар и Меер никак не могут,—они неизбежно встречаются. Ни тот, ни другой,—если бы они и захотели,—не могут свернуть с дороги,—по обе стороны железнодорожной насыпи тянутся болота—не пройдешь, не проедешь. Обходчики сходятся на середине пути между своими будками и присаживаются покурить. Как тут не потолковать новым соседям, даже если они не особенно прижились друг другу по душе? Кто живет в такой глуши, знает пену живому слову, услышанному от нового человека.

— Доброе утро!¹— говорит Меер Макару. Наступающая затем короткая минута молчания кажется Мееру почти страшной. Это понятно! Здесь, среди болот, поросших осокой, Макар единственное живое существо, от которого можно услышать «здравствуй» или «прощай».

Надо сказать, что жизнь редко сталкивает таких различных по внешности людей, как Меер Шлаин и Макар Емельянов.

На неуклюжей фигуре Меера, который всегда сутулится, точно стыдясь своего роста,—хотя он вовсе не так уж высок,—на его лице лежит печать тяжелого прошлого. Бледное лицо с черными глазами и острым носом как будто стремится выбраться из чаши смоляно-черных волос, кое-где уже тронутых сединой. Меер из тех людей, которые сперва как будто соглашаются со всем, что им говорят, а затем, подумав, переспрашивают:

— Что? Что вы сказали?

Невысокий, седой, как лунь, Макар, крепкий старик, с первого взгляда кажется каким-то удивительно гладким. Он любит одеваться во все свободное, широкое. Его светлая ситцевая рубаша на выпуск, тулуп¹ и валенки,—все просторно и удобно. Палка, с которой Макар не расстается во время обходов, очень толстая и высокая,—настоящая дубина. Привык Макар к широкому простору, где все давно известно.

Началась война, и работа на железной дороге неожиданно-негаданно свела Макара с новым соседом. Самая наружность этого соседа, его повадки, его имя, никогда раньше не слыханное Макаром,—все говорило о чем-то незнакомом, случайно попавшем сюда из какого-то другого мира.

Макар, прищурив глаза, удивленно всматривался в первый раз в этого, точно с неба свалившегося, незнакомца. Задумчиво провел он рукой по бороде, как будто прогоняя застрявшую пчелу (Макар был страстный пчеловод), медленно почесал горло под бородой, и только тогда заговорил, как бы продолжая ранее начатую беседу:

— А ведь ваших тут раньше не бывало.

На миг Меер призадумался.

— Ну да, — ответил он медленно, всем своим видом показывая, что он не такой человек, чтоб отрицать очевидный факт.—Ну да, откуда же нам тут было взяться¹,

— Вот то-то оно и есть! — заметил Макар — как показалось Мееру — предостерегающим и даже колким тоном.

При второй встрече, из том же месте, Макар принялся расспрашивать Меера важно и серьезно, точно хозяин,

без ведома которого здесь, на болотах, ничего не делается. Так же прищурившись и перебирая пальцами седую бороду, он осведомился у нового соседа, как его звать.

— Шлаин.

— Шмайн,— повторил Макар, немедленно переименовав по-своему фамилию нового сторожа.— Скажи-ка» Шмайн, как же это ты попал в наши края?..

IV

Нелегко ответить Мееру Шлаину, у которого язык всегда ворочался туго! Где взять слова, чтобы описать, как тысячные толпы мирных людей бросали свои дома и бежали с юга на восток и на север? Среди них очутился у~уи, Меер, с женой и младшей дочкой. Сын и зять перед уходом на фронт устроили их в эшелон. Без них Мееру ни за что бы не справиться — где там! — он всегда был нерасторопный.

В дороге застрял он с семьей на большой узловой станции... Хотя, к слову сказать, там, кроме него, застряли сотни людей. Были такие, которые умудрялись с риском для жизни втиснуться в донельзя переполненные вагоны проходивших мимо эшелонов. Но не он... Ему иногда удавалось подсадить на ступеньку вагона жену и девочку, а для него места уже не было. Они поднимали крик и решали, что лучше уж всем вместе остаться на станции. Так и маялись с неделю, может, и больше. Ожидавшие там подолгу беспрерывно ходили в комендатуру требовать, чтобы их отправили дальше. В комендатуре яблоку негде было упасть, а за перегородкой—комендант. Он скуластый, как киргиз, и ни на кого не глядит своими узкими, глубоко сидящими глазами. Он ни на минуту не выпускает из рук телефонной трубки и кричит в нее хриплым голосом о чем-то очень важном и неотложном—о воинских поездах, о транспорте боеприпасов, задержавшихся здесь на узловой станции:

— Диспетчер! Диспетчер! Почему не забираешь составы, окаянная твоя душа! Диспетчер! Диспетчер!

Рядом с комендантом стоит в черной расстегнутой шинели его помощник, здоровенный детина с воспаленным от бессонных ночей лицом. Он похож на угорелого или пьяного... «Товарищ инженер»—обращаются к нему люди. Когда комендант совсем охрипнет, инженер берет у него из рук трубку и также начинает кричать густым басом—

— Диспетчер! Диспетчер!

Мееру кажется: этот видит все, что творится вокруг. Не переставая вопить в телефонную трубку, он в то же время вглядывается в лица стоящих перед ним. И взгляд этих зеленоватых глаз будит в душе Меера какой-то неясный стыд... Тем не менее он каждый день проталкивается к инженеру и молит:

— Сделайте милость... вторую неделю маюсь я здесь с женой и дочкой... Помогите уехать... Вы столько людей выручили...

Но человек с багровым, давно небритым лицом только гневно стискивает зубы, как будто хочет крикнуть «Отстань от меня!», и продолжает вопить в трубку:

— Диспетчер! Диспетчер!

И Меер уходит, еще острее ощущая стыд и думая про себя: «Что ж, у него дела поважнее». • *

Но вот раз утром Меер завел свое «сделайте милость» как раз в такую минуту, когда высокий инженер добился чего-то от диспетчера и повесил трубку. Зеленоватые глаза его встретились с черными глазами Меера, в которых еще не совсем померк мечтательный и молящий блеск. И вдруг вынужден сердито заорал на чистейшем еврейском языке?

— Тыфу, вы мне всю душу вымотали! Чего вам от меня надо? Торчите туг перед глазами, чтоб я ни на минуту не мог забыть вас! Чего вы на меня насели?..

Потом опять:

— Ох, и надоели же вы мне своим нытьем! И куда вас чорт несет, хотел бы я знать!

Кончилось тем, что дорожный инженер Покрасс, усадив Меера с семейством на дрезину, и привез его в пустую железнодорожную будку на семьдесят первом километре.

— Все!—прикрикнул он на Меера после того, как объяснил ему, в чем будут состоять его обязанности.— Молоток в руке держать умеете? Так сидите тут и работайте, и больше я ничего от вас не желаю слышать, ну вас к чорту!

С того дня Меер Шланн хозяйничает на клочке насыпи, рассекающей необозримое море осоки. Он добросовестно выполняет все, что от него требуется, и ежедневно встречается на дороге с Макаром. По позедениго Макара незаметно, чтоб он был хоть сколько-нибудь доволен появлением нового соседа. Напротив,—щуря глаза и потирая горло, Макар как-то неодобрительно качает головой. Так, по крайней мере, кажется Мееру, который

этими ветренными утрами томится привычной тоской по зеленому кораблю с развернутыми шелковыми парусами. Иногда в шуме ветра ему даже чудится скрип мачт и веселое гудение туго натянутых парусов, которые точно обещают:

«Мы отвезем тебя опять в родной город у моря! Мы отвезем тебя домой!»

v

Меер сам не знает, отчего он робеет и теряется, завидев издали среди необозримого простора Макара, который шествует по насыпи в широкой рубахе на выпуск, с толстой палкой в руке. Стоит поздняя осень, но Макар все еще ходит босиком, и лысеющая голова его ничем не прикрыта. И кажется, что колючие утренние заморозки и вечерние ветры, доносящие сюда ледяное дыхание Сибири, ему — свои: они не трогают его, как не жалят его пчелы из выкрашенных красной краской ульзов, которые теснятся за его домиком у дороги.

Небо со дня на день все грознее хмурится, ходят в нем холодные серые туманы, и только на западе мелькают просветы розовой дали. Как бы навстречу этим просветам, похожим на замерзшую радугу, шагает Макар по высокой насыпи. Кажется, что он движется в воздухе — кто знает, куда, кто знает, зачем? Ветер треплет седые волосы вокруг его желтой плечи, словно качает высокие травы вокруг янтарного озера. Густые лохматые брови Макара чуть-чуть приподняты над щелочками глаз, медленно озирающих поля осоки. Ноги, почти не гнувшиеся в коленях, шагают вперед за указывающей путь палкой.

Однажды под вечер Макар дошел до будки Меера и встал неподвижно, точно застыл, с высоко поднятой головой.

Жена Меера, Рахиль, и четырнадцатилетняя дочь Гита возились на клочке заболоченной земли перед домом, где прежний жилец разводил огород.

— Что это вы тут делаете? — неожиданно раздался с насыпи голос Макара.

— Мы?

Женщина переглянулась с дочерью и ответила не сразу —

— Да вот, перекапываем поглубже канавку, чтоб вода стекла, пока не ударили морозы. Может, весной что-нибудь удастся посадить. И бурьян прошлогодний хотим выполоты

— Ага! — помолчав, Макар добавил холодно:— это я и сам вижу.

И как-то многозначительно покачал головой.

— Меер, — сказала Рахиль вышедшему на порог мужу, не отводя глаз от неожиданного гостя.— Меер, пригласи его войти... Ну же, Меер!.. Слышишь, что я говорю?

Макара пришлось упрасивать довольно долго. Наконец, не спеша вошел в дом, но присесть не согласился. Стоя, осмотрел до мелочей весь убогий скарб, привезенный новыми жильцами и, не найдя, видимо, ничего любопытного, остановил глаза на двух маленьких фотографиях, наклеенных на стену.

— А это кто? — осведомился он, указывая подбородком на фотографии двух Молодых красноармейцев.

— Мои дети, — с готовностью ответила женщина.— Они, да вот эта девочка, да еще замужняя дочь—вот -и вся наша семья.

— Это сын, а это зять,—пояснил Меер.— Оба на" фронте... Воюют.

— Воюют,— повторил Макар, как бы пробуя на язык это слово, и его глаза вопросительно уставились на Меера. — За родину, значит...

— Ну да, — не поднимая глаз, подтвердил тот.— А за что же еще?

— Мои тоже, — сказал Макар. — Все. А я вот... тут...

— Таким старикам, как вы оба,—торопливо вмешалась Рахиль, желая напомнить о муже,—воевать поздно. За вас пускай уже бьются там сыновья. Верно люди говорят, что...

Она только что собралась быстро-быстро выложить все, что говорят по этому поводу люди, но Макар пристально взглянул на нее, сощутив глаза, как будто любопытствуя, почему она так торопится.

Разговор этот можно было бы считать началом сближения. Но наутро, при встрече с Меером после работы, Макар, закулив, промолвил сухо и отрывисто:

— Нет, не жилец ты здесь, Шмайн. Нет!—Он указал головой туда, где стояла будка Меера.—Опять опустеет дом.

Это было сказано безапелляционно, тоном окончательного приговора.

— Что? — • недоумевающе переспросил Меер.

— Так то! — не слушая его, отрубил Макар.

Когда Меер рассказал об этой сцене жене, та ста-

ла пилить его. По ее мнению, нужно было заставить Макара высказаться яснее.

— Как это? Тебе говорят такие слова, а ты молчишь! Хороши шутки! «Не жилец». Ведь это у них означает, что человек скоро умрет. Господи помилуй! А ты слушаешь и молчишь.

VI

Размеры каждой новой неприятности Меер всегда измерял той энергией, с какой наседали на него жена: если Рахиль не очень шумит, значит, беда не так уж велика. На этот раз она из себя выходила. Объявила, что пройдет пешком семьдесят один километр и отыщет на станции того инженера, который засадил их в такую пустыню.

— Что это за жизнь?

Меер вышел на воздух, ища, чем бы заняться. Но что делать тут, среди необозримых болот, да еще в такое время, когда зима на носу? Дул резкий порывистый ветер — сегодня он как-то особенно неистовствовал. Меер засмотрелся на взволнованное море осоки и сразу же почувствовал, что ходившая перед глазами зелень ее плюшевых головок укачивает его, и далеко на горизонте начинают вырисовываться очертания зеленого корабля с развернутыми парусами. Сегодня эти паруса отличались нежной синевой и казались туже обычного: сегодня сильнее, чем когда-либо, тосковал Меер по городу у моря.

Жена все еще не унималась и кричала в окно:

— Меер, Меер, поди сюда!

В тот же день, укутавшись всеми теплыми платками, большими и малыми, какие имелись у нее и дочери, Рахиль отправилась в путь. Но не на узловую станцию, до которой было семьдесят километров, а в другую сторону, к домику Макара. Она шла с твердой решимостью выяснить раз навсегда, что хотел сказать Макар своей фразой: «Не жилец ты здесь».

Подгоняемая ветром, таким сильным, что он мог бы, кажется, поднять в воздух скалы, она шла и смотрела, как гнутся стебли осоки, гнутся, чтобы не быть вырванными с корнем, выпрямляются снова и, качаясь из стороны в сторону, казались, стонут и жалуются:

— Ох, тяжело! Ох, трудно удержаться корнями в земле!

— Уже вечерело, когда Рахиль вернулась домой в полном изнеможении. Макара она не видела. Говорила с его дочерью. Меер спросил осторожно, чтобы снова не рассердить жену:

— А почему же с дочерью?

Рахиль не отвечала. Он спросил еще тише:

— А Макара разве не было дома?

Она ответила голосом, предвещавшим новую бурю.:

— Не было!..

VII

Позже Рахиль стала рассказывать обо всем подробно. Ее радушно встретила дочь Макара, угостила медом. Она совсем другой человек, чем отец: видно, что жила в городе. Росту она невысокого, широкоплечая такая. Глаза у нее большие, серые, и она их закрывает, когда кашляет. Здоровье, должно быть, слабое, оттого и живет здесь с отцом. Говорит, что все братья на фронте, и муж ее тоже. «А насчет того,— говорит,— что отец сказал утром твоему старику,— так вам ни обижаться, ни пугаться нечего. Он, должно быть, хотел сказать, что люди вы городские, да и ничего у вас на зиму не заготовлено. А у нас тут, если не запастись всем, чтобы хватило до весны, так солоно придется»... «А может — говорит, — отец это про будку вашу хотел объяснить... Она все больше пустует, не держатся в ней сторожа. Трудно найти охотника жить здесь».

— А вот ведь отец твой живет? — говорю я. — «Ну, охйц, — другое дело, он тут родился и вырос, ему тут хорошо на покое с пчелами. Да и потом—отец говорит, что в здешних местах лежат богатства несчетные, нетронутый клад... Он ждет не дождется когда до него доберутся».

В стороне стояла четырнадцатилетняя Гита. Ее круглое личико с толстоватым носом (еще трудно было сказать, будет ли она хороша или дурна собой) пылало от волнения. Она слушала рассказ матери, точно спрашивая себя: «Куда же это завезли меня и что будет со всеми нами?».

— Богатства,—повторил Меер, словно очнувшись от сна, и вдруг вспомнил:—А ведь тот инженер, Покрасс, когда в первый раз вез меня на дрезине сюда, говорил что-то про здешние богатства.

— Да, как же, ищи их! — сердито оборвала его жена.—Вот у Макара, так я видела богатство: корова хо-

дит, телка, куры, гуси, —чего там только нет! Не говорю уже про мед!—Вот это—богатство! Не то, что мы, голодранцы!..

Желание обладать таким хозяйством занозой впилося в сердце Рахили и не давало ей покоя весь день. Уже лежа в постели и засыпая, она пробормотала со вздохом:

— В такое время — мед! Шутка ли!

Подле нее беспокойно ворочался с боку на бок муж, сон долго не приходил к нему, и все вспоминалось, как инженер вез его на дрезине. Не человек, а вихрь! Как он несея, сломя голову! Казалось, машина вот-вот свалится под откос, и они вместе с нею разлетятся на кусочки! А инженер, пристально глядя вдаль—не покажется ли там встречный поезд, и стараясь быть услышанным в грохоте колес, выкрикивал слова, смысл которых не всегда был понятен Мееру:

«Здесь лежат сокровища, да, сокровища! И до них доберутся, не беспокойтесь! Придут советские люди!..»

И еще вспоминал Меер, как инженер, правя тархтевшей дрезиной и время от времени поблескивая на него глазами, кричал что-то про историю, поминал о том, как на пинские болота пришел когда-то впервые еврей и, наверно, считал себя погибшим, но за ним пришли другие люди, и вот вырос город Пинск. Так вот и бывает всегда...

«Одним словом, ничего я толком не понял»—резюмировал свои размышления засыпающий Меер. История — историей, а пока что застряли мы здесь, как в тисках,—ни взад, ни вперед.

Утром на семейном совете принято было твердое решение: с первым товарным поездом, если удастся, ехать Мееру на ту узловую станцию. Во-первых, он там добьется чего-нибудь от инженера, во-вторых, купит немного продовольствия на деньги, полученные по аттестатам сына и зятя.

Гита упросила отца взять ее с собой. Она надеялась достать каких-нибудь книжек для чтения.

В одной из книжек, привезенных оттуда, она нашла портрет Сталина, вырезала его и наклеила на стену. И от этого портрета, отечески и ободряюще смотревшего со стены, в их будке сразу стало уютнее и как будто теплее. Что касается инженера Покрасса, Мееру на станция сказали: «Ну, этот... Как умчится в объезд на своей дрезине, так никто не знает, когда он вернется». Мееру

не оставалось ничего другого, как написать ему письмо, полное упреков и просьб.

— А знаешь, Рахиль,—сказал Меер жене, очнувшись от минутной задумчивости. — Этот инженер как будто из наших мест. Так мне кажется.

И он принялся доставать из мешка привезенные продукты.

С этого времени он вспоминал об инженере с таким же чувством, какое вызывал в нем зеленый корабль его предутренних грез: инженер тоже будил тоску по родному городу.

VII!

Осенние бури. Зимние метели.

Пьяные ветры необычайной буйной силы исхлестали, затоптали осоку на мерзлых болотах, и немало дней бушевали, пока не одели в белое всю землю вокруг.

А потом — снова начали бесноваться.

В морозные ночи чаще прежнего стучали на железнодорожной насыпи колеса тяжело нагруженных поездов и несли свой стальной грохот все дальше в ночь. Где-то неподалеку от будки они оставляли свой груз—разные машины, экскаваторы, подъемные краны, строительные материалы — и порожняком уходили.

Встречаясь с Макаром, Меер пробовал узнать у него, какое это затевается строительство, не те ли «сокровища» начнут добывать. Макар жмурил глаза под лохматыми седыми бровями, смотрел на Меера и молчал.

— А что, это секрет? — спросил как-то Меер.

— Может, и секрет — сердито бросил Макар. И, словно боясь что-то спугнуть, он и не посмотрел в ту сторону, где, за вечно зеленым кустарником, окаймлявшим горизонт, поезда выгружали материалы.

Как-то мимо полустанка пулей промчался на своей дрезине инженер Покрасс. Не остановился ни подле Меера, ни подле Макара, только в нескольких местах у рельс оставил вехи, у которых поезда качали потом сбрасывать балласт, расширяя, таким образом, железнодорожную насыпь.

А снег все шел, вихрем крутясь в воздухе, и гнал, дни все дальше и дальше в зиму. По ночам на востоке, над вечной зеленью кустарника, вспыхивали красные зарницы, как отсветы страшного пожара войны, бушевавшего далеко на западе. Дочь Меера все ждала, чтобы потеплело,— тогда можно будет пуститься в путь.

Она пойдет по рельсам туда, на строительство, для нее там найдется работа. Там, верно, работают и другие такие же девушки. Сердце ее тянулось к ним. А пока она топила печь заготовленным на зиму камышом и, поглядывая в окно на бешеную пляску снежных хлопьев, твердила новое слово, впервые услышанное здесь:

— Буран, мама! Опять буран!

Мееру пришлось протянуть веревку от дома до железнодорожного полотна. Только держась за нее он добирался туда. С рабочими, перекладывавшими рельсы, приходилось объясняться знаками, как с глухонемыми: даже звуки рожка, которыми Меер давал знать о приближении поезда, заглушал ветер. Все звуки, которыми люди передают друг другу свои мысли, стали здесь не нужны.

Встречаясь тут, около рабочих, Макар и Меер тоже вынуждены были переговариваться знаками. А разговаривать приходилось волей-неволей, и вот почему: из-за буранов часто выходила путаница с письмами. Письма с фронта от сыновей Макара попадали к Мееру, и, наоборот, письма сына и зятя Меера попадали к Макару, Бурану, очевидно, было все равно, как зовут человека, чьи сыновья бьются на фронте,—Макар или Меер. В конце-концов, чтобы разобраться в очередной путанице, Макар звал соседа к себе. Здесь, в доме, можно было разговаривать по-человечески, не то, что на дороге, когда в шуме бурана ничего не слышно, и один другому тычет в грудь: «Твой сын... Ну да, твой! Так вот его письмо (при этом говорящий для наглядности водит пальцем по ладони)... отдали мне (он ударяет себя в грудь), мне. понимаешь».

IX

У Макара, в теплом и благоустроенном доме старожилы, Меер смотрел не столько на хозяина, сколько на ходики, висевшие на стене. Заметив это, Макар похвастал, что они за десять лет ни разу не останавливались.

— Так-то!

Это должно было означать, что не будь маленького неугомонного механизма, трудно было бы отличать ночи от дней в месяцы страшных буранов.

Зайдя как-то во второй раз в пустоватое и убогое жилье Меера, Макар долго рассматривал портрет Сталина, наклеенный на стену. Только на мгновение он остановил глаза на Меера, как бы констатируя:

«Да, это он самый и есть», и снова повернулся к портрету.

— Так-то—промолвил он, наконец, словно подводя итог.

— Да, так-то, — повторил за ним Меер.

Оба испытывали в эту минуту одинаковые чувства и мысли. Было бы трудно сказать, о чем именно они думали, но это имело прямое отношение к человеку на портрете. С ним не страшны никакие бураны, застилающие солнечный свет во всем мире и несущие хаос, в котором не отличить дня от ночи.

Через несколько дней Макар принес Мееру два пустых пчелиных улья и указал подходящее для них место неподалеку от дома. Ставить их нужно будет, конечно, не теперь, а весной.

— Да погоди ты! — отмахнулся он сердито от Рахили, которая непременно хотела заплатить ему за улья. — Отвяжись, сделай милость!

Это именно Рахиль как-то в разговоре с дочерью Макара спросила, не найдется ли у них лишних ульев. Но теперь Макар упорно обращался не к ней, а к Мееру и ни разу не взглянул в ее сторону, несмотря на ее обиженные протесты:

— Как это так—даром брать? Мы не нищие какие-нибудь, боже упаси! Дети нам прислали два аттестата.

— Мама, оставь! — дергая ее за рукав, шептала Гита. — Не приставай к нему со своими деньгами!

Гита ходила возбужденная, ее словно опьяняли огненно-красные отсветы, с каждой ночью все ярче пылавшие там, где началось строительство. Да и не она одна—Макар, Меер, Рахиль, все в эти дни были похожи на пьяных.

С каждой ночью багровые огни придвигались все ближе, и все шире охватывали окрестность. Костры полукругом окаймляли замерзшие болота. Костры всю ночь весело плясали вокруг — так чудилось девочке.

Как на пришельцев из какого-то новооткрытого огненного мира, смотрела она на группу людей, появившихся однажды на насыпи, — они пришли с той стороны. Впереди, опираясь на палку, в широченном тулупе шагал Макар с высоко поднятой головой. Он, видимо, очень гордился тем, что первую комиссию, прибывшую к ним, водит по участку он, а не кто-либо другой. Он, Макар Емельянов, всю жизнь безвыездно прожил среди этих болот, и ему суждено, наконец, увидеть, как они отда-

дуг родной стране свои богатства. Он все указывал на что-то комиссии,—по своей привычке, подбородком, но седую бороду во все стороны трепал ветер,—как тут было угадать, куда именно она указывает!

В будку Меера понемногу просачивались вести о том, что делается вокруг костров. Рвы, канавы, котлованы; сотни людей работают день и ночь, воюя с промерзшей землей. Тут прокладывают телефонный кабель, там строят шахты, закладывают фундаменты.

Иногда весь день напролет эхо доносило грохот взрывов. К вечеру грохот стихал, далекие костры, казалось, горели спокойнее, свет их сиял как-то празднично, как после победы.

Дочка Меера Шлаина, наконец, уехала, ©дин из проходивших мимо товарных поездов увез ее туда, к багровым огням. С неясным ей самой волнением стремилась она к огням,—в новый мир, как невеста—в объятия того, кому суждено насытить пробудившиеся в ней желания.

X

Макар любил порядок, любил чтобы все вокруг,—куда ни посмотри,—было на своем месте.

По временам он совершенно неожиданно появлялся у дома Меера. Однажды из разговора выяснилось, что он присмотрел здесь очень хорошее место, где можно поставить хлев.

— Небольшой... Чтобы было место для одной коровы с телятком.

Морозы слабели. На железной дороге все чаще появлялись различные комиссии.

Макар, видимо, задался целью помочь соседу обжиться на новом месте, хотел, чтобы домик Меера ничем не отличался от других домиков вдоль насыпи и чтобы от всего непривычного, что принес с собой этот пришелец с юга, остались только чернота глаз и волос.

Пока строился сарай, жена Меера не переставала уверять мужа, что Макар имеет намерение продать им телку, которая не сегодня-завтра отелится.

— Вот увидишь, Меер, помяни мое слово...

Рахиль всегда считала себя женщиной с умом, которой пальца в рот не клади.

— Сам посуди, Меер: для чего бы это Макар Емельянов стал так стараться, чтобы у Меера Шлаина был около дома сарай?

Этими разговорами она только будила и в себе и в муже желание увидеть поскорее, как вокруг их домика, затерянного среди осоки, будет бродить настоящая живая корова с теленочком. Побывав как-то у Дочери Макара, она вернулась домой с двумя купленными у нее курами. Красивые, желто-белые куры, которые то жалобно кудахчут, то притворяются спящими, а сами поглядывают прищуренными глазами,—не собирается ли кто их обидеть.

— Ну, что я тебе говорила! Макар сам приказал дочке: «Выбери ей таких, что чаще несутся».

— Ну, сказал, так что же из этого?

— Надо поскорее достроить сарайчик,—твердила жена,—слышишь, что я тебе говорю, Меер?

— А?—как глухой, отзывался Меер на все ее приставания.

Нет, хватит с него фантазий! Довольно и зеленого корабля, о котором ему вспомнить стыдно,—не то, что признаться в таком ребячестве!.. Старый человек, сын и зять на фронте, дочка работает на строительстве, а он, как дитя малое, тоскует по морю и видит сны наяву...

XI

Письма от сына и зятя то приходили часто, то их долго не было. Прибудет письмо—в доме праздник. Нет вестей долго—муж и жена становятся все мрачнее, все реже разговаривают. Каждый боится, как бы другой не высказал вслух того, о чем оба думают:

«Может, не дай бог, ранен... Или еще что... Может, и в живых уже нет»...

Рахиль съездила навестить дочь и вернулась на другой день к вечеру. Лицо у нее было такое красное, что казалось—вот-вот из него брызнет кровь, она соскочила с открытой платформы как раз на том месте, где работал Меер. Ее так и распирало от нетерпеливого желания рассказать ему обо всем, что она видела и слышала. Целый город, раскинутый на много миль вокруг! Конечно, пока это еще не дома, а землянки, бараки, ямы, подземные ходы, насыпи, но уже есть заводы, цехи, конторы, уже дают названия улицам!.. А Гита работает вдвоем с другой девушкой у котла.

— А домой она не думает?

— Нет, домой не собирается и слышать не хочет.

— Ну, что ж...

У Меера тоже было о чем рассказать жене: в сараичке с нынешнего утра поселилась отелившаяся корова, а теленочка он устроил у печки, в тепле.

Они зажгли лампу и пошли в хлев поглядеть на молодую корову. Макар сам привел ее сюда и сказал:

— Давай, сколько у тебя есть, остальное будешь выплачивать.

— Ну, что? — воскликнула Рахиль, когда муж рассказал ей это. — Теперь ты видишь, что это за человек?

И до поздней ночи она не переставала болтать—о Макаре, о корове, об ульях, которые они поставят за домом, о грандиозном строительстве, которое придвигается к ним все ближе, о кострах, которые горят там по ночам...

— И евреев там уже порядочно... Да, насчет болот я знаешь, что слыхала? Им скоро конец, их будут осушать!

Она опять вспомнила о своем хозяйстве:

— Надо бы нам еще хоть пять-шесть ульев...

Засыпая, она бормотала: «В нынешнее время — мед! Шутка сказать!»

А Меер еще долго не спал, вспоминая, о чем писали в последних письмах сын, зять и дочь... Надо будет им написать, что в сарае уже есть корова... А летом он разведет огород перед домом, будет мед, цыплята... Девочка работой довольна... И сосед — славный старик. В общем, жаловаться не на что... Отчего же на душе неспокойно? Ох, эти болота, эта осока и корабль в утреннем тумане!.. Хоть бы поскорее высушили эти болота, тогда все кончится.

XII

Наступала весна. В ясные солнечные дни на горизонте уже рисовались силуэты надшахтных копров, зданий в лесах. Как в предпраздничной горячке, пронесся однажды на дрезине по дороге к строительству инженер Покрасс. На обратном пути остановился у будки Макара и у будки Меера. Простился с ними — он уезжал на фронт. Увидев на дворе у Меера улы, он задержал на них взгляд.

— Отлично, отлично — сказал он серьезно, почти сурово. — Учитесь у Макара, это вам пригодится.

Т

Поговорил о новом строительстве, куда после войны потянется множество людей. Кивнул на одного из тех, кто приехал с ним на дрезине:

— Вот тоже еврей.

— А вы здесь останетесь?—спросил у Меера тот, на кого указал Покрасс.

— Я?

Меер подумал о своей работе, о дочке, не желающей уходить со строительства, о хозяйстве, которое начинает разрастаться, и ответил с некоторой гордостью:

— Ну, как же! Мы уже тут старожилы.

1946 г.



СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Давид Бергельсон	3
Глухой (<i>перевод М. Волосова</i>)	11
Мирелэ (<i>перевод Е. Благиной</i>)	29
Обломки (<i>перевод М. Волосова</i>)	194
Городок Дубрович (<i>перевод М. Волосова</i>)	202
Хиея-строптивая (<i>перевод М. Волосова</i>)	212
Военком на родине (<i>перевод М. Живова</i>)	243
Абе (<i>перевод автора</i>)	258
Доктор Абрамович (<i>перевод автора</i>)	270
Телефон (<i>перевод автора</i>)	281
Злодеи (<i>перевод М. Волосова</i>)	298
Джиро-Джиро (<i>перевод автора</i>)	303
Вечный раб (<i>перевод автора</i>)	317
Биробиджанские мотивы (<i>перевод автора</i>)	324
Дружба (<i>перевод М. Абкиной</i>)	339
В ущелье (<i>перевод Г. Ф.</i>)	344
Свидетель (<i>перевод М. Абкиной</i>)	369
При свете костров (<i>перевод М. Абкиной</i>)	381

Редактор М. Я. Иткин. _____ Tetpefl Л?. *Погостер*.

А-00158. Сдано в производство 25VI—1946 г. Подписано к печ. 10/III—1947 г.
Печ. л. 25. Уч.-изд. л. 23. Формат 60X 92V¹/_e. Тип. вн. в п. л. 39 000 Тираж 50 000
Заказ ЛГ 174.

Отпечатано в 3-й типографии „Красный пролетарий“ треста „Шлиграфкнига“ ОГИЗа
при Совете Министров СССР. Москва, Краснопролетарская, 1В.